

Москва  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1978

**ГАФУР ГУЛЯМ**

**ОЗОРНИК**



**АСКАД МУХТАР**

**КАРАКАЛПАКСКАЯ ПОВЕСТЬ**



**АДЫЛ ЯКУБОВ**

**НЕЛЕГКО СТАТЬ МУЖЧИНОЙ**

# СОЛНЕЧНОЕ ПОЛЕ



Узбекские  
повести



Перевод с узбекского

Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1978

С (Узб) 2  
С 60

Составление, вступительная статья  
и примечания  
АЛЕКСАНДРА НАУМОВА

Художественное оформление  
Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

С  $\frac{70303-227}{028(01)-78}$  144-78

© Вступительная статья; состав;  
художественное оформление; примечания,  
Издательство «Художественная лите-  
ратура», 1978 г.



## СОЛНЕЧНОЕ ПОЛЕ

Все растет удивительно быстро на этой земле. Недавние саженцы, только что, казалось, зябко дрожавшие на ветру, за два-три лета превращаются в крепкий сад, а ты дивишься, поглядывая: когда же они успели! Чудо... Это слово напрашивается часто, когда знакомятся с Узбекистаном. Поражают сроки — и масштабы. Масштабы того, что было известно здесь издавна, — и того, о чем полвека с небольшим назад здесь и не слыхивали. Сбор хлопка — и выплавка стали. Виноградарство — и ядерная физика. Поэзия — и проза...

Человеку, представляющему себе пути и периоды развития мировой литературы, рождение и становление узбекской психологической прозы и впрямь кажется чудом. Ко времени Октября, к порогу той громадной культурной революции, которую он вел за собою, узбекская культура принесла традиции тысячелетней поэзии, начатой в XI веке записями песен Махмуда Кашгарского и славной поэмой Юсуфа Баласагуни. Было бы опрометчиво утверждать, что прозаической традиции здесь не существовало вовсе: сочинения исторические и философские, географические или литературно-критические, нередко содержавшие элементы художественного повествования, сопровождали поэзию на протяжении десяти без малого веков; и надо всеми ними возвышаются блистательные мемуары ферганца Бабур, первого из Великих Моголов. Проза «Бабур-наме», однако, была вершиной посреди степи. Еще и четыре столетия спустя прозаическая традиция, казалось, не накопила здесь ничего, что предсказывало бы рождение новых жанров. Эпическое начало по-прежнему оставалось во власти поэзии. Дастан — этот «рыцарский роман» Средней Азии — сохранял все черты народной поэмы, исполняемой под музыку и рифмующей даже прозаические вставки. И таким же достоянием устных рассказчиков пребывали бытовые истории и народные анекдоты.

От узбекской поэзии, чей грандиозный взлет совершился в творчестве Навои, проза узбекская отстала на четыре века. Те са-

мые четыре века, в течение которых на Западе сложились великие традиции романа и новеллы, представленные именами Боккаччо и Рабле, Сервантеса и Гете, Стендаля и Бальзака, Диккенса и Гоголя, Тургенева и Флобера, Толстого и Достоевского, Мопассана, Чехова, Горького...

Народам Средней Азии предстояло совершить немислимое — шагнуть из средневековья в социализм. Тот же громадный скачок должны были сделать их национальные культуры, а ведь здесь необходима была глубокая перестройка сознания, мировоззрения масс.

И все-таки чудо совершилось.

\* \* \*

Годом рождения узбекской большой прозы следует считать, по-видимому, год 1924-й, когда был опубликован роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни». Трагическая история Атабека и его возлюбленной, рассказанная в книге, принадлежала прошлому — события романа относятся к XIX веку. И, несмотря на реалистическую точность изображения, психологическую убедительность характеров и сочный народный язык, стихия повествования обнаруживает родство с давней дастанной традицией. Тут как бы сквозит ветер романтической приподнятости, обтекающий и порой размывающий фигуры героев. Но выдающийся талант Кадыри позволил ему создать произведение на редкость органичное — не даром первый узбекский роман сразу и навсегда обрел на родине широчайшую популярность! Ибо суть дела заключалась здесь отнюдь не в продолжении, а напротив, в преодолении дастанной традиции, в рождении нового жанра; дальше этого Кадыри, однако, не пошел. Недаром Гафур Гулям заметил как-то, что романы Кадыри «продемонстрировали яркие возможности, но не указали общей дороги». Перед молодым жанром узбекского романа, обращавшегося к прошлому, встала задача показать становление нового человека, преобразующего жизнь. Ни самому Кадыри, ни другим узбекским писателям тридцатых годов не удалось сделать на этом пути «решающего шага» — вплоть до появления «Священной крови» Айбека (1943). Этот роман, с его поэтической силой и высоким мастерством психологического анализа, с его подлинным и глубоким чувством историзма (хотя «Священная кровь» — отнюдь не исторический роман в собственном смысле слова), знаменует собою веку, от которой можно отсчитывать историю социалистического реализма в узбекской прозе, — путь, в последующие десятилетия славно продолженный другими романами самого Айбека, книгами Шарафа

Рашидова, Аскада Мухтара, Мирмухсина, Хамида Гуляма и многих других.

Конечно, это победное шествие было подготовлено опытом не одного романа, а всех жанров узбекской советской литературы: проза явилась на свет одновременно с рождением нового мира — и не только как естественный отклик на стремительную эпоху, но и как затребованное этой эпохой орудие социалистического преобразования. Жизнь ждать не могла: необходимое должно было появиться. Все, что предлагала для этого сама действительность; все, что можно было почерпнуть из предшествующего художественного опыта народа, оказывалось теперь лишь материалом: его надо было перешлаивать и отлить в новые формы, а этому еще предстояло научиться... И учеба началась — учеба у мировой и прежде всего русской классики, учеба громадная, всеобъемлющая, долгая; учеба, так сказать, без отрыва от производства.

Вот, в сущности, основные факторы, обусловившие чудо так называемого ускоренного развития узбекской советской прозы. Как оно протекало? Лаборатория большой прозы дальше от глаз и реже нам прототкрывается: куда чаще мелькает на конвейере времени малый жанр. Узбекский рассказ родился от двух «оперативных» жанров газеты — фельетона и очерка. Впрочем, преимущественно от фельетона, ибо, как и у иных жанров молодой литературы, поначалу его главная тематика была — обличительная: разоблачение пережитков прошлого, тогда еще повсеместных, а главное — хорошо знакомых. И прошло десятилетие с лишком, прежде чем узбекский рассказ научился всерьез отличать и отделять себя от своих прародителей. «Фельетонное событие, — вспоминает Гафур Гулям, — представлялось... готовой основой для рассказа — стоило лишь изложить его более подробно». А с другой стороны, сами читатели воспринимали это почти как протокольную запись. Абдулла Каххар вспоминает анекдотический случай, когда, вскоре после напечатания в журнале одной из его ранних сатирических новелл, районный прокурор вызвал его и принялся стыдить «за сокрытие подлинных фамилий героев»: персонажей уже, оказывается, разыскивали, чтобы предать суду... Большую или меньшую, но очевидную пристегнутость к факту ощущаешь даже в лучших рассказах конца двадцатых — начала тридцатых годов: у Айдын, Гафура Гуляма, молодого Каххара. И Каххар справедливо замечает: «История современной узбекской новеллистики... началась тогда, когда мы всерьез, широко и полно познакомились с творчеством Чехова и Гоголя». Он имеет здесь в виду прежде всего свой собственный опыт; уроки русского реалистического рассказа, представление о средствах раскрытия характера и о том, что именно история характера, а не фабульная связь собы-

тий и эпизодов создает сюжет вещи, наиболее наглядно и плодотворно были усвоены именно в его творчестве. А ведь Каххар был и остался крупнейшим узбекским новеллистом.

\* \* \*

Кто-то сказал, что серьезный рассказ — как бы конспект романа. В этом замечании есть доля правды, хотя оно отнюдь не основа для жанровых определений. Во всяком случае, рассказ с романом не спутаешь: слишком велика разница в объеме! А ведь «объем в прозе,— говорит Гафур Гулям в своей творческой исповеди «Пути не кончается»,— категория отнюдь не случайная. Как и в архитектуре, он заранее определен материалом — и сам определяет структуру сооружения; из глины строят дома одних размеров, из кирпича — других, и проектируют их по-разному».

Что же в таком случае сказать о повести? О повести, которая иной раз едва превышает количеством страниц большой рассказ, а иной раз достигает размеров романа? Может, и нет вовсе такого жанра — «повесть», а есть именно большие рассказы и небольшие романы?..

Проследивая судьбы жанров в любой национальной литературе, нетрудно заметить, что появление или возвышение одного из них лишь отчасти объясняется причинами внутрилитературными; главная причина — в интересе и потребностях общества, в том, какой жизненный материал предлагает оно литературе; иначе говоря, в социальной роли жанра. В самом деле, разве не острая потребность открыть новый человеческий и социальный пласт — крестьянский — вызвала к жизни знаменитые «Записки охотника»? Знакомство с ним требовалось пусть беглое, отрывочное, но зато быстрое и широкое; и вот являются на свет тургеневские, как он их называл, «отрывки» — новый в русской литературе жанр рассказа. И разве не в точности то же происходит несколько десятилетий спустя в Италии, в пору расцвета веристской «крестьянской» новеллы?

Что большая узбекская проза началась романом, объясняется не только талантом Кадыри. Уже в предреволюционную пору для узбекской литературы назрела необходимость оглядеться и осмыслить пути и исходные рубежи нации. Тут требовалась какая-то новая форма, современная и просторная, но главное и прежде всего — точка обзора. Ее-то, эту точку обзора, и указала революция. Двумя романами Кадыри тема до поры до времени была исчерпана. Зато напирал материал стремительно меняющегося, яростно работающего сегодняшнего дня и требовал отлить его в литературную форму, столь же мобильную, столь же напористую, поспеваю-

щую за ним самим. И на авансцену узбекской литературы выходит рассказ. Война и послевоенные годы необычайно расширили тематические и творческие горизонты узбекской литературы. Гигантские задачи послевоенного строительства, освоения новых земель, несравнимые с прежними, при всем героизме и трудностях довоенных строек; широко раздвинувшиеся рамки интернациональной темы, глобальной борьбы за мир; наконец, огромный чисто человеческий опыт людей, переживших небывалую войну,— все это обилие тем и материала снова выдвигает на первый план литературную форму широкого охвата, панорамного видения жизни, так сказать, станковую литературу — роман. Конечно, пора первенства рассказа или два десятилетия стремительного и широкого взлета узбекского романа отнюдь не отменяли развития других литературных форм,— речь идет только об «опережающем» развитии жанра... И начиная с шестидесятых годов время такого опережающего развития пришло и для узбекской повести.

Это была для узбекской литературы пора массового прихода и укоренения молодых сил. В поэзию ли, в прозу — это новое литературное поколение явилось со своим отношением к жизни, с жаждой не столько захватывать для литературы все новые и новые тематические или даже географические области («написать о нефтяниках!» или «написать о тружениках Ангрена!»), сколько пристальней взглянуть в те куски жизни, пусть даже и описанные однажды, которые оказывались перед ними. Взглянуть — и «дойти до сути». Что до прозы молодых, то поначалу такие попытки делались, конечно, и в рассказе (оказывалось, площадь мала!) и в романе (романы удавались еще реже, опыт был мал!), покуда не стало выходить на первый план повествование небольших, пусть нестандартных размеров, на материале одной судьбы, да и то взятой в каком-то своем отрезке, чаще всего начальном, исследующее некоторую нравственную, моральную проблему, человека в его отношении к жизни. «Учитель, воспитай ученика!» Вслед за молодыми к такому жанру потянулись и мастера самого старшего поколения, обращаясь ко временам уже своей молодости — вспомним прекрасные «Сказки о былом» Каххара или «День проклятий и день надежд» Назира Сафарова...

Разумеется, и а ч а л а с ь узбекская повесть куда раньше. Достаточно назвать повести Айни и Хамзы, созданные в двадцатые годы, или, если обратиться к тридцатым годам, хотя бы «Абид-кетмень» Кадыри, некоторые вещи Хусейна Шамса или две ранние повести Гафура Гуляма... Для истории становления жанра, кстати сказать, небесполезно признание Гафура Гуляма по поводу одной из них: «Повесть «Нетай»... была основана на подлинной биографии... одной несчастной узбекской девушки. История эта, которую

я услышал от самой героини... казавшаяся мне поначалу материалом большого романа (я его не замедлил пачать), словно съезжилась по мере писания, как шагреневая кожа, съезжилась с трагической быстротой, угрожая исчерпаться раньше, чем я допишу первую из задуманных частей. Так оно и вышло. И я этот урок усвоил...»

В конце тридцатых годов был создан прославленный «Озорник» Гафура Гуляма.

А в послевоенную пору, в период расцвета романа, повесть, рядом с ним, решает многие важные задачи большой прозы. Появляется «Пакистанская повесть» Айбека — едва ли не первая в узбекской прозе заявка на международную тему, заявную в ней потом немалое место; «Птичка-невеличка» Каххара, давшая замечательный образ современной узбекской женщины, который увенчал многие художественные поиски узбекской литературы; «Победители» Шарафа Рашидова — как бы эскиз его будущей выдающейся трилогии об узбекском колхозном селе и его героях; «Каракалпакская повесть» Аскада Мухтара, о которой речь будет ниже; «Молнии в ночи» и «Джамиля» Мирмухсина; «Язъяванская повесть» Хамида Гуляма, тоже поднимавшая серьезные вопросы жизни кшплага; остроконфликтный, затрагивающий «проблему совести» «Приговор» Саида Ахмада; «Мои сокровища» Прямкула Кадырова, тогда еще молодого писателя; «Хилола» Ибрагима Рахима, повести Хакима Назира.

Впрочем, в этот период повесть шла именно «рядом с романом», находя свои цели подчас параллельно с ним, а если порой и опережая его в тематике, то чаще всего как его набросок, его «первый вариант» — хотя к концу пятидесятых годов в жанре уже начали активно работать писатели, занявшие в нем позже центральные места: Адыл Якубов, Ульмас Умарбеков, Прямкул Кадыров, Уткур Хашимов, Учкун Назаров и другие.

Тот характер современной узбекской повести, который сложился в шестидесятых — семидесятых годах и о котором уже говорилось выше — повести по преимуществу лирической, исследующей те или иные нравственные проблемы, становление или перестройку отдельной личности, — в чем-то, несомненно, сузил охват жизни, географию событий. Но взамен принес особенное, пристальное внимание к тому, что прежде всего является предметом литературы, — к духовному миру человека. И лучшие узбекские повести этого периода — «Птица жива крыльями» или «Нелегко стать мужчиной» Якубова, «Любимая» Умарбекова, «Вольность» и в особенности «Наследие» Кадырова, да и ряд других — вполне оправдывают эти неизбежные потери в событийной, панорамной широте. Ибо здесь они оборачиваются безусловной

глубиной перспективы, той возможностью заглянуть вперед, в будущее, которую дает читателю по-настоящему увиденный, показанный, «просвеченный» человеческий характер.

В последние годы повестей такого «лирического» плана появилось много. И, как во всяком потоке, вещи это далеко не равноценные. Может быть, именно из-за моды на жанр выработался даже некий штамп, заменяющий иным авторам творческие поиски. Это — тот ложный, условный нравственный конфликт вроде бесчисленных размышлений и страданий по поводу женской неверности (да еще порой только предполагаемой) или по поводу роли девичьего целомудрия в судьбах брака и любви, — который переходит из повести в повесть, так мало изменяясь, что поневоле усомнишься: а действительно ли интересуют хоть самого-то автора эти проблемы, или тут была простая необходимость заполнить чем-то «проблемные пустоты», а то ведь и повести не получится? Умолчать обо всем этом было бы неверно — хотя это всего лишь издержки, «накладные расходы» плодотворного литературного процесса.

\* \* \*

Наш сборник включает только три из всего обилия узбекских повестей — вещи очень разные и по манере и по времени создания, но, как мне представляется, наиболее яркие и характерные из написанного на узбекском языке в этом жанре. Они как бы пунктиром обозначают эволюцию узбекской повести — и ее широкий тематический диапазон.

Сборник открывается «Озорником» Гафура Гуляма, — едва ли не самой читаемой на узбекском языке книгой, — как, впрочем, и автор ее был, вероятно, наиболее популярной фигурой узбекской литературы и в Узбекистане, и за его пределами, где он казался подчас как бы олицетворением самой узбекской поэзии. Один из крупнейших поэтов Советского Союза, тонкий лирик и трибун, философ и публицист, Гафур Гулям, может быть, полнее всего раскрыл себя как личность в этой веселой и грустной «плутовской» повести. Раскрыл таким, каким его знали в родном Ташкенте: блистательный остро слов с хитрой искрой в темных серьезных глазах, герой целого «гафуровского фольклора» — множества веселых и поучительных историй, которые рассказывают о нем по всему Узбекистану.

«Озорник» — это повесть о тринадцатилетнем мальчике из до-революционного Туркестана, сбежавшем из дому и плывущем в море нескончаемых трагикомических приключений. Этот маленький Ходжа Насреддин, этот Том Сойер из Ташкента, удивительно соединяющий в себе иронию — с детской непосредственностью, плутоватость — с жаждой справедливости, детскость зренья — с

пристальным взглядом на мир,— это, конечно, и есть сам Гафур — Гафур собственных воспоминаний. И все же... «Сейчас нелегко уже восстановить... собирался ли я написать автобиографическую повесть о своем детстве или просто детскую книжку, битком набитую веселыми приключениями. Скорее всего, как это бывает с каждым литератором на пороге зрелости, я вдруг обнаружил, что собираю крохи чужих историй, а моя собственная, самый дорогой и богатый мой материал, лежит себе почти нетронутая... Пока я писал первые главы — о босоногом обитателе пыльного глинобитного квартала, о радостях и горестях, выпадающих ему на долю,— я искренне думал, что пишу о себе. Так оно и было; но когда, в некий момент, я невзначай глянул на своего Озорника со стороны, то обнаружил вдруг: это не совсем я. Может быть, даже совсем не я. Сам того не замечая, я стал приписывать своему герою многое из того, что случалось с мальчиками моего народа на протяжении столетий. Попяв это, я удивился. Я ведь вовсе не намеревался приукрашивать собственное детство. Напротив! Теперь, углубясь в него, я только хотел показать, каким, в сущности, страшным оно было, даже если смотреть сквозь волшебные очки памяти и хитрые стеклышки смеха. Но мой Озорник уже не был мальчиком по имени Гафур, тем самым, из которого потом вышел средней руки писатель. Нет, он был обыкновенным узбекским мальчишкой, каких существовали тысячи, и что случалось с ними, могло произойти и с ним, а его приключения могли стать общими... Подумайте! Судьба этого маленького бедняка-сироты до предела трагична, но сам он полон такой неистребимой жизненной силы, всем неудачам противопоставляет такой мощный оптимизм и плутовскую изобретательность, а всякому унынию — такое неиссякающее чувство юмора, умение найти слабую, смешную сторону в любом сильном враге, что этот бездомный парнишка, которому то и дело не везет, побеждает в конце концов и несчастные обстоятельства, и могущественных баев, и хитрых торговцев...»

Действительно, эта книжка о мальчике, да и адресованная как будто бы детям, на самом деле взросло, остро, насквозь социальна. Перечтите в ней хотя бы главу «Как я обманул бая», и за обликом веселой старой сказки, блистательно использованной автором, вы увидите такое ожесточенное противостояние «бедных» и «богатых», какого не почувствуешь иной раз и в серьезном социальном романе. К тому же за маленькой историей мальчика встает сама История: она-то и есть истинная суть проделок и злоключений Озорника, хотя ее приметы казались нам поначалу только фоном. Отзвуки страшной войны, то реальные, то карикатурно искаженные; глухое, изредка прорывающееся раздражение обездоленной, лишенной самого необходимого толпы — раздражение, которому



предстояло вот-вот вылиться в волнения шестнадцатого года; общая атмосфера нестерпимости гнета, неизбежности кризиса,— все это, если взглядеться, явственно проступает сквозь анекдотическую основу отдельных глав. И забавный взрыв в курильне — в чем-то символичен. Историческое время действия повести — канун революции. Для ее героя это канун возмущения, канун настоящей жизни, о которой он, впрочем, еще ничего толком не знает. Революция — вот в чем сходятся эти две линии за пределами книги.

«Каракалпакская повесть» Аскада Мухтара написана почти двадцать лет спустя после «Озорника», но по времени действия она как бы его продолжает — это рассказ о первых послереволюционных годах, о рождении новой власти и новых человеческих отношений в одном из самых глухих уголков бывшей Российской империи, в краю нищих кочевников и рыбаков. В основу своего напряженного, драматичного повествования автор положил историю двух влюбленных, которых разделяет родовая вражда, роковой закон кровной мести — историю каракалпакских Ромео и Джульетты: Жапака и Сулув. Этот «древний, как мир, и вечно юный» сюжет выбран автором не случайно: испокон веков трагедия любящих символизировала в нем борьбу новой жизни, новых, пробивающих себе путь форм общественных взаимоотношений — с мертвящими путями старых законов. Но если в «Ромео и Джульетте» или, скажем, расиновском «Сиде» эта символика остается в подтексте вещи, то узбекский прозаик реализует ее открыто. И тут заключена несомненная полемика с древним сюжетом: каракалпакские Ромео и Джульетта побеждают — и родовую вражду, и смерть, и беды своих племен, — потому что за ними уже стоит, как заря, победа величайшей революции. Построенная динамично и естественно, с прекрасным знанием быта, эпохи, классовой психологии своих героев, начисто лишенная сентиментальности — этого бича многих произведений ранней узбекской прозы, а, напротив, слаженная даже как-то жестко в своей напряженнейшей фабуле, — «Каракалпакская повесть» явилась одним из произведений, в которых явственно крепло и развивалось мастерство подлинной психологической правды.

Мне кажется, именно таким мастерством, как бы скрытым за лиричной и в то же время иронически-наблюдательной манерой, за пристальным вниманием к пейзажу, на редкость здесь точному и полному настроению, и запомнится читателям повесть Адыла Якубова «Нелегко стать мужчиной». Начиная в середине пятидесятых годов как драматург, а потом много работавший в жанре повести, Якубов считается в узбекской литературе мастером крепко сплоченного сюжета, сплавленного воедино поднимаемой проблемой. Его книги последних лет, особенно уже упоминавшиеся

выше повести, а потом — исторический роман «Сокровища Улугбека», вывели его в первый ряд мастеров узбекской прозы. В повести, которая вошла в сборник, рассказана история кишлачного паренка, школьника лет войны, вместе с друзьями работающего в колхозе, ожидающего писем брата с фронта, влюбленного в сверстницу, страдающего из-за невестки, которая изменяет мужу-фронтовику, и из-за несправедливостей двух подлецов в сельсовете... Простая повседневная жизнь, которая, однако, понемногу вырабатывает в нем и свой взгляд на жизнь, и принципы поведения, и мужество, чтобы от них не отступить, — мужество выполнить свой долг, тот предстоящий воинский долг, к которому он готовится.

Перечитывая, вновь я ощутил обаяние этой вещи: тот паренек, и те добрые и прекрасные люди из далекого кишлака военных времен сделались мне удивительно, родственно близки.

Пусть и читатель этого сборника закроет книгу с тем же чувством: пусть надолго останутся ему близки показанные здесь люди с далеких улиц и белопенных полей Узбекистана, образы, возвращенные на солнечном поле узбекской прозы. Ибо за красочным, порою, может быть, и непривычным для него колоритом он услышит биение человеческих сердец, так похожих на его собственное...

*Александр Наумов*

ГАФУР ГУЛЯМ



Озорник



*Перевод Александра Наумова*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ДЕТИ СТАРОЙ МАХАЛЛИ

Народу в торговых рядах уйма.

В большой чайхане Ильхама-чайханщика, что стоит как раз на повороте от молочного ряда к махалле Махкама, играет граммофон, без умолку звучат старинные песни в исполнении Туйчи-хафиза, Хамракула-коры, Ходжи Абдул-Азиза или ферганских певец. Места в чайхане всегда не хватает. Тут проводят свободное время байские сыновья



из торговых рядов. Они собираются вокруг дастархана, посреди которого на большом медном подносе разложены сахар, миндаль, фисташки, разные сладости, стоит в посуде варенье, а зачастую красуется и коньяк в соломенных плетенках с изображением ласточки. Усаживаясь, они весело горланят, рассказывают анекдоты, сопровождаемые громовым ржаьем. Дехканам, бедным кустарям, казахам, киргизам, приехавшим на базар издалека, нечего сюда и соваться.

Чайханщик — худощавый парень по прозвищу Асра-лысый, в легком халате нараспашку, подпоясанном голубым шелковым платком, услужливо носится среди посетителей. Через плечо у него перекинут кисейный платок в горошек, на ногах — кавуши. Стоит кому-нибудь из гостей крикнуть: «Асра!» или «Лысый!» — он уже тут как тут:

— Что угодно. мулла-ака. чай или чилим?

И не успеешь оглянуться, как он снова появляется — с маленьким чайником в одной руке и двумя китайскими пиалами в другой или наполняет табаком головку сверкающего медного чилима, шумно раскуривает и, кланяясь, подает гостю: «Мулла-ака, пожалуйста...»

Много удивительных вещей можно увидеть в этой чайхане. Но, конечно, самое замечательное в ней — это подвешенная к потолку у входа большая клетка, позолоченная, украшенная амулетами от дурного глаза и пестрыми флажками. В клетке живет попугай, ей-богу, настоящий, живой попугай! Перья его переливаются всеми цветами радуги, как шелковые нити в шкатулке вышивальщицы: синий, красный, голубой, желтый, белый, розовый, коричневый, темно-вишневый, фиштактовый — все цвета, какие только есть на свете! Но главное, он разговаривает! Подумать только, он болтает так бойко и смешно, что я и сейчас еще слышу его голос, звонкий и раскатистый, как у трехлетней девчонки, только что научившейся говорить:

— Асра, Асра, услуги гостю, один чай, один чилим, пожалуйста, мулла-ака, пожалуйста, байвачча...

Мы, мальчишки, бродим по базару чумазой босоногой стаей, в рубахах и штанах из буза; мы спуем всюду, но ко входу в чайхану нас тянет неизменно:

— Попка, эй, попка!

Асра-лысый кидается на нас, делая свирепое лицо. Кто попадется, и впрямь получит изрядную порцию тумакон. А попугай посылает вслед нам крепкое ругательство:

— Ах, бабушку твою...

Впрочем, главным нашим развлечением на базаре служат джинни — юродивые. Сколько их в Ташкенте — и-и! Начнешь считать — собьешься! Карим-джинни, Рыжий, Пара Голубей, Майрамхан, Юродивый из Юродивых, Жена Ишана, Хал-паранг, Таджихан, Алим, Аваз... Каждый из них «сходит с ума по-своему», безумствует на свой лад; мы знаем их всех отлично. Пара Голубей, например, помешался на властях. И царя Николая, и Кауфмана, и Мочалова, и полицейского стражника по прозвищу Наби-вор — всех, бывало, соберет вместе и понесет, понесет, с непривычки и слушать страшно. Карим-джинни тоже ругается без умолку. Этому уже все равно — аллах ли, пророк, ходжи, ишан, казий, — он клянет всех подряд, клянет до седьмого колена, разносит в пух и прах! Когда-то он был ткачом, но потом стало полно фабричного ситца, Карим не мог уже кормить семью — и в конце концов помешался. То же, при-

мерно, случилось и с Хал-парангом. Он был родом из Коканда, ткал бархат и, судя по прозвищу, считался искусным мастером. Он сошел с ума, когда сгорела его мастерская вместе со станком. А Майрамхан? О, это, пожалуй, самый знаменитый из всех джинни! Его настоящее имя — Маматраим, он был слесарем, и таким превосходным слесарем, с такой «легкой» рукой, что считалось, удача сопутствует уже тем, в чьей мастерской, лавке или доме он побывал. Говорят, Майрамхан собственными руками и не ел-то никогда, столько находилось охотников кормить его пловом из горсти, как почетного гостя! Бессчетные мастера по изготовлению колыбелей, самшитовых гребней, веретеп считали это за счастье... Словом, он был всеобщим любимцем — потому и прозвали его Майрамхан! — и ходил по улицам и базарам, таща на себе панизанный на проволоку металлический лом, отпуская шуточки, сияя ослепительной улыбкой. Он прогорел со своим ремеслом, когда металлические изделия стали выпускать заводы; понемногу сделался никому не нужен и помешался от нищеты и тоски...

Джинни по прозвищу Жена Ишана, смуглая, статная, с тонкими черными бровями женщина лет сорока пяти, и вправду была когда-то женой ишана Миттихан-турам из Каландархоны; однажды она застала мужа со своей младшей сестрой и сошла с ума.

Один Аваз, пожалуй, не был настоящим сумасшедшим, а только притворялся, не желая работать.

Мы знали все истории этих несчастных — слышали от взрослых, сколько раз все это при нас пересказывалось! Но у мальчишек нет времени для жалости. Зрелищ на нашу долю выпадало мало, вот мы и выдумывали сами, что могли, а с джинни можно было устроить представление — лучше не надо! Иногда мы уговаривали их спеть или сплясать, но чаще просто безжалостно дразнили. А когда они приходили в иступление, тут-то и начиналось самое интересное. Они бросались за нами вдогонку, мы увертывались, не всегда удачно, нам-таки перепали от них побои, — поделом, конечно. Словом, остроты ощущений хватало и смеху тоже, особенно, когда сходились два-три джинни вместе. Как-то раз джинни по имени Таджихан стал гоняться на улице за прохожими, размахивая черенком от кетменя и требуя, чтобы все шли в одну сторону.

— Эй, не разбредайтесь! — вопил он. — Порядок должен быть, порядок!

Никто ничего не мог с ним поделаться, покуда не появился Алим-джинни.

— Эй, джинни, что ты тут мелешь? — закричал он.

— Почему они не идут в одну сторону? — говорит Таджихан. — При царе Николае порядок должен быть! Порядок!

— Ай, и дурак же ты, Таджики, — сказал Алим-джинни, — ну и дурак! Земля у нас знаешь какая? Вроде весов! Если все пойдут в одну сторону, что получится? Наклонится она, как поднос, и все мы утонем тогда в Курдумдарье!

Таджихан остановился, постоял с разинутым ртом, покачал головою — и пошел прочь. Видно, одну сумасшедшую мысль может выковырнуть из головы только другая, еще более сумасшедшая, — как иголка занозу.

Так, в развлечениях, проводим мы дни и едва замечаем, как наступает вечер. Забежав домой сразу после третьей молитвы, что перед заходом солнца, мы наскоро хлебаем мучную похлебку, или затируху, или какое-нибудь варево из маша — с тыквой или рисом, или суп с лапшой, что-нибудь, что оказалось в доме, — и снова убегаем на улицу, над которой начинают высыпать добрые летние звезды...

Наша махалля с одной стороны выходит к махалле Тиканли-мазар, с другой — к махалле Кургантаги. Мы собираемся в глухих тупичках, расположенных слева от главной улицы, и играем допоздна. Вечером — самая игра, особенно в лунные вечера. Летом, весной, осенью улицы наши пыльные, мягкие, одно наслаждение, только вот зимой — вязкая грязь, кому по колено, а нам так по пояс, и тогда мы переносим свои игры на площадь или в крытые переходы со дворов на улицу. В тусклых фонарях, установленных городской управой, горят семилнейные керосиновые лампы. Каждый вечер проходит фонарщик с лестницей, наливает керосин, подрезает фитили, чистит стекла; утром он проходит снова — гасит фонари. В темноте, стоит чуть стойти, они едва мерцают — точно глаз кошки. Их красноватое пламя не столько освещает улицу, сколько напоминает прохожим, идущим по узкому тротуару: «Эй, не наткнись на меня! Я здесь...»

Ну, что можно делать при свете такого фонаря? И разговаривать-то неудобно! Взрослые, едва сотворив последнюю вечернюю молитву, расходятся по домам. Улицы пу-



стеют. Даже ворона не пролетит. Остаемся только мы. Самое время для игры в прятки...

Впрочем, у нас множество и других игр: борьба, «батман-батман», тоже что-то вроде борьбы: играющие стоят спиной друг к другу, сцепятся руками и поочередно поднимают напарников себе на спину; или еще игра в «белый тополь, зеленый тополь» — мальчишки разбиваются на две группы, каждая выбирает вожака, загадывает кого-нибудь, а противоположная сторона должна угадать — кого? Отгадавшие садятся на спины противников и едут до условленного места... Что еще? Ну, вот хотя бы «минди-минди», или «вор пришел», или «головка моей птички»...

По правде говоря, все эти игры немножко похожи друг на друга. И почему это так увлекательно — сидеть верхом на ближнем? Затевая «головку моей птички», ребята опять же разбиваются поровну на две команды, каждая выбирает «матку» — главаря. «Матки» берут какую-нибудь тряпицу, завязывают ее узлом, стараясь придать форму птицы, потом, перешептываясь, загадывают название: козодой, чайка, синица, горлинка, ястреб, пустельга... А обе ватаги терпеливо ждут, пока «матки» наконец договорятся и, показывая тряпичное чучело, приступят к опросу:

— Головка моей птички во-от такая, а туловище во-от такое, отгадай, что за птица?

— Коршун! — вопит ватага.

— Не-ет, не отгадал!

— Курица!

— Хо! Не отгадал!..

— Иволга.

— Не отгадал!

— Филин!

«Матки» сдаются:

— Отгадал, отгадал...

И ребята из команды, к которой принадлежит отгадчик, усаживаются верхом на соперников, дружно кричат: «Хык, мой ишачок!» — и едут на чужих спинах, куда было условлено. Тут кто-нибудь спрашивает у «матки»:

— Верхом или пешком?

Если «матка» скажет: «Что внизу — то вверх», ослики и всадники меняются местами...

Разъезжая «верхом», мы поем песни, их нам тоже не занимать, ну, хоть вот эта:

Хум, хум, кабы власть,  
пить, есть можно всласть.

Хан, хан, Умарали,  
бек, бек, Мадали,  
нам, нам вашу власть,  
пить, пить станем всласть!

Носимся, поем, кричим, пока не выведем из терпения какую-нибудь старуху:

— Чтоб вам провалиться, дети шайтана!

...Да, есть ведь еще «гонки нагишом»! Ну, это совсем просто: берем две тубетейки, привязываем их к вискам, получаются словно бы лошадиные уши! — подол сзади завязываем наподобие хвоста — и устраиваем бег на разные расстояния. Обычно наши маршруты проходят по Тиканли-мазару, по Караташу, по Ялапкари, Алмазару, Деваибегги и снова по Тиканли-мазару; получается круг длиной версты в три. Прибежавшего первым встречают хлопками в ладоши, возгласами похвалы, всяческими знаками почета. Главное, до следующих «скачек» он считается самым сильным...

Кроме силачей, есть еще и богачи, но богатство у нас тоже на свой лад. Главной ценностью почитается альчик, раскрашенный, залитый свинцом, или костяная бита, которую нам подтачивают мастера-веретенщики, или крышка от каких-нибудь старых часов... Эти ценности в ходу главным образом днем, когда бегать по базару да по чужим улицам слишком жарко — в разгар лета, или слишком грязно — зимой. И тут своя вереница развлечений: всякие виды игры в альчики, в орехи, в мяч, в чижики, стрельба из лука, игра в конокрадов...

А ведь в месяц поста ко всему этому прибавляется много интересного. Вечерами мы ходим по махалле из дома в дом и поем «Рамазан». После захода солнца, с наступлением намазшама, четвертой молитвы, и до полуночной трапезы, которая именуется «сахарлик», мы бродим из мечети в мечеть и слушаем, как коры, раскачиваясь, распевают Коран наизусть...

И то сказать, времени у нас хватает, в школе задерживают нас ненадолго, а дел... Какие у нас могут быть дела! Наши родители и себе-то подчас не могут найти работу, где уж там пристроить мальчишек!

Махаллю вроде нашей населяют обычно мелкие ремесленники — кожевенники, что обтягивают кожей литавры и бубны или изготавливают потники; веревочники; мастера, которые чинят фарфоровую или стеклянную посуду (с помощью металлических скрепок), водоносы, носиль-

щики, конюхи, сторожа, массажисты, мелкие служители окрестных мечетей... Правда, в нашей махалле жили главным образом рабочие типографии и кондитерской. Но все же, кого тут только не было! Это родители моих товарищей, я их помню отлично.

Отец Амана, Турсунбай-ака, изготавливал перочинные ножи. Был он вдовец, жена его умерла рано, и Аман остался единственным сыном. Отец Абида — да, Абидов ведь у нас было двое, мы различали по прозвищам: одного звали «Ит» (пес), другого — «Бит» (вошь) — так вот, отец Ит-Абида, Захид-ака, был старьевщиком, а у Бит-Абида отец шил ножны. Кожевенным ремеслом занимался и отец Хуснибая, Аманбай: изготавливал хомуты.

Отец Салиха, Юнус-ака, был хафизом — певцом. Расулмат-ака, отец Турабая, торговал гузой, а отец Абдуллы, Азиз-ака, — керосином. Он разъезжал на повозке с огромной бочкой и продавал керосин на улицах. Разумеется, и повозка, и лошадь, и бочка, и керосин ему не принадлежали: он служил в компании Нобеля.

У Пулатходжи отец что-то вроде коммивояжера; он ездил по разным городам, расположенным по ту и эту сторону границы, и исчезал иногда очень надолго. Говорят, когда Пулатходжа был шестимесячным зародышем, то прирос к утробе матери и оставался там, пока отец — лет пять или шесть — разъезжал по Кашгару; родился он спустя три месяца после возвращения отца.

Собирались мы в доме у Юлдаша, который жил без старших; мать его давным-давно умерла, потом заболел и умер отец — Бува-ака, сапожник.

Кстати, сапожным ремеслом занимался в махалле еще Миразиз-ака; меня даже отдавали к нему в ученье. Из примечательной он был семьи. Отец его, Салимбай, с тех пор как поселился в нашей махалле, кормил семью тем, что приносил кости с бойни и вываривал из них жир. Но когда-то он был воином у Якуб-бека и во время Кашгарского восстания захватил в качестве трофея девушку-китайку. Он привез ее в седле, заставил принять мусульманство и потом женился. Ее китайское имя он сменил на Бахтибуви. Миразиз-ака был младшим их трех сыновей Бахтибуви.

Всех ли соседей я помню?.. Фу-ты, чуть не забыл самых важных птиц! Как, однако, меняются времена! Тогда они были первыми, настоящие богачи: мануфактурщик Карим-кору, торговец воском Якуб-тыква, торговец крас-

ками Абдуллаходжи. Они стояли в мечети впереди всех, только вот не помню, кто в какую мечеть ходил — их ведь было две поблизости: одна на Тиканли-мазаре, другая на Кургантаги. При каждой из них была школа, имамы были и учителями: на Тиканли-мазаре — Шамси-домла, на Кургантаги — Хасанбай. Я ходил во вторую, к Хасанбаю-домле, который учил не по «Хафтияку», а по «Устоиди-Аввалу» и куда быстрее обучал грамоте...

## ПЛОВ В СКЛАДЧИНУ

Это злополучное для меня дело затеял Юлдаш.

Мы играли в альчики под навесом, у главного входа в Лайлак-мечеть, и мне необыкновенно везло. Карманы и рукава моего легкого халата, да еще и поясной платок были полны выигранными альчиками. Я упивался победой и, пряча за пазуху очередной выигрыш, радостно вопил:

— А-а, проворонили! Ащички мои!

Конца удаче не предвиделось. Тут-то и появился Юлдаш. Он подошел, вытирая нос засаленной полой халата, посмотрел на игру и сказал как бы нехотя:

— Что, ребята, устроим плов в складчину?

Все мгновенно к нему повернулись:

— Устроим! Устроим! — Мое везение явно не приводило в восторг никого, кроме меня.

Юлдаш прищурился:

— Где?

— Где хочешь! Ну, хоть в бывшем дворе Ризки-халфи! — Ризки-халфи был помощником учителя.

— Идет, — сказал Юлдаш и стал распределять, кому что. Хуснибая выбрали поваром: котел, шумовку, соль перец, воду должен был обеспечить он. Рис и морковь взял на себя сам Юлдаш. Принести мясо выпало на долю простачка Абдуллы, сало обещал достать я, а прочее (прочего-то почти не оставалось) поручили хитрецу Пулатходже.

Мы разошлись, и я, отягченный выигрышем, отправился домой за салом.

Мать была на кухне. Она развела огонь в тандыре и лепила самсу с тыквой. Я высыпал альчики в своем уголке. Припасы и домашние мелочи хранились в чуланчике, позади нашего старенького домика. Путь туда лежал мимо айвана; на айване моя средняя сестренка нянчила младшую. Пройди я мимо нее даже с самым независимым ви-

дом, она тотчас заинтересовалась бы — куда? — и подняла шум, как сторожевая собака. Пришлось прибегнуть к хитрости.

— Шапаг, — сказал я ей, — а где твой большой мяч?

— Там, где мои куклы, а что?

— А вот и нету там!

— Ах, чтоб тебе пусто было, наверно, ты и взял, отдай сейчас же, отдай!

Я стоял, ехидно улыбаясь. Она кое-как положила сестренку и, зашипев в мою сторону, побежала к своим куклам. Я помчался в чулан, мгновенно отковырнул кусок сала в кувшинчике, завернул его в клочок бумаги, которым кувшинчик был накрыт, и сунул добычу за пояс. Главное дело было сделано. Я спокойно пошел в сарай, где хранились дрова. Оказалось, серая курица снесла яйцо и теперь его высиживала. Мне представлялся прекрасный случай отличиться: кроме сала, я принесу еще и яйцо, а ведь оно не входило в мою долю! Я согнал курицу, она закудахтала и убежала, я пристроил яйцо под шапкой. Теперь оставалась одна опасность: надо было пройти мимо кухни. Я пошел к калитке, будто прогуливаясь, в надежде, что мать занята у тандыра. Увы! Она стояла у двери и со страдальческим видом, со слезящимися глазами, отмахивалась рукой от дыма.

— Ах, чтоб ты сдох! — закричала она. — Опять на улицу?

Я покорно остановился.

— Только и знаешь, что бегать, проклятый! — кричала мать. — А ну, иди сюда, помоги мне разжечь огонь. Дымит, чуть не ослепла!..

Делать было нечего, я пошел к тандыру и стал раздувать пламя. Дым ел мне глаза, яйцо тихонечко перекачивалось под шапкой, точно выжидая удобного случая выкатиться или произвести на свет цыпленка. В кухне было жарко. Огонь наконец начал разгораться, когда я почувствовал, что по животу и ноге у меня что-то течет. Это от жары растаяло сало! Жирная струйка густела и наливалась силой, как арык в половодье. Меня охватили досада и страх. Штанина намочла, растаявшее сало начало капать на землю. Я как раз собирался обернуться, чтобы посмотреть, не видит ли все это мать, — и тут на мою голову обрушился удар.

— Чтоб ты сдох! — кричала мать, размахивая скалкой. — Такой здоровый балбес, сам мог бы иметь детей,

если б женился,— и обмочился здесь, в священном месте, где хранятся принадлежности Фатимы и Зухры. Ах, чтоб...

Тут она осеклась и уставилась на меня. Яйцо под шапкой разбилось, желток, смешавшийся с белком, тек у меня по виску и правой щеке. Мать слышала легкий хруст при ударе, теперь она, видно, решила, что пробила мне голову и это вытекает мозг. Мешкать было нельзя. Я скользнул мимо нее к выходу и помчался со двора. Мать вслед что-то кричала, к ее крику прибавился злобный визг сестренок, но мне было не до них. Через мгновение я был уже далеко на улице.

Обогнув третий угол, я остановился, чтобы обдумать свое положение. Было оно такое, что хуже некуда. Идти к ребятам не с чем. Домой я тоже не мог вернуться, мать вот-вот обнаружит пропажу доброй трети сала, тогда мне и вовсе несдобровать. Куда деваться? Я вдруг почувствовал одиночество и тоску. Нет мне приюта в этом мире!

Я стоял, машинально ковыряя пальцем дувал, у которого остановился. За дувалом, во дворе, шла обычная жизнь, слышались спокойные голоса. Какая-то девчонка крикнула: «Ой, тетя!»

И тут меня осенило: тетка на Сагбане! Как я об этом сразу не подумал!

В самом деле, на улице Сагбан жила со своим мужем, скорняком, моя бездетная тетка, сестра отца. Бывал я у них редко, но они во мне души не чаяли. Детей у них нет, в доме вечно тишь и гладь, все прибрано, все вылизано, так что иногда даже скука берет, да и ребят окрестных я там не знаю. Но зато ведь и дом у них как магазин, чего там только нет! Почти все, что водится на свете!

Три охотничьи птицы с мощными когтями: ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга. Бойцовый петух. Индюк. Обыкновенный петух, но такой огромный и толстый, что на нем можно прокатиться верхом, с фиолетово-зеленой спиной, черными боками и багровым гребешком, похожим на язык пламени. В клетке, плетеной из ивовых прутьев, жил кеклик. В сетке, с дном из тыквы, обитала перепелка. Из певчих там были соловей, щегол, скворец, горлинки...

Жили в доме и три собаки: одна охотничья, борзая (ее держали только из роскоши, дядя с ней никогда не охотился), маленькая комнатная собачонка, которая меня, правда, терпеть не могла, и дворняжка, в старой конуре у ворот. Все они мирно уживались с пышной бухарской

кошкой. Когда я был в последний раз у тети, у кошки появилось пять или шесть котят, и их наверняка тоже оставили в доме.

А какой был во дворе цветник! Портулак, шиповник, ирис, розы, астры, резеда, ночная красавица, георгины, олеандр, ноготки — всего и не упомнишь... Каждый куст дядя с теткой оберегали как зеницу ока, но я так и не мог понять, как им удавалось спасти свой сад от своего зверинца.

И такими они угощали лакомствами! Я вспомнил все это, и у меня даже слюнки потекли от предвкушения той полной удовольствий жизни, которой готово было сменитьсь мое грустное существование изгнанника. Я кое-как умылся у ближнего арыка и отправился на Сагбан, то и дело останавливаясь по дороге, чтобы рассмотреть все попадавшиеся навстречу любопытные вещи, и переживая в воображении начало новой прекрасной жизни.

Как я и ожидал, дядя и тетя встретили меня с радостью. Тетка сразу засуетилась и запричитала:

— Ах ты, голубчик мой, заходи, заходи. Как вырос! Каким тебя ветром занесло! словно брат воскрес и пришел к нам, недаром у меня веко подергивалось сегодня!

Я, скромно потупясь, сказал, что очень по ним соскучился и пришел к ним на несколько дней. От этих слов тетка засветилась, да и дядя обрадовался.

— Ну, молодец! — сказал он ласково, глядя меня по голове. — Вот так молодец! Вспомнил нас! Не зря юлпашша (это такая большая муха) все кружилась нынче по комнате, я и то думал, что за гости будут? Оказывается, это ты! К добру она прилетала, к добру, ай, молодец!

Осыпая ласковыми словами, они повели меня в дом, и я так разомлел от всего этого, что и сам поверил в объявленную мной причину прихода.

Для меня началась жизнь как в раю.

Впрочем, многие уже убеждались и до меня, что жить в раю скучновато. Я понял это к середине второго дня, выяснив свои отношения со всеми животными и при этом дважды доведя до бешенства комнатную собачонку, перекормив дворняжку, лишив громадного петуха нескольких самых красивых перьев во время попытки совершить на нем путешествие вокруг цветника, дав понять двум кошкам — матери и дочери, где их настоящее место в доме, и так усердно перенюхав цветы, что они лишились доброй половины своего аромата.

Я попросился на улицу. Дядя дал мне три копейки на мелкие расходы — немалая сумма (а мне было обещано, что я стану получать ее каждый день, если постараюсь не попасть под арбу), и я отправился навстречу новым знакомствам.

Махалля была не такой многолюдной как наша, но ребят хватало, и занимались они, в общем, тем же, что и мы, так что я без труда включился в их игры. Два дня мы играли в войну, потом стреляли из лука, играли в альчики, однако на этот раз мне не везло. На третий день с утра решили стравливать собак. Из двух бродячих псов, которых мы поймали, один оказался таким слабонервным, что дал стрекача, едва ему представилась возможность. Тогда я решил похвастаться дядиной дворняжкой и тайком вывел ее со двора. Сначала, чувствуя мою поддержку, она отважно кинулась в атаку, но недавние желудочные неприятности, должно быть, сильно подорвали ее силы и веру в себя. Она была побеждена и вернулась с поля битвы с перекушенной ногой. Боюсь, она хромала потом до конца жизни.

Мне было жалко дворняжку, я никак не рассчитывал на такой исход. Теперь пришлось ломать голову, как скрыть эту беду от дяди, но мне снова повезло! Дядю пригласили за город, на бахчу, чтобы поесть дынь прямо с грядки. Дядя решил, что заодно навестит родственников, у которых должен был побывать по случаю хайта, и собрался за город на несколько дней. Он захватил с собой борзую и ястреба-перепелятника, да еще сачок с длинной ручкой, которым ловят птиц. Дворняжкиной раны он не заметил — бедная собака забилась в глубь конуры, к тому же я тщательно загораживал ее спиной. Перед самым отъездом дядя дал мне три бухарских танги:

— Корми птиц, смотри, чтобы они не сидели голодными. Вот, купишь им еще корму, если я задержусь...

Я загордился. Я уже взрослый, мне скоро четырнадцать, мне доверяют важное дело. Да еще не каких-нибудь пташек, а таких хищников, как ястреб и пустельга! Я пошел на птичник. Ястреб и пустельга сидели на насестах в разных углах, вобрав в себя головы. Я не знал, чем дядя их кормит, но в голове у меня мелькнула одна мысль. Помет у них совершенно белый. Белый, как молоко. Может, им нужна молочная пища? Конечно, пресное молоко не годится, слишком жидко, а простокваша? Должно быть, в самый раз! Надо попробовать. Нет, определен-



по эта пицца им в самый раз. Иначе помет не был бы таким белым, и как это никто еще не догадался?

Тайком от тети я взял в кухне горшочек, в котором обычно сквашивают молоко, и отправился на базар. Там за две копейки мне наполнили горшочек доверху. Дома я разлил простоквашу в чашки и поставил их каждой птице. Они бросили на пиццу равнодушный взгляд и тут же отвернулись. Еще бы, породистые птицы, гордые, не какая-нибудь мелюзга! Хоть и голодны, а при людях до пиццы не дотронутся. Будь это курица, она бы тут же показала бы свой низкий характер, сразу бы накинута на еду. А эти — нет.

Я вышел из птичника. Часа два спустя я зашел туда снова. Гордые птицы все еще сидели, отвернувшись от пиццы и не слезая с насеста. Я разозлился. Душа-то с воровья, а тоже — важничают, подумаешь, хищники! Я ведь проявил к ним полное уважение, даже вышел, думая, что они любят обедать без посторонних. А они — на тебе! Не притронулись!

На резном колу в птичнике висели рукавицы дяди: он надевал их, сажая птиц на насест. Я надел рукавицы, взял пустельгу и, зажав ее меж колен, стал кормить простоквашей из серебряной ложки. Когда я решил, что пустельга наелась досыта, я посадил ее обратно на насест и взялся за ястреба. Ястреб тоже прилично поел.

— Теперь порядок, — сказал я им, уходя. — Когда человек сидит неподвижно на одном месте, он знает, как утомляется? А когда наешься как следует, тогда хватит сил, чтобы посидеть спокойно. Теперь сидите себе: сыты — и горя нету.

Так, потихоньку от тетки, я кормил их дня два. Пустельга мне особенно нравилась, и я скармливал ей густой верхний слой простокваши. Забот у меня теперь стало многовато, я почти не выходил на улицу. Тетя молча радовалась, глядя на меня, но я делал вид, что не замечаю, как она вся сияет доброй улыбкой.

— Молодцы! — сказал я. — Не все же сидеть на насесте! Тоже надоедает.

На завтрак птицы опять ели простоквашу. В полдень я решил дать им сюзьмы, они ведь сидели все время на постном и соскучились по жирной пище. Но когда вечером я снова вошел в птичник, то не поверил своим глазам! Пустельга лежала мертвая, подвернув под себя крыло и вытянув ноги. Ястреб лежал в такой же позе; он еще ды-

шал, но ясно было, что долго не протянет... Меня охватил ужас: что я теперь скажу дяде? Он же так любил этих птиц! И чего им понадобилось подыхать? Неужели из-за простокваши? Подумаешь, я тоже люблю мясо. А сколько дней я сидел на одном молоке, да и того — не вдоволь? Надо же, какая беда! Что же я все-таки скажу дяде?.. И тут я понял, что мне сказать ему печего. Жизнь моя в этом городе кончена. Теперь все пропало. Надо уходить, пока не поздно. Уходить куда глаза глядят. Как молодцы в старых сказках, которые рассказывала мама, когда я был маленький. Пожалуй, не такое уж плохое это было время. И я слова почувствовал себя таким одиноким и несчастным, что мне захотелось плакать. Но делать этого было нельзя, тетка могла заметить.

Из тех денег, что дядя дал на корм, оставалось еще пять копеек. Я спрятал их в пояс и пошел к воротам. В крытом проходе висела клетка с горlinkками, которых я очень любил. Я посмотрел на них с сожалением, подумал немного и вдруг решился: тихонько спял клетку с крючка, поставил ее на голову и вышел. Улица была почти пуста. Я пошел быстрым шагом, чтоб отойти поскорее от дома. Мне представилась тетя: когда я уходил, она готовила шавлю для кошек. Что она будет делать, когда меня хватится? Уж наверно, заплачет. Чтоб отогнать эти мысли, я в виде напутствия хлопнул себя свободной рукой по заду и — деньги в поясе, полы подоткнуты, клетка с горlinkками на голове — пошел, пошел, как герой сказки, держа путь далеко... за пределы города.

Я по дальней дороге, рыдая, пойду,  
ты останешься, плача, в печальном саду.  
Мы две горlinkки малых, два слабых птенца,  
и разлука меж нами — как путь без конца.  
Ах, печаль моя, пыль да полуденный жар,—  
каково мне, расскажет дорожный комар.  
Я же — песню сложу про тоску да жару,  
каково на дороге тому комару.  
Ах, спроси не меня, расспроси мудреца,  
каково нам, скитальцам, в пути без конца...

## БАЗАР

Я шел куда глаза глядят, а так как частенько они глядели по сторонам, я долго плутал в глиняном лабиринте, пока выбрался на дорогу, ведущую прочь из города. Тем

временем стемнело. Черные тени карагачей, чинар, тополей, стоявших по обочинам, слились воедино. Днем они дарили прохладу, теперь под деревьями казалось душнее, чем в поле. Дорога опустела. Неподалеку разъехались с руганью две встречные запоздалые арбы, прошел мимо, прихрамывая, какой-то дехканин. Он обогнал меня, видно, торопился домой. Пора было и мне подумать о почлеге. Время от времени к самой дороге выходили дувалы каких-то дворов, там негостеприимно лаяли собаки. Я решил переночевать в поле. На свободе и впрямь было свежее. Только теперь я сообразил, что не захватил с собой ни еды для себя, ни корма для горлинок. Придется терпеть до утра. Я вспомнил с сожалением теткинны теплые лепешки и даже простоквашу, которую скамливал проклятым птицам. Клетку с горлишками я сунул в какой-то густой куст, расстелил рядом свой халат и лег. Надо мною простиралось черное, утыканное звездами небо. В первый раз оно показалось мне таким громадным. И звезд столько, что, пожалуй, их и вправду не сосчитать. Я попробовал — и заснул.

Разбудило меня солнце, оно только что встало из-за горизонта и брызнуло светом в глаза. Тело ныло — постель была жестковата. Но голова стала легкой и ясной. Я натянул помятый халат, взял горлинок и отправился дальше в путь.

Долго ли, коротко ли я шел (как говорят в сказках), но впереди показались дома селения. Звалось оно Аччабад, это я потом узнал. Не успел я опомниться, как навстречу вынеслась ватага черномазых ребят разного возраста. Они окружили меня и, разглядывая, стали обмениваться замечаниями разной степени дружелюбности, начиная от довольно лестной характеристики моего халата и кончая предложениями отлупить меня, чтоб не шляется там, где не надо. Их было человек двадцать, некоторые раза в полтора выше меня, другие доставали мне до пояса, таких четверых можно бы уложить одним ударом. Но об этом сейчас нечего было и думать.

Неожиданно от них поступило деловое предложение.

— Продай-ка горлинок, — сказал басовито самый длинный, должно быть, главарь. На нем была рыжая тубетейка, разорванная почти до середины, так что голова у него походила издали на треснувшую дыню.

— Не продаются, — сказал я как можно более твердо.

— А-а, не продаются! — пробасил Рыжая Тюбетейка таким зловещим тоном, как будто теперь-то уж наступило самое время втоптать меня в землю. Ватага сгрудилась тесней. Рыжая Тюбетейка подумал и сказал: — Ну, тогда выменяй!..

— На что? — Я решил продать свою жизнь возможно дороже.

Тут они все ужасно загалдели и стали совать мне под нос у кого что было в руках. Особых цепностей я не увидел, но поскольку с горlinkками все равно приходилось расставаться (я-то был уверен, что они их у меня попросту отнимут), это было лучше, чем ничего. Минуту спустя они унесли с горlinkками, а я остался с кучей добра на руках. Тут было три обода от решет, деревянная трещотка, две игрушечных колыбели, продырявленный бубен, кожу и обод которого зачем-то выкрасили в красный цвет, деревянная лопатка, две порции жвачки. Я прогадал или они — это одному богу известно, но теперь моя поша сделалась в несколько раз тяжелее. Кое-как связав все и взвалив себе на спину, я двинулся дальше и миновал селение без новых происшествий.

Деревья по обочинам давно уже остались позади, вокруг расстилалась бугристая степь, поросшая колючкой, там и сям зловеще поблескивали проплешины солончаков. Ноги мои погружались в пыль, сверху пекло полуденное солнце, мне страшно хотелось и есть и пить — даже не знаю, чего больше.

Вдали показалось одинокое дерево, и я, сколько мог, ускорил шаг, торопясь добраться до тени. Она была уже близко, когда я заметил, что навстречу мне, тоже, видно, направляясь к дереву, бредет тощая фигурка с кетменем на плече. Что-то в ней показалось мне знакомым. Мы сошлись еще немного поближе, и — подумать только! — я узнал моего друга Аманбая. Того самого Аманбая из нашей махалли, отец которого торговал ножами собственного производства! Мы оба страшно обрадовались и побежали навстречу друг другу, забыв жару и усталость. Встретились мы как раз у дерева — старой джиды.

Недели две назад отец послал Аманбая к родственникам в кишлак, чтобы они пристроили его поденщиком. Теперь поденная работа кончилась, и Аманбай возвращался домой — пешком, таща на себе кетмень. Он, конечно, ничего не знал о моем бегстве из дому и, приметив ободы от решета, решил, что меня тоже послали на зара-

ботки — формировать кизяк. Мы сели под джидой, и я рассказал ему про свои несчастья.

Обменявшись новостями, мы оба вспомнили, что голодны, и, как по команде, задрали головы кверху. Но, увы, никаких плодов на джиде не было.

— Видно, она того сорта, что плодоносит раз в два года, — сказал я ехидно. — Надо не забыть прийти сюда в будущем году.

— Ну и дурак, — сказал Аман. — Сейчас же саратан, забыл, что ли? В саратане плоды отправляются в Мекку, чтобы им на косточках написали «алиф»! Они скоро вернутся.

Как я мог забыть об этом! Есть нам, однако, было нечего. Ни у меня, ни у Амана — ни крошки съестного.

— Вообще-то не очень далеко отсюда Кок-Терак, — сказал Аман нерешительно. — Большо-ой город... И базар там здоровый!

— Пошли?

— Я ж домой иду...

— Пошли! — сказал я. — У меня деньги есть, и вещей сколько! Продадим!

— У меня тоже есть деньги. Я ж заработал.

— Ну вот! Пошли, а завтра вернешься! А то... пойдём со мной? А?

Аман молчал, переживая внутреннюю борьбу. Мое предложение явно показалось ему заманчивым. Я стал рисовать яркие картины будущего путешествия и богатые возможности, которые перед нами открывались. Он слушал, изредка взглядывая на меня, и вдруг вскопился:

— А, ладно! По рукам! Клянешься — все пополам?

Я с радостью поклялся.

Мы разделили пожитки поровну, подсчитали деньги (я оказался сравнительно с Аманом прямо-таки богачом: он заработал поденщиной без малого одну таньгу) и зашагали. К заходу солнца мы пришли в Кок-Терак и остановились в чайхане. Нам повезло: назавтра была пятница — базарный день. Утром мы отправились на базар.

Это был базар, скажу я вам! Ну и ну! Всем базарам базар! Иран да Туран, Мекка да Медина, Маймана да Майсара, Стамбул и Мазандаран! Ни во сне, ни паяву, ни в грезах не доводилось человеку видеть такого базара. И рассказать нельзя, сколько тут было разных торговых рядов, какое обилие товаров, какая пестрота базарного люда! А лица торговцев — такие хитрые, как будто им не раз уж

удалось обмануть весь свет! И одежда на них — всех цветов радуги, да еще у каждого цвета по два сына с внучатами, такие оттенки, что и не знаешь, как назвать! В глазах так и пестрит, так и мелькает, в ушах — гам, звон, грохот, точно народ расходится после Страшного суда. Такого базара не описывает ни «История пророков», ни книга «Хурилика», такого базара и не было еще в мире.

Нет уж, давайте рассматривать все по порядку! Вот парфюмерно-галантерейный ряд. Галантерейщики разложили свой товар прямо на земле, устроив навесы из старых мешков, перепачканных паласов, клочков материи, из сшитых лоскутьев — красных, синих, зеленых. Тут можно все найти, чего душа ваша пожелает, все, что от сотворения мира изготовляли галантерейщики и парфюмеры. Желаете ли ртутной мази против вшей и блох? Или, может, масла индау от чесотки? Или средства от сибирской язвы? Или имбирь, александрийский лист, аконит? Или черные бусы с белыми крапинками, которые надевают от дурного глаза? Или шарики от болезней желудка? А то, может, вам нужна большая игла, какой стегают ватное одеяло, или гребень для бороды, или шнур для штанов, или тесемки, чтоб подшить штаны снизу? Или лекарственное растение «халилан-занг» — кто его знает, от чего оно лечит, но если вам неизвестно, чем вы больны, оно в самый раз. А вот пластырь с целебной мазью от всяких ран и язв, бухарская жвачка, гвоздика, лекарственная гречиха... Что и говорить, тут есть все! Ирбит, настоящий Ирбит!

Только и остается восхищаться теми, кто все это собирал, сортировал, раскладывал...

А вот другой торговый ряд. По одну сторону — гончары, по другую — торговцы мылом. У гончаров вас ждут целые выводки обожженных глиняных красавчиков, целые семейства кувшинов, кувшинчиков, чашек, блюд, похожих, как близнецы или братья-погодки. Нужен вам большой таз или, наоборот, маленький тазик, или требуется огромный хум — пожалуйста, их только что вынули из хумдана, такой здоровой печи, где обжигают глиняную посуду. Или вы хотите горшочек для заквашивания молока? Или маленький кувшинчик с горлышком, как у дышла? Все это ждет вас, ждет не дождется, и от радости так и отдает звоном, стоит щелкнуть по стенкам пальцем.

В ряду у мыловаров разложено круглое мыло, свечи. Перед мыловарами в хурджунах — шкварки и внутрен-

ности животных. Жужжат тысячи зеленых мух. Чтобы купить здесь фунт мыла, необходимо сначала обмотать нос платком или спрятать его в рукав. Некоторые мыловары, привлекая покупателей, стоят с угощением в руке — пиалой чая и кусочком лепешки. Но какой уж там чай, какая лепешка! Хорошо еще, если не вывернет тебя панзанку. По мне, лучше век не видеть мыла, лишь бы не пырять в эту вонь, густую, как вчерашняя шавля.

Однако ж это еще не самые знаменитые ряды: на весь мир прославлен «Битбазар», — то есть «Вшивый рынок», барахолка. Вот уж тут действительно можно найти все, что душе угодно и чего не угодно: солдатские брюки, непарные кавуши из сагры, толстый стеганный ватный халат, который и носили-то всего лет семь, не больше, одна беда — сейчас трудно установить, из какой ткани его сшили; или тюбетейку, — очень ценную по-своему тюбетейку, ведь по возрасту она могла бы стать аксакалом среди всех тюбетеек к востоку от Каспийского моря; или верхнюю одежду с короткими, до локтей, рукавами времен Малляхана; или лоскутья разных цветов — чего только не сошьет из них искусная мастерица! А может, вам нужна попона? Хоть ее и сняли с дохлой лошади, она еще поживет! Или сафьяновые ичиги — о, вы их еще поносите, стоит только поставить новые задники и подошву да покрасить как следует голенища! А сколько тут материи для портянок, — какой выбор! Для портянок или еще для передников, которые падевают мужчины, когда моются в бане...

Но самое интересное — физиономии перекупщиков, которые всем этим торгуют. Они не мыты уже добрую неделю, борода отроду не знали бритвы, но лица так и светятся. Стоит вам обратить внимание на товар да спросить цену, они просят так, словно воскрес их дорогой покойник, которого вчера только с рыданиями похоронили. Они непременно сначала поздороваются с вами за руку, а потом уже назовут цену. О, доводилось мне слышать, что есть на свете место, именуемое «Амиркан». Видно, это самый Амиркан и есть!

И надо же, именно здесь, на Битбазаре, мы встретили Хуснибая из нашей махаллы! Мы увидели его, когда уже довольно долго бродили тут, ошеломленные гамом, пестротой, обилием, все еще не решив, с чего начнем — с продажи или с покупки. Хуснибай торговал лоскутом! Лоскут — это не просто мелкие лоскутки, а изрядные, в поло-

вину или три четверти аршина, обрезки ситца, которые зачастую остаются, когда распродан целый кусок материи. Крупные торговцы мануфактурой сбывают их по дешевке коробейникам, а те, разложив в хурджунах так, что свешиваются паружу краешки самых разных узоров и расцветок, разносят по базарам. На лоскут находится много покупателей. Ведь аршин самого дешевого ситца стоит восемь с половиной пакиров — семнадцать копеек! Беднякам это редко по карману. Шить будничную одежду целиком из ситца они не могут, вот и покупают обрезки на рукава и нижнюю часть штанин, видную из-под халата; остальное шьется из буза.

Когда Хуснибай успел заделаться коробейником, мы понять не могли, но ходил он как заправский торговец: оба мешка переметной сумы набиты лоскутом, в руках аршин.

— Кому поплин, кому ситец, кому сатин, кому мадаполам, кому бязь, тик, кому чертову кожу, покупайте, посите на здоровье! — орал он во все горло — и вдруг увидел нас. Он так удивился, словно встретил живых имамов Хасана и Хусана. — Ой, это вы? Откуда вы тут взялись?.. А меня отец хотел послать на базар с хомутами, но я сказал, это мне не под силу. Я уже давно хотел побродить, как мой дядя, коробейник, отец дал денег на лоскут, а тут как раз Саид-Палван ехал на базар, вот я и здесь... Глядите, какой товар, такого не найдешь и в магазине Юсуфа Давыдова! Рубля на три товара! — Он спохватился. — Да, а вы-то что здесь делаете? Ты, Амап, из кишлака идешь? — Тут он вспомнил про мою историю: — А ты — хорош! Учеником к цыганам нанялся, что ли? Где это ты шатаешься уже вторую неделю? Бедная твоя мать, где только тебя не разыскивала! Не сдох бы, если б дал о себе знать! Спасибо, твой дядя приходил и успокоил мать. Сказал, что ты пять дней жил у него, а потом в Капланбек подался, к другому дяде. Мол, до осени поможешь ему в поле... Как же это ты здесь очутился? И дяде наврал? Заглянул бы ненадолго к матери, дурак! А то она все плачет...

— Подзаработаю сначала немножко, одежду справлю, потом вернусь.

— Спра-авишь! Еще и без этой останешься!

— Ну-ну, полегче!.. У меня вон тоже товар есть.

— Ого! Действительно! Где это ты набрал? Воронье гнездо ограбил?



— Ладно, ладно! — вмешался Аман. — Хватит ругаться, и так жарко. Ты лучше расскажи, что в махалле нового?

— Что там может быть нового?.. Хотя, вы же еще не знаете! — Хуснибай оживился. — Там такое было! Бакалейщик Джалил сложил свое сено на крыше мечети, а там пожар начался. Пожарные приезжали, вот было здорово! А еще Пулатходжа стащил у своего брата револьвер и пристрелил собаку сторожа. Миршаб посадил его на сутки, приходили два полицейских и сам Мочалов! Все попрятались по домам, а мы с Салихом подсматривали с балхоны Миразиза-ака. Мочалов говорит (тут Хуснибай стал передразнивать Мочалова): «Ай, ай, жаман, жаман, совсем жаман, тувая Сибирь пойдешь...» А брат Пулатходжи все твердил: «Пожалиска, пожалиска...», сунул порядочно денег, они и ушли. Пулатходжу отпустили, а брат ему давал знаешь как. Только он теперь хвастается, что никого не боится — ни полицейских, ни Мочалова, ни сторожа, слепого Рахима. «Всех, говорит, перестреляю, если захочу!» Мы ему всыпали слегка, а он говорит — я и вас перестрелять могу...

— Ох, задам я ему, когда вернусь, — сказал я.

— Конечно, задашь, — сказал Аман насмешливо. — Только вернись.

— Эй, Хуснибай, — сказал я. — Придешь домой, не забудь передать привет моей матери и сестренкам, скажи, пусть за меня не беспокоятся. Да, постой, этот пятак отдай Юлдашу, я ему должен. Ну, мы пошли по своим делам. Прощай!

— Прощайте! — сказал Хуснибай, и через секунду мы услышали, как он снова заорал: «Кому пошлин, кому ситец...»

Мы с Аманом решили выставить для продажи то, что я выменял на горлинок, и прибавить к этому еще кетмень. Покупателей около нас появилось очень много, и мы подумали было, что товар у нас ходкий. Однако это оказались просто любопытные, — их интересовала даже не цена, а назначение наших вещей, и они высказывали разные остроумные предположения. Помучившись около часа, мы продали наконец кетмень Амана и мою деревянную лопатку. Дело не обошлось без добровольных посредников.

— Ну, по рукам, что ли, — говорили они еще и после того, как мы, проторговавшись с покупателем полчаса,

уже уступили ему: кетмень — за полтинник, а лопатку, по случаю летнего времени, всего за полторы таньги.

Деньги Аман завернул в поясной платок. Теперь надо было избавиться от остального. Игрушечные люльки и трещотку я дал Аману, а сам взял бубен и ободы от решета. Аман завертел трещоткой, а я ударил в бубен, чтобы привлечь покупателей. Нас тотчас окружила толпа таких же, как мы, оборванных ребят, они собрались на бесплатный концерт. Одному худенькому мальчугану ужас как понравилась трещотка. Это был сын дехканива. Аман взял его на крючок и, не допуская возражений, скоро выменял трещотку на два арбуза и дыню. Я подмигнул ему: молодец, дескать, у тебя рука легкая. Вслед за тем мы продали бубен юноше с красивыми усами, который разъезжал по базару на буланой лошади. Он дал таньгу. А потом нашелся и «слепой покупатель» на игрушечные люльки: старенькая казашка, которая принесла на продажу курицу, яйца, курт и пшено.

— Вай-буй, миленькие мои, отдайте мне эти люльки, принесу детишкам с базара подарок, порадуя внучат!

Аман сказал суровым тоном:

— Люльки не продаются отдельно от обода.

— Вай-буй, миленький, что же мне делать с ободом без сита?..

Качая головой, она пошла было прочь, но вернулась:

— Ладно, так и быть, куплю, пусть дети играют. Сколько просите?

Торговались долго, пока остановились на двух десятках яиц, тибетейке пшена и десяти шариках верблюжьего курта. Избавившись от вещей и получив плату, мы почувствовали себя легкими, как птицы.

— Ох, устал я! — потягиваясь, сказал Аман. — Надо перекусить, а?

— Пошли. Что будем есть?

— Главное, чтоб дешево и сытно!

— Тогда просяную похлебку!

За один пакрыр мы купили две кукурузные лепешки и пошли в ту сторону, где торгуют горячей пищей. Тут были на выбор шашлык из печенки (печенка, правда, чуточку припахивала, но кто обращает внимание на такие мелочи?), самса с картошкой, лапша, каша из рисовой сечки, затируха, похлебка из пшеницы, похлебка из проса... Целые ведра пищи ждали едоков; едоки, подходя, располагались на корточках, а повара, разливая половником, по-

давали им с легким поклоном похлебку. В иной чашке с лапшой плавало что-нибудь черненькое. «Это что такое — не муха?» — спросит привередливый едок. «Ну уж, муха! Откуда муха в лапше? Лук горелый...» — ответит повар и — раз-раз, пальцы в чашку, вытащит свой «горелый лук» — и в рот... «Пожалуйста, ешьте спокойно».

«Дешево тут, чисто», — подумали мы и тоже взяли по чашке лапши. Чашка стоила три копейки, но мы сторговали две чашки за пять копеек и принялись есть с удвоенным удовольствием. Хорошо! Лапша слегка прокисшая, но с хрустящей кукурузной лепешкой она кажется нам вкусной, как сливки. Аман, высоко подняв чашку, шумно хлебает, втягивая лапшу с таким шипящим звуком, будто рядом потревожили целый выводок змей, я тоже стараюсь, и мы оба то и дело левой рукой смахиваем пот со лба.

Покончив с обедом и закусив одним из арбузов, мы сладко потягиваемся. Яйца, пшено, курт, остатки кукурузной лепешки мы заворачиваем в мой поясной платок. Я беру узелок и дыню, Аман — арбуз. Куда дальше?

Оказалось, у Амана появилась новая мысль. Наши деньги завязаны у него в поясе — там набралась теперь солидная сумма, почти два рубля. И они не дают ему покоя. Правду говорят: жир полезен только барану. У Амана сразу появились замашки байского сынка.

— Идем-ка сходим на скотный базар, — сказал он мне.

— Это еще зачем?

— А я на свою долю куплю барашка и отведу его в город.

— Ты что, спятил? — сказал я. — И самому-то нечего жрать, где уж тебе прокормить барана? Или твой отец только и ждет, чтоб ты ему барана в дом привел?

Но мои слова отскочили от него, как горох от бубна, и он поволок меня на скотный базар. Дыню и арбуз мы оставили у ворот, у сборщика, а узелок взяли с собой, мы его никому не доверяли. Если базар напоминал прихожую Страшного суда, то здесь, на скотном, этот самый Страшный суд и происходил. Не знаю уж, что думала на этот счет бедная скотина, наверно, она тоже полагала, что пришел последний день. С одной стороны отчаянно, без умолку блеяли бараны, связанные по десять одной веревкой, с другой — вопили козы с козлятами. Чуть подальше исходил мычаньем крупный рогатый скот — коровы, телята, телки, быки, волы. Еще дальше — конный базар. Барышники торгуют тут несчастными клячами, выдавая их

за аргамаков, для этого они сперва загоняют их в речку, нещадно стегая; речка течет неподалеку и зовется Загарык. Взад-вперед снуют тьма людей, это большей частью перекушники; около привязанных животных стоят, переругиваясь, торгуясь или попросту громко разговаривая, продавцы и покупатели. В сторонке — владельцы крупных овечьих отар. Двое из них — ташкентские баи, остальные — казахи, они в кошмовых чекменях, в войлочных шляпах, трясут друг друга за руку, торгуются. Меж ними тоже снуют маклеры, они то и дело подзадоривают: «Покупайте, бай-ота, покупайте!», или: «Продавайте, бай-ота, продавайте, в самый раз!» Глаза у маклеров поблескивают, руки дрожат... Еще бы, тут пахнет поживой, речь идет о сделках на сотни рублей!

Человеческие голоса тонут в мычанье, ржанье, блеянье. Солнце в зените, жара невыносимая, в воздухе нерассеивающейся тучей стоит пыль, острые запахи пота, мочи, помета, шерсти. И посреди всего этого медленно идет водонос с бурдюком за плечами и двумя глиняными чашками в руках:

— Вода, холодная вода! — Это он угощает с богоугодной целью и раздает воду всем, кто хочет пить. Кто желает расплатиться за воду, бросает деньги в глиняную чашку, что в руках водоноса; кто не желает, может не платить, человек с бурдюком на него и не посмотрит.

Вот и еще напиток: двое босопогих мальчуганов, поменьше нас с Аманом, зазывают во весь голос: «Кому холодный айран!» В ведре с айраном плавают кусочки грязного льда. Где только они раздобыли лед?

Мы привыкли уже к сутолоке Битбазара, но этот нас ошеломил. Мы бродили, останавливаясь около торгующихся, рассматривая вместе с ними зубы верблюда, походку и стати лошади, выясняя цену на пегого быка. По-моему, Аман забыл про своего барана. Может, он бы еще о нем и вспомнил, не начнись скандал в восточной части базара. Шум скандала докатывался до нас медленно, как неповоротливый гром перед осенней грозой, и, наконец, докатился.

— Бей его! — завопил кто-то по-казахски.

— Карманщик!

— Вор на базаре!

Залились свистки. Двое полицейских, казах и узбек, побежали туда, переваливаясь на бегу, с саблей в одной руке, поддерживая другою синие суконные штаны. Мы

побежали вслед и сразу же их обогнали. И кого же мы увидели в центре толпы? Не верите? Аман свидетель: по середине стоял отлично известный нам обоим вор из соседней махалли Кугирмач по имени Султан. Но он был здесь в роли не вора, а пострадавшего! Да, да, он возвышался среди толпы, со слезами благородного возмущения на глазах, держа за шиворот какого-то безобидного на вид паренька, похожего на подмастерье.

— Мусульмане! — говорил плачущим голосом Султан и бил себя рукой в грудь. — Когда у меня украли деньги, это все время вертелся около... Я его подозреваю!

Парнишка, белый как полотно, весь дрожал.

— Господи боже, спаси меня от клеветы, господи боже, в какую беду попал... — бормотал он.

— Сколько у тебя денег было? — спросил у Султана подоспевший полицейский-казах.

— Восемь рублей и четыре таньги без одного мири. В кошельке из тика в цветную полоску. Там было еще мое серебряное кольцо с надписью «О,Али». Я бедный сапожник... Приехал купить тощенького барашка, чтоб откормить его к осени!

Тут взгляд Султана, бродивший по толпе, наткнулся на нас с Аманом:

— Вот эти ребята тоже очевидцы!

Аман, стоявший рядом, от неожиданности даже подавился слюной. Он тихонько ойкнул, попятился и исчез за спинами. Я не мог сдвинуться с места.

— А у тебя сколько было денег? — спросил полицейский паренька.

— У меня... тоже кошелек в цветную полоску... А денег... денег восемь рублей и две таньги без одного мири. Я тоже барана приехал покупать, ей-богу!

— Тут не нужны никакие свидетели, — сказал полицейский-узбек. — А ну, пошли оба к аксакалу, там разберемся. Та-алпа! Ра-азойдись!

Они ушли, но я, конечно, за ними не последовал. Я кинулся искать Амана, который исчез, от испуга забыв и про барана, и про меня, и про все на свете. Нашел я его только к вечеру, браня на все корки его трусость. Он еще не пришел в себя от страха.

— Чем кончилось? — спросил он у меня.

— Чем кончилось? Хорошо, что ты удрал, оказалось, ты сообщник карманника, полицейские тебя ищут.

— Нет, правда? Что ж нам теперь делать?

— Что делать, что делать! — передразнил я его. — Ты бы лучше думал, что делать, когда ни с того ни с сего удирать кинулся. Из-за тебя дыня и арбуз так и остались у сборщика!

Аман слегка успокоился.

— А где мы ночевать будем? — спросил он.

Мы побывали в нескольких чайханах. Все было занято торговцами, барышниками, коробейниками, даже присесть негде.

— Куда ж мы пойдем? — снова спросил Аман.

— Не бойся, что-нибудь придумаем... Постои, кажется... кажется, придумал. В прошлом году мой дядя тоже был здесь в базарный день, так он рассказывал, что они не устроились на ночлег в чайхане и нашли какую-то старушку... казашку, что ли... с таким еще смешным именем... А, вспомнил: Яхшикыз!<sup>1</sup> Это где-то недалеко от базара. Она живет в юрте и торгует бузой. Пошли, поищем?

Аман, у которого глаза все еще бегали, как у лисы, гонимой собакой, молча последовал за мной.

## НОЧНАЯ КОМПАНИЯ

Юрту старушки Яхшикыз мы нашли без труда. Она стояла неподалеку, на левом берегу Загарыка. Вокруг юрты чисто подметено, рядом — обширная глиняная супа, застланная грязноватым ковриком. Возле самой юрты вделан в низкий очаг котел без крышки. Тут же стоит большая деревянная маслобойка, а поодаль, на двух рогатинах, воткнутых в землю, натянута веревка, и на ней в кружочках из прутьев висят три или четыре глиняные чашки, наверное, с молоком и сливками, да еще две тыквянки, должно быть, с простоквашей. Тут же прыгает, резвится теленок; старая цестрая дворняжка привязана к полузасохшей иве — она встретила нас равнодушным лаем, похожим на перханье. На лай вышла из юрты сама старушка Яхшикыз. Ей лет шестьдесят, поверх нечесаных седоватых волос накинут небольшой цветной платок, закрывающий лоб; старым шерстяным платком она подпоясана, на концах кос висят украшения — пять-шесть серебряных рублей и полтинников.

— Здравствуйте, бабушка!

---

<sup>1</sup> Я х ш и к ы з — значит «хорошая девушка».

Прежде чем ответить на приветствие, она буркнула собаке что-то нечленораздельное, вроде заклинания: «Штч абдрасгур». Собака замолчала. Старуха показала на супу.

— Пожалуйте, молодые люди, садитесь.

Я подмигнул, и Аман протянул старухе наш узелок.

— Гостинцы с базара,— сказал я.

— Не надо, зачем беспокоиться,— сказала она, но узелок взяла и унесла в юрту. Немного погодя она вышла: — Ну, молодые люди, будете пить бузу или мясо приготовить?

— Бабушка, пить не будем, и мясо готовить не надо, лучше поджарьте нам яичницу. У вас можно переночевать?

— У бога просторно, и на небе и на земле,— сказала старуха.— Лето. Где хотите, там и спите. Дадите одну таньгу за двоих.

— Ох, бабушка,— сказал я,— у нас всего-то на двоих полтаньги!

— Хитрые дети у сартов!.. Ну, ладно, переночуйте. Сегодня базарный день, гости придут, байские сыновья, веселье будет на славу...

Она развела огонь под котлом. Мы с Аманом сидели, советуясь, куда держать путь дальше. Скоро старуха принесла нам яичницу на глиняном блюде и две тонкие лепешки из пресного теста, испеченные в котле. Мы принялись за еду. Яичница показалась нам вкусной, и Аман только начал вылизывать блюдо кусочком лепешки, когда к юрте, оглашая окрестность громовым смехом и криками, подошли пять человек. Впереди шагал долговязый парень, неся на левом плече полтуши барана, а в правой руке узел — видно, с лепешками, луком, морковью. За ним следовал другой, похожий на воспитанника медресе, с козлиной бородкой, в грязной чалме. Он ступал осторожно, с почтительно-вежливым выражением на тощем лице. На нем было два легких халата — один снизу, подпоясанный платком, другой надетый поверх. А следом... Следом шел сам Султан-карманник! Штанины подвернуты, поясной платок скручен, как аркан, ворот тикового халата распахнут, край грязной тюбетейки вывернут... а на лице такое наглое, победное выражение, что от него тут же начинает свербеть в животе. Увидев его, я сразу же позабыл про остальных двух; кажется, они были похожи на Султана. Только у одного — это я потом разглядел — бельмо на гла-

зу, а у второго — правое плечо выше левого, так что левая рука кажется длинней...

Когда Аман рассмотрел, кто к нам пожаловал, у него, видно, кусок застрял в горле. Он взглянул на меня вытаращенными глазами, и я сделал знак, что надо освободить супу. Мы отошли к самому берегу Загарыка, под иву, где была привязана дворняжка, но дряхлая собачонка не обращала на окружающий мир никакого внимания.

— Здравствуй, мать! — громко сказал Султан-карманник. — На эту ночь мы твои гости! Слыхала?

Тут он огляделся и сразу заметил нас:

— А-а, жулики! И вы здесь? Вы что тут делаете? А ну-ка, идите сюда!

Нам ничего не оставалось, кроме как вернуться на супу, где уже расселся Султан со своими приятелями. Старуха принесла лепешки, завернутые в грязную скатерть, следом вынесла большую деревянную чашку и спросила Султана:

— Бузу из риса будете пить или из проса?

— Давай ту, что получше!

Старуха ушла в юрту.

— Что это вы делали на скотном базаре? — спросил нас Султан.

Аман смотрел в землю, а я сказал:

— Просто так, Султан-ака... прогуливались.

— Вон как! Самое место для прогулок. — Он прищурился: — А то, может, взять вас к себе в ученики, а? Вы, пожалуй, сойдете! Правда, вот этот, — он показал подбородком на Амана, — вот этот стодится только, чтоб залезать в дома через крышу. Слишком неуклюж для карманника!

Он засмеялся. Я поспешил воспользоваться этим, чтоб сменить тему:

— Султан-ака, а чем кончился скандал?

— Хо-хо, ты и не знаешь? Веселая история была, а? — Он посмотрел на приятелей, они закивали. — Нынче утром сидим мы в чайхане, я и похвалился, что сумею взять деньги, будучи невиноватым, ну, значит, взять их с согласия хозяина, понял, малыш? Они со мной поспорили — кто проигрывает, поит всю компанию бузой. Ну вот, я и пошел на скотный базар. Вижу, идет этот растяпа. Я у него стащил кошелек, сосчитал деньги, добавил от себя две таньги да еще вложил свое серебряное кольцо и сунул ему кошелек обратно в карман. А потом и разыграл ту штуку, которую ты видел! Привели нас к аксакалу, пересчитали деньги,



вышло, конечно, по-моему, ну, мне и отдали кошелек, только взяли полторы таньги магарыча! Ловко, а?

— Ловко...— еле выдавил я из себя.— А что тот... растяпа?

— Ха-ха, посадили его, что ж еще! Ну, не бойся, он недолго сидел, я над ним сжалился, дал полицейскому рубль — взятку и освободил этого дурачка,— сказал, что у меня нет к нему претензий. Ты бы видел, как он обрадовался! Ха-ха-ха... обнимал меня... целовал... хе-хе...

Вся компания захохотала.

— Вы поступили прямо как джигит,— сказал я.

— Еще бы! — Султан глянул на меня краем глаза и усмехнулся.

Старуха уже поставила варить мясо. Голубоватый дымок из очага поднимался в воздух, расстилаясь над нами, как невесомое одеяло. Солнце закатилось, на западе доглевали последние облака, рядом негромко шумела речка. Как было бы хорошо, если б не эта компания! Они, правда, занялись уже собой, позабыв про нас. Султан полулежал на боку, опершись на локоть, долговязый стоял у супы, а похожий на муллу сидел, опустившись на колени, сложив руки на груди, и с видом крайней учтивости слушал, как Султан беседует с долговязым. Двое остальных сидели друг против друга, поджав под себя ноги, и забавлялись, подкидывая спичечную коробку.

Тут старуха принесла и поставила два тыквенных сосуда с бузой и несколько раскрашенных кленовых чашек. Бузу вообще-то пьют подогретой, но та, что принесла старуха, целый день, видно, простояла на солнце, так что подогреть ее было ни к чему. Кроме того, в разливе бузы есть свои правила: разливая, ее непременно процеживают. Долговязый тут же развязал свой поясной платок, встряхнул его, туго натянул на чашку и стал наливать. Потом он попробовал процеженное питье на вкус и протянул чашу Султану.

— Наливай всем,— сказал Султан.

Долговязый налил вторую и третью чаши остальным парням и вопросительно взглянул на Султана.

— Ребят пока оставь, дай домле!

Домла стал деликатно отказываться, отгораживаясь ладонью:

— Что вы, что вы, пейте сами, мы не пьем. Слово аллаха гласит...

— А ну, оставь в покое слова аллаха,— с угрозой в го-

досе сказал Султан. — С каких это пор ты стал непьющим, а? Раньше, небось, напивался допьяна тем, что у нас в чашках оставалось!

— Нет, пьем, но... то есть, то есть... мы зарок дали.

— Заро-ок? А чего стоит твой зарок? Вспомни, кто ты есть! Не вмешайся я прошлой осенью на хлебном базаре у Салара, толпа тебя так бы и прикончила! Нет, подумай, кто ты есть? И в наводчики-то не годишься! Не зря говорят — вор состарится, суфием станет, развратница постареет — начнет злых духов заклинать. Ишь ты, зарок он дал! Может, ты теперь из-за этого ишаном заделался и разъезжаешь в поисках мюридов? А ну, выпей!

Домла взял чашку заметно дрожавшей рукой.

— Согреешь горло — споешь нам альёр. Ну, давай, наследник пророка!

Домла зажмурился и медленно выпедил бузу.

Нас к выпивке особенно не принуждали.

Тыквенные сосуды с бузой подавались один за другим. Подала старуха и шурпу, еще недоваренную. Пьянка разгоралась, домла давно уже размотал свою чалму и подпоясался ею. Он не только не отказывался больше от бузы, но и сам напрашивался на выпивку, пьяным голосом распевая по требованию остальной компании какие-то нелепые песни:

Конь мой скакал у подножья горы,  
долго скакал, пока окошел.  
Много видал храбрецов до поры —  
скачи, мой скакун, я пою альёр!  
Продал за деньги родимую мать,  
где б иначе деньги взять, например?  
Зайца без задних пустил скакать.  
Скачи, мой скакун, я пою альёр!

Девушки в платьях ждут гостей.  
А в платьях тесемок нет, например...  
Пара голубок у них без костей...  
Эй, альерей, я пою альёр,  
скачи, мой скакун, я пою альёр!

Компания между тем пьянела все больше, все говорили одновременно, не слушая других. Я тихонько приподнялся, слез с супы и поманил Амава. Этого никто и не заметил. Мы выпросили у старушки Яхшикыз небольшой палас и подушку и устроились за юртой на ночлег. Но заснуть мы не могли еще долго, хотя устали донельзя. Шум пьянки на супе все разрастался, пришла еще какая-то компания и присоединилась к прежней. Они то принимались

петь хором, то перекрикивали друг друга и смеялись так, что это напоминало давешний скотный базар. Потом, как и днем на базаре, начался скандал. Кого-то били, кто-то зывал о помощи, молился, плакал:

— Клянусь богом, это все, что есть, пусть великий имам меня накажет, если у меня есть еще деньги!

— Поищи-ка в поясе штанов, подлюга!

Грабили домлу. Мы лежали за юртой, дрожа от страха, а привыкшая ко всему старуха, как ни в чем не бывало, ходила среди гостей, убирала посуду, подавала бузу.

Не знаю, когда мы заснули, казалось, этой ночи не будет конца. Проснулся я от толчка в бок. Было еще темно, но край неба уже серел. Надо мной стоял домла. На голове у него снова была чалма, наспех намотанная и еще более грязная, чем вчера, на щеке разлился мощный сияк, один глаз багрово заплыл.

— Вставай-ка, сынок, вставай,— бормотал он,— надо нам бежать, пока они все спят... Видишь, как меня отделали, да и обобрали дочиста, даже на насвай не оставили, как бы и вас такая беда не постигла. Вставай, сынок, скорее...— Он поморщился.— Ох, и трещит голова — как спелый арбуз...

Я разбудил Амана, мы вскочили, ополоснули лица в Загарыке, утерлись полами халатов.

— Куда же вы хотите идти, таксыр? — спросил я домлу шепотом.

— Э, велика обитель всевышнего, мест на земле много, куда ни повернешься — везде кыбла, в любую сторону помолиться можно... Пожалуй... пожалуй, побежим наверх, к холму Кингирак-тепа.

Мы уже пошли прочь от юрты, когда перед нами выросла старушка Яхшикыз.

— А ну, молодцы, куда удираете! Отдавайте-ка деньги! Аман вытащил таньгу:

— Вот, матушка, полтаньги за ночлег, остальное за лепешки и масло для яичницы... Верно?

Она посмотрела на домлу.

— Верно, верно...— сказала она.— Будете здесь — заходите. Счастливого пути!

И мы побежали.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ДОМЛА И ПОКОЙНИК

Мы шли, должно быть, уже часа три, когда добрались до Тепа-Гузара. Было позднее утро. Старик бакалейщик как раз открывал свою лавочку, и мы сделали у него покупки на дорогу: фунт соли, два фунта сушеного урюка, шесть лепешек из кукурузной муки, нитки, иголку да еще две перезрелые дыни. Все это обошлось нам в семь пакиров. Четыре заплатили мы,



остальное — домла. Покосившись на нас, он распорол кромку своего халата и достал деньги: кое-что, значит, у него все же оставалось.

Мы отправились дальше и скоро оказались в зеленой долине. Справа от дороги, у подножия холма, тек прозрачный ручеек. Мы расположились под старым тополем у самой воды, достали кукурузную лепешку, разрезали дыню и стали завтракать. Домла ел дыню и время от времени взглядывал на нас с Аманом.

— Смотрите вы на мой недостойный вид, дети мои, — сказал он наконец, — и знать не знаете, какого человека послала вам судьба. — Он вздохнул и покачал головой. — Ведь не знаете, а?

Аман промолчал, так как рот у него был набит дыней, а я неопределенно хмыкнул, что можно было понять примерно так: знать, дескать, не знаем, но кое-что чувствуем.

— Нет, не знаете,— сказал домла и снова вздохнул, на этот раз печальнее прежнего. Потом он, как бы нехотя, проглотил еще кусок дыни с лепешкой и продолжал: — А ведь я происхожу из старинного и знаменитого рода... Да, да, из самой священной Бухары!.. Правда, мои предки переселились в Ташкент, и весь Ташкент считал себя тогда счастливым! Да, дети мои, деды наши и прадеды были великими ишанами! Что там деды... Мой покойный отец был таким великим человеком, что стоило ему сказать «куф» — и речка начинала течь назад, а если он говорил «суф» — слепой прозревал! Да... Мало было таких, что в него не верили. Несчастливая моя судьба, и зачем он умер так рано?

Тут он снова тяжело вздохнул, потер краем поясного платка угол глаза и с прежним безразличным видом проглотил еще один довольно большой кусок дыни.

— А по материнской линии? Разве по материнской линии мы не были близки к богу? Да моя мать и сейчас славится своей религиозностью! Чего только она не умеет! Девушек привораживать, гадать — и с бубном, и с новой глиняной посудой, которую ставят в тандыр! Нет на свете таких могучих заклинаний, которых бы она не знала! — Тут он проникновенно посмотрел на нас с Аманом.— Дети мои, пусть это послужит вам уроком: я не хотел смолоду учиться у старших, слишком поздно спохватился, и вот к чему это привело! Какие-то негодяи смеют бить меня, потомка великих ишанов!

Он снова полез платком в угол глаза и некоторое время ковырялся там, как бы пытаясь остановить поток слез. Это ему здорово удалось, потому что ни одна слезинка так и не показалась на поверхности. Довольный результатом, он снова посмотрел на нас и сказал торжественно:

— Злая судьба навлекла на меня тяжкие испытания, но теперь я встал на истинный путь, и аллах возвратил мне мудрость моих предков. Я лечу людей заклинаниями и молитвами, а также молитвенной бумагой. Вы знаете, что это такое?

Я-то знал, но Аман почтительно признался, что не знает: слова домлы явно произвели на него впечатление.

— Я пишу молитву на клочке бумаги, а потом ее растирают в воде или чае и дают проглотить больному... Ну вот, кроме того, я знаю немало приворотных и отворотных средств. Поистине, аллах не оставляет своей милостью потомка великих ишанов!

— Вы, верно, учились в медресе, домла? — спросил я.

— Зачем медресе сыну ишанов? Я учился дома. Разве в медресе учат писать амулеты с заклинаниями? А я могу писать не только молитвы, но и великие имена! Вы еще увидите: жители многих кишлаков — мои мюриды. Одни называют меня «ишан-пачча», другие — «коры-ака», третьи — «мулла-ака»... Да, вы ведь еще не знаете, как меня зовут... — Он вобрал воздух, слегка выпучил глаза и выпалил единым духом: — Мулламухаммад Шариф бинни Мулламухаммад Латиф ибни Гавсил агзам!

Он перевел дух с явным удовлетворением, и я увидел, что Аман глядит на него во все глаза, разинув рот. По правде говоря, имя домлы и меня не оставило безучастным, я еще ни разу не слышал такого длинного, но никак не мог забыть вчерашних сцен на супе. Уж слишком подлизывался он к Султану-карманнику.

— Ну вот, — продолжал домла, — теперь вы видите, что сам аллах поставил меня на вашем пути. Если вы будете действовать со мной сообща и называть меня на людях «хазрат», а я вас — своими учениками, то к осени у нас одно станет десятью, наживем добра и за пазуху и в голенища, всего будет вдоволь, ешь — не хочу, да еще и в город вернемся с почестями. Ну что, идет?.. Тогда помните: пока никого нет, можете звать меня «мулла-ака» или «Шарифджан-ака», как хотите. Но при народе — только «хазрат»! Что раздобудем — поделим на четыре части: две мне, по одной вам. А кто отступит от своих обещаний, пусть никогда не сможет повернуться в сторону кыблы! Аминь!

Мы поклялись, повернувшись лицом к кыбле. Потом домла сказал, что пора молиться. Мы стояли на коленях, раскачиваясь, как вдруг увидели столб пыли на дороге. Он приближался, и наконец из него вынырнул силуэт всадника. Мы уже издали увидели, что всадник одет, как дехканин. Полы его халата развевались на ветру, тубетейка съехала на затылок. Лошадь была вся в мыле. Всадник еле-еле остановил ее, подскакав к нам.

— Салам алейкум, мулла-ака, куда путь держите?

Мы вежливо ответили на его приветствие, не слишком распространяясь насчет цели своих странствий. Его, впрочем, интересовало совсем другое.

— А не найдется среди вас, — сказал он, — верующий, который знает предписания шариата и умеет совершить омовение покойника?

Домла посмотрел на нас, мы отвесили ему поклон. Потому он важно откашлялся и произнес торжественным тоном:

— Найдется. Чем можем служить? Мы сами — из Ташкента, из рода пшанов, мы — всезнающий мулла, получили образование в медресе. Сейчас каникулы, и мы ходим по кишлакам, подышать свежим воздухом. А это — два наших ученика...

Всадник так и заерзал в седле от радости и еле дождался, пока домла кончит свою торжественную речь. Ей-богу, он так обрадовался, как будто нашел потайной лаз в стене райского сада.

— Вай-буй, таксыры, вай-буй! Сам бог вас послал! Идите скорее!.. — Он стал поворачивать коня и только тут объяснил, в чем дело: — Недалеко отсюда — наше кочевье, мы ведь скотоводы, таксыр, пастухи. Ну вот, один из наших парней приболел и помер, а совершить омовение да зауспокойную молитву над ним прочесть — некому. Мы уж и не знали, что делать... Вай-буй, таксыр, сам бог вас послал... Ну, пошли!

Аман собрал дастархан, всадник слез с коня и усадил в седло домлу. Мы трое пошли пешком. Путь оказался долгим, раза два мы отдыхали. Когда дорога поднялась на холм, мы, наконец, увидели вдалеке кочевье: глинобитную курганчу и несколько юрт около нее.

— Вот оно, кочевье наше! — сказал проводник. — Видите юрты? Скоро доберемся!

Добрались мы к полудню. Это маленькое кочевое племя вообще-то жило далеко отсюда, в глубине степи, там и сейчас находились их семьи и скот. Один из пастухов заболел, а когда стал совсем плох, человек двадцать молодых парней и несколько стариков понесли его сюда — в степи не было никого, кто мог бы совершить над ним обряды. По дороге он умер.

Когда мы подъехали, все поднялись с шумом и приветствовали нас, прижав руки к груди в знак почтения. Домла спросил важно: «Где покойник?» Покойник находился в курганче. Курганча внутри напоминала скотный двор какого-нибудь бая. Крепкие, с редкими отверстиями стены, двустворчатые ворота. Посреди двора чернел небольшой хауз, питаемый, видно, подземными водами; берега его заросли лишайником, да и вода кое-где зацвела. Хауз окружало несколько молодых тополей. Они выросли от пней —

старые тополя давно свалились. Древняя была курганча и жутковатая, в самый раз для мертвеца.

Как вы можете догадаться, ни я, ни Аман покойника ни разу в жизни не обмывали. Я, хоть и не был трусом, мертвецов очень боялся, даже на дохлую кошку старался не смотреть, даром что ребята у нас в махалле таскали их за хвост сколько хочешь. Но домла смело пошел вперед с таким видом, как будто с рождения ничем, кроме омовения трупов, не занимался. На каждом шагу он что-то шептал, то и дело проводил руками по лицу, как бы повторяя короткую молитву, поворачивался в разные стороны, произнося свой «куф-суф». Я-то шел следом за ним и слышал, что вместо заклинаний он бормочет самые обыкновенные слова: «Ох, и жарко... пашлычку бы сейчас, дети мои, и плова... куф-суф! Ой, аллах, пошли денег побольше... куф-суф!» Но издали выглядело это так, словно он в самом деле одним взмахом руки способен справиться с сотней джиннов.

Потом домла подозвал Амана и велел ему попросить материю для савана. Аман попросил принести аршинов шесть буза. Домла снова подозвал Амана, и тот с его слов объявил собравшимся, чтобы все вышли из курганчи, не подходили к ней и, не дай бог, не подглядывали, пока не кончится омовение. Хазрат, мол, сказал, что если кто станет подглядывать, на него ляжет страшный грех и впоследствии он может сам остаться без погребения. Бывает, случаются и другие большие несчастья.

Все вышли, толкаясь. Мы заперли ворота, подтащили валяющуюся во дворе большую каменную глыбу и подперли ненадежные доски. Домла посмотрел на нас, мы на него.

— Что теперь будем делать? — спросил домла. — Приходилось вам обмывать покойника?

— Нет! — сказали мы разом.

— Вот дела! И мне не приходилось. Но я уже договорился с ними за десять целковых! Не совершим омовения — пропали деньги... — Он помолчал секунду и добавил на всякий случай: — Пять рублей возьму я, а вы — по два с полтиной.

— Ладно, — сказал я. — Только омовение будете совершать сами.

Домла покачал головой и боязливо пошел в каморку, где лежал труп. Мы нерешительно двинулись за ним. Покойник лежал навзничь, лицо и живот закрыты старым халатом, ноги обнажены. Домла шагнул вперед — и тут



же подался назад так, что мы с Аманом на него наткнулись. Он едва не выругался, но прикусил язык. Я заметил это, и мне стало еще страшнее: мне подумалось, что в каморке стоит невидимый дух покойника и следит за нами. Сердце у меня в груди стучало часто и громко, как колотушка ночного сторожа.

Аман на цыпочках прошел вперед и заслонил собою труп, но вдруг попятился, издал короткий крик, тотчас оборвавшийся, как будто его схватили за горло, и повалился на пол. Домла отпрянул и прижался у входа, а я в страхе, не в силах двинуться с места, посмотрел на покойника — и заорал не своим голосом. Покойник — ожил! Да, да, ноги его были неподвижны, но он пытался поднять голову, шевеля халатом, покрывавшим лицо! Вот чего испугался Аман — он, видно, потерял сознание от страха...

У меня чуть сердце не разорвалось... Я повернулся, чтобы бежать, но споткнулся о руку Амана, растянувшегося на полу крошечной каморки, и полетел кубарем. Падая, я задел домлу, а так как и он едва держался на ногах, то свалился тоже. Мы барахтались, пытаюсь встать, наконец я кое-как поднялся, протиснулся мимо него в дверь и выскочил во двор. Домла выполз следом на четвереньках. Я обернулся на каморку, ужас охватил меня, и я заорал хриплым отчаянным голосом:

— Люди-и! Эй, люди-и-и!

Услышав мой крик, родичи покойного стали в панике ломиться в ворота, но те, подпертые тяжелой глыбой, не поддавались, а я от страха не соображал, что нужно подойти и отвалить глыбу. Да у меня, наверное, и сил бы не хватило. Домла же подполз к хаузу и без конца совершал омовение вонючей водой. Он был бел, как снег, шептал какие-то молитвы и дул на себя что есть мочи.

Несколько человек перелезли, наконец, через забор курганчи и открыли другим ворота. Едва переводя дух, я рассказал им о случившемся. У них от испуга глаза на лоб полезли. Но они куда больше болели душой за покойника, чем мы, а потому, преодолевая страх, направились к каморке. Я едва заставил себя пойти следом. И вот, когда мы столпились было у входа, навстречу нам кинулось что-то, волоча за собой халат. Все вскрикнули — это был дикий степной кот! Он забрался в каморку и пристроился у головы трупа, а когда мы, войдя, испугали его, попробовал выбраться из-под халата — тут-то нам и показалось, что голова поднимается...

Кот в мгновение ока взлетел на стену и исчез, зацепившийся халат повис на стене, а родичи бедного мертвеца посмотрели друг на друга, на нас — и громко расхохотались. Если судить по домле, вид у нас и впрямь был такой, что, несмотря на траур, удержаться от смеха было трудно. Оглядываясь на нас и все еще посмеиваясь, они снова вышли, а мы с домлой опять заперли ворота и привалили глыбу. Надо было посмотреть, что с Аманом. Он еще не пришел в себя, мы вытащили его из каморки, посадили у хауза и стали брызгать водой в лицо. Тут он очнулся. Домла дул на него, приговаривая: «Вот сейчас... сейчас как рукой снимет... погоди-ка... сейчас». У Амана был такой вид, словно он сам воскрес из мертвых: на иссиня-бледном лице ворочались с бессмысленным выражением глаза, а руки повисли, как сломанные ветки.

— Вставай, вставай! — сказал я. — Очнись! Что ты сидишь, как обмаравшийся младенец? Это же был просто кот! Покойник лежит себе там, мертвый, как бревно!

Аман обрел наконец дар речи.

— Нет, с меня хватит, устраивайтесь сами, — сказал он слабым голосом. Я посмотрел на домлу.

— По шариату требуется совершать омовение втроем, — сказал я. — Ты что, не знаешь?

Кое-как мы его уговорили и помогли встать. Потом, подталкивая один другого, подошли снова к двери каморки и стали по очереди заглядывать внутрь. Наконец я посмотрел на домлу и Амана и сказал:

— Давайте-ка приступим к делу. Надо начинать, а то как бы люди не заждались и не полезли сюда сами... — И так как оба они молчали, я добавил: — Главным гассалом будет хазрат. Мы вдвоем станем лить воду. Если хазрат хорошенько потрет да помоеет тело, это зачтется ему на Страшном суде, а нам и денег не надо, хватит куска материи, которую раздают на похоронах. Так, что ли?

Аман кивнул головой в знак согласия, но домла воспротивился.

— Э, нет, — сказал он, — молодым труд, старикам почет. Это вы будете мыть тело, а я полью воду. Да еще и помолюсь за вас.

— Помолитесь мы и сами можем, — сказал я. — А свою молитву вы для себя сберегите. Лучше соглашайтесь, соглашайтесь добром, а то ведь я позову родичей покойника да кое-что им расскажу...

— Точно, — сказал Аман.

Домла посмотрел на нас с бессильной злобой.

— Вот как вы заговорили? Разве сообщники так поступают?.. Ну, ладно, идемте, я беру труп за ноги, вы за голову.

— Ну, нет, таксыр, это мы возьмем за ноги, а вы за голову!

Спорили мы, конечно, шепотом, чтобы нас не услышали снаружи. Если за воротами нас кто и подслушивал, ему, верно, показалось, что мы страстно заклинаем злых духов. Но никто не подслушивал: люди были заняты плетением носилок для покойника.

Мы препирались бы еще долго, если б Аман вдруг не сказал:

— Стойте! Я кое-что придумал. Хорошо бы пайти веревку сажени в две.

— Зачем тебе веревка?

— Говорю же, я кое-что придумал!.. Давай ищи.

Мы обшарили сарай, и в одном из них нашлась веревка почти в три сажени длиной, привязанная к старой кормушке. Мы отвязали ее и пошли к каморке снова. Домла расхаживал около, потирая руки и что-то бормоча. Аман, как видно, был в таком восторге от собственной выдумки, что даже осмелел. Уверенно войдя в каморку, он подозвал домлу и попросил приподнять ноги трупа. Домла поупрямился немного, потом повернулся к покойнику спиной, передернулся весь и взял его ступни, скривив такую рожу, будто проглотил десяток навозных жуков. Аман быстро подsunул веревку, сделал петлю и затянул ее выше щиколоток мертвеца. По команде Амана мы втроем взялись за другой конец веревки и поволокли мертвеца к хаузу.

— Здорово придумал? — сказал Аман у хауза. — Теперь мы его спустим в воду головой вниз, сполоснем раза три, и все! Будет чистый!

— Даст бог! — сказал домла. — И в самом деле будет чистый!

Взявшись за веревку, мы без лишних слов спустили покойника в воду и стали полоскать его, волоча из одного конца хауза в другой. Мы так увлеклись этим занятием, что совершили процедуру не три раза, а раз десять, не меньше. Наконец, мы остановились, в полной уверенности, что любой бывалый гассал не выполнил бы свою задачу лучше. Надо было вытащить мертвеца обратно, и мы начали потихоньку подтягивать веревку, но неожиданно для нас она натянулась — мертвец больше не двигался, слов-

но вдруг прирос ко дну. Мы переглянулись, и Аман снова побледнел. Домла продолжал дергать веревку, приговаривая: «Помоги, господи, помоги, господи...» Я машинально посмотрел на ворота.

— Может, позвать на помощь? — сказал я и сообразил, какую спорил глупость.

— Ты что, не в себе, дурак? — сказал Аман. — Тебе такую помощь окажут! Ту силу, что собирался потратить на крик, приложи лучше к веревке!

Мы снова стали тянуть, опершись ногами о пень тополя, но тут постучали в ворота. Домла бросил веревку.

— Подождите немного! — крикнул он. — Мы еще и до пояса не обмыли! Сами позовем!

Он снова взялся за веревку, мы потянули, но веревка, тронутая молью и подгнившая, с треском оборвалась, и мы, все трое, грохнулись оземь. Между тем мешкать было нельзя, время клонилось к вечеру.

— Таксыр, — сказал я, — раздевайтесь-ка, придется лезть в хауз! Не получать же вам пятерочку даром?

Домла весь позеленел.

— Ах ты, щенок! — сказал он. — Чтоб тебя так же обмывали, да поскорей! И не подумаю раздеваться. Что скажешь, а?

— Скажу, только не вам — пойду к воротам и...

Не дослушав, домла выругался и стал раздеваться. Расхрабренный Аман тоже полез за ним в воду, и они вдвоем стали шарить на дне. Наконец ноги мертвеца показались над водой — голова его застряла в развилке корня тополя. Аман привязал конец нашей веревки к обрывку, оставшемуся на ноге покойника, они с домлой вылезли, и мы принялись тащить снова. Наконец, мы почувствовали, что мертвец подается. Раздался хруст, еще какой-то странный жуткий звук, и покойник выскочил на поверхность. Мы опять повалились на землю, а когда вскочили и глянули, то увидели, что бедный мертвец плавает... без головы!

Мы так и присели от ужаса. Что теперь делать? И тут домла неожиданно проявил настоящий героизм. Он снова полез в хауз, стал шарить руками в воде, среди корней, — и, весь сморщившись, вытащил оторванную голову. Мы с Аманом отвернулись, нас чуть не стошнило, но домла полез в наши пожитки, достал купленные у бакалейщика нитки и иглу, велел нам бытащить тело из хауза — и стал пришивать мертвецу голову!

Он оказался настоящим мастером своего дела: скрутив пилки вшестеро, он шил так быстро и так ловко заделывал шов, что спустя некоторое время голова уже сидела на месте... как пришитая. Теперь я готов был простить ему все. Он приказал нам разложить буз и тут же сметал саван. Тело покойника было прикрыто, но кусок материи оказался мал, ноги остались обнаженными, и на них явственно виднелись ссадины от нашей веревки. Тогда мы быстренько освободили свой дорожный мешок, высыпав его содержимое в поясные платки, мешок надели на ноги покойнику и пришили к савану.

Аман натянул рубаху и штаны, домла тоже оделся, скрутил заново чалму, поправил халат и встал возле покойника, словно на пятничный намаз. Потом он кивнул мне, и я отодвинул глыбу. Родичи бедного мученика уже приготовились к оплакиванию. За воротами стояли только что сплетенные из прутьев и закрепленные на длинных брусьях носилки. Брусья походили на оглобли арбы, в них были впряжены две лошади.

Участники похорон хлынули во двор, окружили покойника и принялись оплакивать беднягу по всем правилам, с приличествующими случаю подвываниями. Некоторые горестно поглаживали саван, а кто-то провел рукой там, где была голова — и вдруг удивленно вскрикнул. Покойник лежал навзничь, но где полагалось быть лицу, оказался затылок!

Я так и замер на месте: домла второпях пришел оторванную голову задом наперед!

Вся орава родичей тотчас перестала выть и столпилась около домлы, подтолкнув к нему и нас.

— Эй, почему у него лицо перевернуто? — спросил кто-то из них.

Домла стоял бледный, но сохранил невозмутимость.

— Такова воля аллаха, — сказал он и с видом печальной покорности судьбе развел руками. — Видно, при жизни числилось за ним немало грехов, вот аллах и перевернул ему голову!

Как ни дрожал я от страха, но все же оценил самообладание домлы и восхитился его находчивостью. Я даже решил было, что беду пронесло, потому что на многих лицах возмущение сменилось растерянностью. Не тут-то было! Эти почерневшие от солнца скотоводы оказались не такими уж легковверными простачками...

— А ну-ка, распорем саван! — крикнул один из них, и вся толпа качнулась обратно к покойнику, не забыв придержать домлу за рукава халата.

Едва распоролл буз, шов на шее, конечно, сразу обнаружился. И тут они завопили все разом с такой силой, что, казалось, стены старой курганчи тут же повалятся. Вся толпа кинулась к домле, нас с Аманом они на мгновение выпустили из виду, мы, забыв со страху все на свете, скользнули у них меж рук и ног и, как лягушки из тины, выпрыгнули прочь со двора. Несколько человек погналось за нами. Но эти пастухи большую часть своей жизни провели в седле и ловкостью в беге не отличались. Тут им было далеко до нас, а скоро стало и впрямь далеко. Но они могли вспомнить о лошадях, тогда бы нам не поздоровилось. В таких случаях лучше всего бежать врассыпную — эту мудрость махаллинских мальчишек я давно усвоил. «Беги налево!» — крикнул я Аману, а сам побежал направо. Преследователи замешкались и стали отставать. Я на бегу подумал о домле — что там с ним стало? Останется жив — найдется, нет — упокой, аллах, его душу...

### ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЛЕЦА

Куда побежал Аман, я понятия не имел, я же помчался к видневшимся вдали камышовым зарослям. Чутье меня не подвело, в заросли уходила узкая тропинка. Она привела меня к дренажной канаве. Я прыгнул в канаву, отполз в сторону и затаился. До меня донесся тяжелый топот и полузадохшиеся от бега голоса преследователей. Они пробежали немного в камышах, но решили, видно, что занятие это бесполезное, и повернули обратно...

Топот и голоса стихли вдали, а я из осторожности еще некоторое время лежал неподвижно. Начинало между тем темнеть, и провести ночь в незнакомом месте, где бог знает на кого можно наткнуться, мне вовсе не улыбалось. Я выбрался на тропинку. Она крутилась в камышах, в одном месте под ногой у меня хлюпнуло, и я испугался, что попаду еще, чего доброго, в болото. Но на тропе снова стало сухо, я ощутил, что она едва заметно пошла вверх — и тут камыши неожиданно кончились.

Невдалеке росло несколько деревьев. Я пошел к ним и очутился на дороге. Что это была за дорога, куда она

вела, я, конечно, не знал, только твердо помнил, что мы здесь не проходили. Осмотревшись, я встал спиной к камышам — и пошел в ту сторону, куда оказался лицом. Первое время мне то и дело чудился конский топот, я боязливо оглядывался, но потом решил, что дорога эта вовсе не проходит мимо кочевья. Эта мысль меня успокоила. Я шагал, шагал в темноте, пыль тихонько вздыхала у меня под ногами да звезды светили наверху. Я думал о том, куда мог побежать Аман, не поймали ли его пастухи; судьбу домлы мне страшно было и вообразить.

Не знаю уж, сколько я прошагал, когда впереди показались огоньки. Поначалу я было принял их за звезды где-то над самым горизонтом, но вскоре понял, что ошибка: дорога привела к селению.

Пройдя немного по улице, я увидел освещенный дом, из него доносилось ровное гудение голосов. Это была мечеть, там совершали последнюю вечернюю молитву. Я поспешил туда, тихонько вошел и тоже стал на колени позади молящихся, но тут намаз как раз кончился. Все стали выходить, я остался, прислонясь к стене. Имам и суфи подозрительно оглядели меня (потом я узнал, что в этой мечети украли накануне кошму и молитвенные коврики), и суфи спросил:

— Что, сынок, так долго засиделся? Намаз кончился.

— Атаджан, — сказал я жалобно, — я приезжий, сбился немного с пути, если разрешите, я бы остался в мечети до утра...

Вмешался имам:

— Откуда же ты, сынок?

— Таксыр, я ташкентский!

— О-о, что ж ты делаешь в этих краях? Как ты здесь очутился?

Я вспомнил слова домлы:

— Я учусь в медресе, таксыр, но сейчас каникулы, вот я и отправился по кишлакам в поисках заработка... — Я вздохнул и подумал про себя: «Не пришлось бы и здесь нахамиться в гассалы!»

— А в каком медресе ты учился? Кто твой наставник?

Я понял, что влип. Чего в Ташкенте много — так это медресе, кого там хватает, так это мударрисов, но я-то не знал ни одного, а выдумывать было поздно.

— Господин, в том самом большом медресе, которое... А домла наш тот самый... тот самый знаменитый домла... Имам засмеялся.

— Ну, ну, ученик медресе, я вижу, где ты обучался. Не в медресе, а в школе вражья. Ладно, пойдешь со мной. А как твой желудок? Не плачет?

Я смущенно опустил глаза на молитвенный коврик.

— Понятно... Ну что ж, пошли. Окажи нам небольшую услугу — заработаешь на пропитание.

Я пошел за имамом, гадая, что за услуга от меня потребуется. Впрочем, я больше думал о том, даст ли он мне сперва поесть. Имам вынес два початка кукурузы, испеченных в золе, и немного супа. Я с жадностью ими занялся, а он ушел в ичкари. Немного погодя он вышел. В руках у него был топор, огромный нож и крученая веревка. Увидев это, я прямо задрожал и приготовился бежать, как олень при виде собак.

Имам усмехнулся.

— Ты чего, парень? Не бойся, не зарежу! У меня, видишь ли, бычок объелся и захворал — боюсь, вот-вот сдохнет. Возьми-ка все это с собой, устройся на дворе возле хлева, — вот тебе курпача! — положи топор, нож и веревку под голову и будь начеку. Если услышишь хрип быка, всадишь ему нож в горло и позовешь меня. Понял? Только смотри не проспи, а то он сдохнет поганым по твоей вине!

— Господин! — сказал я. — А чайку не будет?

— Осьмушка чаю стоит пятак, зачем тебе чай, если в арыке полно воды? А коли к арыку идти лень, вон стоит кувшин для умывания, можешь оттуда напиться...

Я не обиделся — очень уж я был рад, что поручение оказалось не слишком трудным. Имам снова ушел в ичкари, а я растянулся на курпаче и стал смотреть в небо. Набегал ветерок, деревья, стоявшие у дома и вдоль дувала, покачивались и шуршали, в хлеву посапывали, изредка ворочаясь, животные. А я уставился на три крупные звезды прямо над собою и боялся отвести взгляд в сторону: мне казалось, я увижу, как подкрадывается ко мне безголовая тень или, еще хуже, смотрит откуда-нибудь из ближних ветвей черная оторванная голова... Была, должно быть, полночь, и лучшего времени, чтоб отомстить за себя, давешний покойник выбрать не мог. Я лежал, весь сжавшись, стараясь занимать как можно меньше места. Но покойник за этот день намучился не меньше меня и, видно, здорово устал. По крайней мере, ко мне он так и не явился. Я заметил, что задремал, только проснувшись от какого-то резкого звука. Приближался рассвет. В хлеву что-то грохнулось оземь и захрипело.



«Вот тебе и на, видно, прозевал я все на свете!» — подумал я и, таща из-под себя запутавшуюся веревку, выругался по адресу быка:

— Чтоб ты сдох!

Но уже на бегу я подумал, что напрасно я так выругался. В темноте хлева барахталась на земле какая-то скотина. Значит, еще жив, подумал я с радостью и, словно бывалый мясник (мы с мальчишками не раз бегали на бойню), протянул левую руку туда, где, по моим расчетам, должны были оказаться рога, а правой замахнулся ножом. Бояться было нечего, ведь бык уже и сам подышал. Свободной рукой я промахнулся и уперся животному в лоб, зато нож с маху попал ему прямо в горло. Кровь так и брызнула струей и облила меня с ног до головы. Бедная скотина в последний раз захыхтела, как труба большой бани, потом захрипела, дернулась — и все смолкло.

Имам велел позвать его, когда быку приспичит, но я отлично справился и сам. До утра оставалось еще время, я решил, что имаму и мне стоит выспаться. Тяжелая забота с меня свалилась, я лег и тут же заснул глубоким, сладким, безмятежным сном. Увы, каково было мое пробуждение!..

Я проснулся от страшного пинка в бок. В испуге, еще не успев сообразить, где я и что со мной, я открыл глаза. Надо мной стоял имам в мешковато висевшей рубаше, и с огромными кусками сухой глины в каждой руке. Лицо у него было перекошено, глаза готовы выскочить из орбит. Не успел я подняться, как он со страшной силой обрушил на мою голову кусок глины. Мне стало ужас как больно и обидно.

— Что вы делаете, таксыр? — закричал я, и слезы полились у меня из глаз. — За что избиваете бедного сироту! За добрую услугу, что ли? Ой, мамочки, вай-вай-вай!..

— Ах ты, проклятый! — завопил имам и обрушил на меня второй ком глины, норовя угодить по голове, но я уже был настороже, и удар пришелся ниже спины. — Ах ты, проклятый! — вопил он, брызжа слюной ярости и давясь собственными словами. — Чтобы ты сдох с твоей доброй услугой! У-у, негодяй, отцу бы твоему такую услугу! Шайтаново отродье, лучше бы ты сам зарезался! Ведь ты моего ишака зарезал!! Ишака! Ишака! Ишака! — И с каждым словом «ишака» он наносил мне такой удар, что я

только взывал от боли, как карнай на свадьбе.— Откуда тебя принесло на мою голову? — Этот роковой вопрос сопровождался новым ударом.— Я же купил этого ишака в священной Бухаре! А-а-а! — Это воспоминание стоило мне еще одного жестокого подзатыльника.— За три золоты-их! — И за эту цену я тоже сполна расплатился.— Ах, какой это был иша-ак, какой иша-ак, ай-йй-йй! — И в знак своего траура он продолжал меня колотить что было силы. А сил у него хватало!..

Нетрудно было понять, что произошло: в темноте я принял катавшего по земле ишака за хворого быка — и перерезал ему горло. А бык тем временем подох своей смертью. Я стал в ужасе озираться, словно мышь, свалившаяся в узкогорлый кувшин с гладкими стенками.

Побоям не предвиделось конца, надо было спастись бегством. Тут я заметил лестницу, приставленную к крыше хлева. На краю крыши было опрокинуто для сушки седло с подхвостником, принадлежавшее покойному ишаку. Я вынырнул из-под рук имама, кинулся к лестнице и полез по ней на четвереньках, как собака, взбирающаяся по ступеням. Он бросился вслед за мной, но я успел уже влезть на крышу. Я хотел было оттолкнуть ногой лестницу, но тут меня одолело чувство мести, я решил хоть разок вернуть своему мучителю побой. Рывком подняв седло, я швырнул его вниз, целясь в имама. Но и седло, верно, не могло мне простить смерти своего хозяина, ишака. Оно только и дожидалось этого удобного случая. На лету оно заценило меня подхвостником за шею и увлекло за собой вниз. Особого вреда падение мне не причинило — ведь я упал на седло; к тому же я был так избит, что живого места на мне и без того уже не оставалось. Я даже испугаться не успел, как очутился на земле, снова в руках имама.

Если он был в состоянии рассвирепеть еще больше, то, можете мне поверить, он этой возможности не упустил. Схватив веревку, которую дал мне почью стреножить быка, он сложил ее в восемь раз и принялся хлестать меня по чем попало. Наконец и он, видно, выдохся и остановился, отдуваясь.

Я решил не дожидаться приглашения, вскочил и снова кинулся к лестнице. Кое-как вскарабкавшись на крышу, я пустился бежать — на мое счастье, большинство окрестных крыш примыкало друг к другу. Оглянувшись, я увидел, что имам тоже залез наверх и гонится за мной.

Я припустил что было мочи. Дорогу мне преграждали иной раз узкие проулки, но я перелетал через них, как преследуемая курица, и бежал дальше. Имам отставал от меня всего на несколько крыш. К счастью, на бегу у него стали сползать слабо подвязанные штаны, это его стреножило. Когда я снова оглянулся, он бежал уже, как перекормленный гусь, и, наконец, остановился. Но до спасения мне было еще далеко, потому что многие жители поселка, привлеченные шумом нашей скачки, тоже влезли на крыши и появлялись то там, то тут. Вид у меня был достаточно подозрительный: не забудьте, что я весь был забрызган кровью зарезанного ишака, побои и падение мне тоже красоты не добавили, пыль, грязь, кровоподтеки, одежда, висевшая клочьями... Я стал оглядываться во все стороны, выбирая безопасное направление, сделал еще шаг и... провалился куда-то вниз!

Придя в себя, я сообразил, что это был дымоход над тандыром в чьей-то кухне. Дымоход поднимался вертикально вверх, я угодил прямехонько в него и упал в тандыр, где и застрял, свернувшись в клубок, с прижатыми к груди ногами — внутренность у тандыра круглая, как шар. Между тем люди, увидев, что я бесследно исчез у них на глазах, совсем ошалели. Они окончательно убедились, что им являлась нечпстая сила. Не знаю уж, за кого они меня сочли — за ожившего ли мертвеца, за блаженного Ису или за одного из воинов Абдурахмана-пари, приехавшего на побывку с горы Каф,— но только мне было слышно, как они запричитали: «Ох, спаси господи!», «Господи, пронеси!» — и стали спрыгивать с крыш.

Я попробовал освободиться из своего неожиданного заключения — не тут-то было. Левая рука у меня намертво прижата к боку, только правой я кое-как шевелил, да толку от этого было мало, даже когда я после долгих усилий и вовсе освободил правую руку. Распрямиться хоть чуточку я не мог — для этого надо было сначала напроць убраться голову, а она, как я предчувствовал, могла еще мне пригодиться. Не распрямившись, нечего было надеяться вытащить из-под туловища хоть одну ногу и попытаться вылезти. На постороннюю помощь тоже нельзя было рассчитывать, напротив, счастье, что кухня оказалась пустой! Оставалось дожидаться темноты, когда во-круг наверняка никого не будет, и попробовать выломать край тандыра: единственная надежда выбраться.

В кухне уже стемнело (на улице, верно, только еще

смеркалось), когда я — вконец измученный и потеряв терпение, страдая вдобавок от голода и жажды — решил приняться за стенку тандыра. Но тут как раз дверь кухни, в первый раз за день, отворилась, и вошла какая-то женщина. Она развела огонь рядом со мной, в маленьком очаге. Пока она возилась, я достал правой рукой крышку для тандыра, стоявшую около (я заметил ее еще раньше), и закрыл отверстие моей тюрьмы. Женщина ничего не заметила, но я сидел, весь дрожа, задерживая дыхание, с отчаянно бьющимся сердцем. Ей-богу, оно стучало громче, чем стенные часы в доме мануфактурщика Каримакоры из нашей махалли; удивляюсь, как женщина его не услышала. Впрочем, она была занята своим делом, да еще тихонько напевала про себя.

По запахам и звукам я догадался, что она готовит машкичри или что-нибудь в этом роде. Сперва меня пронзил, как стрела, запах жареного лука. Потом в котле зашипело, жарясь, мясо с приправами, и мой волчий аппетит, свернувшийся, как бутон, теперь распустился, словно пышная роза. Однако мне самому эта роза предназначала одни шипы. Потом я услышал, как женщина засыпала в котел маш... Ах, этот проклятый маш, где он только рос, на каких камнях, что столько варился! Черт бы его побрал, он никак не лопался, а женщина, не жалея, подбрасывала и подбрасывала дрова, и жар смежного очага понемногу разогревал мой тандыр. Скоро правый бок у меня начал гореть огнем, и я понял наконец, что чувствует шашлык, когда его жарят! Я так отлежал себе все места, что собственные мои ноги казались мне шашлычными палочками, на которые меня надели. Пожалуй, шашлык у бывает даже легче, потому что когда у него поджарится один бок, его поворачивают на другой, а уж чего-чего, но повернуться я никак не мог. Жар пронзил меня до самой печенки, я готов был завопить, когда женщина, причмокивая, попробовала варево и сказала сама себе: «Готово».

Я возблагодарил аллаха со слезами на глазах. Женщина выгребла угольки из очага, выложила еду на два больших блюда, потом одно поставила обратно в котел, накрыла и ушла со вторым.

Стенка тандыра стала остывать, огонь в очаге погас, зато в моем желудке он разгорался, как степной костер. Когда женщина ушла, я открыл крышку и вздохнул вольготнее. Потом попробовал дотянуться до котла. Это мне

не удалось. В тревоге и мучениях я стал ждать дальнейших событий.

Наконец дверь кухни снова скрипнула, вошел кто-то и на дыпочках направился к тандыру. Я замер. Однако вошедший (это был мужчина) мирно уселся на тандыр и стал насвистывать какую-то мелодию.

Музыка — вещь хорошая, не спорю. Я сам люблю музыку, особенно после сытной еды. Иной раз и самому спеть хочется — когда едешь по махалле верхом на чужой спине. И посвистеть иногда полезно, — например, если надо вызвать товарища, которого мать загнала домой нянчить младших ребятшек. Но сами посудите, каково слушать чей-то нахальный свист, когда кишки твои и без того играют от пустоты, как целый оркестр на военном параде, да еще вдобавок этот самый проклятый свистун сидит у тебя, можно сказать, на голове и болтает ногами перед твоим носом!..

Немного погодя вошла женщина, — я узнал ее по шагам. Она тоже направилась к тандыру, и на расстоянии аршина над моей головой я услышал чмоканье. Надо думать, они поцеловались.

— Не заждались? — спросила женщина таким сладким голосом, что если положить его в нишалду, сахару бы уже не понадобилось. — А муж мой, — продолжала она, и голос у нее сразу изменился, точно в шербет долили супу, — муж мой, будь он неладен, расселся с долговыми книгами, будто другого времени ему нет! Сел со счетами и давай пересчитывать, я уж думала, конца этому не будет! Еле его усыпила, да и...

— Ну ничего, душенька, — прервал ее парень. — Ты только смотри, не подозревает он нас с тобой, а? Может, ты проговоришься? Сегодня я приходил к нему в лавку, купить насвая на три копейки — так что ты думаешь: как глянет на меня волком, а насвая насыпал так мало, что табакерка и до середины не наполнилась! А всюду мне на три копейки доверху ее насыпают.

— Нет, это он вообще жадный, как цепной пес, такой скряга, вы и не поверите! Ему бы только деньги да деньги, — сказала женщина. — На меня внимания не обращает, есть у него жена или нет, ему все равно...

— Ну, ладно, черт с ним. Поесть у тебя чего-нибудь найдется?

Стоящий парень, подумал я с острой завистью, знает, что для мужчины главное. Женщина засуетилась, открыла

котел и, словно рыбу на беленьком блюде, вытащила машинчири.

Парень так и накинулся на еду. При этом он слез с тандыра и встал на колени перед очагом. Блюдо оказалось прямо передо мной. Парень знай себе наворачивал да наворачивал, а женщина только клевала понемногу, как курица, подвигая парню куски мяса и говоря ему разные ласковые слова. Парень отвечал односложно, рот у него был занят.

Я почувствовал, что больше не могу этого вынести — высунул руку из тандыра и запустил ее в блюдо. Парень в этот момент смотрел на женщину, она на него — и давно. Я беззвучно, давясь от жадности, проглотил свою добычу и протянул руку снова. Этого опять никто не заметил, но блюдо начало пустеть. Парень, хоть и без того занимался двумя делами сразу, краем глаза, должно быть, что-то уловил и тревожно сказал женщине:

— Эй, послушай, где твоя рука?

— Вот! — сказала женщина с готовностью.

Парень огляделся, но, конечно, в темноте ничего не увидел. Я затаился. Парень продолжал есть еще быстрее. Я понял, что на блюде вот-вот ничего не останется, и, уловив секунду, когда они занялись разговором, полез в блюдо снова. Но парень был начеку. Он схватил мою руку и зашипел:

— Эй, погоди! Чья это рука? А ну! Это моя, эта твоя, а это чья?

Женщина тихонько взвизгнула, хотя испугалась, видно, здорово. Не будь у них своих делишек, мне стоило бы уже прочесть над собой заупокойную молитву. Но сейчас я даже почти не испугался. Парень дернул мою руку и стал тащить меня из тандыра. Было больно, но я молчал, наступало, наконец, желанное избавление. Позвоночник мой пару раз громко хрустнул, отвалился кусок стенки тандыра, и я оказался на воле, едва держась на одеревеневших ногах. Если бы этот парень еще и растер мне ноги!

— Спички есть? — спросил он женщину, не выпуская моей руки.

Она дрожащими руками ощупала свою безрукавку, нашла спички, чиркнула — и тут же с криком уронила огонь. Я думаю, если бы они встретили меня днем, и то было бы чего испугаться. А тут в темноте их должен был охватить настоящий ужас. Лохмотья мои в засохшей крови и грязи, весь я к тому же еще в саже, черный, как

негр, — если злые духи выглядят иначе, тогда уж и не знаю, как их себе вообразить. У женщины зубы так и стучали от страха, но парень оказался храброго десятка. Он взял у женщины спички и зажег.

— Ты кто такой? — спросил он.

Я решил, что терять мне нечего.

— А ты кто такой? — спросил я в ответ.

— Я тебя спрашиваю!

— А я тебя спрашиваю!

— Слушай, парень, у тебя надежда на жизнь еще есть?

— А у тебя — есть надежда на жизнь?

— О, господи!

— О, господи!

В разговор вмешалась женщина.

— Послушай, голубчик, — сказала она дрожащим голосом, — кто же ты, в конце концов, такой и что ты делал в тандыре? Может, ты... злой дух? Или... сумасшедший? Ты не сердись, но зачем ты в темную ночь залез в чужой очаг?

— А он зачем залез ночью в чужой очаг? А?

Тут я увидел, что парень бросил спички и засучивает рукава так решительно, как это делает мясник, когда ему подводят скотину, предназначенную на убой. Тогда я пустил в ход свой старый прием:

— Ка-ра-у...

Но женщина сразу зажала мне рукой рот:

— Эй, что ты хочешь делать?

— Что мне делать, кричу «караул».

Тогда парень решил заключить перемирие:

— Ну ладно, уходи по-хорошему. Ступай отсюда!

— Куда мне идти? Я есть хочу.

— Вот навязался, — сказал парень, а женщина, не говоря ни слова, на цыпочках вышла из кухни, почти тут же вернулась и принесла мне две тощенькие лепешки со шкварками. Я сунул лепешки под мышку. — Ну, теперь убирайся, — сказал парень.

— Э, нет, гони-ка сперва немного денег!

Он так запыхтел в темноте, что я думал, он тут же лопнет от злости. Потом он негромко, но длинно выругался — видно было, что он вложил в это ругательство всю душу. Наконец, он полез в карман и выгреб то, что там было. Ну, я не стал пересчитывать — взял и спрятал деньги. Только после этого я, наконец, смиловился.

Женщина выпроводила меня со двора, сперва трижды взяв клятву, что все останется шито-крыто. Я это ей искренне обещал. За воротами, отойдя немного, я первым делом съел лепешки со шкварками. Потом пошел по темной улице. Я ведь знать не знал, где нахожусь. Улица вывела меня на другую, та — на широкую площадь.

Площадь, судя по всему, служила базаром, но сейчас она была пуста, как степь. Я пристроился в каком-то углу, положил под голову два кирпича и тотчас уснул, словно провалился в яму...

Ох, в этом проклятом городке мне суждены были одни несчастья! Сейчас даже не верится, сколько бед там на меня свалилось за каких-нибудь два дня! Словом, я опять проснулся от пинка...

Было утро, меня окружали какие-то люди с палками в руках.

— Это он! — крикнул один.

— Точно, он!

Чей-то голос вставил с сомнением:

— Уж больно мал!

— Да ты на него посмотри! Он и есть!

Я спросил, чуть не плача:

— Кто — он?

Меня снова пнули ногой и велели вставать. Я еле поднялся, все тело у меня ныло и, казалось, вот-вот развалится на кусочки. Мне связали руки за спиной и повели по базару, размахивая над моей головой палками и кнутами. Кто-то сзади приказал мне:

— Кричи: «Позор мне, я убил человека»!

Я заплакал в голос:

— Никого я не убивал!

Между тем народ сбегался, а двое мальчишек, собирая толпу, выбивали дробь на такой маленькой штуке, вроде барабана. Я чувствовал, что сейчас потеряю сознание. Вдруг из толпы вышел какой-то человек в пестром халате, в чустской тюбетейке на бритой голове.

— Мусульмане! — сказал он. — Неужели вы думаете, что такой маленький мальчик мог убить такого огромного мужчину, как тот приезжий бай? Да еще где — в чайхане! Мал он еще! А если б он был соучастником, его бы не оставили здесь в таком виде...

Толпа одобрительно заворчала. Те, кто держал меня, хранили молчание.

— А что у него такой вид, — продолжал человек в пест-



ром халате,— так сразу ясно: мальчишка больной, припадочный. Видно, в припадке он так и разбился... Какой же вор возьмет такого в помощники? И у вора есть свои тайны! Кому охота доверять их полоумному мальчишке! Верно я говорю, мусульмане?

— Верно! Верно! — закричали в толпе. — Отпустить мальчишку!

Тут в круг выбрался еще кто-то, лица его я не разобрал: глаза мои застлало слезами, бежавшими сами по себе. Я и не плакал по-настоящему.

— Да я знаю, кто этот мальчишка! — кричал новый оратор. — Это сын Ашура-мясника! В прошлый базарный день Ашур говорил, что его сын убежал из дому!

— Правильно! И я слышал, — на базаре глашатай объявлял, что пропал мальчик четырнадцати лет!

— Отпустить его!

Я почувствовал, что державшие меня за плечи руки разжались, и мешком свалился на землю...



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### СЕМЬДЕСЯТ ОДИН РАЙ

Сам я — в полном здравии. Руки — в полном моем распоряжении. Ноги меня слушаются. Глаза повинуются моей воле: не хочу — и не смотрю на всякие уродства. Челюсти мои и зубы — как соломорезка: перемалывают любую еду. Но один непослушный орган все-таки есть в моем теле, и над ним я никак не могу взять верх. Власть моя на него



не распространяется — подчас он бесчинствует внутри моих владений, точно целая шайка бандитов. Я усмиряю его, как могу, посылаю полчища благоразумных мыслей, но они разбегаются, еще не добравшись до места назначения. А этот проклятый бунтовщик нагло требует дани: можешь не можешь, есть у тебя или нет — накорми его!

Ибо это — желудок.

Вы не знали? Тогда запомните и держитесь начеку. С желудком шутки плохи. Если он разоидется и не получит того, что требует, он и вовсе свергнет вашу верховную власть. Тут уж он овладеет всем царством. И — пиши пропало все: порядок, спокойствие, правила приличий. Ибо командуете уже не вы, а он. Все слушает уже не ваших — его приказаний. Глаза начинают смотреть на не дозволенные шариятом вещи, руки алчно тянутся к нечестно добытым кускам, ноги ведут в самые неожиданные места, голова склоняется перед подлыми людьми...

И я, заливаясь слезами, как весенняя туча, пою какую-то песню, какую-то бестолковую газель, которую бог знает кто придумал, бог знает кто спел в первый раз, может, и я сам, знать того не знаю, ведать не ведаю...

Увы, из этих черных глаз всегда печаль струится, ненастным видят мир они сквозь слезы на ресницах. Весь век скитаюсь и томлюсь в надежде на отраду, мне до утра земля — постель, подушка — черепица. О сердце, полно тосковать, и твой рассвет пастанет, не вечно будет скрыт рубин в земле, немой темнице. Ну, а покуда падо мной крутится тяжкий жернов — и ради хлеба должен я, как жернов тот, крутиться...

«Ладно, — говорю я себе, — оставь-ка ты эти печальные раздумья, иди лучше к речке, помойся, приведи себя немного в порядок». И я выполняю этот дружеский совет: иду к реке, нахожу укромное местечко, раздеваюсь. Надо почистить щавелем штаны, рубашку, поясной платок, выстирать их как следует — одного раза мало! — и развесить для сушки на ветках тала. А потом и самому спуститься в воду, поплескаться, смыть с себя всю грязь, а с нею — и все дурные воспоминания, все беды, какие выпали на мою долю за последние дни. А бед было куда больше, чем дней, больше, чем пролитых слез, разве что по одной на каждую слезу.

На все это уходит времени не меньше, чем на приготовление плова, а ведь аппетит тем временем разгорается. Тут пора надеть выстиранную одежду, разгладить ее на себе руками, принять опрятный вид и вспомнить, что из всех несчастий вынес ты и чуточку пользы: ту кучку мелочи, которую с такой охотой пожертвовал тебе на бедность влюбленный парень в чужой кухне. Нет, она не пропала, слава богу — немножко серебра, немножко меди, без малого две таньги. Что ж, это неплохой капитал для начала, многие начинали и с меньшим, правда, они с тем и остались, ну да бог с ними. Можно идти на базар и там наесться вволю, что купить, что выклянчить, что выторговать. Не сплутуешь — не поешь.

А на базарной площади, хоть день и не базарный, всю идет купля-продажа. Блеют бараны, ржут лошади, ревут верблюды, торговцы бранятся, да мелькают руки маклеров, твердящих свое обычное: «Ну, по рукам!» И среди этого гама и толкотни я брожу в растерянности, как муравей, застигнутый ливнем, то и дело ожидая, по недав-

ней привычке, пинка откуда-нибудь — справа, слева или сзади.

Вдруг на базаре начинается странная суета, движение, которое кругами устремляется в одну сторону: из города к базару идет процессия. Семь каландаров движутся один за другим, одетые в рубища «мухаммадий», которые сшиты из нескольких кусков материи разного цвета. На головах у них — дервишеские шапки «ахмадий», из-под которых спускаются до пояса черные и седые пряди взлохмаченных волос; на плечах — мантии «мустафа». Они идут под горячим солнцем и поют, исступленно поют, а на губах у них выступает пена, словно у опьяневших верблюдов:

О-о!  
День базарный, шумит народ,  
сквозь гомон слышен плач сирот,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
хак дуст, ё аллах.  
Спроси о судьбах детей беды —  
нету отца у сироты,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
хак дуст, ё аллах.  
О-о-о!..

Впереди идет благообразный каландар с широкой бородой, похожей на лезвие кетменя. Это — главный каландар; на плече у него — медный сосуд, издали напоминающий огромного черного с отливом жука, в руке трость из крепкоствольного кустарника, увешанная разноцветными лоскутками. Нам еще предстоит познакомиться с нею поближе, и мы узнаем поразительную вещь: трость эта приходится двоюродной сестрой посоху пророка Мухаммеда! Но верующим вокруг, как видно, давно уже известна эта новость, и они целуют трость со слезами на глазах, когда удается к ней пробиться, и с надеждой привязывают к ней новый цветной лоскуток.

Главному каландару, несущему трость, вручаются при этом подаяния: черный медный жук на плече для них и предназначен. Туда складывают деньги. Остальное, например, лепешки, принимают каландары, идущие сзади. О, подаяние — это тонкая вещь, тут опасно попасть впросак! Ведь когда главный каландар представляет святого Бахауддина, ему причитается семь лепешек, а когда он выступает как уполномоченный святого Гавсулагзама — лепешек требуется уже одиннадцать. Не приведи господи принять Гавсулагзама за Бахауддина — святой обидится, и

тогда все затраты к черту. На небе за ценой следят строже, чем на базаре.

Кто особо нуждается в помощи или прощении святых, тот и раскошеляется соответственно: преподносит курицу, козу, барана или даже верблюда. На этот случай позади каландаров шествуют слуги, ялавкаши: они собирают подаяния, складывают их в арбу с плетеным кузовом или привязывают сзади; иногда позади собирается целое стадо, разнокалиберное, как передвижной зверинец...

Нет, подарком нынче на базаре такой переполох — каландары прибыли из обители самого святого ишана, не употребляющего мяса. А ведь, говорят, обитель эту по почам посещает Джабраил и приносит распоряжения непосредственно от аллаха, так что работает ишан с господом в паре, и все, что подносится ему, попадает наполовину и ко всевышнему! Как же тут не воспользоваться такой удобной оказией и не переслать аллаху свой маленький подарок, за который есть надежда получить потом вдесятеро, если не больше? Сделка первый сорт, и все торопятся не упустить случая, пробиваются что есть сил, кидаются прямо под лошадь городского, который едет впереди каландаров и расчищает им дорогу, размахивая плеткой, — тучный, толще собственной лошади, с торчащими усами, похожими на веревку в зубах у собаки, с огромной саблей на боку. Сабля свисает почти до земли, болтается, и сразу даже не поймешь, к чьему боку она приторочена — лошади или городского.

Представьте теперь, как обидно глядеть на все это, на такую блестящую возможность, и не иметь даже самого маленького капитала, чтобы вступить в сделку, даже какой-нибудь чепухи для подарка, лоскутка приличного, чтобы повесить на священную трость!.. Слезы досады выступили на моих глазах, но тут словно свет пролился в мою душу, и по всему телу, размякшему, как нагретый воск, пробежала трепетная волна. Я кинулся в толпу, отчаянно пробиваясь к главному каландару, пролез-таки, проскользнул между взрослыми и оказался вдруг около самой трости, схватил державшую ее руку и заплакал, упав на колени. Главный каландар остановился, поднял меня, погладил по голове и спросил ласково:

— Чего ты хочешь, дитя мое? Скажи, и я попрошу аллаха!

И тогда я заплетающимся языком изложил свою нижайшую просьбу, чтобы и меня сделали звеном этой бо-

жественной цепи — зачислили в ученики к святым дервишам! О, какой поднялся шум, вой, плач в окружавшей толпе, которая услышала мои слова! Ведь когда главный каландар остановился, вокруг воцарилось благоговейное молчание. Как запричитали дехкане и женщины, когда глава священной процессии, подняв обе руки, благословил меня! Трудно и передать!

А я-то! С этой минуты я уже не простой смертный, не обычный земной страдалец — я назначен на один из постов в самом судилище аллаха! Мне еще не пришлось потрудиться на этом ответственном посту, но я уже заранее чувствую, что служба мне по душе, потому что, видится мне, еды и питья будет вдоволь, а все обязанности сводятся, похоже, лишь к тому, чтобы выучить хорошенько «Ё аллах дуст, ё аллах», да и распевать с пеной на устах. Ах, недаром говорят: песня кормит. И я чувствую, что прямо-таки теряю рассудок от счастья. Я иду шагах в десяти впереди каландаров с непокрытой головой и пою, гпусая, сколько хватает моих слабых сил:

О-о-о!..  
Копытом тоная, конь идет,  
ё аллах дуст, ё аллах.  
Эй, выходи и смотри, народ,  
ё аллах дуст, ё аллах.  
Если спросишь, в кого влюблен,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
скажу: в красавицу Зебихон,  
ё аллах дуст, ё аллах,  
как дуст, ё аллах.  
О-о-о!..

И, видя меня, юродивого мальчугана, на глазах у всех отрекшегося от земной жизни — грустной и веселой жизни, полной всяческих проделок и несчастных бедствий, — у базарного люда прокатывается по сердцам новая волна преклонения перед силой аллаха и его слуг, и приношения сыплются градом...

Вечером мы усаживаемся по двое на верблюдов — погонщики привозили на базар солому для продажи и теперь возвращаются обратно — и отправляемся в Ишан-базар, обиталище почтеннейшего ишана. Уже по мере приближения к нему возрастает атмосфера святости, точно воздух наполняется неслышным пением ангелов. И недаром: обитель считается чуть ли не Каабой для Ташкентской, Чимкентской и Сайрамской областей, и если все эти

города освещаются лучами, идущими с неба, то Ишанбазар сам освещает небо своим сиянием.

Доехав, мы слезли с верблюдов, сгрузили вещи, а главный каландар вместо платы за проезд прочел короткую молитву, благословляя погонщиков. Говорят, в иных местах за каждое такое благословение отдают целого верблюда, так что выгоды, выпавшие на долю погонщиков, трудно было и подсчитать.

Дом ишана примыкал к молельне, где он вместе с суффи занимался радением. Тут же находилась и обитель каландаров. Сначала мы вошли в молельню, и главный каландар пропел у входа короткую молитву, чтобы почтеннейший узнал о нашем приходе. Потом каландары уселись на айване в круг, я же, их покорный ученик, остался в прихожей, где обычно снимают обувь, и стоял, смиренно сложив руки на груди, в полупоклоне, готовый к услугам.

Пение между тем продолжалось, а суффи размещали привезенные нами подавания и провизию в маленькой комнате, которая имела две двери: одну в молельню, другую — в гарем ишана.

Наконец пение оборвалось, и из глубины молельни, кокетливо ступая по земле и поглядывая на нее с таким видом, словно говорил: «Ступить-то я, так и быть, ступлю, но ты должна быть мне вечно благодарна», — вышел почтеннейший ишан. По его собственному заверению, — а кому же знать, как не ему? — это был правнук Айши-Нубаро, девятой жены пророка Мухаммеда. Он одет в длинный светло-желтый халат, на голове белоснежная чалма, на ногах — изящные кавуши из сагры, в руках — четки, не меньше чем в тысячу костяшек. Глаза подведены сурьмой, длинная борода с проседью расчесана и уложена так, что каждый волосок можно положить в отдельный чехольчик, а от красивых усов цвета нечищенного серебра и от красных щек струится поистине лучезарный свет.

Не знаю, как кто, — видели это другие неискупенные люди или нет, — но я узрел собственными глазами полторы тысячи ангелов, что сопровождали его с обеих сторон. Все мы встали и отвесили ему земные поклоны. Почтеннейший, напомнив о повелении аллаха творить добрые дела, спросил о приходе Мункара и Накира (это ангелы, подвергающие покойника в могиле предварительному допросу), и глава каландаров в ответ высыпал в подол ишану все деньги из своего медного жука. Там были и медя-

ки, и серебро, и бумажные деньги. Почтеннейший легким движением отправил в рукав халата бумажки и целковые и сказал:

— О-о, пусть руки мои не коснутся грязи богатства, деньги, дети мои, это нечистоты, охотятся за ними только собаки! — И он отодвинул мелкое серебро и медяки каландарам. Тут взор его остановился на мне, и он произнес очень ласково: — Кто это дитя?

Главный каландар так хорошо рассказывал обо мне, что, находясь мы сейчас у райских врат, меня тут же впустили бы. Этот мальчик, говорил он, пока допивал первый чайник зеленого чая, настоящий каландар Машраб, отрешившись от земной жизни ради вечной и одержимый высшим экстазом. Особенно он распространялся насчет моего экстаза, сказав, что тот превыше всяких похвал и не каждый бывалый каландар может впасть в нечто подобное. Тогда почтеннейший ишан указательным пальцем поманил меня к себе, сделав тем самым величайшее снисхождение. Я снова низко поклонился и подошел, и он своей благословенной рукой погладил меня по голове.

— Ну и ну! — сказал он. — Вот ты какой счастливец, оказывается! Удостоен внимания самого аллаха! Посмотри же на небо, сын мой!..

И тогда сквозь его пальцы я увидел семьдесят один рай...

Церемония кончилась поздно, и, лежа в одиночестве в углу молельни, среди груды лохмотьев, я долго не мог уснуть. Не могу сказать, чтобы мой желудок удостоился такой же благодати, как я сам, но, в общем, обошлись с ним сносно. Во всяком случае, он помалкивал, и в голове у меня вертелись мысли обо всяких вещах, близких к райскому блаженству. Например, о том, нет ли в худжре для подающей третьей двери; и о том, что ел сегодня ишан на обед — манты или плов; и у которой из жен он сегодня находится; и стоит ли у его изголовья чайник с холодным зеленым чаем, который так полезен, когда ночью захочется пить.

Уснув, я увидел себя не в раю, не в аду, а все в той же молельне. Там было холодно и стояла полная тишина. Я лежал и ежился от забегавшего ветерка, как вдруг в молельню вошла дрожащая от холода собака и стала жалобно скулить. Мне очень хотелось ее утешить, но я никак не мог встать на ноги и подойти к ней, потому что я сам и был этой скулящей собакой. Так я долго мучился от



жалости к самому себе и впрямь тихонько скулил во сне, пока утром меня не разбудили суфи.

В молельне готовилось радение, собирались люди и становились в большой круг. Я кое-как совершил омовение и тоже к ним присоединился. У кого были четки, тот лихорадочно перебирал костяшки, остальные озирались, мелко дрожая от волнения, или стояли, тупо уставившись в одну точку. Тут были женщины, дети, старики, понурые мужчины — подслеповатые и полупарализованные, бездетные или безденежные, должники или отпущенные на поруки подсудимые. И все они, едва появился ишан, начали вопить громким нестройным хором, прося помощи или избавления от беды. Ишан, приговаривая что-то, стал дуть в их кувшины для омовения, в чайники и прочую посуду с водой.

После совершения намаза я позавтракал вместе с каландарами. Ишан приказал им отправляться на базар в Назарбек, и я приготовился было их сопровождать, но почтеннейший сказал:

— Ты останься, сынок. Ты, видно, проворный мальчик, найдется тебе здесь работа и в ичкари, и в ташкари...

Конечно, я не посмел возразить, но очень расстроился. Упустить такое прекрасное, прибыльное путешествие! Сколько можно добра перехватить на базаре, находясь в процессии каландаров! И уж во всяком случае, это куда приятней, чем снова везд-вперед между внутренней и наружной половинами дома, как челнок под руками у ткача. Устанешь до упаду, да еще будешь помирать со скуки, вместо того чтобы добывать деньги песнями!..

После ухода каландаров ишан милостиво пригласил меня в свою худжру.

— Что прикажете, о мудрейший мой наставник? — спросил я, войдя, тонким голоском и с видом величайшей готовности к услугам. Он взял меня за руку и велел сесть на белую циновку. Я опустил на колени. Ишан достал из ниши Коран в толстом кожаном переплете и дал мне. Я трижды поцеловал переплет и приложил книгу ко лбу. Ишан прикрыл глаза и, прошептав молитву, приказал повторять за ним: «Я, сын такого-то, преданный мюрид почтеннейшего ишана, все поручения моего духовного наставника буду выполнять беспрекословно. Не отступлю от его приказаний, даже если над моей головой занесут меч. Ничем не буду злоупотреблять. Как родную мать, стану уважать каждую из четырех жен моего духовного настав-

ника. Не буду на них заглядываться. Не разглашу никому ни единой тайны, услышанной мной в этом доме. И пусть я ослепну, пусть разобьет меня паралич, пусть я покроюсь пузырями и умру на месте, если решу эту тайну нарушить! Амины!»

Договорив это вместе с ишаном до конца, я сообразил, что принес только что страшную клятву. Я испугался, но делать было нечего: слов обратно не вернешь! И с того самого момента я начал — час за часом, день за днем — бегать между ичкари и ташкари, точно иглока от стежка к стежку, не смея и передохнуть толком. Ох, и до чего же обманчивы человеческие надежды!

Так ношусь я, выполняя любые поручения, всякую работу, но в одном сбивает меня с пути праведного проклятый шайтан. Младшая жена почтеннейшего, молоденькая, лет семнадцати, до того красива — как расписная деревянная ложка, ей-богу! Меня так и тянет посмотреть на нее, так и тянет, и я нет-нет да и взгляну краешком глаза, но тут же вспоминаю белую циновку и как я Коран целовал, и мне сразу становится не по себе, точно враг человеческий уже подцепил меня на крючок, как жадную рыбку. И снова я бегаю взад-вперед и напеваю потихоньку:

Стройна красавица Зебихон,  
ё аллах дуст, ё аллах...

Дни идут за днями, и однажды ишан снова зовет меня в худжру.

— Сын мой,— говорит он мне ласково,— много труда положил ты на нас! Ты теперь знаешь все дела нашего дома... И сам видишь, сколько человек я должен содержать: жены, дети, суфи, слуги, батраки! Их кормить надо, одевать... Если рассчитывать только на подавания, мы все с голоду помрем, верно? Ты парень проворный, ловкий. Я тебя испытал. В наши тайны ты посвящен. Не зевай, сынок, пора тебе тоже добывать деньги... Каким-нибудь другим путем... Кроме сбора подаваний...

Ну и задал он мне загадку! Что означает этот «другой путь»? Я подумал-подумал, и на лице у меня, видно, отразилось все мое недоумение, потому что ишан стал объяснять мне — обиняком, намеками, — пока наконец я не уразумел смысл его слов. «Вот оно что», — подумал я и сказал вслух:

— Ладно, господин! Повинуюсь. Я готов жертвовать собой ради своего наставника...

Ишан довольно ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и благословил. Глаза у него при этом сделались хитрые-прехитрые... А я почувствовал в себе должную храбрость.

Тут ишан быстро встал с места, сказал мне: «Подожди немножко!» — и ушел в ичкари, откуда скоро вернулся с узелком, связанным из платка. В узелке были старые штаны, рубашка, тубетейка и поясной платок из набивного ситца.

— Вот, дитя мое, на, одень эти вещи. Это одежда моего покойного сына Миянкудрата, что утонул прошлым летом в хаузе. Прочти ему зауспокойную молитву...

— Аминь, царствие ему небесное...

— Даи боже...

Я стал думать, как выполнить новое поручение ишана, но на ловца, видно, и зверь бежит. Когда на другой день вечером я возвращался в обитель из ближнего селения, куда меня зачем-то послали, то увидел в поле непривязанную двухгодовалую телку. Отстала ли она от стада, заблудилась ли — я ее спрашивать не стал, а попросту снял свой поясной платок, накинул ей на рога и тихо-мирно повел ее в обитель. Ишан обрадовался.

— Да ты и впрямь молодец! — сказал он мне. — Из тебя толк будет... Сам аллах послал тебе эту добрую тварь! А скажи-ка, никто тебя по дороге не видел? Нет? Никто? Слава аллаху... Молодец, сын мой, молодец, будешь внимать тому, чему тебя учат, никогда не пропадешь, и на этом и на том свете...

Вечером телку зарезали, мясо и сало уложили в хум, а шкуру ишан велел выдубить: пригодится ему на ичкиги, сказал он.

На другой день меня опять послали в соседний кишлак, и тут я узнал, кто был хозяином бедной телки. Им оказался коробейник, житель кишлака — он уже поднял шум на всю округу, разыскивая свое достояние. Наконец, он наткнулся на следы телки и пошел по ним, проклиная на все поле и телку, и того, кто воспользовался ее слабостью. Он сулил ему все хворобы, какие есть на земле, и все удовольствия, припасенные в преисподней. Я следил за ним из кустов. Он разорялся изо всех сил, особенно, когда след терялся. Вдруг он поднял голову, огляделся — и, видно, понял, куда ведет след. Он еще немножко пошел по нему, но тон его высказываний значительно изменился. Весь свой гнев он перенес исключительно на телку. Когда же он оказался перед обителью,

то вовсе замолчал, уставился на ворота, поклонился, хотя его никто, кроме меня, не видел (а меня-то уж он никак не брал в расчет), провел руками по лицу, словно молясь, — и повернул назад. Пройдя несколько шагов, он припустил что было мочи.

Ишана сильно вдохновила моя первая удача. Скоро он опять зазвал меня в свою худжру и произнес новую речь.

— Сынок, — говорил он, — пора братья за другие дела: отправляйся-ка на базары... Есть ведь на свете такие прекрасные вещи, как карманы и кошельки! Что лучше наличных денег? И нести не тяжело, и прятать удобно. Наличные, сынок, наличные!

Боюсь, что я и в самом деле занялся бы этим ремеслом, которым не соблазнил меня даже Султан-карманник, по один случай этому помешал. На следующий день после этого разговора ишан остановил меня во дворе и сказал:

— Сынок, достань ишака, только быстро. Достань где хочешь!

Я с удивлением посмотрел на него. Он рассердился.

— Ну, чего ты глаза вытаращил, говорю, приведи ишака и привяжи к тутовнику во дворе!

Зачем ему понадобился ишак? Не заболела ли крапивной лихорадкой какая из жен? Размышляя об этом, я отправился в кишлак и за две мускатные тыквы нанял на час ишака у того же бедняги-коробейника. На этом самом ишаке он разъезжал по селениям, крича: «Кому усьму, кому шнур для штанов!»

Когда я привязал ишака к тутовнику, третья, беременная жена ишана очень обрадовалась. Она велела полить и подмести во дворе, а в тени под деревом расстелить палас. Пока я всем этим занимался, меня немало поразили знаки почтения и даже нежности, которые выказывала этому ишаку жена ишана. А ведь ее называли внучкой Фатимы, близкой родственницы пророка! Едва я расстелил палас, она велела мне выйти и заперла ворота изнутри. Тут уж мое любопытство и вовсе разгорелось. Я вошел в молельню, прикрыл дверь и тотчас вытащил узорный колышек из стены мечети, выходявшей во двор. Через отверстие все было отлично видно. Жена ишана ножницами надрезала ишаку кончики ушей, из них начала сочиться кровь. Сама же она, положив на палас шелковую курпачу и подушки, прилегла и стала любоваться ишаком. На кровоточащие уши сели мухи, бедное животное замотало головой, отгоняя назойливых насекомых. При этом ишак хлопал

ушами, тряс ими что есть мочи, шлепал друг о друга, а жена ишана смотрела и просто таяла от восторга.

— Ах ты, голубчик мой! — говорила она и, казалось, готова была кинуться ему на шею. — Ах ты, мой красавчик! Да паду я за тебя жертвой, как же мило шевелятся твои ушки! Нет, Анмчахон, — говорила она, обращаясь к другой жене, потому что все остальные тоже вышли во двор и ехидно посмеивались, наблюдая это зрелище, — смотрите, как замечательно у него уши шевелятся! Ах ты, мой голубчик, прелесть моя, ишачок!

Стоя за стеной у отверстия, я тоже беззвучно давился от смеха. Я вдруг представил себе на месте ишака нашего ишана, и как беременная жена расточает ему свои ласковые словечки, и уздечка на нем бренчит, а большие белые уши надрезаны ножницами и колыхнутся во все стороны, а мухи над ними так и вьются...

Ну, когда я себе все это как следует представил и сообразил, что «ишан» и «ишак» не только звучит похоже, а они еще и впрямь похожи друг на друга своими томными глазами и кокетливой походкой, — тут меня так разобрало, что я не выдержал и фыркнул. Видно, это меня и погубило, а может, аллах просто спохватился, да и прочел мои мысли и рассудил, что нельзя позволять даже и в помыслах так насмеяться над его верными слугами. А уж вернее, чем наш ишан, и быть не могло! Так или иначе, но пока я старался потише хохотать и корчился около отверстия в стене, я прозевал подстерегавшую меня опасность. Я почувствовал ее только, когда меня изо всех сил треснули кулаком по спине.

— Ах ты, проклятое отродье, ты что тут делаешь?

Это был сам почтеннейший ишан. Должно быть, он услышал подозрительное фырканье, пошел посмотреть, в чем дело, и застал меня ни больше ни меньше, как за разглядыванием его возлюбленных жен, тех самых, которых я должен был почитать, как родных матерей! Это был тяжкий грех, и прощению он никак не поддавался. На этот раз я не отделался несколькими пинками: ишан проклял меня и выгнал вон из обители...

Я очутился за воротами, на дороге, где недавно стоял бедный коробейник, лишившийся своей телки (а теперь, кажется, еще и ишака), а я со смехом подглядывал за ним из кустов. И я подумал, как переменчива судьба, ведь еще несколько минут назад я был довольно важной птицей в этом курятнике, а теперь уж и носа сунуть туда не могу!

Мало того, я лишился рая! А он был уже у меня в руках. Правда, моя нынешняя жизнь в обители мало напоминает райскую, зато в будущем райское блаженство было мне наверняка обеспечено! И что теперь? Снова скитаться по дорогам? Небо — высоко, земля — тверда, куда идти — неизвестно. Я стал каяться, называть себя бестолковым дурнем, бесприютным бродягой, что катится по свету без цели, как шарик ртути на покато́м полу. Был бы я чуть поумнее да посдержанней, не озорничал бы зря — и жил бы себе, горя не зная. А теперь? Впрочем, что толку каяться, прошлого не вернешь...

### КАК Я РАЗОРИЛ БАЯ

Кишлак я постарался обойти стороной, чтобы, не дай бог, не встретиться с коробейником, и снова, как в прошлые дни, побрел по дороге. На закате я вышел к большой реке. Она стремительно неслась, грохоча на камнях, и вся белела от пены. Что это за река, я не знал, где безопасная переправа — тем более. Я прошел было немного вверх по берегу, потом вниз. В грохоте воды мне чудились человеческие голоса, конское ржание. Но кругом было пусто. В шуме бурной реки можно услышать все, чего ждешь или боишься...

Перебраться я сам не мог, возвращаться тоже было некуда. Я стал ждать, пока кто-нибудь появится на дороге, и тут вспомнилась мне песня, которую я слышал у нас в махалле. Очень уж она была кстати, эта песня бедных странников, и я спел ее проносившимся белым волнам да гладким камням, торчавшим из пены:

Бурная речка, бушует поток,  
как перебраться, не знаю, ёр-ёр,  
Кляча как моци,— а путь мой далек!  
Мне не добраться, я знаю, ёр-ёр.  
Щебень извел мою клячу вконец,  
сам наглотался я пыли, ёр-ёр.  
Стал я желтее, чем тот огурец,  
что и сорвать позабыли, ёр-ёр.  
Эй, тонкобровая, выгни дугу,  
душу до дна осуши мне, ёр-ёр.  
Дом твой белее на том берегу...  
Кинусь,— не жалко души мне, ёр-ёр.  
Что привело меня к вашим местам?  
Сам я не знаю и плачу, ёр-ёр...  
Белым мелькает твой тоненький стан —

шелк или ситец на платье, ёр-ёр?  
Нету для речки ни почи, ни дня,  
пенной поток захлебнулся, ёр-ёр.  
Ах, неужели он лучше меня —  
тот, что тебе приглянулся, ёр-ёр?  
Вижу кувшин я на том берегу,  
вижу кувшин золотой я, ёр-ёр.  
Только руки протянуть не могу —  
взять и наполнить водою, ёр-ёр!  
Трудно кипящий поток переплыть.  
Легче — дорожкой гладкой, ёр-ёр!  
Смелость нужна тут, не жалкая прыть,  
смелость нужна без оглядки, ёр-ёр.  
Странпику, милый, отвага нужна.  
Хочется выпить? Так пейте до дна!

Кончив петь, я в самом деле почувствовал жажду, встал на колени и выпил несколько пригоршней сладкой речной воды, такой холодной, что зубы заломило. Поднимаясь, я увидел старого дехканина на тощей лошади, подъезжавшего к реке. Я побежал ему навстречу, схватил за полу халата и стал умолять, чтоб он и меня переpravил.

— Ну да,— сказал старик ворчливо, показывая на свою кобылку,— видишь, какая она худая, только ожеребилась! Да и груз тяжелый, стыдно двоим мужчинам садиться на такую лошадку...

Но я так жалобно упрашивал, что он, по-прежнему ворча, согласился.

Пока он (уже на другом берегу) поправлял притороченный груз, я узнал, как называется река и что сам он — виноградарь из ближайшего кишлака на этой стороне. Он тоже получил от меня все необходимые сведения. Услышав, что я бездомный заблудившийся сирота без роду и племени, что мне негде приклонить голову и получить кусочек сухой лепешки, старик дал мне несколько советов. В кишлаке, сказал он, есть волостной управитель — важный бай по имени Сарыбай-булыс. В его огромном, в тысячу танапов, яблоневом саду всегда требуются рабочие руки, особенно сейчас, когда яблоки поспевают. Бай, конечно, не откажет мне в работе — ведь я наймусь за дешевую плату! А переночевать, продолжал старик, можно уже сегодня вместе с батраками, он сам укажет мне дорогу...

В бараке, куда старый виноградарь меня привел, оказалось человек двадцать батраков — все старики или очень пожилые люди. Я обратился к ним с приветствием, как

положено, и они радушно меня приняли. Когда я сказал, что хотел бы наняться на работу к Сарыбаю, один из них сказал:

— Э, сынок, что тебе здесь делать? Ты еще молод, а жизнь — дорогая штука, пропадет она у тебя тут зря. Пойми ремеслу подоходней, пока есть время...— И так как на лице у меня, видно, отразилось уныние, он добавил добродушно: — Ну ничего, дней десять — двенадцать поработаешь, поправишь свои дела, а там видно будет...

Он налил мне в глиняную чашку половник похлебки и сунул два куска лепешки. Я съел все это с великим аппетитом.

Потом мне показали место для ночлега, и я соорудил кровать из двух ящиков для яблок, да еще подушку — из кучи стружек. Ложе оказалось превосходным, а сон — прямо царским. Во всяком случае, тут было гораздо теплее, чем в молельне у ишана, да и суфи не будили меня чуть свет своими молитвами.

Утром я пошел к баю. Он поломался немного для виду, сказал, что яблоки — это не кирпичи, надо уметь с ними обращаться, потом изрядно поторговался и, наконец, согласился нанять меня за два пуда и семь фунтов яблок в месяц. Но яблоки, добавил он, будут всякие, и спелые и неспелые! Тут и слепой бы увидел, что он собирает меня обжудить, как котенка, и я разозлился, хотя виду не подал. Терять мне нечего, поставлю-ка и я ему одно условие, подумал я, и сказал:

— Бай-бува, мы с вами уже сторговались, но совесть не позволяет мне умолчать об одном своем недостатке. Ведь если я промолчу, сделка по шарияту не состоится... Правда, у меня только один изъян, но...

— Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой у тебя там изъян? Что, мочишься ночью? Или припадочный?

— Нет, бай-бува, не это... Но у меня, знаете, такая болезнь с детства, что я нет-нет, а время от времени должен соврать, хоть и помимо воли. Лишь бы вы меня потом не ругали, бай-бува. А плата будет, как вы говорите!

— Ох и нечистое отродье! Хитер ты, парень,— ну ладно, ступай работай, только ври не слишком часто!..

Вот я и в батраках у бая. Работа у меня не слишком трудная: ставлю подпорки к яблоням, собираю и сушу падалицу, а иногда, когда срочно требуются хозяину деньги, грузу недозрелые яблоки на арбу — и везут их на продажу в Дарбазу или Сарыагач. Стерегу сад...



Все это бы ничего, если бы не окаянный характер самого хозяина. Такого злобного зануду я не встречал ни до, ни после! Прав был старый батрак, не советовавший мне сюда наниматься. Если вы подойдете к Сарыбаю по какому-нибудь делу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь. У него есть дьявольская привычка после каждого пустяка задавать один и тот же вопрос: «А что дальше?» Скажем, вы приходите к нему и говорите: «Кандиль поспел». Кажется, ясно? Но он спрашивает: «А что дальше?» Вы, конечно, говорите: «Надо его собирать». Тут он снова выкладывает свой проклятый богом вопросик: «А что дальше?» Ну, вы говорите: «Продать надо». Все, точка? Так нет же, он не может остановиться. «А что дальше?» — говорит он. И если вы, не приведи господи, не найдете, что ответить, вас ждет самая настоящая взбучка, да еще иной раз кнутом по спине.

И ведь что удивительно: везет таким людям на редкость! Я думаю, плохо ведутся у аллаха долговые книги, отсюда и вся путаница на земле, удачи и несчастья достаются вовсе не тем, кому причитаются. Мало ли было Сарыбаю всех его богатств при такой-то душонке, так ведь еще ему привалило: выиграл недавно в какой-то азартной игре у Юсуфа-контора из Чувалачи его фруктовый сад, и дом с женской и мужской половинами, и все добро, что в доме... И так приглянулся Сарыбаю этот сад, особенно беседка в том саду, продуваемая ветерком, что он, не долго думая, женился там еще раз на молоденькой киргизке, а теперь то и дело уезжает дней на десять — пятнадцать...

Вот и нынче Сарыбай отправился к своей киргизке, а тут яблоки стали поспевать, опадают, но без хозяйского приказа никто не осмеливается начать сбор. Кончился к тому же корм для лошадей, батраки сидят второй день полуголодные, а ехать к хозяину никому неохота — до того осточертело всем его «а что дальше?». Деваться, однако, некуда, и вечером в бараке мы бросаем жребий, кому ехать к баю. И надо же, жребий выпадает мне!

Если я вам скажу, что это меня обрадовало, то возьму на душу тяжкий грех, а их и так у меня хватает. Меня даже в пот бросило, когда я представил себе свой разговор с Сарыбаем. Но делать было нечего: утром мне дали коня, и я отправился в Чувалачи. По дороге я и так и сяк примерялся к будущему разговору, все прикидывал, как я стану отвечать на его бесконечные «а что даль-

ше?», пока не вспомнил вдруг о своем мнимом изъяне, про который наплел баю. Вспомнив, я так обрадовался, что даже ладони у меня зачесались.

Когда я приехал, бай сидел в своей любимой беседке и завтракал вареной бараньей головой. Меня к нему провели, и я тихонько сел у двери.

— Ну?! — спросил он. — Чего приехал?

— Просто так, бай-ата, мы все соскучились по вас, послали меня вас навестить...

— Хорошо, хорошо, молодцы, но не зря ж тебя, наверно, послали, а по делу, говори, что там дальше?

Я понурил голову и сказал, опустив глаза:

— Это самое... Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался, вот я и приехал об этом сказать...

— Ну, а что дальше, как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали, другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?

— Да мы с вашей борзой шкуру снимали, нож напоролся на кость, вот и сломался.

— Что?! — сказал бай. — Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со слоновой... Тьфу! Почему шкуру сдирали?

— Ну, мы спешили, бай-ата, спешили содрать шкуру, как только борзая сдохла, а то шкура пропадет, вот и некогда было другой нож искать!

— Чтоб вам всем пропасть, да отчего она сдохла?

— Мяса дохлой лошади объелась.

— А кто ей дал мясо дохлой лошади, откуда еще дохлая лошадь взялась?

— Никто не давал, бай-ата, она сама накинута. Лошадь-то была не чужая какая-нибудь, ваша лошадь, гнедая с белой отметиной на лбу...

Бай совсем опешил.

— Эй, эй, парень, ты сначала подумай, потом говори... Как ты сказал, околела гнедая с белой отметиной? Спаси аллах, отчего же это она околеть могла?

— Оттого, что негодной оказалась.

— Как это негодной оказалась? К чему негодной? Что ты мелешь?

— Ничего я не мелю, оказалась она негодной воду возить. Ее, оказывается, никогда не запрягали, а тут запрягли, она повозила воду, надорвалась, да и околела.

— Ах ты, подлец, что ты чепуху порешь? — закричал бай, вскакивая с места. Лицо у него все налилось

кровью, губы дрожали.— Там столько ломовых лошадей, кто это додумался возить воду на единственной лошади, которую я откармливал для улака?! Говори, проклятый!

— Да ведь когда пожар начинается, бай-ата, кто же думает, для чего лошадь предназначена, для улака или еще для чего? Запрягли первую попавшуюся, хоть ведро воды привезти!

Пока я это говорил, бай машинально откусил кусок бараньего языка, который держал в руке, но когда мои слова про пожар дошли до его сознания, он судорожно глотнул и, видно, кусок пошел ему не в то горло. Он сидел, уставясь на меня по-бычьему вытаращенными глазами и не произнося ни слова. Я даже испугался, что вместе с бараньим языком он проглотил свой собственный. Но он просто ненадолго потерял дар речи. Наконец, его снова прорвало:

— Ты... ты что, с ума спятил? Что значит — вспыхнул пожар? Где пожар? Отчего вспыхнул?

— Да я-то в своем уме, хозяин. Пожар сначала в конюшне вспыхнул. Бедные лошади, все сгорели.

— О...от...откуда пожар в конюшне?

— Не знаю... По-моему — остальные тоже так думают,— пожар в конюшню со склада перекинулся.

— О, аллах, что за напасть на меня!! Ведь на складе ничего не было такого, чтобы огонь загорелся! Ну, была пшеница, был рис, сало было, материя, они же сами не могли загореться!

— Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы перекинулся. А уже в конюшню — со склада. Так и пошло от одного к другому...

— Значит, и усадьба сгорела?!

— Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшня, и лошади погибли, и гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался...

— О-о-о, горе мне, а я-то сижу и ничего не зна-аю! О-о-о... Ну, а отчего в усадьбе загорелось? А?

— От свечи, хозяин, загорелось, от свечи...

— От какой свечи, совсем ты рехнулся, что ли? Разве в моем доме зажигают свечи?! А куда девалось столько ламп, которые я привез из Ташкента, а? Куда они девались? Я же керосин бочками покупал, на целый год запасся! Чего ж вы зажигали свечи?!

— Смотрю я, хозяин, совсем вы человеку слова не

даете сказать! Где же это видно, чтобы над покойником зажигали керосиновую лампу?

Тут он так и присел. Видно, он совсем ошалел от моей брехни и не мог толком понять, на каком он свете. А я тем временем продолжал ему объяснять, как маленькому:

— Разве вы не знаете, хозяин, над покойником огонек должен гореть, чтобы ночная бабочка прилетела — в кого же иначе дух покойника войдет? Вот и наливают воду в чашку, ставят веточку яблони, бабочка как прилетит — сядет сперва на веточку, отдохнет и начинает кружить...

Бай, видно, не в силах был слова произнести. Он махнул рукой, чтоб я замолчал, и еле выговорил:

— Кто... кто умер?

Тут я закрыл лицо руками, заплакал в голос и проговорил вперемежку с плачем:

— Ваш младшенький... вай-буй!.. Бурибайвачча... О-о-ой... залез на тополь... вай-вай... хотел птенчика достать... а-а-а... у... упал с дерева и-и-и... умер, только крикнул один раз «папа»!

Я не знаю, дослушал ли меня бай до конца — но он ударил себя по голове пиалой, пиала разбилась, из ссадины на виске потекла кровь с чайниками, а он рвал свою бороду и громко плакал. Я рыдал вместе с ним. Наконец мы оба затихли, бай сидел и горестно раскачивался.

Я решил, что немножко переборщил, и надо сочинить что-нибудь утешительное.

— Ой, хозяин,— сказал я чуть всхлипывая, но уже с радостным лицом,— пусть аллах одарит вас с избытком, даже если сын ваш умер, и дом сгорел, и лошади пали, и борзая... — Бай посмотрел на меня с несправедливостью, и я, прервав себя, поторопился перейти к утешительной части.— Бай-ата, я принес вам и одну приятную весть, которая утешит вас во всех горестях.

Издав глухой ухающий звук, он спросил:

— Ну, пропади она пропадом, твоя приятная весть, что ты там еще принес, проклятый, говори?

— Ваша средняя дочь Адаль-апа родила такого сына, что он стоит дороже любого богатства!

— Что-о? — сказал бай. Глаза у него полезли из орбит.— Какая Адаль-опа? — Он на секунду замолк, потом заревел, как бык: — Моя дочь еще не замужем!

Я пожал плечами.

— Мы все тоже очень удивились. Но аллах, если захочет, может одарить и незамужнюю. А мальчик-то, бай-

ата, какой мальчик этот ваш внук! — Я выдержал мгновенную паузу и добавил скромно: — Знаете Бадала, вашего арбакеша? Вылитый он...

Этого бай не вынес: он без сознания повалился на курпачу. Я не стал терять времени и тут же уехал. Такие хорошие вести стоят не одного удара плетью, но я, по своей скромности, решил обойтись без этой честно заслуженной награды.

Спустя час после моего возвращения в усадьбу прибыл на буланом скакуне и Сарыбай. Он ехал с опущенными полами, глядя одним глазом в небо, другим в землю. «Как бы не стряслось какой беды», — подумал я и спрятался. Домашние бая, услышав его плач и причитания, решили, что случилось какое-то несчастье. Они, тоже плача, вышли ему навстречу, Сарыбай слез с коня, начались вопли и горестные объятия. Но тут из ворот, присоединяясь к общему горю, выскочил сопливый Бурибай, младший байский сынок. С вошем «папа» он побежал к отцу, а Сарыбай так и присел, не зная, мерещится это ему или он увидел привидение. Тут все и разъяснилось — оказалось, что и лошади целы, борзая жива, и усадьба не сгорела, и даже нож с ручкой из слоновой кости лежит на месте целехонек.

Можете мне поверить, в тот день я сделал все возможное, чтобы меня не нашли — хотя искали меня усердно. Но на следующее утро я попался. Меня связали и принесли к баю, и первым делом я получил свои двадцать ударов плетью, без которых собирался уже обойтись. Потом бай спросил, задыхаясь и кривя рот:

— Ты, собачье отродье, это что за проделки?

На этот раз я всхлипывал уже непритворно, мне было больно.

— Мы с вами с самого начала договорились, бай-ата (всхлип), что я иногда (всхлип) неправду говорю! Это у меня (всхлип) с детства, я же вас предупреждал, дорогой хозяин (всхлип)...

— Ну и что, кончилось на этом твое вранье?

— Ой, нет, бай-ата, не кончилось...

— Ну, если не кончилось, то когда ты выложишь все, я совсем лишусь семьи и крова! Вон отсюда! Чтоб ты сдох! Чтоб тебе век не наедаться! Гоните этого лгуна!

Меня развязали и погнали было со двора, но я громко завопил и потребовал расчета. Я проработал у бая месяц и девять дней! Бай махнул рукой и велел со мной расчи-

таться. Он вычел двадцать две копейки, выданные на мелкие расходы, и мне насыпали в старую рогожу пуда два червивых яблок... Ну, я и этим был доволен. Кое-как взвалив на плечи мешок, я снова отправился в путь...

## МЫ ПЕРЕГОНЯЕМ БАРАНОВ

Снова в путь!..

Опять скитания, опять бродяжничество!.. Я — словно птенец кукушки, выпавший из чужого гнезда. Куда теперь приведет меня судьба? Где доведется остановиться?

Я брел, сгибаясь под тяжестью заработанных яблок, не меньше тысячи раз послав проклятия баю, да и самому себе за то, что согласился на такую оплату. Прав был почтеннейший ишан, когда говорил мне: «Наличными, сынок, наличными! И носить легко, и прятать удобно...» Я бы с удовольствием спрятал куда-нибудь эту чертову рогожу, чтобы век ее не видеть, да ведь жалко так, ни за что, бросить свой месячный заработок!

Дорога между тем выбралась в холмистую местность, пахучие степные травы покрывали все кругом, багровый закат растекался по горизонту, а с востока шла темнота, и ближние склоны холмов казались черными. Вдалеке, в стороне от дороги, я увидел юрту и заторопился к ней. Около юрты было пусто, холодный очаг чернел пустым котлом. Ни собаки, ни скотины. Я постучался в дверь. «Кто там?» — глухо спросили изнутри. «Божий гость!» — сказал я. Хозяева выглянули и подозрительно оглядели меня с моей ношей — видно, приняли за вора с добычей, — однако в юрту пустили. А когда я развязал свой мешок и роздал хозяйским ребятишкам по яблоку, настроение у всех и вовсе переменилось. Никакой вор не станет переть на собственном горбу мешок с червивыми яблоками! Передо мной положили половину лепешки. Я пожевал ее — мне что-то и есть не хотелось от усталости — и заснул, положив яблоки под голову вместо подушки.

Утром я снова потащил свой мешок, разузнав у хозяев юрты ближайшую дорогу на Сарыагач. Добрался я туда в полдень, чуть не падая от усталости. Как назло это был базарный день, с округи навезли всякой всячины, и мои яблоки, как я ни старался, особым спросом не пользовались.

— Подходите, не пожалеете! — орал я, довольный,

врочем, уже тем, что яблоки лежат на земле, а не на моей шее.— Продам и уйду! Подходите! Кто съест это яблоко, тому не нужна лепешка! Продаю только тем, кто разбирается в дарах сада! Подходите, не пожалеете!

Еле-еле я их распродал, а когда подсчитал деньги — оказалось шесть таньга и мири! Я и не рассчитывал на такую сумму!

Хорошо бродить богачом по базару. Совсем по-другому прицениваешься, когда знаешь, что в самом крайнем случае можешь купить все, что попало тебе на глаза или на язык. Минут десять я торговал у какого-то парня железную ванну, но давал ему очень мало и наслушался крепкой брани. Потом я долго приценивался к пальто с бобринским воротником, даже примерил его под конец, но оказалось, что в нем мог бы поместиться не только я сам, а и все мои будущие дети, сколько бы их ни появилось на свет. Хозяин пальто опять же на меня здорово разозлился, хотя он с самого начала прекрасно видел, какого я роста и толщины, а уж размеры пальто были ему и до того известны.

Потом я пошел на скотный базар — что-то меня туда потянуло — и начал прицениваться к большому круглолобому барану с рогами, закрученными, как чалма у воспитанника медресе. И вдруг мелькнула передо мной какая-то вроде знакомая физиономия. Я огляделся. Около стада баранов, связанных одной веревкой, стоял парнишка в казахском чекмене и вывернутой наизнанку меховой шапке. В руках он держал дубинку с утолщением на конце. Ей-же-ей, никто из моих друзей такой одежды не носил, и все же очень знакомо мне это лицо, от пыли и солнца ставшее похожим на кошму, и эти карие глаза под пыльными ресницами, которые и сами-то вдобавок всматриваются в меня с надеждой...

— Аман!! — завопил я и кинулся к нему. Он заорал еще громче моего и побежал навстречу. Мы обнялись, похлопали друг друга по плечам, — потом уселись рядом и стали друг друга наперебой расспрашивать — ведь мы расстались, удирая тогда от пастухов, да так и не знали, удалось ли другому избежать их мести.

Аман, оказалось, еле спасся, совсем было его нагнали, но тут один из пастухов поскользнулся на куске свежего лошадиного помета, да и упал, второй на него палетел, вот Аман и выиграл расстояние. Потом он бродил по кишлакам, все боясь наткнуться на этих пастухов, а про домлу, как и я, он больше ничего не слышал, да, по правде ска-

зять, и не старался. Хотел было отправиться домой, да побоялся прийти с пустыми руками, решил сперва к двоюродному дяде в Чимкент навеститься. Но, на беду, дядя за месяц до того умер, и Аман волей-неволей нанялся к богатому баю-скотоводу, отару которого встретил в дороге. А теперь уж так он рад, так рад — и одет он, и сыт, а пастухи работают у бая за двух овец и одного козла в год, так что, если овцы принесут двойни, Аман, глядишь, и сам заделается хозяином большой отары. А сейчас они как раз гонят отару в Ташкент, на базар, там он и дома побывает, отцу расскажет, а сегодня они по дороге остановились в Сарыагаче, благо базарный день, авось дадут подходящую цену, не надо будет и в Ташкент гнать...

Я позавидовал Аману — надо же, как ему повезло, не то что мне с моими червивыми яблоками! Я ему, конечно, про яблоки рассказывать ничего не стал, показал только свои деньги да еще прибавил, что главный капитал уже прокутил, а то мог бы и я баранов заиметь. Словом, я не дал ему повода передо мной загордиться, а потом сказал, что его работа мне тоже по душе, да и в Ташкент пора, хорошо бы он замолвил словечко своему хозяину, чтобы и меня с ними взяли, а уж я послужу честно и бескорыстно. Я видел, что Аману моя просьба понравилась. Во-первых, он и вправду обрадовался встрече и вдвоем было бы веселее, а во-вторых, ему приятно было выступить в роли важного ходатая.

— Хорошо! — сказал он, сдвинув брови. — Вот доберемся до Кок-Терака, я хозяина попрошу.

Но вышло все еще лучше, ему даже и просить не пришлось. До вечера я помогал ему присматривать за отарой. В эту пятницу в Сарыагаче был большой спрос на коз, хозяин Амана всех своих коз продал, но бараны остались — семьдесят три штуки. К вечеру бай, садясь на своего скакуна, сказал Аману:

— Твой друг, видно, хороший парень, и скота осталось не так уж много. Перегоните-ка баранов к утру на кок-теракский базар, вдвоем вы запросто управитесь. А я вперед поеду.

Мы радостно согласились, поклонились баю, прижав руки к груди. Он хлестнул коня и ускакал, а мы загнали баранов в сарай, закусили и легли отдохнуть до вечера. Когда взошла луна, мы отправились в Кок-Терак.

Мы передвигались, посвистывая и окликаая баранов, то и дело обегая отару и следя, чтобы она не разбрелась.



Не прошли мы и версты, как я понял, что нам предстоит не легкая почная прогулка, а тернистый путь, полный мучений. Сколько раз я говорил «глуп, как баран», но только теперь увидел, что все, кого я так ругал, и вполовину не были так глупы, как эти крутолобые тупицы. Если что может сравниться с бараньей глупостью, так только баранье упрямство. Первому барану на земле надо было здорово изловчиться, чтобы при таком уме заполучить еще и такой норовистый характер. По-моему, чего-нибудь одного было бы уже вполне достаточно. Впрочем, пока баран был один — а сначала он наверняка был один, — это жуткое сочетание было еще не очень заметно. Так оно осталось и до сих пор: пока вы с бараном наедине, вы еще можете кое-как с ним поладить. Но когда баранов становится много, а вы по-прежнему один, они превращаются в настоящих чертей. Теперь, кстати, я понимаю, почему у шайтана на голове бараньи рожки. В преисподней, надо полагать, так и поступают: оставляют грешника наедине с целым стадом баранов.

Единственный, кто по-настоящему может с ними управляться, — это, как известно, вовсе не человек, а козел. Наверное, потому, что своим упрямством он и их в состоянии перешибить: пока они говорят ему одно слово, он им — десять. Козла они слушаются, как родного отца, хотя, кстати сказать, родного отца они вовсе не слушаются, даже если и знают его в лицо. Без козла они прутся, куда в голову взбредет, — пастуху приходится садиться на ишака, ехать впереди стада и блеять по-козлиному. Но у нас не было ни козла, ни ишака. К тому же я, при моей малой опытности, блеял так, что не мог бы обмануть даже самого глупого барана.

Кое-как, с божьей помощью, мы все же передвигались, а ночь вокруг стояла просто замечательная. Кругом расстилалась холмистая степь, склоны холмов серебрились под луной, а черные тени казались бархатными. Сама луна плыла в небе, золотая и крутолобая, и упрямо пробивалась сквозь облака, теснимые ветром. Ветер пробегал по земле, шурша травами и неся ароматную прохладу. Словом, такая была ночь, что даже на баранов она подействовала. Они шли спокойно по дороге, только изредка негромко блеяли, и то не из протеста, а скорее в знак согласия. Вскоре дорога вывела нас к железнодорожному полотну и пошла рядом с ним, сопровождаемая негромким пением

телеграфных проводов. Мне тоже захотелось петь, и я затянул, взяв сразу высокую ноту.

— Хорошо поешь,— сказал Аман мечтательно,— давно я не слышал знакомого пенья...

Подхлестнутый похвалой, я забирался все выше и выше, на тонкие ноты, словно в самое поднебесье, чтобы и там меня услышали и небо потряслось до краев. О чем я пел, толком не помню, но, наверное, о ночи, о луне, о дальней дороге, о рельсах, уходивших вдаль, как две серебряные нитки, и где-то далеко впереди сливавшихся в одну, как сливаются в одну все земные дороги...

А бараны между тем то и дело забирались на насыпь, и козла нам по-прежнему здорово не хватало. Впереди показался небольшой кишлак, словно прилепившийся к железной дороге, проселок пошел по кишлачной улице, меж низких дувалов, и мы погнали баранов вперед, а улица снова вышла к железнодорожному полотну. Аман кивнул на рельсы:

— Вот благодать, кто поездом едет,— сказал он и добавил мечтательно: — Эх, сесть бы в поезд и отправиться далеко-далеко...

— Да, здорово бы,— сказал я.— Иметь бы денег без счета и разъезжать себе! В Каунчи поехал, в Туркестан, в Чиназ, а то хоть бы и в Москоп, и никто тебе ни словечка не скажет, будто так и надо. А ты едешь себе и едешь...

И тут, словно в сказке какой, действительно послышался шум поезда! По рельсам неслись два огненных глаза, стремительно приближаясь, и мы с Аманом, все еще во власти мечтаний, так и усталились на них, забыв обо всем. Нам вдруг показалось, что наши мечты вот-вот сбудутся и, уж во всяком случае, можно будет наглядеться вдоволь на поезд, который мчится прямо перед твоим носом, а это не каждый день выпадает мальчишкам вроде нас. Поезд оказался, правда, вовсе не пассажирский, а товарный, зато паровоз у него был не один, а целых два, а уж вагонов к ним было прицеплено — больших красных вагонов — столько, что и конца не видать.

Паровозы пронеслись мимо, и вдруг оба разом оглушительно загудели! Чего это им вздумалось, я до сих пор не понял, только загудели они так, как будто миллион быков среди ночи решил переменить хозяина и заявил об этом во всеуслышание. Округа затряслась от рева, и, по правде сказать, мы с Аманом тоже. Уж больно неожиданно пришла этим паровозам блажь в голову.

А что до наших баранов, так они и вовсе сочли, что настал конец света и надо срочно искать дорогу в другое место. Некоторые, прижатые к дувалу, со страху полезли вверх, как кошки, но до кошек по этой части им было далеко, и они посыпались обратно, устроив такую свалку, какой в здешних местах наверняка еще не видывали. Другие помчались назад по темной улице. Третьи, совсем перестав соображать, сунулись было на насыпь, откуда как раз им и следовало бежать, но, к счастью, вовремя скатились назад. Словом, они устроили такую игру в прятки, что, когда поезд наконец прогрохотал мимо и промчался, тяжело стуча, последний вагон с прикрепленным сзади красным сигнальным огнем, похожим на раскаленный от злости глаз шайтана, — мы нашего стада уже не увидели.

Пыль валила столбом, словно дым из печи для обжига кирпича, да слышалось поблизости жалкое перханье слабых овечьих глоток. Это были несколько охромевших и сунгных овец, которые прижались к дувалу — все, что осталось от нашей отары.

Мы в отчаянии побежали в разные стороны, окликая разбежавшихся баранов. В темноте я наткнулся на одного и поволок его назад. Из пыли вынырнул силуэт Амана.

— Где же вы, чтобы вы сдохли! — кричал Аман плачущим голосом — и тут наткнулся на меня. Оба, разом, мы хрипло спросили друг друга:

— Где бараны?

Аман зло взглянул на меня, отвязал от пояса веревку и связал вместе остатки отары. Потом мы снова побежали по кишпачной улице. Дувалы кое-где пообвалились, бараны, видно, перепрыгивали их тут, как горные козлы. Мы стали лазить по дворам, рискуя нарваться на собак. Это было все равно что искать муравья на черном паласе, но мы лазили около трех часов и нашли пять баранов в одном дворе, трех — в другом, еще несколько — в развалинах какого-то заброшенного дома, больше десятка — в посевах... Мы совсем выбились из сил, а передохнув немного, стали пересчитывать отару. Не хватало семи баранов. Я посмотрел на Амана, он — на меня. Глаза его сквозь слой пыли блестели в темноте, как бусинки, вмазанные в глинобитную стенку.

— Что же теперь делать? — сказал он.

Я чуть не плакал:

— Не рассчитывать нам за семь баранов, даже если два года вдвоем работать!..

— Пошли, поищем еще.

Начинало светать. Мы перебрались через насыпь, увидели там и сям катышки овечьего помета, пошли по ним, как по следам, и у маленькой речки неподалеку обнаружили еще двух беглецов. Остальных не было, а искать — времени уже не оставалось: до Кок-Терака немалый путь, и хозяин ждал нас на базаре.

В дороге одна овца начала отставать от стада, бляла, коротко кашляла и посверкивала глазами. Как мы ни старались подогнать ее к остальным, она не поддавалась, то и дело расставляя ноги, точно собираясь присесть.

— Эй, парни! — крикнул ехавший нам навстречу казах на бурой лошади. — Не подгоняйте свою овцу, она у вас, видно, скоро околится!

Мы сперва не поверили, но у овцы, перепуганной поездом, действительно начались преждевременные роды! Только этого нам неоставало... Будь он неладен, этот ублюдок, поторопившийся на свет раньше времени! Однако у бедняги овцы прямо глаза лезли на лоб, она стонала и корчилась, и у нас пропала вся злость. Отогнав баранов, мы стали, как могли, принимать роды. Когда у овцы начались потуги, мы стопали и тужились вместе с ней, крихтя так громко, словно это нам предстояло произвести на свет ягненка. Наконец, мы разродились. Овца облизала ягненка с ног до головы, и мы, может, сделали бы то же самое, но любвеобильная мамаша явно нас ревновала, да и времени на семейные нежности не оставалось: мы и так рисковали попасть на базар к закрытию.

Хотя овца нас и задержала и вдобавок мы должны были теперь вместо нее пести ягненка, завязав его в поясной платок, управляться со стадом стало куда легче. Только что разродившаяся овца бежала без усталости вслед за тем из нас, кто нес ягненка, не отставая ни на шаг, а за ней кучей следовало остальное стадо. Так что теперь можно было не сетовать на отсутствие вожака, и мы поняли, чем берет козел — уверенностью в себе. Бараны всегда пойдут за тем, кто шествует с достаточно уверенным видом, куда бы он ни шел, хоть в пропасть.

Если овца вдруг теряла своего новорожденного из виду, мы бляли вместо него. Может, это у нас и не так уж здорово получалось, но ведь ягненок только что родился, и у него тоже был не бог весть какой опыт. Так мы добрались до реки.

Мы заранее знали, что предстоит переправляться че-

рез реку — то есть Аман знал и сказал мне, — но у нас столько было хлопот ночью, что мы забыли об этом и теперь прямо растерялись. Попробуй заставить всю эту подлую ораву лезть в воду по доброй воле! И на руках их всех не перетащить — речка была хоть и не очень широкая и бурная, но все-таки ничего себе, шутить с собой она бы не позволила. Мы посоветались и решили снова подзаработать на материнской любви. Аман разделся, взял на руки ягненка, показал его овце и, громко блея, стал переходить реку вброд. Речной шум ему помогал, но он и сам блеял неплохо, будь я бараном, я бы поверил. Овца-мать задержалась на берегу, озираясь в панпке, но материнское чувство одержало верх: она бросилась в воду и поплыла вслед за Аманом. За ней бросились остальные. Я подталкивал самых трусливых, спихивая их в воду, и скоро вся отара была в реке. Бараны плыли, задрав головы, как мышь, попавшая в молоко. Иногда течение их сносило, мы их вылавливали. В конце концов счастье нам улыбнулось: переправа закончилась без новых потерь.

Мы отправились дальше. Взошло солнце. Впереди показались знакомые нам контуры Кок-Терака.

Бараны устали, бока у них запали от голода. Мы тоже совсем изнемогли и проголодались как волки, но в первую очередь надо было позаботиться о баранах — продать-то предстояло их, а не нас. Надо было их хоть немного пасти, чтобы на базар они пришли с надувшимся брюхом, иначе покупатели к ним и не подойдут. Мы как раз шли мимо поля, поросшего травой. Посоветовавшись, мы остановили баранов и пустили их на траву, а сами прикорнули неподалеку. Расстелив халаты, мы молча лежали, присматривая за пасущейся отарой, и раздумывали, как будем отвечать за пропавших баранов. Чтобы легче было думать, мы прикрыли глаза... и проснулись от громкой ругани!

Над нами стояла огромная буланая лошадь, а на ней, размахивая плетью и понося нас на чем свет стоит, выштался толстый мужчина. Аман вскочил, и на спину его обрушилось несколько ударов. Я опомнился позже, но учел его промах и, увернувшись, избежал его печальной участи.

Человек продолжал отчаянно ругаться. Его длинная с проседью борода гневно развевалась, провалившийся нос был похож на тесно пришитую к ватному халату пуговицу. Потом мы узнали, что это был знаменитый бай по имени Азиз-курносый, хозяин окрестных земель. Впрочем, о

последнем мы сразу догадались, оглядевшись: наши бараны разбрелись по хлопковому полю и за милую душу поедали хлопковые кустики.

Подгоняемые руганью, отчаянием и мрачными предчувствиями насчет того, чем грозит нам новая беда, мы кинулись собирать баранов. Они успели уже как следует распорядиться частью будущего урожая. Когда мы вывели с поля своих бедолаг, бай кликнул издольщиков, работавших неподалеку, и приказал гнать баранов в свою усадьбу!

Мы стали молить его, цепляясь за стремя:

— Бай-ата, мы бедные сироты, пощадите нас, дайте заработать свой кусок хлеба, век будем за вас молиться...

Но бай, продолжая самозабвенно ругаться, огрел каждого из нас плетью и поехал за отарой. Мы потащились вслед, Аман нес ягненка. Подъезжая к усадьбе, бай замешкался, мы его догнали и стали молить снова:

— Бай-ата, смилуйтесь, ведь сегодня базарный день, нас на базаре ждет хозяин, вы его, наверно, знаете, если мы не приведем баранов, он нас убьет до смерти!..

Бай покосился на нас:

— Кто ваш хозяин?

— Караходжабай, да будет над вами милость аллаха...

Бай как будто немного смягчился и снова глянул на нас краем глаза.

— Ладно, я поговорю с вашим хозяином... — он сплюнул, — скажу ему... — он снова сплюнул, — ...чтобы вас, негодяев, как следует проучил! Нарочно сегодня на базар съезжу! Я ему скажу, как вы, подлецы, разбазариваете богатство правоверного мусульманина, нажитое с таким трудом! Наверное, и с самими баранами Караходжи вы так же обошлись! — Мы даже задрожали от испуга, так ловко он попал в точку. — А ну! — рявкнул он что было силы. — Забирайте своих баранов и гоните на базар!!! Уже полдень, а вы, собачье отродье, дрыхнете на холодке! А-а! — И он снова замахнулся плеткой, но мы не стали дожидаться, пока плетка опустится на нас.

Вознося аллаху благодарность и моля его о новых милостях, мы погнали баранов на базар.

Хозяин ждал нас, весь кипя от ярости. Едва мы подошли, он на нас накиннулся и стал ругать последними словами, но мы сносили все это терпеливо, вернее, мы просто оцепенели, представляя себе, что будет, когда Караходжабай обнаружит недостачу. Он велел связывать баранов по десять. Мы принялись за это, а сердца у нас дрожали мел-

кой дрожью, как листья тополя. Мы уже связали три десятка и кончали четвертый, когда Аман вдруг подтолкнул мне одиннадцатого барана и подмигнул. Я понял: ему что-то пришло в голову. Когда я потащил новую связку пленников к остальным, Аман вдруг заорал на меня:

— Ах ты, дурак припадочный, и считать-то не умеешь! Смотрите, бай-ата, он, оказывается, связывал по одиннадцать баранов вместо десяти! Ах ты, идиот, из-за тебя бай-ата мог убыток понести, дубина ты чертова, недоносок проклятый!

Бай сразу клюнул на это, мигом пересчитал баранов в той связке, что я вел, выругался и повернулся, чтобы пересчитать первые связки. Тогда Аман изо всех сил дернул меня за рукав, мы отскочили в сторону — и мгновение спустя нырнули в базарную толпу!

## МЫ ССОРИМСЯ

Когда удираешь, нет ничего лучше, чем нырнуть в густую толпу. Ни в каком лесу, ни в каком запутанном лабиринте, ни в какой темной пещере нельзя спрятаться так, как на ровном открытом месте, посреди базарной площади, в людской толчее. Я думаю, это не оттого, что люди так уж похожи друг на друга, и, уж во всяком случае, не потому, что они прямо-таки жаждут помочь вам спрятаться. Наоборот, этого иногда легче добиться от дерева или камня, а толпа-то как раз готова наброситься на любого беглеца и устроить ему веселые похороны раньше, чем разберется, почему он бежит и кого надо по-настоящему ловить — беглеца или погоню. Нет, секрет скорее в том, что в толпе человек дуреет — от шума, тесноты, обилия ему подобных — и обвести его тут вокруг пальца проще, чем приманить котенка клубком. Иначе зачем бы на базаре собиралось столько мошенников?

Когда вы от кого-нибудь бежите, вам в толпе и прятаться не надо, стоит только внушить ближайшим соседям, что беглец находится в другой стороне. И если вы держитесь достаточно уверенно, они скорее сочтут этим самым беглецом свою родную бабушку, чем вас.

По правде говоря, человек в толпе немножко похож на барана в стаде: если аллахом отпущена ему некая толпка глупости, тут он выжимает из своего запаса удесяттеренную порцию.

Вернее сказать, попав в толпу, человек как бы лишается собственного зрения — ведь за чужими спинами мало что видно — и подхватывает любые крохи чужой осведомленности, какие ему перепадают, да и своими делится охотно. А так как в толпе все видят одинаково — одинаково мало, — то к домыслам одного присоединяются домыслы всех прочих, и в результате каждый становится обладателем такой чепухи в голове, какой в одиночку он бы ни за что не приобрел.

Итак, мы нырнули в толпу и стали пробираться в ней с самым независимым видом. Аман тем временем снял с себя меховую шапку, чекмень и сунул их под мышку. Выбравшись из толчеи на другом конце базара, мы очутились на большой дороге, идущей через весь город, но, поскольку это было для нас небезопасно, свернули в узкую улочку и тупичками, задами каких-то дворов, перелезая через дувалы, добрались до заброшенного садика и прилегли отдохнуть.

Едва отдышавшись, мы почувствовали голод. Не мудрено, мы не ели со вчерашнего дня. Однако сходить куда-нибудь хоть за лепешкой боялись, да так и пролежали час или больше, пока желудки наши окончательно не взбунтовались.

Мы кое-как выбрались из города и пошли наугад, полем, надеясь встретить каких-нибудь добрых людей. Хоть мы и потеряли пять баранов и сбежали от хозяина без гроша, хоть и намучились за ночь и устали, один аллах знает как, я был в бодром настроении и чувствовал себя свободным от всяких оков.

Но Аман был мрачнее тучи. Он не разговаривал, а на мои вопросы отвечал насупившись, не глядя, и веки его нависали, как крыша над покосившимся айваном. Мне надоел его хмурый вид, и я попробовал его развеселить, но он и вовсе разолился.

— Молчал бы уж! — сказал он. — Тебе что, а я из-за тебя двух баранов и козла лишился! Пока тебя не принесло, все дела шли лучше не надо. За тобой беда по пятам ходит. Мало мне было того покойника, так нет, еще раз с тобой связался! У-у, неудачник чертов!

Я тоже вышел из себя.

— А ты кто? Ишь, счастливчик конопатый выискался! Думаешь, я мечтал с твоими баранами породниться? Да если б не я, ты бы не пять, а двадцать пять баранов потерял! Кто за ними по всем дворам лазил? Кто у овцы



ягненка принимал? Может, все ты? Да пока бы ты до своего козла дослужился, у тебя бы еще целая отара сбежала! Понял?

— Я-то понял, а ты сейчас тоже поймешь...

— Что это я пойму?

— Поймешь, как носом арык роют!

— Ты, что ли, мне покажешь?

— Я покажу!

— Ну давай, покажи!

— И покажу!

— Давай, давай, твой нос только на то и годится!

Дело у нас, пожалуй, дошло бы и до драки, не будь мы такими усталыми, голодными и не припекай солнце так сильно. Давно перевалило за полдень, а мы по-прежнему шли пустым полем, вдоль межи. Наконец, мы увидели нескольких человек, копавших морковь. Подойдя, мы поприветствовали их и спросили, как выйти на дорогу. Один из них, старик с добрым морщинистым лицом, оглядел нас внимательно и спросил:

— Это на какую же вам дорогу, дети мои, не на базар ли?

— Нет, ата,— с готовностью сказал Аман,— мы с базара!

— А-а, понятно,— сказал старик и утвердительно покачал головой, словно соглашаясь с собственными мыслями.— Но уж если вам не повезло с базарными делами, дети мои, куда вам сейчас торопиться? Или вас где-нибудь ждут? Оставайтесь-ка лучше, да и помогите нам копать морковь. Поработаете день-другой, мешок моркови заработаете — пригодится на мелкие расходы...

Лучшего мы бы и сами не придумали! У нас слюнки потекли при виде моркови, крупной, ядреной и такой, наверное, сладкой и хрустящей. А этот старик — прямо ясновидец! Как он узнал, что нам на базаре не повезло?

— Спасибо, ата,— сказал я.— Нам и правда торопиться некуда. Идем работу искать...

— Э, дети мои, работу не ищут, она сама лезет из-под ног. Подними палку да переложил на другое место — вот уже и работа. Ну, давайте, принимайтесь копать, бог даст, будет и вам и нам.

Мы бросили халаты на грядку и принялись за дело. Морковь, черт ее побери, уродилась на редкость, самая маленькая — с точильный брусочек. Выкопав немного, мы с великим наслаждением сгрызли несколько штук, они и

впрямь были сладкие как мед. Так и пошло: несколько взмахов кетменем, несколько морковок в мешок дехканина, и одна — в нашу пользу. Наши пустовавшие «мешки» тоже быстро наполнялись, особенно Аман старался.

К вечеру приехал хозяин поля. Увидев его издали, восседающего на лошади, мы принялись копать с удвоенным усердием. Подъехав, он с любопытством поглядел на нас и расспросил старика. Старик (он был тут за старшего) стал нас нахваливать:

— Сам бог послал нам этих ребят, хозяин, да будет им счастье в жизни. Шли они мимо, но уважили мою просьбу и с полудня вдвоем целую гору моркови накопили! Бай, слушая, одобрительно кивал головой.

— Ну, если так, — сказал он, — приведите их в усадьбу, пусть поужинают. — Он повернул коня и добавил, обернувшись: — Таким честным парням любой даст кусок хлеба!

После его отъезда мы проработали недолго — стемнело. Морковь погрузили на арбы. По дороге в усадьбу Аман то и дело поглаживал живот, и лицо у него стало бледное, насколько можно было разглядеть в темноте.

У хозяина на ужин была машхурда. Он расщедрился и вынес похлебку в огромной миске, полной до краев. Деревянные ложки, которые достались нам с Аманом, были вдвое больше обыкновенных, почти как половники, а такой вкусноты нам давно есть не приходилось. Мы так налегли на машхурду, что другим просто ходу не давали: проглатывали целый хауз, пока остальные доносили до рта маленькую лужицу. Громадная миска опустела так быстро, что никто и опомниться не успел.

Люди, копавшие вместе с нами морковь, оказались соседями бая — участниками хашара. После ужина, прочитав короткую молитву, они разошлись по домам, а мы остались ночевать у хозяина. Он указал на место в проходе к хлеву: там стояла старая кровать с веревочной сеткой. Аман давно мечтал поспать на кровати. Он был старше меня, и я уступил ему это роскошное ложе — без особого, впрочем, сожаления. Он постелил на сетку овчину и лег, укрывшись чекменем. Я расположился на земле.

Мне казалось, я мгновенно усну — не тут-то было. Аман так скрипел кроватью, что, едва задремав, я сразу открывал глаза. Пометавшись, как рыба, в своей сетке, он вставал и со стоном бежал куда-то во двор. Потом возвращался и опять долго скрипел, пристраивая живот. Но че-

рез две-три минуты вся музыка начиналась сначала. Морковь была сорта «мушак» — самого сладкого и коварного сорта. Возможно, она не поладила с машхурдой, и теперь они дрались в кишках у Амана, как бешеные кошки, только клочья летели. Не знаю, кто из них был ближе к победе, но Аману явно доставалась вся горечь поражения. А я — то ли не проявил такой жадности, то ли просто желудок у меня уже ко всему привык за время бродяжничества, — я не чувствовал никаких неприятностей. Морковь и машхурда улеглись во мне так мирно, словно их одна мать родила.

Утром мы встали чуть свет, умылись в арыке и стали дожидаться хозяина. Аман был бледен, то и дело морщился: он бегал взад-вперед до самого рассвета.

Вскоре хозяин вынес в кумгаше чай, заваренный кожицей джиды, и две лепешки.

— Ну, что дальше будете делать? — спросил он. — У меня в усадьбе есть еще несколько работников, они вчера в степь за соломой уехали. Может, вы останетесь? Уже осень на носу, а там, глядишь, зима, зимой и работы почти нет. Будете присматривать за скотом, вот здесь костер разводить да отлеживаться в свое удовольствие. Еды хватит, одену я вас, как франтов, на мелкие расходы дам... Ну, а другие деньги — уж извините: сами понимаете...

Я покосился на Амана и сказал:

— Спасибо, хозяин, мы подумаем...

Когда он ушел в ичкарн, мы посоветовались. Может, и вправду согласиться? Лучшего места, пожалуй, не найдешь, а с теми деньгами, что у нас есть, до Ташкента не добраться. Пока останемся, решили мы, а там поглядим.

— Если так, — сказал хозяин, когда мы сообщили о своем согласии, — за чаем особенно не расслаивайтесь. Один из вас останется в усадьбе, другой пойдет корову пасти на поле, где урожай собрали. Корова у меня наследственная, от отца покойного досталась, да продлит аллах ее дни. Хорошая корова, за ней как следует присмотреть надо. Ну, а тот, что останется, будет подавать чай, если гости придут...

Аману ужас как захотелось остаться в усадьбе. Он очень любит слушать под шум самовара, о чем говорят гости, сказал он. Можно услышать столько полезного, сколько за год в медресе не узнаешь. Зная, как он бегал всю ночь, я сообразил, что если морковь с машхурдой еще не

помирились, пасти корову ему и впрямь будет неважно. Я сжался над ним и сказал, что пойду с коровой.

Хозяин привел меня в хлев, показал небольшую рябую корову и велел ее вывести. Она вышла с таким покорным видом, что мне ее даже жалко стало. Бедная скотинка, подумал я, она так и на бойню полетится. Я вел ее за поводок, она следовала за мной, как послушная девочка. Мы отошли от усадьбы на порядочное расстояние и приблизились к зарослям камыша. Тут она немного замедлила шаг. Я обернулся. Она попятилась назад. Видно, устала, бедняжка, подумал я, и тихонько хлестнул ее прутиком. Тогда она грохнулась на землю, глаза у ней полезли на лоб, изо рта пошла густая пена, и вся она затряслась и задрогала ногами, как припадочная! Я сильно испугался — может, я попал прутиком по какому-нибудь больному месту, или ее вообще от рождения не били, или она сама собой подыхает? Только что я буду делать, если она сейчас отдаст концы? Я растерянно бегал вокруг злосчастной скотины. Позвать на помощь? Так ведь никого поблизости...

Корова продолжала биться, и я решил уже бежать за хозяином в усадьбу, когда она вдруг вскочила и помчалась, задрав хвост. Я на секунду остановился с разинутым ртом, потом кинулся вслед, но где мне было ее поймать! Недаром у нее было на две ноги больше, чем у меня. Она неслась, как два паровоза сразу. Чтоб не потерять ее хотя бы из виду, я бежал, не обращая внимания на впивающиеся в ноги колючки.

«Наследственная корова, от покойного отца досталась», чтоб тебя серые вороны растерзали! Неожиданно она остановилась на почтительном от меня расстоянии и принялась как ни в чем не бывало щипать травку. Я выругался и стал медленно к ней подходить. Когда я оказался шагах в пяти, она опять взбрыкнула, как будто овод впился ей в самое сердце, и помчалась дальше. Отбежав, она с прежним невинным видом продолжила свой завтрак. Проклятая тварь просто меня дразнила! Я лег на траву, задрав ноги кверху, словно окружающее больше не имело ко мне ни малейшего отношения. И что вы думаете? Дьявольская скотина неслышно подобралась и боднула мою задранную ногу! Ну, это уж чересчур! Я вскочил и помчался за ней, как ветер, ухватив ком земли. Злость прибавила мне скорости, я догнал мучительницу и метнул свой снаряд, целясь ей в тощий зад. Попал я как нельзя более метко. Она

прямо-таки зарычала, повернулась ко мне мордой и пошла в атаку, выставив рога...

Так мы гонялись друг за другом до вечера, и я ни разу больше не смог ухватить ее за поводок. По-моему, за этот день я пробежал расстояние большее, чем от того поля до Ташкента. Беги я весь день в одном направлении, я мог бы уже оказаться дома. Я думаю, если эта корова перешла к моему хозяину по наследству, так только потому, что из упрямства решила пережить его покойного отца. А скольких людей она, наверное, уморила за свою жизнь! Страшно себе и представить! Только после захода солнца она слегка присмирела, и я, собрав последние силы, ухватил ее за поводок и потащил к усадьбе. Сколько мне пришлось вытерпеть, пока я привязал ее в хлеву, лучше уж и не рассказывать — вы не поверите.

Когда я пришел, Аман лежал на своей кровати. Вид у него был кислый. На мне тоже, верно, лица не было, но я решил бодриться.

— Ну как дела? — спросил я у Амана.

— Э, не спрашивай, — ответил он. — Объелся!

— Чем это ты объелся?

— О-о, тут такое было! Без тебя пришли гости, а хозяйки, оказывается, такие искусные поварахи — чего они тут ни наготовили: и манты, и тандыр-кебаб, и лагман, и халву... Пересчитать и то терпения не хватает. Ну, я, знаешь, между делом того отколупну, другого попробую, и так все время, чуть не лопнул. А потом гости разошлись, хозяин решил пойти долги получить с нескольких соседей. Дал мне счета под мышку, ну, мы и пошли. Заходим к одному, заходим к другому, все приглашают: «Садитесь, отведайте!» Они меня за байского писаря приняли и давай угощать! Не хотел я, но отказываться неудобно. Там и плов, и шурпа... Тьфу! И вспоминать тошно, не говори со мной о еде!

Пока Аман рассказывал, у меня просто слюни текли. Некоторые из блюд, что он поминал, я и не пробовал-то никогда, только названия слышал. Вот повезло человеку! Ну, ничего, авось и завтра будет день не хуже, надо только спровадить Амана с этой коровой. Пусть она сдохнет, эта припадочная, а я буду себе ходить со счетами под мышкой...

— А твои дела как? — спросил Аман.

— Мои-то?.. Во! Здорово!.. Эта корова, ну, чистая благодать, такая смиренная, такая послушная, отведаешь ее за

поводок, поставишь на меже, она щиплет травку, с места не сойдет, будто привязанная. Не видал еще такой скотины! Когда трава кончится, посмотрит краем глаза: «Можно дальше пойти?» Я ей рукой махну: «Иди, мол!», а сам валяюсь в тенечке. Да что! Самое жаркое время я под талом у арыка проспал, просыпаюсь, а она стоит на том же месте, кругом ни травинки, ждет, пока я глаза открою... Не корова, а одно удовольствие. Хорошо, что я тут не остался, измотаешься небось с этими гостями. Завтра опять пасти пойду.

Аман глядел на меня завистливым взором, издавая короткие восклицания. Изредка он хватался за живот и постанывал. Тут нам вынесли чашку холодной похлебки с простоквашей. Я подвинул чашку к себе, понимая, что Аман после таких редкостных блюд на это и смотреть не станет. Но он заметил небрежно:

— Ты мне оставь немного, мне эта штука будет кстати. Я сегодня такой жирнящей пицци наелся, все тяжелое, может, похlebка разбавит немного густоту в желудке. О-ох, прямо встать не могу! О-ох...

— Оста-авлю,— сказал я и, вспомнив про свое вранье, добавил: — Я и сам не такой уж голодный, проспал целый день.

Утром хозяин опять вынес две лепешки и кумган с чаем из джиды.

— Ну,— сказал он,— кто сегодня чем займется?

— Сейчас решим,— сказал Аман и зашептал мне: — Так и быть, я пойду с коровой, а ты имей совесть, останься вместо меня на угощение, а то у меня на второй день живот лопнет. Понял?

— Понял,— ответил я тоже шепотом, скрывая радость: ведь мне предстоял день, битком набитый едой, а ему — моя корова!

— С коровой я пойду, бай-ата,— сказал Аман и снова зашептал мне: — Ты только не забудь мой совет: когда хозяин перед гостями вынесет тебе пол-лепешки с сюзьмой, смотри не ешь. Это он думает: не накормить его, так он при гостях пожадничает, осрамит меня, что ни говори, голытьба. Ты смотри — поблагодари его, а от лепешки откажись, сыт, мол...

— Спасибо, что сказал, братец,— ответил я и, чтоб не остаться в долгу, тоже хотел дать ему полезные советы насчет коровы — не отпускать поводка или привязать ее к чему-нибудь... Но я испугался, что он заподозрит нелад-

ное и откажется идти в поле, и сказал вместо этого: — Я вчера весь день на голой земле пролежал, теперь поясница болит. Ты бы захватил с собой кровать. Там камыши рядом, поспишь в холодке как следует.

Хозяин тем временем ушел в ичкари. Аман отправился в хлев, отвязал корову, взвалил кровать на спину и ушел.

— Где Аманбай? — спросил появившийся хозяин.

— С коровой ушел, бай-ата.

— Ну и ладно, — сказал хозяин, — молодцы. Кончил чаевничать, пора и за дело...

Он дал мне кетмень, топор, тещу, повел за усадьбу и показал на два пня от старых тополей, срубленных почти вровень с землей.

— А ну, покажи свое усердие — выкопай эти два пня, зимой сами будете у костра греться! Вчера и Аманбай, дай бог ему счастья, поработал как следует — тоже два пня здоровых выкорчевал. Молодцы вы, честные ребята!

И он ушел. Я немного удивился, почему Аман не рассказал мне про пни, но решил, что он просто забыл об этом: остальные впечатления дня были слишком сильны! «Пока придут гости, выкопаю один пень, не убудет меня, — сказал я себе. — А там уж отдохну и отъежусь за милую душу!» Полный энергии, я взялся за дело.

Пень был небольшой и трухлявый. Но когда я его обкопал, то обнаружил несколько мощных корней, уходивших в землю, наверно, на версту. Корни были такие толстые и крепкие, что я возился с каждым, пока у меня не потемнело в глазах, пару раз чуть не отрубил себе ногу, а когда я кончал с одним корнем, рядом, казалось, вырос новый... Так я обливался потом на солнцепеке, конца пню не было видно, гости тоже не появлялись. Когда перевалило за полдень, хозяин вышел с половиной лепешки, намазанной сюзьмой.

— Работаешь? Молодец, молодец, на вот, поешь-ка, полакомься...

При виде лепешки я ощутил просто волчий голод, но вспомнил совет Амана. Действительно, зачем набивать живот всякой чепухой? Тогда для настоящей еды и места не останется.

— Спасибо, бай-ата, — сказал я, — что-то пока не хочется. Сыт, видно.

Хозяин не стал особенно уговаривать.

— Да,— сказал он,— молод еще, сила так и играет, видно, своих соков много!

Он ушел, унося лепешку, а я проглотил слюну и подумал, что эти подлые гости нынче слишком задержались. Может, еще куда-нибудь зашли? Впрочем, никуда они от такого угощения не денутся. Придут еще. На худой конец, и к должникам ведь пойдем или сами в гости отправимся... И я продолжал сражаться с проклятым пнем. Еле я с ним управился. Солнце начало клониться к закату, а гостей не было и в помине, хозяин тоже никуда не надумал отправляться. Я впервые почувал неладное. Неужели Аман наврал мне? Быть не может! Живот у меня подводило, руки едва держали топор, но делать нечего: я принялся за второй пень...

Он оказался податливей, к заходу солнца я его прикончил и даже сам удивился. Едва добрал я до усадьбы и повалился без сил. Через полчаса вернулся Аман: на спине кровать, сам серый, как застиранное полотно, в руках сжимает из последних сил поводок... Он молча протащился мимо меня в хлев, бросив по дороге кровать на землю, и привязал корову.

Хотя Аман первый меня надул (я сперва ведь и не собирался ему врат) и оба мы здорово поплатились, я все же чувствовал себя неловко. К тому же проклятая корова досталась Аману куда дороже, чем мне: ведь по моему совету он взял с собой кровать. Если оставить кровать и смотреть за коровой, кто-нибудь, еще не дай бог, кровать стащит. А если плюнуть на корову и кровать стеречь, корова в такие места заберется, что ее, пожалуй, и не найдешь потом. Поэтому бедный Аман целый день гонялся за коровой с кроватью на спине. Вся кожа на плечах у него была содрана.

Он уселся с таким злым и несчастным видом, что я попробовал было наладить отношения шуткой.

— Что, устал, Аманбай? — спросил я. — Он молчал. — Я тоже,— сказал я. — Твои гости не лучше моей коровы... Только вкусных вещей сегодня что-то было маловато! — Я засмеялся, но Аман на меня и не взглянул. — Ну, чего молчишь? Скажи еще спасибо, что сетка была не железная!

Тут он наконец посмотрел на меня, и глаза его зло сверкнули.

— Заткнись! — сказал он глухо.

Но я не стал обижаться.



— Эй, Аман! — сказал я. — Брось ты! Мы ж с тобой вдвоем, как два глаза, один без другого света не увидит! Помиримся? Мы ж оба виноваты! Слышишь, Аман?

Он вроде смягчился и даже кивнул, но по-прежнему старался на меня не смотреть.

— Уходить отсюда надо, — буркнул он.

— Да у нас же ни денег, ни еды!

— Ну и что... Не умрем с голода по дороге. Здесь тоже не жирно кормят...

— Да, не объешься! — сказал я и снова засмеялся. Аман насупился. — Ну ладно, — сказал я. — Только что ж мы, с пустыми руками так и уйдем?

— А что ты придумаешь? Может, крышу сломаешь и усадьбу ограбишь?

— Ну, ограбить не ограблю, а за работу нам кое-что полагается... Только что бы взять?

Как ни говори, а домла и ишпан кое-чему меня научили. Я смотрел теперь на вещи, как в известной пословице: «все, что без хозяина, принадлежит афанди». Я стал внушать Аманду, что, присвоив себе какое-нибудь хозяйское добро, мы только восстановим справедливость: разве он не натравил на нас эту проклятую корову, не предупредив ни словом? Наконец Аман согласился. Оставалось решить, что именно мы возьмем? Хватать любую дрянь тоже не имело смысла. И тут вдруг мне пришла в голову прекрасная мысль. Мы зарежем рябую корову!

Когда я предложил это Аманду, у него даже глаза посветлели, так его обрадовала моя идея. По-моему, именно об этом он мечтал весь день, только боялся сам себе признаться.

— Здорово, — сказал он. — Так мы и хозяина накажем, и корове отомстим, и целой горой мяса запасемся! Продадим, и на вырученные деньги домой доберемся...

Аман так повеселел, что, казалось, окончательно простил мне и корову и кровать.

Мы размышляли о мясе. Оно представлялось нашему голодному воображению то вареным, то жареным, то горячим, то холодным... И когда нам вынесли на ужин чашку молочного супа с тыквой, мы почувствовали во рту кислый вкус разочарования. Однако суп мы выхлебали до капельки, тем более что хозяин, заметив, видно, наши разочарованные физиономии, стал выхвалять чудотворные свойства тыквы и кончил утверждением, что кто ест тыкву, никогда не попадет в ад.

После ужина хозяин запер ворота на замок и ушел в дом. Мы улеглись на свои места и, конечно, заснули. Но Амана, видно, снова разбудил его живот, а сам Аман уже разбудил меня. Было, должно быть, около полуночи. Мы встали и на цыпочках пошли к хлеву. Аман боязливо оглядывался, в каждом углу ему чудилась подстерегающая тень. Я чувствовал себя свободнее — как-никак, а на моем счету был уже имамов ишак!

Луна спряталась за тяжелым, толстым, как ватное одеяло, темно-серым облаком, и мы вошли в хлев. Ощупью подобравшись к рябой корове, мы стали шептать ей разные лицемерные любезности, чтоб она не встревожилась и не замычала. Но это вообще была молчаливая корова, хотя и зловредная. Тут Аман передал мне топор, я размахнулся и стукнул ее обухом по черепу! Она так и грохнулась оземь.

Странное дело, она доставила мне столько неприятностей, что я должен был испытать сладкое чувство удовлетворенной мести, когда она грохнулась на землю после моего удара. Но ничего подобного я не ощутил, наоборот, мне стало как-то не по себе, не то чтобы жалко эту сумасшедшую корову, просто нехорошо сделалось, и как раз от мысли, что теперь-то она уж никого не заставит поиться за собой!

Амана, видно, обеспокоил только шум падения, он засуетился в темноте, прислушиваясь. Но все было тихо.

Мы еще постояли, потом я взял у Амана нож — нож у него был что надо, недаром его отец ножи делал, — провел несколько раз по своему бедру... Я и сам теперь не понимаю, как это нам удалось в темноте выпотрошить тушу, снять шкуру. Мы отобрали пуда три лучшего, без костей, мяса, опорожнили мешок со жмыхом, стоявший в хлеве, и уложили мясо в мешок.

Теперь предстояло выбраться из усадьбы. Поскольку ворота на запоре, единственный путь — через крышу хлева, прилегающего к дувалу. Один из нас заберется с помощью другого на крышу, а потом веревкой вытащит мешок с мясом и товарища. Мне было все равно, кто полезет первым, но Аман настойчиво предлагал свои услуги, и что-то в его тоне меня насторожило. Однако я не подал виду.

Луна уже зашла, на дворе было темным-темно. Я встал у стены, Аман влез мне на плечи и, уцепившись, легко оказался на крыше.

— Ну, давай скорей! — сказал он громким шепотом.

Я должен был кинуть ему конец веревки, привязанной к мешку с мясом. Но в голосе его прозвучало столько зло-радного, почти не скрываемого торжества, что я все вдруг понял! Он собирается отомстить не только хозяйню, по и мне: сейчас я подам ему мешок с мясом, он возьмет его — и был таков! Меня он вытащить и не подумает! Я чуть не выругался вслух, так уверовал в его предательство. Ну, погоди же!

— Погоди,— сказал я,— веревка вроде развязалась...

Я быстро развязал мешок и начал лихорадочно выбрасывать из него мясо.

— Ну, чего ты там возишься? — прошипел Аман с крыши.

— Сейчас...— сказал я. Я как раз привязывал веревку к концам мешка. Потом влез в мешок, затянул другой конец веревки, продетый в дырки, наподобие шнура, и крикнул:

— Тяни!

Аман, видно, испытывал такое нетерпение, что не обратил внимания на странный звук моего голоса. Он потащил веревку, мешок дернулся, я повис вниз головой — и пошел вверх, задевая о стенку. Я весил около трех пудов, как и мясо, которое выбросил, так что Аман ничего не заподозрил. Втащив мешок на крышу, он передохнул, потом нагнулся и крикнул как раз около моего уха:

— Ну что, попался теперь? Это тебе и за баранов, и за корову — за все! Попробуй теперь держать ответ перед хозяином, ловкач!

Ах, подлец! Я едва сдержался, чтобы не рвануться из мешка, но сообразил, что это плохо для меня кончится. К тому же, я отомщу ему куда злее... Он торопливо подтащил мешок к краю крыши, спустил меня на веревке за дувал, потом я услышал, как он спрыгнул рядом. Он поднял мешок, еле-еле закинул меня на спину и зашагал...

Я скоро начал задыхаться, меня поддерживало только сознание, что я еду верхом на Амани. А он едва тащился, то и дело останавливаясь и опуская мешок с протяжным «уф-фф». Мне казалось, мы движемся уже целую вечность. Аман, надо полагать, был того же мнения.

Наконец сквозь ткань мешка я различил, что как будто начало светать. Послышались утренние звуки: какая-то птица проснулась и радостно свистнула, зашумел ветерок в траве, заглушая мягкие вздохи пыли под ногами Амана. Потом я услышал голоса приближающегося кишлака. Со-

бака где-то твякнула... ближе... Вот она бежит рядом... я различаю ее прерывистое дыхание. Аман остановился, я понял, что это из-за собаки. Опа, должно быть, находилась в раздумье. Аман сделал шаг — и собака вдруг залилась адским лаем! Ей тотчас ответили другие, собачий хор рос и совершенствовался на ходу. Собаки явно окружали нас со всех сторон. Аман, конечно, здорово перепугался. Но что Аман — представьте мое положение! Ведь и нарочно для человека страшнее казни не придумаешь, чем завязать его в мешок и пауськать собачью свору! Самое ужасное, что собаки куда догадливее Амана и давно знают: в мешке вовсе не говядина. Может, это их так и расстроило?.. Я бы сразу подал голос, но боялся, что Аман от испуга бросит мешок, и тогда я совсем пропал. Аллах, однако, судил иначе: Аман шагнул, собаки кинулись, одна вцепилась в мешок — и в мою ногу! Тут я забыл всякую осторожность и завопил:

— Карау-ул! Подними мешок повыше, дурак!

Аман совершенно ошалел. Я думаю, вы бы тоже ошалели, заговори у вас за плечами три пуда свежей говядины. На мое счастье, он слишком растерялся и не бросил мешок на землю, а действительно подтянул его выше, как я сказал. Услышав мой голос, и собаки опешили — может, им тоже раньше не попадались говорящие мешки? Я крикнул Аману:

— Развяжи мешок, болван!

Он повиновался, опустил мешок на землю, развязал. Когда я вылез, охая, он смотрел на меня, выпучив глаза, и повторял, как слабоумный:

— Это ты?.. А где мясо?

У него был такой смешной вид, что я не выдержал и расхохотался, хотя мне было вовсе не до смеха.

— Где мясо? — сказал я. — Съел! Что, не видишь, как я поправился!

Он все еще не мог прийти в себя, собаки тоже. Такого им и впрямь видеть не приходилось: был один человек, стало два. Они замолчали и стали расходиться.

Я, прихрамывая, пошел по дороге, Аман потащился за мной...



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### У ЗВЕЗД СВОИ ИСТОРИИ

Аман очухался не скоро, но теперь он шел рядом со мной, и я видел, как он прямо на глазах раздувается от злости. Проходя мимо старой вишни, росшей на обочине, он отломил большую ветку, похожую на кнутовище, и стал ее обтачивать с обеих сторон своим распрекрасным ножом. «Как бы эта палка по мне не прогулялась», — подумал я и решил тоже запастись



оружием. Ничего подходящего поблизости не попадалось. Наконец я сломал саженец урюка.

— Эй, друг милый, — сказал я, — одолжи-ка свой нож, палку построгать.

— Опоганишь нож, поганый! — сказал Аман.

— Это я-то поганый? Да я сколько с тобой ходил, ни разу не видел, как ты купался! Ты и воды боишься больше, чем курица! Плеснешь на лицо из арыка, так и то передернешься, как наркоман.

— Молчи лучше!

— Чего это мне молчать? Если я поганый, так ты какой? Я-то недавно в речке выкупался, одежду со щавелем постирал, а ты? Прошлогодную грязь еще с собой таскаешь!

— Я сказал, молчи!

— Он сказал! Хо-хо! Слушайте, мусульмане!

— Сейчас как заеду палкой!.. Ты не поганый, ты хуже: самое что ни есть нечистое отродье! От твоего намаза на небе три раза отплеваются! У-у, нечистый!

— Я нечистый, ладно, а ты всякого нечистого грязней: предатель! Товарища продать хотел!

— Тебя продавать — никто не купит!

— погоди, я еще с тобой не рассчитался!

— Ну-у?.. Чего ж ты ждешь?

— Рассчитаюсь еще, времени хватит.

— Трус!

— А ну, скажи еще раз!

— Еще десять раз скажу: трус! трус! Ну, что ты делаешь?

— Сейчас увидишь, что я сделаю! Гад! Хотел с мясом удрать, а меня на расправу оставить! Еще говорит — я нечистый!

— Конечно!.. Мне... мне пророк во сне велел так поступить, чтобы от твоей беды отвязаться...

— Ну-у? Сам пророк? Во сне? Это он спал или ты спал? Что ж ты его получше не расспросил? Гляди, как оплошал! Думал, мясо тащишь, уже небось подсчитал, за сколько его продать, а глядишь — в мешке-то я! Ха-ха-ха!

— Молчи, говорю!

— Хо-хо-хо! Говядина заговорила... Ха-ха-ха... от испуга аж язык изо рта вывалился...

Аман, весь кипя, замахнулся на меня палкой, я отскочил и продолжал над ним издеваться:

— А ты небось в мечтах уже расторговался и разделся, как байский сын, а? Ну-ка, расскажи, чего ты накупил?

Видно, я попал наконец в самое больное место.

— Ах ты... — сказал он, захлебнувшись яростью, и снова кинулся на меня с палкой, но я опять отскочил. Глаза у него так вылезли из глазниц, что казалось, вот-вот и совсем вывалятся. — Тебе что, оборванец! — закричал он, наконец обретя дар речи. — Ты в чем хочешь домой вернуться! А мне людей стыдно! Что люди скажут — ходил-пл, рабо-отал, только на лохмотья и заработал! У-у, за что меня аллах наказал, что я с тобой встретился! Заработал бы себе честно деньги, купил бы халат, шапку с лисьим мехом... Да если б не ты, я бы уже барана имел, а у кого баран — со временем лошадь будет, у кого лошадь — может верблюда купить...

Он так искренне убивался, что одно удовольствие было смотреть.

— Ах ты, бедненький! — сказал я. — Бедняжка! Ограбили тебя! Разорили! Ну ничего, ты не огорчайся. Поступишь учеником к канатоходцу, он тебе бархатные штаны сошьет. А то к кочегару наймись, у огня ни халата, ни шапки не надо... А что касается барана...

Аман заревел, как бык, и погнался за мной, но я увернулся, остановился поодаль и продолжал:

— Ты послушай, Аманджан: что касается барана, кобылы, верблюда, зачем они тебе? На них корму не напасешься! Да еще сарай им построй. Ты лучше по базарным дням на скотный базар ходи. Во-о! Представь, что это твой хлев, а весь скот твой собственный. А если мало покажется, еще и цирк есть! Знаешь цирк Юпатова? На билет у тебя, конечно, не найдется, но ты в щелку посмотри... Если мало верблюда, считай, что слон тоже твой! Только сторожа берегись, сам знаешь, какая плетка...

Аман так и приплясывал на месте, выбирая момент, как бы на меня броситься поверней. Он был сильнее меня и тяжелей, зато я — легче на ногу. Я-то знал, что ему меня не догнать. Но он вдруг сник, словно из него выпустили воздух, опустил руку с палкой и сказал, сплюнув:

— Лучше иметь вымя дохлой коровы, чем такого товарища. Хоть мыловар бы деньги заплатил... Катись к черту! Лишь бы мне и на том свете твою противную рожу не увидеть... — Он повернулся и пошел назад по дороге.

Хо, куда это он пойдет? Вернется обратно? Его поймут люди бая, у которого мы корову зарезали, сдадут полицейскому, и пройдет у него вся жизнь в Сибири. Нет, побродит, как собака, и опять пойдет той же дорогой... Я крикнул ему вслед:

— Э, мулла Аманбай, не будет ли у вас письмеца вашим дружкам — чабанам или коноводам? Или вы с баями водитесь? Кому привет передать — Арифходже-ишану? Или Махсудхану-думе? Или Гулямхану-кази? Эй, мулла Аманбай!

Но он продолжал идти, ссутулившись, не оборачиваясь, не отвечая ни слова. По правде говоря, моя злость на него уже прошла, мне жалко стало, что он уходит. Опять оставаться одному на дороге! Как теперь идти? И куда?..

Нет, в самом деле, куда? Я издевался над Аманом, но теперь слова его показались мне не лишёнными смысла:

как же это, правда, после стольких недель отсутствия, вернуться домой в нищенских лохмотьях?

Мать, со своим вдовьим хозяйством, и так намучилась за это время, а тут ей на голову свалится еще один едок без единого мирра в поясном платке! Да и ждут ли меня еще? А с другой стороны, мы ведь с Аманом решили идти в Ташкент. Действительно, здесь нам больше ни заработать, ни прокормиться, слух о наших похождениях, наверно, уже по всей округе прошел! Ни в Ишанбазар, ни в Кок-Терак, ни в другие близкие места мне и показываться нельзя. Только и дорога что в город, в Ташкент.

К тому же одно я знал твердо, да и вам уже говорил: у кого душа с воробья и силенки те же, тому нет ничего лучше, чем затеряться в толпе. А где найдешь настоящую толпу? Не в кишлаке же? Там ты на виду, как муха в похлебке, а в городе человека найти не легче, чем блоху в овчине.

Город...

Я брел по дороге и думал о городе. Кушцы, полицейские, нищие. Видели вы реку после того, как в нее сель сошел? Мутно-желтый поток несется как оголтелый и чего только с собой не тащит! Закрутит меня этот поток, как щепку. Может, и не утону — щепки не тонут, — только уж больно противно плыть в такой мутной воде. Нет, оказывается, вовсе не люблю я город! Весь он такой вонючий, точно котелок наркомана. Опять те же немытые, расплывающиеся от жира физиономии байских сынков, что с аршинами в руках лениво караулят покупателя в своих лавках; те же длинные-предлинные торговые ряды, утопающие в жаре и душной пыли; перекупщики с вороватыми глазами, бегающими, словно у kota, который спер бараний курдюк; нищие, тощие, как тень хромого аиста, — они бредут и в одиночку и гурьбой...

Нет, не люблю я город. Говорят, сын одного казаха, пройдясь с отцом по галантерейному ряду, спросил:

— Ата, а что делают эти люди?

— Э, сынок, в базарный день они обманывают парод, а в будни — друг друга...

Но что делать? Небо далеко, земля тверда, а тут еще и холода на носу, зима подойдет, волоча свой меч. А ведь я не тандыр какой-нибудь на заброшенном дворе, чтобы зевать зимой и летом, рта не закрывая. Это только курице хватает проса да воды в луже. Человеку много чего надо... Я вдруг заметил, что дорога, прежде, в знойные дни, обжи-



гавшая пятки, стала прохладнее, и пыль уплотнилась, не поднимается от каждого шага или дуновения ветерка, и вода в арыках прозрачная, как стекло. Скоро ночи совсем похолодадут, роса превратится по утрам в иней, а края арыков обрастут тонким слоем зимнего «сала».

Я иду и думаю — о себе, о матери, о сестренках. Всем нам плохо живется, а по чьей вине? Да, по чьей? Не по моей ли? Я-то почему стал таким никудышным парнем? Мне бы пойти куда-нибудь в ученики или хоть мальчишком на побегушках, а я вместо того шляюсь по дорогам без толку. Только ноги мои, две мои босые, почерневшие ноги знай двигаются себе, как падающие бревна на водяной рисорушке: одна — другая, одна — другая... И ничего не меняется, ничего нового вокруг — дорога, безлюдье, тишина...

Э, не колокольчики ли это каравана вдали? Прислушаемся... Так и есть. Поистине, нет на свете лучшей музыки для одинокого путника, чем этот мелодичный перезвон! Сперва дальний, замирающий временами, а потом все ближе, все звонче, но по-прежнему такой нежный, как будто и не верблюды идут, а сами ангелы господни, чтобы показать тебе быструю и легкую дорогу.

Когда подходит караван к порогам дальним Нила, сама заря, сама заря спешит ему навстречу.  
И колокольчики звенят так сладко и уныло:  
«Гул танг! Гул танг...» — грядущий день свои заводит речи.

А караван — верблюдов пятнадцать — меж тем действительно приближается. Каждые пять связаны одной веревкой, концы веревок держат старик и молодой парень, важно восседающие на ишаках. Верблюды нагружены сеном. Я отошел к обочине, а когда караван оказался совсем близко, вышел навстречу и спросил с поклоном:

— Куда путь держите, ата?

Я не успел услышать ответного приветствия, как на меня с громким лаем бросилась собака. Хорошо, что она была привязана, собак мне на сегодня и без нее хватало.

— Что это ты здесь делаешь, сынок? Да будет к добру встреча с тобой! — произнес старик.

— Ох, ата, хотел в город попасть, да не рассчитал время, вот жду попутчиков, мое счастье, что вас встретил...

— Там, в степи, еще один шагает вроде тебя, сколько же вас всего, ты скажи, сынок, я буду знать: отвязывать собаку или нет...

— Ой, ата, что вы, зачем отвязывать собаку, я собак не переносу, у меня от них волдыри по всему телу идут! А того, кто в степи плетется, я и знать не знаю. Я смиренный раб божий, даже мухи не обидел! Не хотите взять меня в попутчики — что ж делать, я следом пойду, я же только просить вас могу, разве я заставляю?..

— Ого! — сказал старик. — Ты, видно, мастер языком чесать! Но если ты не знаешь того, второго, что в степи идет, чего ж он тебя-то ругал на чем свет стоит?

— Да разве ж я знаю, ата? Ругал, ну и пусть себе ругал, не все ли мне равно, раз я не слышу? Пускай говорит, что ему в голову взбредет, может, у него от ругани кишки наполняются.

Старик засмеялся.

— Значит, ты его так-таки и не знаешь?.. Ну ладно, шагай рядом, что с тобой поделаешь.

Я пошел рядом со стариком. Он изредка поглядывал на меня испытующе, а парень, ехавший сзади, кидал и вовсе подозрительные взгляды. Собака тоже долго не могла успокоиться.

Так мы и двигались довольно долго, в полном молчании. День уже клонился к вечеру, на ясном небе появилась бледная, как облачко, луна, точно бедная родственница раскаленного светила. Она держалась скромно и незаметно, до поры, когда хозяин неба уйдет на покой. А уж тогда она себя покажет, округлится по-хозяйски да и пойдет заглядывать во все уголки вселенной, на все посмотрит, ко всему приценится.

Я смотрел на луну и лихорадочно придумывал, как бы половчей завести разговор. Старик сам не заговаривал, мне было ужас как неловко, да и вообще путешествовать так долго в молчании, когда есть с кем поговорить, — не такое уж сладкое дело.

— Атахон, — сказал я наконец, — а как называется та яркая звезда, что вечером первая на небе появляется?

— Хо-хо, хитрый ты, видать, паренек. Хочешь названия звезд узнать да и волшебником заделаться?

— Что вы, атахон, каким таким волшебником?

— Известно каким: как глянет на звезды, так дождь и пойдет! — И старик добродушно рассмеялся. Я осмелел.

— Как же она все-таки называется, ата?

— Это ты про ту, что вон там скоро загорится? Ее зовут Зухра, сынок... Да-а, у звезд, брат, свои истории. Эта звезда была дочерью одного бедняка. Когда родители у нее

умерли, падишах заслал сватов, а она, надо тебе сказать, была красавица из красавиц! Ну, Зухра и говорит: «У меня, говорит, есть возлюбленный, я за него и выйду». Сам понимаешь, падишах разозлился. Велел найти ее возлюбленного и повесить. Конечно, так и сделали. Виселица была высокая-превысокая, длинная-предлинная! Вот ночью девушка пришла к виселице и стала карабкаться вверх. Уж она карабкалась, карабкалась, лезла, лезла, взобралась на самый верх,— а там и до неба рукой подать! Ну, думает, что мне на земле теперь делать? Побуду на небе, пока на земле злых падишахов не станет, а там и спущусь обратно. Вот она все и заглядывает утром и вечером на землю — как, мол, дела там? Не пора ли возвращаться? Нет, видно, не пора... Только с той поры она приносит счастье всем, кто встречает зарю. А кто проспит, тот счастье и прозеваает!

Я слушал старика, разинув рот. Подумать только, сколько интересного на свете, а я и понятия об этом не имею. Если про каждую звезду расскажут, так можно тысячу дней и ночей слушать! Повезло мне! А старик между тем провел в воздухе рукой, словно чертил на небе линию, и сказал:

— А вон там, на севере, звезда взойдет — это, сынок, Полярная звезда. Она ось неба. Кто на нее путь держит, никогда с дороги не собьется! Запомни это.— Он снова провел рукою над собой, словно разделяя небо пополам.— А светлую полосу, что через все небо идет, знаешь? Это, сынок, Млечный Путь! С тех пор, как дороги на земле есть и люди по ним ходят, каждый день они под Млечным Путем странствуют. А вроде как и по нему идут. Да-а...— Он вздохнул.— Я был мальчиком, как ты, и состарился, а он все такой же, словно кто проехал, да и мелкий саман рассыпал... Ну как, все понял, мальчик-волшебник?

Начало смеркаться. Звезды, о которых говорил старик, одна за другой появились на небе. Скоро мы остановились на привал. Старик радушно пригласил меня к ужину, только парень все молчал и косился. Может, он опасался, что ночью я уведу верблюда?.. Я скоро уснул и проснулся на рассвете: старик растолкал меня.

— Вставай, сынок! Пошли. К вечеру надо добраться до Ташкента!

Этот день минул незаметно. Вот что значит интересная беседа! Во всю жизнь не забыть мне того, что слышал я тогда, шагая рядом с этим стариком пыльной дорогой.

Когда к вечеру мы действительно оказались у Чигатай-дарбаза — северных ворот Ташкента, мне сразу стало грустно при мысли, что придется расставаться со стариком. Казалось, я знаю его давно, с незапамятных времен...

Колокольчики на шее переднего верблюда печально перезванивались, и звон раскалывался о глинобитные стены улиц. Когда мы проезжали мимо мечети Тухтаджанбая, раздался протяжный и на редкость гнусавый голос суфи. Суфи стоял, высунувшись до пояса, на башенке мечети.

— Хайна хананхала... хайна хананхала... — звал он, тужась.

Собака старика за свою долгую жизнь не слыхала, видно, такого противного голоса даже в своей собачьей компании. Она испугалась и завyla, присоединившись к голосу суфи. Старик ткнул ее палкой, она замолкла.

— Какой хороший голос, ата, — сказал я, робко усмехнувшись.

Старик покосился на меня.

— Аллах наградил беднягу сразу двумя недугами: и гнусавый он, и суфи, вот он, сынок, и надрывается...

На базаре, около обувного ряда, мы со стариком распрощались. Он со своими верблюдами отправился к караван-сарая, я решил перебиться где-нибудь в торговых рядах. Однако мне не повезло. Еще когда я со стариком шел, я заметил, что собака его боится базара. Она брела, поджав хвост, и все льнула к ишаку, на котором ехал хозяин. Я думал, ее пугают сторожа, которые стояли на каждом шагу, заложив насувай под язык, и, грозно шепелявя, спрашивали: «Кто иде-ет?» Дело было, однако, не в сторожах, а в целых полчищах бродячих псов, которые шлялись по рынку. Я убедился в этом сразу, как свернул в мясные ряды.

Тамошней сворой предводительствовала большая черная дворняжка. Увидев меня, она грозно зарычала, давая понять, что до сих пор здесь прекрасно обходились без меня, а если я в этом не уверен, ее свита представит мне самые убедительные доказательства. Я не стал спорить, вежливо извинился и повернул к мыловаренному ряду. Здесь своя свора, и манера обращаться с посетителями у нее, пожалуй, еще внушительнее. Тут действуют по принципу — «все против одного». Когда я это уловил и проявил некоторую поспешность, давая задний ход, — проще говоря, побежал со всех ног, они помчались за мной всем ско-

пом. Я остановился, — они меня окружили. Так они и вывели меня за пределы мыловаренного ряда, ни на секунду не оставляя в одиночестве. Это было более чем любезно с их стороны, и я вполне оценил их тонкое воспитание.

Быстренько миновав старую женскую баню, я пошел было в гончарный ряд... Слава аллаху, и там свои собаки! Откуда их столько набралось за время моего отсутствия? Может, нынче год собаки, что на них такой урожай? И потом — что за подозрительность? Ну, ладно, в мясном ряду они еще могли меня приревновать, думая, что я собираюсь разделить с ними обрезки или кости. Это еще понять можно. И в мыловаренном ряду они могли опасаться за свои оскребки. Но та свора, из гончарного ряда, ей-то что? Пустой хум, что ли, я съем, или глиняное блюдо без плова, или гончарную трубу, по которой и воду-то еще не пустили?

Оскорбленный до глубины души, я миновал Каппан и вышел к мечети Хасты-Уккоша, туда, где начинается базар Махкама. Я знал все эти места, как свои пять пальцев, но сегодня они показались мне какими-то новыми, чужими — то ли после долгого отсутствия, то ли оттого, что в такой поздний час я здесь не проходил никогда. Я стал вспоминать, что Уккоша — это имя одного человека. Говорят, он был военачальником у арабов, когда они завоевывали наши края, и погиб здесь — стрела его пробил, а стрелу пустил кто-нибудь из наших предков. Потом арабы и построили на его могиле мечеть. И надо же, теперь сюда шлят целые толпы паломников. И камни целуют, и могиле его до земли кланяются, а ведь он убивал наших прапрадедушек, и города разорял, и скот угонял, и вообще плевать хотел на нас, не то что там излечивать или еще что. Недаром говорят: отдай мать тому, кто твоего отца убил. Так оно и получается. Теперь к нему так и прут за излечением, и все ради какого-то паршивого родника, который бьет из-под его могилы. Я этот родник видал — я видел еще уйму родников получше, из них, по крайней мере, вправду вода идет, а не струйка, как из младенца. Так ведь нет, никто к тем родникам не идет за тридевять земель, всем сюда надо, хотя, если разобраться, при такой куче народу каждому и по капле не достанется. А еще говорят, что для исцеления полагается в той родниковой воде искупаться — как же, искупаешься в ней, легче в ложке с головой окунуться. Не поймешь этих взрослых,

вроде все они знают, а иной раз такой чепухой занимают-ся, что мальчика смех разбирает!

Обогнув Хасти-Уккоша, я вышел к пекарне, где пекут лепешки... Ну, это дело другое. Тут и ночью светло, как днем. Из тандыров, точно из разинутых черных пастей каких-то присевших чудовищ, вырываются языки красного пламени. Люди в легких летних халатах из буза, с открытой грудью, с повязками на голове, то и дело чуть не по пояс залезают в пылающую внутренность тандыра и вынимают румяную горячую лепешку. Ах, какая это лепешка! Жизнь отдать не жалко! Луна, а не лепешка! Так и кажется, что не пекарня это, а волшебная кузница, которую солнце построило себе где-то за черными горами, и вот, один за другим, выковывают здесь золотые диски, да и складывают про запас, чтобы было что запустить в небо, когда нынешняя луна сойдет на нет...

Ах, какпе лепешки! Мука высшего сорта, и пухлые их бока так и пышут румянцем, а в середке черные зернышки — точно огромный тюльпан распустился до конца и вот-вот осыплется. Сесть бы здесь, возле журчащего арыка, поставить перед собой целую корзину этих свежеиспеченных красавиц и без всяких церемоний, запросто, ломать и есть, макая в воду, да чтобы их в корзине не убывало, как воды в арыке... А потом, наевшись досыта, встать, потянуться, сказать пекарю «спасибо» вместо платы, да и зашагать дальше своей дорогой.

Но я человек скромный, мне так много не надо, меня насытит и этот чудесный запах печеного. Устроюсь здесь, около пекарни, и буду вдыхать его всю ночь, до самой зарн...

Я наслаждался недолго. Мимо меня прошел в пекарню старик лет шестидесяти, чуть сгорбленный, с перекинутым через плечо платком, в кавушах из сагры, начищенных до блеска нутряным салом. Минут пять спустя он вышел обратно, платок его превратился в целый узел лепешек. Он внимательно посмотрел на меня и спросил:

— Эй, сынок, не сможешь лепешки донести?

— Донесу, ата,— сказал я, взял у него узел и взвалил на спину.

Так мы и двинулись: он впереди, я сзади. В руках у старика был посох, и старик не давал ему скучать: все бумажки и тряпицы, попадавшиеся под ноги, он переворачивал кончиком своей палки, видно, проверяя, не спрятано ли под ними золото или свеженькое послание самого

пророка, а потом поднимал и засовывал в трещины дувалов.

Я вышагивал сзади, с огромным горячим узлом на спине, и думал, достанется ли мне хоть кусочек лепешки, или я так и расстанусь с ними, не познакомившись, как ишак, который перевозит книги? И зачем этому старику столько лепешек? Той у него, что ли? Да нет, для тоя все же маловато, а для семьи много, хотя кто его знает, какая у него семья. И чего он встал так рано, когда еще и куры не сошли с пасеста? Мы шли какими-то улицами, потом свернули к оврагу и пошли вдоль арыка. Старик приветливо заговорил со мной, голос у него был мягкий, приятный:

— Что это ты спозаранок бродишь, сынок? Потерял что-нибудь, а?

— Да нет, ата, я из степи ночью пришел.

— Вот как, из степи! Ну, что ж, так оно и бывает. И воробей, отведавший ташкентского проса, прилетит обратно из самой Маккатуллы. А родители у тебя есть?

Ну чего он ко мне пристал? Чтобы отвязаться, я сказал:

— Нет, ата, умерли.

— Да, вот так оно и бывает. Родители — они не вечны. Ну ничего, говорят, ласковый теленок двух маток сосет. Вот и ты, если будешь проворным, найдешь себе нового отца. А если отец нашелся, мать и сама придет... Самый трудный перекресток ты, сынок, благополучно миновал, дальше оно уже проще! Одно худо — дурных людей много развелось. Ну, не беда, были бы мы сами хороши, верно? Ты, я вижу, босиком ходишь? Не огорчайся, на быстрые ноги кавуши найдутся. Только ноги надо беречь! Так-то вот оно...

Он говорил быстро и все в одном ласковом тоне, точно тихая вода текла. Я шел молча и слушал.

— Да, сынок, — говорил старик, — вот уж больше года, как война пачалась, знаешь небось? С тех пор цены на все поднялись, и на обувь тоже, так-то вот оно, сынок. Цари, видишь ли, спокойно жить не могут, лихорадки на них нет. Хоть бы вот наш белый царь, что ему надо: жил бы себе мирно, управлял страной, ел бы мороженое, вешал бы злодеев на виселице да с женщинами развлекался! Так нет же! Война! А ведь все у него есть, подданные перед ним мягче, чем воск на солнце, да и полицейские наготове, как меч на боку: только скажет «взять» — готово, уже взяли.

А ишаны и улема за него пять раз в день молятся, денег ему аллах мешками посылает. Все богачи ему готовы богатства добавить, вот ведь, сынок, чего еще человеку надо? Так нет — война! Воюет, истребляет парод, города рушит, видно, хочется ему стать шахом на пустыре...

Последние слова старик бормотал нараспев, обращаясь явно уже не ко мне, а так, в пространство. Потом он умолк ненадолго. Конечно, я тоже шел молча. Вдруг старик зашел:

Ах, есть ли кто, чтоб мать не потерял,  
кто б не утратил юность и отца,  
кто имя мест родных не повторял  
в чужом краю, в скитаньях без конца?

Он поперхнулся, и песня оборвалась, но тут же забормотал снова:

— Эх, да паду я жертвой за шейхов! Мой отец покойный два раза совершал хадж, последний раз и меня с собой взял. О-о, испытали мы долю скитальцев на чужбине! Да ведь, не испытав ее, человек не станет мусульманином, так говорили святые угодники... Да, так вот оно и бывает. — Он вдруг оборвал свое бормотание: — Ты сам из какого кишлака?

— Я? Я... из Учкургана.

— Так, значит, не встретился бы я тебе, встретил бы ты свою мать в Учкургане? Ай-яй-яй... Доводилось тебе учиться у какого-нибудь домуллы?

— Доводилось... Только я сбежал на половине «Суфи Аллаяра».

— Да, вот оно как, сбежал, значит, на самом интересном месте, а, сынок?

— Видно, так, ата...

Старик набрал воздуха и снова зашел — «Касыду ада» из «Суфи Аллаяра», я ее сразу узнал:

Мост перекинут через серый ад,  
извечный мост по имени Сират.  
Острей меча оп, тоньше волоска:  
путь в рай тяжёл,  
дорога в ад — легка.

Старик снова поперхнулся, как в первый раз, и умолк. Мне вдруг стало тошно, сам не знаю почему. Я решил удрать и сказал:

— Ата, подержите чуточку ваши лепешки, напьюсь из арыка, очень пить хочется...



Старика прямо передернуло.

— Что! — сказал он. — Воды напьешься? Да у тебя что, жир лишний завелся или ты казы поел? Идем, нечистое отродье, сейчас чаю напьешься! Воды захотел! Ах ты, господи, прямо мороз по коже! В месяце саратан ему руки лень лишний раз помыть, а тут осень на дворе, раннее утро, и он натошак ледяной водой соблазнился! Тьфу! Что ты, от гусей родился?

Я удивился — чего это он так накинулся на меня из-за холодной воды? Ничего не поделаешь, пришлось за ним идти: как-то неловко было бросить его лепешки на середине дороги. А он все шел впереди, продолжая на меня ворчать. Наконец мы остановились у двери низенького, полуразвалившегося дома на краю оврага. Я опасливо поглядел на дом. Старик обернулся:

— Ну, что пятишься назад? Так вот оно и бывает... Заходи, сынок, заходи...

Меня охватила беспричинная тревога.

— Ну и ну! — сказал старик. — Что ты вытаращил глаза, как теленок на тигра? Здесь не бойня. Медресе тут, медресе. Так вот оно и бывает. Не доучился ты грамоте — вот здесь и доучись...

## МОЕ МЕДРЕСЕ

Пригнувшись — с опаской, хоть и не зная, чего это я опасуюсь, — вошел я в низенькую, почерневшую от дыма дверь. В помещении стоял едкий, режущий глаза запах. В переднем углу возвышался кипящий самовар средних размеров, какой бывает в маленьком хозяйстве, посредине компаты стоял мангал с огнем, а вокруг него — с полдюжины потрескавшихся, с отбитыми носами чайников. Половину комнаты занимали невысокие, пяди две от земли, деревянные нары, на них уселись в круг шесть человек. На улице было уже солнце, а тут мигала еще, словно при последнем издыхании, семиплинейная керосиновая лампа с закопченным допельза стеклом. Не мудрено: сквозь пожелтевшую бумагу, наклеенную на отверстия в стекле, едва пробивался тусклый свет. У лампы расположился средних лет человек, в двойных очках, с густой клочковатой бородой, похожей на заброшенный палисадник. На коленях у него лежит толстая раскрытая книга — он, видно, читал ее вслух. Слушатели застыли в разных позах и

едва подняли головы, когда мы вошли. Только один — пожилой мужчина в феске, с приплюснутым носом — явно обрадовался при виде нас. Он разгребал жар в мангале.

— О,— сказал он,— вот и Хаджи-баба сами пришли. У них и спросим!

Тогда поднял голову и чтец.

— Хаджи-баба,— сказал он важно,— вот тут у нас одно место сомнение вызывает. Когда владетельный государь Або-Муслим и Насрисайяр Беор сошлись в поединке в степях Хорасана, то Насрисайяр ударил почтеннейшего по голове палицей весом в девяносто шесть тысяч батманов. Тогда почтеннейший вошел в землю... по колено — или по пояс? В той книге, что мы в прошлом году читали, было написано — по колено. А в этой написано — по пояс...

— Правильно в той книге, где написано — по колено,— сказал Хаджи-баба таким же важным, не допускающим возражений тоном.— По правилам богатырских схваток предусматривается три удара. При первом уда-аре,— он загнул один палец и заговорил нараспев,— погружаются по колено! При втором уда-аре,— он загнул еще один палец,— погружаются по пояс! При третьем уда-аре...— он загнул третий палец и закончил торжественно:— погружаются по плечи! Сохрани аллах — да если этот собачий сын при первом ударе погрузил почтеннейшего по пояс, так при втором почтеннейший ушел бы в землю по уши. Слыхано ли такое? Будь так, это осталось бы в древних книгах, а где вы это прочтете?

Он остановился и оглядел их всех суровым и праведно-торжественным взором, словно судья, произнесший справедливый смертный приговор. Один из сидевших, смуглый сухощавый человек в синей чалме, утвердительно кивнул головой и сказал что-то на непонятном мне языке.

Я стоял как потерянный. Едкий запах в комнате сначала вызвал у меня тошноту, и глаза заслезились. Потом стало легче, но комната и ее обитатели производили такое жуткое и непонятное впечатление, что мне хотелось закрыть глаза и броситься вон. Что это за люди? Что это за место? Уж конечно, не медресе, каждый дурак с ходу поймет. Какую книгу они читали, я догадался: «Сказание о битвах счастливца Або-Муслима», только это ровно ничего не объясняло. А может... Разгадка вдруг мелькнула у меня в голове. Может, это... курильня?

Хаджи-баба взял у меня узел с лепешками и положил его на сундук. Потом он вытащил восемь штук, разложил

их на подносе, на каждую лепешку насыпал по горсточке джиды и кишмиша. Обойдя всех, словно с угощением, подаваемым на свадьбе, он перед каждым положил по лепешке. Сам он тоже сел в круг. Я все еще стоял у двери, не в силах на что-нибудь решиться.

— Эй,— сказал Хаджи-баба,— что ты там застыл, как лопата у стены, здоровайся с дядями и полезай сюда! Полежай, полежай, сынок, так вот оно и бывает...

— Ассалам алейкум! — сказал я тихим голосом и, стесняясь, боясь к кому-нибудь прикоснуться, полез на нары. Хаджи-баба подвинулся и дал мне место около себя. Против меня лежала одна из лепешек. Хаджи-баба налил мне чаю.

— Разломи лепешку, не стесняйся,— говорил Хаджи-баба,— пей чай да ешь, и не спеши, смотри разжевывай хорошенько. Все это твое, сынок, так-то вот...

Я начал есть, исподтишка, краем глаза, наблюдая за окружающими. Здесь не соблюдалось никаких церемоний, каждый пил чай из своего чайника, каждый ел свою лепешку с кишмишом, никто не угощал друг друга: «Ешьте, пожалуйста...» Сухощавый человек в чалме наклонился к Хаджи-баба и сказал:

— Сахиб, ин бача цист?

Он на меня при этом не смотрел, но, хотя я не понял его вопроса, по слову «бача» («мальчик») догадался, что спрашивает он обо мне. Так оно и было.

— Нашел в пекарне,— ответил Хаджи-баба негромко.— Нет у него ни отца, ни матери, и парнишка, видно, решил, что в нашем городе сирот мало, вот и пришел сюда... Парень вроде бы проворный, ловкий, язык подвешен хорошо, челюсти целы. Будет помогать вам,— добавил он, обращаясь ко всем.

Смуглый в синей чалме удовлетворенно кивнул, остальные тоже.

— Прекрасно, Хаджи-баба, очень хорошо, Хаджи-баба...

Так и есть — это курильня. Сколько я про них слышал, а никогда видеть не приходилось. То-то старика так всего от воды передернуло! Ну, а мне-то что делать? Остаться здесь да прислуживать им? Видно, старик на то и рассчитывает. Тошно... Да ведь ко всему привыкаешь. А местечко здесь тепленькое, что и говорить. Если они и вправду курильщики, так тут можно подзаработать... Ведь говорят, они, когда накурятся, мало что соображают. А уж

если меня возьмут в услужение, чай и лепешки, точно, будут в моих руках. Глядишь, за короткое время можно подкопить пемножко денег, чтобы вернуться к матери не с пустым поясом... Эх, стоило мне подумать о матери да о том, что до дома можно дойти за какой-нибудь час, меня словно волоком отсюда потянуло! Нет, сказал я себе, ты уже царень взрослый, надо и о делах подумать. Пожалуй, стоишь здесь задержаться.

Чаепитие не было еще закончено, когда человек в синей чалме, разговаривавший не по-нашему, стал подниматься.

— Имруз базар, сахиб, дукона барвакт кушодан лозимаст, боман ихозат!<sup>1</sup>

— Ладно, ладно, идите. К ужину ведь вернетесь?

— Конечно,— сказал смуглый и стал надевать кавуши.

Я только тут заметил, что между бровями у него красное пятно величиной с бухарскую таньгу. Он вышел. Я спросил у Хаджи-баба тихонько:

— Баба, кто этот человек?

— Во-первых, не просто баба, а Хаджи-баба, плут! А во-вторых, разве ты полицмейстер, чтобы я давал тебе отчет о моих гостях? Кто здесь бывает, да как его зовут, да какая у него профессия, да откуда он родом?.. Много будешь знать, скоро облысеешь, хе-хе. Это, сынок, индеец, мусульманин, вот так-то. Из города Пешавара. Слышал такой? Нет? Ну, вот видишь. Он сам-то меняла, ну и деньги в рост дает. А когда у индийца денег больше ста тысяч, он делает у себя на лбу красную метку, вот здесь! Видел у него такую? Видел? Чтобы такую метку сделать, ко лбу раскаленное золото прикладывают. А у него, сынок, золота на сотни тысяч! И сколько есть в Ташкенте купцов, все его боятся, прямо дрожат перед ним. Все они ему должны, сынок, вот так-то... Ну, ладно, хватит болтать. Вставай. Заправь чилим. Если до вечера поработаешь прилежно, покой мне дашь, я тебе кавуши достану...

Нет, определенно, здесь стоило пожить.

В тот день я не пожалел труда, все делал, что велел старик, даже и сверх того. Хаджи-баба был немного нудноват, особенно когда заводился и начинал длинные речи, вставляя свое «вот так-то» через каждые два слова. Зато был он совсем не злой и, пожалуй, даже щедрый. Может,

---

<sup>1</sup> Сегодня базарный день, хозяин, надо торопиться в лавку, разрешите уйти.

это оттого, что он оказался туповат в расчетах? Если он хотел по порядку подсчитать шесть штук чего-нибудь, например, лепешек, то после четырех, как правило, сбивался, и ему требовалось немалое усилие, чтоб довести эту сложную операцию до конца и без потерь. Это мне в нем особенно понравилось. А он в меня поверил и сразу подзывал, когда ему пачинали угрожать какие-нибудь солидные числа.

Вечером снова пришел индиец-меняла, я с ним познакомился поближе, а в следующие несколько дней прямо-таки здорово к нему привык, так что когда он уходил, мне словно чего недоставало. Я, похоже, ему тоже понравился. Едва он появлялся, у меня сразу словно становилось по шесть рук и ног! Я торопился его обслужить, а он рассказывал мне необычайные вещи, про чудеса Индии. Говорил-то он по-узбекски не хуже нас с вами. Интересно, правда ли все то, что он мне парассказал? Будто бы в Индии, в городах, все улицы усыпаны жемчугом. А мальчишки стреляют из рогаток сапфирами, ну и жемчужинами, конечно, тоже, ведь за ними стоит только нагнуться. Лепешки поспевают там на деревьях, а усы начинают пробиваться, когда мужчине исполнится пятьсот лет. А главное, все — мужчины и женщины — круглый год ходят голыми, потому что зимы там не бывает. А цены какие! Баранов — тех вообще отдают даром, а слон со слоненком стоит четыре танги! Подумать только, да я бы заработал слона за неделю! Может, без слоненка еще дешевле бы уступили, и где мне возиться с маленьким?..

Мне прямо загорелось побывать в Индии. И мальчишки наши раньше говорили про Индию кое-что интересное, но куда там! Ничего похожего на рассказы менялы. И потом, ведь то говорили мальчишки, а что они говорят, я и сам могу запросто выдумать.

Кроме интересных рассказов, индиец был щедр и на деньги. Он курил не крупный ташкентский нас, а бухарский, толченый. Я бегал ему за насом и каждый раз обязательно доставал, даже если нужно было обегать чуть не полгорода.

— Молодец! — говорил он мне и давал сверх истраченных денег два-три мири, а то и тангу. В базарные дни он приносил целый мешок серебряных и золотых монет, показывал прежде всего чайник крепкого чая, а потом, устроившись на полу, считал деньги. Чаще всего, пересчитав половину, он задремывал, но тут же просыпался, ис-

пуганно вздрогнув, потягивал чилим, пускал клубы дыма — и принимался считать дальше.

Блеск монет притягивал меня, я садился рядом и, когда он засыпал, оберегал его от дурного глаза. Просыпаясь, он говорил со вздохом:

— О, святой аллах!

Индиец очень мне нравился.

Впрочем, и другие постоянные посетители курильни были народ совсем не грубый, наоборот, таких мягких, обходительных людей редко где встретишь. Только когда они, бывало, накурятся и впадут в дремоту, смотреть на них с непривычки жутко: словно мертвецы, вернувшиеся с того света! Но пока не накурятся, они читают вслух какую-нибудь книгу, а чаще всего заводят медленные, важные беседы обо всем в мире, что было, есть и только еще будет.

К тому времени, когда я сюда попал, уже год с лишком шла война. О ней здесь тоже, конечно, говорили:

— Сильная война идет, сильная. Говорят, с одной стороны Николай и француз, а с другой — Герман какой-то! Что это за Герман? Говорят, шестиглазые они и крылатые? Ну и племя! И в старицу такого не видывали. Сколько городов белого царя, говорят, с землей сровнял. А еще говорят, он ползучую пушку придумал, она, вроде, на дракона похожа. Точно, точно, из рода драконов! А еще говорят, что никому не одолеть этого Германа, кроме таких непобедимых богатырей, как Або-Муслим, Кахрамони-катил, Халифан-Руми... Ну и ну! Так, глядишь, и до нас доберется. А еще говорят, среди войска белого царя... — тут все переходят на шепот, — непокорные, говорят, появились... А, слышали? «Не будем воевать с Германом, пускай, мол, белый царь сам воюет...» Оно и понятно — кому охота с голыми руками на такое чудище идти! А, что? Кто у них главный, у этих непокорных? Вот-вот, и я слышал, богатырь по имени Мастеровой...

Тут свежие политические новости иссякают, и беседа с политики понемногу переходит на прихоти птицелюбов. Толкуют о каком-то чудодее, который научил попугая говорить «дурак»; и о другом, который сделал галку наркоманом. Ей-богу, теперь она и дня не проживет, не выкурив чилима! А еще один обучил, говорят, курицу кричать петухом, с тех пор она и часы заменяет, и яйца несет. А жулан сносит яйцо через рот, — слышали об этом? Но скоро и эта тема иссякала, начиналась полемпка о причинах зем-

летрясений: тут высказывалось столько любопытного, что тому, кто и впрямь ведаёт землетрясениями, стоило послушать, — он бы наверняка кое-что намотал на ус. Нет, жаловаться на скуку мне было грех.

Хаджи-баба моей работой тоже остался доволен. И сдержал свое слово насчёт кавушей, хотя обувь в Ташкенте и впрямь сильно подорожала.

Голодные сапожники и их клиенты — всяческая беднота — только и знали что «опорки». Все охотились за «опорками». Так называли не голенища, а нижнюю часть сапог солдат, убитых на фронте. Их собирало какое-то заботливое военное учреждение, жадное до денег. Об этом услышал один ташкентский купец. «Покажу я вам, как надо заботиться о бедных людях!» — сказал он, отправился на фронт и привез оттуда целых восемь вагонов «опорок»! Теперь он продавал их пачками, по десять и двадцать пар, мелким сапожникам, занимавшимся починкой старья, а те их ремонтировали, избавляя бедный люд от необходимости тратить деньги на новые кавуши или калоши... «Опорки» стоили куда дешевле! Ну, я думаю, благородный купец тоже не остался внакладе, на пару хороших сапог он себе наверняка заработал.

Вот такие «опорки», еще довольно крепкие, Хаджи-баба мне и купил. Тяжелые они были, как два топора, и не менее твердые. В первый день они стерли мне ноги до волдырей. Но зато у меня была обувь, а к волдырям можно притерпеться.

По четвергам и пятницам в курильне особенно много народу. Кроме двадцати с лишком постоянных посетителей приходит еще и молодежь, которая устраивает плов в складчину да затягивается пару раз чилимом или слегка покурит анашу — «для аппетита», «для настроения», как они говорят. Молодежь эта — большей частью мелкие кустары, редко-редко попадетя среди них байский сынок. Зато в среду, с утра и до вечера, Хаджи-баба отпускал меня на свободу. Иногда он поручал кое-какие мелкие дела на базаре, но чаще всего я бродил по базару сам по себе. Среда была моей пятницей! <sup>1</sup> Утром Хаджи-баба давал мне полтаьги — праздничные деньги, «джумалик».

— Погуляй, сынок, только возвращайся пораньше. И не кривляйся, не будь посмешищем каждому встречному, как обезьяна бакалейщика; да не зевай у каждой

<sup>1</sup> Пятница — праздничный, свободный день недели у мусульман.

лавки, словно почтовая лошадь; и в драку с любым бездельником не вступай, как бродячая собака на мясном базаре; и не объедайся, смотри, как кишлачный простофиля, который во время хайта попал в торговый ряд... Не все, что глаза видят, живот принимает, так-то вот оно, сынок, да.

Я стою, переминаясь с ноги на ногу, меня ждет свободный день, полный удовольствий, все, что он говорит, я и в будни двадцать раз слышал. Ну, все вроде? Я кланяюсь и бегу, но он меня снова останавливает:

— Да, вот еще что. Возьми-ка это мира и купи фунт свечей у мыловара уста Талиба. Знаешь, на Ходжи Рушнаи. Да смотри, чтобы они не воняли. Завтра четверг, поставим свечи душам святых, как бы они не обиделись, если свечи будут вонючие... Ну, иди, сынок, иди...

Слава аллаху! Я успеваю сделать пару прыжков, когда он снова меня окликает:

— Постой-ка, сынок, возьми вот еще две копейки, сходи к табачному сараю, там есть лавочник из Бухары, купи у него толченого наса для индийца...

— Ладно, не надо денег, нас я и так куплю.

— О,— сказал Хаджи-баба,— могу и себе оставить; деньги — радость души. Я зна-аю, вас с индийцем водой не разольешь! Ишь, как для индийца, так и денег не надо! Руки мои отдадут — руки мои берут... Хе-хе, так вот оно и бывает. Ну и глаза у тебя, сынок, так и бегают! Иди-иди, благо ты свободен, как плеть из кизильника... Ах, что лучше молодости и свободы!

Он что-то еще бормочет мне вслед, но я уже не слушаю, бегу вприпрыжку. И правда, что лучше свободы!

## СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

Я хожу по улицам с опаской — и то удивительно, что за две-три недели я не встретил еще ни одного знакомого! Не приведи господи, попадешься на глаза матери или дяде — позор! Но пока мне везет. Курильня находится, правда, далеко от нашей махалли, да ведь на базаре-то все бываю!

Вот и сейчас я туда бегу. Сначала на дынный базар, к открытой поляне, что за Маджомп. Арбузов и дынь здесь целые горы — зеленые, и зеленые в черную полоску, и



зеленые до черноты; горы золотые, светло-желтые, шафрановые, желто-бурые, красновато-желтые, коричневые... Водоносы обильно полили землю, здесь довольно прохладно, пахнет клевером: повсюду виднеются его стога, привезенные на продажу. Стоят арбы с плетеными кузовами — откуда ни наехали они только: из Кувы, Маргилана, Ферганы, Алты-Арыка! Лошади выпряжены, а в тени кузовов и возвышаются все эти многоцветные горы: вот дыни сорта «ак-куруг», с пажитным белым мясом, вот желтовато-красные «киркма», вот «кзыл-куруг» — чуть жестковатые благоухающие красномяски, вот золотистые «шакарпалак», готовые треснуть при малейшем прикосновении...

А тут чудесный товар лежит прямо в кузовах. Большие, с дыню «хандаляк», красно-бурые шары, точно волшебные шкатулки с драгоценностями, запертые самим аллахом, так что и замка не отыщешь. Так оно и есть! Это гранат, под их твердой оболочкой прячутся сотни маленьких рубинов с прозрачными гранями, райские зернышки, полные душистого кисло-сладкого сока, — мечта!

Навстречу мне попадается парень моих примерно лет, тоже, видать, бродяга.

— Эй, — говорю я ему, — как тебя звать?

— А тебе-то что?.. Ну, Атабай.

— Если куплю одну дыню, составишь мне компанию?

— Составлю... Только у меня денег нет.

— Если у тебя денег нет, что ты на базаре делаешь?

— А какое твое собачье дело?

Точно! Никакого мне дела нет. Правда, в другое время я бы ему это «собачье дело» не спустил, но сейчас настроение у меня благодушное, неохота связываться. К тому же я, по правде говоря, отлично знаю, что он делает на базаре без денег. Небось помогает сгружать дыни и арбузы и получает плату мятыми, треснувшими или недозрелыми плодами далекой бахчи...

Ладно, валяй дальше, бродяга! Нынче ты мне не пара. И я покупаю за пакрыл маленькую красномяску, раскалываю ее и принимаюсь есть в одиночестве — в полное свое удовольствие! Уж больно я соскучился по фруктам... В курильню свежих фруктов и близко не подпускают: те, кто употребляет терьяк, опиум, кукнар, боятся их больше, чем кошка воды! Впрочем, так же боятся они и самой холодной воды, и молока, и простокваши. От гератской сливы, от вишни кок-султан, даже от граната их просто бросает в дрожь. Только заговорите при них обо всем этом,

они уже передернутся. Однажды я уговорил Хаджи-баба попробовать очищенный персик. Ой, что было! Он так плевался, что я думал, его наизнанку вывернет. «Тьфу, говорит, проклятое ты дитя! Персики, персики! Да это отравка, а не лакомство! Бр-р! Водяной шар, вот что такое твой персик! Тающая тряпка! Тьфу!» С тех пор я его не уговаривал, очень надо! Могу и сам съесть.

Вот как эту дыню. Доел я ее со вкусом. А теперь... Теперь я куплю еще пару гранат! Пировать так пировать! Я протянул одно миру дехканшу в ферганской тюбетейке, с темно-коричневым от загара морщинистым лицом, на котором седые усы и борода казались белыми, как снег.

— Граната захотелось, сынок! Ладно, положи-ка деньги в карман, я еще не сделал почина, а до почина в розницу продавать не хочу... — Я пожал было плечами и хотел уже отойти, но он наклонился, взял два крупных граната и протянул мне:— Бери! Бери, бери, не бойся... Один сам съешь, другой маленьким братишкам отнесешь, помолись за меня, вот и ладно. Гранат священный, издалека привезен...

Я поклонился старику, пробормотал «спасибо» и взял гранат. Потом я перешоялся платком, сунул гранат за пазуху и пошел с дынного базара. Проходя мимо лепешечного ряда, я увидел старосту старгородских сторожей Рахматуллу-саркара. Это был знакомый моего отца. Он шел мне навстречу. Сначала я хотел было дать стрекача, но он меня уже заметил, и я со скромным видом подошел и поздоровался.

— Эх, сынок,— сказал он, оглядывая меня, и покачал головой,— вон ты каким парнем уже стал! Идет время! Ну, как Мирза-ака?

Это он спрашивал про моего отца! Значит, про меня-то он и вовсе не знает...

— Умер он, ата,— сказал я.

— Ну-у! Ох, беда. Жаль, жаль, хороший был у тебя отец, сынок... — Он помолчал.— Ну, да благословит его бог! А мать... здорова?

— Мать... мать здорова, ата.

— Сколько ж вас после отца осталось?

— Я да трое сестреноч...

— И все малыши... Ох, беда! — Он помолчал, оглянувшись, поискал вокруг глазами, потом махнул рукой, полез за пазуху и вынул тощую перепелку.— На, посади ее в клетку да корми, авось станет хорошей певуньей.

Я поблагодарил, взял перенелку и сунул тоже за па-  
зуху.

— Да-а, жалко твоего отца... А тут еще один человек пропадает. Карабая-таджика знаешь? Нет? Молодой парень... Молодой-то задор и виноват, держал пари, да и вывихнул себе позвоночник, повезли его к табибу. Боюсь за него — видно, пропал парень...

— Как же это он вывихнул позвоночник, ата?

— Я ж тебе говорю — держал пари с байскими сынками из галантерейного ряда, что в одиночку снимет с арбы и отнесет в сарай большой мешок с бусами от дурного глаза... А там двадцать с лишним пудов! Разве можно с байскими сынками пари держать? Им только и забавы, что покалечить бедного человека! Эх...

Этот Карабай-таджик был, видно, одним из сторожей — они часто были из таджиков. Заодно они работали и грузчиками в торговых рядах. Рахматулла-саркар всех их опекал и пользовался у них большим почетом.

— Ладно, сынок, — сказал он, — пойду узнаю, что там с ним. Приходи к нам в свободное время!

Я постоял в раздумье. Куда теперь? Тут до слуха моего донеслись звуки карная и сурная. Ноги было сами понесли меня в ту сторону — цирк! Потом я замедлил шаг — туда ведь соберется вся окрестная ребятня, меня увидят... А, была не была!

Это оказались действительно циркачи Юпатова. Их разукрашенные арбы остановились посередине площади Чорсу. На одной арбе, зазывая народ, трудились изо всех сил музыканты: два карнайчи, один тощий тип с сурнаем да один барабанщик. Карнайчи надувались так, что казалось, вот-вот лопнут на глазах у публики. А тип с сурнаем даже вроде и не напрягался особенно — если б я не слышал, что сурнай издает свои распрекрасные звуки, я бы подумал, что сурнайчи просто дурака валяет, только делает вид, что дует. Может, он был такой тощий, что в нем и раздуться нечему было? Зато барабанщик старался за двоих и так колотил палочками, словно у него было их не две, а целый десяток...

На соседней арбе показывали свое искусство клоуны. Немыслимо пестрые шапки, на них наверняка пошло по лоскутку от каждого цвета, в какой только красят материю на земле; и лица — не лица, а маски из красок и муки. В самой середине этих масок торчат носы, такие длинные, что ими можно почесать под мышкой. А над

всем великолепием нависают из-под шапок длиннющие желтые волосы! Вот бы мне такие! Впрочем, я не отказался бы и от их халатов, длинных полосатых халатов, украшенных множеством серебряных полумесяцев и золотых звезд. Но больше всего я завидую их уменью показывать разные номера, разные фокусы, от которых только рот разеваешь. Ну и ну! Сподобит же аллах научиться — да я бы с таким уменьем горя не знал! Не только завоевал бы великий почет среди окрестных мальчишек, но еще и кучу денег заработал: чего проще держать пари, что я вот сейчас положу яйцо в рот, а выну — спорим? — из уха! Это как раз и проделывает один из клоунов...

А вот еще арба, и на ней какая-то русская женщина, нарядив пятерых комнатных собачек, словно игрушечных тетенок, заставляет их танцевать, подпевая им:

Люблю, люблю я, Мамаджон,  
люблю я, Мамаджон.  
Я та, что смотрит из окон,  
мой милый Мамаджон.  
И чай стаканом испокон  
пила я, Мамаджон...

Глупая песня, конечно, но для собак сгодится. Не все ли им равно, под какие слова танцевать?

На четвертой арбе полураздетая женщина показывает разные штуки ногами и руками, только, по-моему, ей самое главное — пощеголять своими роскошными шароварами с блестящими застежками внизу. Силач с четырьмя двухпудовыми гирями (это он сам кричит, что они двухпудовые) подкидывает их попеременно вверх, ловит на лету и снова подкидывает. А еще один в кругу показывает, как стоит на задних ногах горячая лошадь и как она кланяется публике. Он так похож на лошадь, что мне хочется на нем прокатиться...

А посреди всех этих чудес, переходя с арбы па арбу, разгуливает всем известный Рафик-клоун и кричит:

— Эй-й, кто не знает, пусть узнает, кто знает, пусть другим скажет! Старый знакомый нашего народа Юпатов-бай и его дочь Майрамхон построили возле каравансарая цирк! Слышите! Цирк! Билеты стоят от мираи до танги! Приходите! Приходите! Пожалеете, если не придете!..

Я пролез в первый ряд и стоял прямо против музыкантов, получая удовольствие полной мерой. Тут я вспом-

нил о гранате, вытащил один, нашел маленькую трещинку, разломил и стал давить. Кисло-сладкий сок потек ко мне в рот и по подбородку, на зубы попало несколько зернышек, я стал их жевать, морщась от кислоты и удовольствия, и не заметил сперва, что карнаи и сурнай вопили уже не так уверенно, как раньше — из них вырывались квакающие звуки. Вдруг один из карнайчи, безбородый старик, прервал игру, взял платок, перекинутый через плечо, вытер щеки и губы, сплюнул и закричал:

— Эй ты, проклятый мальчишка! Тебе говорю!

Я обернулся, чтобы посмотреть, кому это он кричит.

— Чего вертишься! Тебе говорю! Уходи отсюда, ешь свой гранат в другом месте, чтоб тебе пусто было!

Ну и дела! Я ведь забыл, что перед музыкантами, играющими на карнае или сурнае, нельзя есть кислое — ни гранат, ни сливу, ни курт. Когда они это видят, у них слюна начинает так и хлестать, дуть в трубу невозможно... Надо же, знал ведь — и забыл! С арбы соскочил один из клоунов и вытолкнул меня из толпы, а я глядел на него во все глаза — это был тот самый, что переправлял куриное яйцо через рот прямо в ухо...

Ну, прогнали — и ладно! Хватит с меня цирка. Тем более что представление зазывал уже кончается. Благодарение аллаху, никого из знакомых я так и не встретил. Я еще раз вспомнил желтые волосы клоуна, тряхнул головой — и сообразил, что я уже целую вечность не стригся. Не сходить ли к парикмахерам? Вот как раз и парикмахерская у мечети Махкама. Вместо вывески над дверью красуется грязный красный фартук, — его видно издали, люди сразу догадываются, что здесь обосновались цирюльнички.

В парикмахерской сидят несколько человек. У одного на шее четыре пиявки. У другого на висках пристроены два рожка для спуска крови. Эти рожки, с отверстиями на обоих концах, делаются из самых настоящих бычьих или коровьих рогов, выдолбленных изнутри. Парикмахер, сделав надрез на висках, приставляет рожки и спускает кровь. Человек с рожками, краснолицый, с тяжелым крутым лбом, и впрямь сейчас походил на быка. Он стоит, и другой, с пиявками, тоже. Оба они сидят на низкой скамейке у двери, а сам парикмахер занят удалением коренного зуба у третьего клиента. Клиент замер у него под руками с разинутым ртом, как у рыбы на берегу, и глаза у него точь-в-точь как у рыбы, такие же вытаращенные.

Старик парикмахер спустил на нос очки в черной железной оправе и посмотрел на меня:

— Что, мальчик, постричься хочешь? Это будет стоить один папыр. Деньги есть?

— Есть.

— Тогда не стой здесь попусту, пди к хаузу и хорошенько помочи волосы.

Парикмахеры — люди важные, образованные, мастера на все руки. Они не только стригли, брили, ровняли бороды и усы, красили волосы, но еще и лечили от множества болезней. Пустить кровь, поставить пиявки, удалить зуб, дать слабительное — все это и многое другое тоже входило в круг их обязанностей, из которых самой доходной было обрезание. Так что, когда появлялись такие завалающие клиенты, как я, суровые мастера не снисходили до того, чтобы собственноручно мочить им волосы, а посылали к хаузу.

Я зашел во двор мечети Махкама, добросовестно намочил голову водой из хауза, что посреди двора, и стал тщательно тереть волосы. Когда я вернулся в парикмахерскую, коренной зуб был уже выдернут, его хозяин стоял в сторонке и охал, сплевывая кровь, а парикмахер снова был занят — подправлял усы какому-то старику. Он опять глянул на меня краем глаза и сказал:

— Чего стоишь, три волосы, а то высохнут!

Наконец подошла и моя очередь, и на шее у меня оказалась грязная повязка красного цвета.

— Ах ты, нечистое отродье, намочил-таки плохо! — сказал парикмахер, налил полную пригоршню воды из кувшина для омовения и стал растирать мои волосы сам. На пальцах у него, чуть не на каждом, было по кольцу, и он сдирал с меня кожу целыми полосами. Остальное доделывали мухи, они тучами кидались на мои раны, точно волки на павшую лошадь. Удивительные мухи в парикмахерской, ничего не боятся! Я думаю, они в стоворе с самим хозяином и кусают только дешевых клиентов.

Содрав мне примерно половину кожи с головы (это называлось у него намочить волосы как следует), парикмахер наконец приступил к делу. Он начал брить с висков широким, как пятерня, лезвием. Первый раз я видел такую бритву! Каждый раз, как он проводил ею, я подскакивал, потому что при ближайшем рассмотрении бритва оказалась вовсе не бритвой, а пилой: остатки лезвия равномерно чередовались на ней с зазубринами. Но пилу

тоже иногда точат, а он свою не точил, видно, с тех пор, как перепилил надвое какого-нибудь захудалого посетителя. В то время как я подскакивал с приглушенным воплем, он сердито пихал меня обратно и говорил:

— Сиди спокойно! Что за нетерпеливый мальчишка, шайтан в тебе, что ли, сидит?

Когда бритые наконец завершились, я был уверен, что попал в рай. Выжить после таких пыток невозможно, а на тот свет я прибыл явно как великий мученик. Но, к счастью или к несчастью, я был все еще в парикмахерской. Только я встал, как со стороны шорно-седельных рядов донеслись вопли толпы. Вовсе не замышляя смыться, я кинулся к двери посмотреть, что там такое. Но парикмахер налетел на меня, как коршун на цыпленка, и схватил за грудки:

— Ах ты, паршивец! Удрать хочешь! Убирайся, только сначала деньги заплати. Здесь святейшее заведение Сулеймана-чистого, его обманывать нельзя, понял, паршивец? А кто его обманет, у того и парша, и колтун, и лишай — все на голове заведется!

Я хотел ему сказать, что и парши, и лишай, и всего прочего с избытком хватает на грязных фартуках и повязках этого чистейшего заведения. Но времени на разговоры не было, я сунул старику причитавшийся папыр и помчался туда, откуда неслись шум и вопли.

Мелькнули мимо книжные ряды, ряды по торговле кошмами, ножами, седлами — народу всюду тьма, все галдят, спешат, вытягивают шею. Проскальзывая, протискиваясь, пробиваясь, я выбираюсь на базарную площадь и там, у моста через арык Джангах, пересекающий базар, вижу наконец причину всей суматохи. У входа в ряды по торговле барабанами несколько дюжих парней волокут стройного, франтоватого мужчину с черными усами и бородой, лет сорока примерно. На нем бешмет и камзол из китайской чесучи, подпоясанный розовым шелковым платком, на груди длинная золотая цепочка от часов, на голове еще держится кокандская цветная тюбетейка, а лакированные ичиги и кавуши поблескивают сквозь пыль. Парни, видно, только что вытащили его из двустворчатой двери, украшенной резьбой, со двора известной Айши-яллагчи, певицы. Вспомнив, чей это двор, я догадываюсь, кто этот франтоватый мужчина, — это же, наверное, муж Айши, Рахмат-Хаджи, знаменитый старгородский щеголы!

Так и есть! Он сопротивляется, как может, а толпа вокруг вопит:

— Тащи его, тащи, вот он, сводник проклятый, вот он, совратитель! Тащи его!

Парни, волокущие Хаджи, схватили его за руки и за ноги, пронесли пемного, а потом рывком бросили, точно мешок с зерном. Хаджи, хоть и сильно ударился о землю, вскочил все же, поднял правую руку и, обращаясь к толпе, закричал:

— Эй, мусульмане, эй, люди!

Но тут огромный мужчина лет тридцати, судя по одежде — мясник, кинулся на Хаджи, с маху ударил его головой, и бедняга Хаджи полетел вверх тормашками. Толпа снова завопила: «Бей подлого сводника!» Хаджи схватили за ноги и поволокли к перскрестку. Разъярившуюся толпу не могла бы усмирить никакая сила. Все, кто мог дотянуться до несчастного, считали своим долгом ударить его кулаком или пнуть ногой. Кто был далеко, жаждал попасть в него хотя бы камнем, попадая, конечно, и в других, что только усиливало суматоху и ярость. Это походило на растревоженное осиное гнездо, только осы-то были чуть великоваты. Подоспели полицейские, пешпе и копные, они свистели, стреляли в воздух, пытались разогнать толпу плетью — все тщетно. Бедняга Хаджи, верно, давно уже отдал душу богу, а его тело все еще били, пинали, терзали... Толпа начала рассеиваться добрых полчаса спустя, и чем меньше людей оставалось, тем поспешнее они уходили прочь, и я сам слышал, как один спросил другого: — Эй, послушай, а кого это прикончили, не знаешь? Чего он сделал?

А ведь, может, они первые и ударили несчастного Хаджи...

Я еще долго шнырял вокруг, слушал разговоры и по-немногу выяснил всю историю.

## ИСТОРИЯ РАХМАТА-ХАДЖИ

Рахмат-Хаджи, муж Айши-яллачи, нынешним летом поехал в Фергану — посмотреть да поразвлечься. Там он выдал себя за богача и сказал, что хочет жениться. Ну, за этим дело никогда не станет: ему тут же сосватали дочь одного сапожника — молодую вдову Латифахон. Прожив с ней в Маргилане несколько дней, он со всем имуществом



повез ее в Ташкент, однако прежде чем ввести в дом, явился туда сам и обратился к старшей жене, Айше, прямо-таки с мольбой:

— Жenuшка, душечка, допустил я по молодости лет промах, совершил глупость, но ты уж меня не выдай, проживу с ней недельку, а там по-доброму, по-хорошему отправлю назад. А ты будь мне пока что «сестрой», не осрами меня, душенька, я уж тебе отслужу, до самой смерти верной собакой буду. Только послушайся меня, а я раздобуду денег и в следующий раз возьму тебя в хадж, ей-ей, разрази меня аллах... Поездим по свету, да и вернемся чистыми от всех грехов! А, Айшахон?.. Договорились? Только не осрами меня, а уж я готов пить чай из той воды, что ты ноги мыла...

И так он молил, так упрашивал, что Айша-яллачи подумала, да и махнула рукой: ладно, мол. Ну, Рахмат-Хаджи и привел к ней в дом эту маргиланскую красавицу. Устроил он маленькое угощение в честь своей женитьбы, а там и пошло. Говорят, встретив новую любовь, от старой отвернешься, так и тут вышло. Рахмат-Хаджи стал избегать Айшу-яллачи, а нет-нет даже и смеяться над нею в присутствии Латифахон. Ну, Айша-яллачи терпела-терпела, наконец терпение у нее лопнуло, переполнилось чаша. Однажды, когда Рахмата-Хаджи не было дома, она зашла к себе Латифахон и говорит:

— Послушайте-ка, аймпаша (это вроде как сказать: «Послушайте, милашка»), это у вас в Маргилане все такие наивные, или вы одна такая? Вы уже три месяца, как в этот дом пришли, неужели все еще ничего не замечаете? Да ведь ваш Хаджи-ака мне вовсе не братом приходится, а мужем! Так что и вы мне, милая, вовсе не невестка. На мне лежат все расходы по дому, я вашего Рахмата-Хаджу избаловала, как холощеного кота, вот он и стал с жиру беситься! Разве вы не знаете, что я — самая знаменитая певица в Ташкенте? Саври-яллачи, Рисал-яллачи, Фатъма-яллачи — это все мои ученицы. Я хожу на все свадьбы, до утра пою, танцую, всю свою душу выворачиваю наизнанку, чтобы умело подольститься то к байским сыпкам, то к важным богачам, то к толпе ремесленников, унижаюсь, вымалываю свои денежки, а Рахмат-Хаджи эти рубли и транжирит! Вы что, всего этого не видите? Не-ет, говорят, две собаки с одного блюда не едят. Я-то мужа не жажду иметь. Захочу, так сто мужчин для меня пайдется. Вы столько мужских глаз и на улицах не встречали, сколько

на меня каждую ночь пялятся. Мой лоб, щеки да подбородок сверху донизу золотыми десятирублевками облепят, стоит мне только захотеть! Я кивну, и птица, что в небе, у меня в руках окажется... Мне-то наплевать, по вас мне жалко. Вы еще женщина молодая, дочь правоверного мусульманина, честного человека, а Хаджи вас опозорил, да еще и ославит напоследок. А знаете, для чего вы ему понадобились? Э-э... Могли бы и сами догадаться. Да он вас сведет с богатыми стариками, за одну ночь по сотне будет за вас получать! Так что будьте осторожны, милая. А, впрочем, может, это вам все по душе? Тогда воля ваша...

Бедная Лати́фахон сидела белая как полотно и не могла сказать ни слова. Дослушав, она поднялась и, шатаясь, как подстреленная перепелка, пошла в свою комнату. Некоторое время спустя она вышла в парандже и с узелком в руках и сказала:

— Спасибо вам, Айша-апа, образумили вы меня, я была как слепая. Простите меня за все, чем я вас обидела, может, нечаянно, может, нарочно. А я домой уезжаю!

Тут Айша-яллачи с ней попрощалась, заплакали они обе, обняли друг друга и поцеловались. Не прошло и пяти минут, как Лати́фахон ушла, вернулся Рахмат-Хаджи. Пошел он в комнату Лати́фахон, видит, ее нету, вышел и спрашивает у Айши:

— Эй, где Лати́фа?

— Бросила тебя Лати́фа, уехала в Маргилан. Сказала, будет развода просить. Не могу, говорит, жить с соперницей в одном доме...

— Ты, что ли, ей проговорилась?

— Я-то не проговорилась. На чужой роток не накинешь платок. И луну подолом не заслонишь. Тыща людей наш порог переступает, кто-нибудь и сболтнул наконец.

— Ах ты, черт, плохо дело! Давно она ушла?

— И пяти минут не прошло. Беги — догонишь. Спроси у людей, не проходила тут женщина в маргиланской парандже да с узелком в руках? Наверняка видели.

Рахмат-Хаджи, расстроенный и перепуганный, побежал на улицу. Расспрашивая то одного, то другого, он догадался-таки, куда она пошла, и нагнал ее у мясного базара.

— Эй, остановись, Лати́фа!

— И не подумаю остановиться!.. Сводник проклятый!

— Что ты мелешь, дура, какой сводник?

— Сводник, сводник! Больше ты меня не обманешь, шайтан! Тысяча проклятий твоему имени, ой, я несчастная-а-а! Люди, мусульмане!!

Стал собираться народ; слушая, как они переругиваются, вышли мясники из-за своих прилавков. Видя, что дело принимает дурной оборот, Рахмат-Хаджи побежал обратно домой. Толпа зевак покатила за ним следом, по дороге выясняя у Латифахон подробности. Латифахон, плача, выкрикивала что-то малопонятное, но толпе уже было довольно. Люди и так были взбудоражены каждодневными разговорами и слухами о войне, растущей дороговизной, опасениями надвигающихся бед. Рахмата-Хаджи выволокли со двора и потащили...

Полицейские отнесли его труп в сарай и прикрыли циновкой. Конечно, ни того, кто убивал, ни каких-либо свидетелей найти им не удалось. Латифахон тоже исчезла неизвестно куда.

Мой свободный день клонился к вечеру, базар по-прежнему пустел. Я купил, как мне было поручено, фунт свечей, обнюхав их сначала, как собака дохлого цыпленка; потом взял на две копейки мелкого наса для индийца, да еще за три пакрыра купил полфунта халвы — гостинец для одиноких посетителей нашей курильни. Можно было отправиться восвояси. И тут, как раз возле тапдырного базара, у бани Бадалмата-думы, мне встретился Тураббай — мой закадычный друг, сын Расулмата из нашей махалли, торговца хлопковыми коробочками.

Я так все время боялся встретить знакомых, что даже и не понял, обрадовался я или нет. Тураббай на секунду остановился, разглядывая, а потом кинулся ко мне.

— Ну и ну! — закричал он. — Жив ты, каналья? Ты, выходит, в Ташкенте?! А твоя мать хотела траур объявить! — Мы обнялись, и он стал меня снова разглядывать. — Что ж ты домой не кажешься? — спросил он. — Неужели ты бессердечный такой?

Я забормотал в ответ:

— Да, понимаешь, друг, одет-то я как? Стыдно так домой вернуться... Я уже тут с неделю...

— С неделю? — сказал Тураббай. — Как же это мы тебя не встретили?

— Да я у хозяина... щедрый такой... вот еще неделю побуду у него... рубахой обзаведусь... да сестричкам куплю

что-нибудь.— В эту минуту я и вправду решил, что через неделю вернусь домой.— У меня к тебе просьба, слышишь, Тураббай? Не говори никому, что меня видел! Ник-кому! Я на той неделе сам приду! Не скажешь? — Он кивнул.— Слушай, а как там мать и сестрички, а? И что в махалле нового?

— Да ничего,— сказал Тураббай.— Мать и сестрички твои поживают хорошо. Твой дядя помогает. А что в махалле может быть нового?.. Правда, козел у Салимбаюсуфи оягнулся! Вот смеху было... А Хуснибай разорился, знаешь, он лоскутом торговать стал? Ну вот. Разорился начисто! Отец его отодрал. В мечети сперли подстилку для намаза, такую полосатую. Кто спер, не знаю, только говорят, у Исмата-диваны халат из этой подстилки! Слепая Зияд-ача померла... Которая частушки сочиняла... Последнюю знаешь? Нет?

Крепко время дубит кожу —  
год за годом, шаг за шагом.  
Шкура сделалась подошвой,  
терпеливый — падишахом!

Вот и все новости...

— А ты как живешь, Тураббай?

— Я-то? Хорошо-о! Э! У моего отца дела теперь во идут! Гуза подорожала, головка жмыха до двух таньги доходит!.. Ну, смотри, если не вернешься на той неделе, всем скажу, что тебя видел! И матери, и ребятам. Да, а кто твой хозяин?

— Секрет!

— Ишь ты, секрет! Что это ты таким важным заделался?

— Да так...

— Скажи лучше, а то сам все узнаю, да и раззвоню на весь свет!

— Ну уж ладно... Я... я учеником к канатоходцу поступил...

— Ой! Ври больше! Если ты навялся к канатоходцу, где у тебя бархатные шаровары? — Мы оба покатались со смеху.

— Да, скажи-ка, а где Аман?

— А, и верно... Я забыл. Он недавно вернулся, ободраный весь, и такого наговорил! Ну, все равно никто не верит. А он клянется: «Пусть аллах меня накажет, пусть меня гром разразит...» Теперь у него дела вроде пошли.

Нанялся в ученики к Абдулле-арбакешу, таскает ему воду, за лошадью смотрит... Абдулла-арбакеш ему солдатский ремень подарил. И ругаться по-русски научил. Ох и ругается! Аж завидно! А недавно у его отца лавка завалилась, так мы хашар устраивали — чинили.

Я слушал все это, представляя себе знакомые лица и нашу махаллю... И так мне домой захотелось!

— Ну, ладно, — сказал я, — мне идти надо. Остальное сам узнаю, когда вернусь.

Тут я вспомнил про перепела, которого подарил мне Рахматулла-саркар. Перепел сидел у меня за пазухой. Я вытащил его и протянул Тураббаю.

— На вот, посади в клетку, хорошо неть будет.

Тураббай взял перепела и погудел ему в уши. Потом еще раз погудел.

— Да это самка! — сказал он.

— Я всю стень обошел, я, что ли, самца от самки не отличу! — В душе у меня, однако, никакой уверенности не было. Мы остановили какого-то парня.

— Мулла-ака, посмотрите, получится из него певчий или нет?

Парень взял перепела, оглядел и улыбнулся.

— Из ее птенцов певчие получатся, а из нее нет!

Я и вида не подал, что посрамлен.

— Ладно, — сказал я Тураббаю, — в плов положишь. Мы распрощались и пошли в разные стороны.

## КУРИЛЬНЯ

Хаджи-баба и остальные уже кончали третью молитву, когда я вернулся. Я сложил в стороне свои покупки — свечи, нас, халву, оставшийся гранат, сменил воду в чилиме, вычистил головку. Потом вытер самовар, убрал лопаточкой золу и, как ни в чем не бывало, встал, с полотенцем через плечо, с вешиком в руке, ожидая, когда кончится намаз. Тут он и кончился.

— Ах ты, мой сиротинушка, загулял, бедный! — сказал Хаджи-баба. — Говорят, у сироты отцов много. Так вот оно и бывает, видно, нашел себе пару отцов, а? Нашел? Ишь ты, какой мягкий вешик, чтоб тебя германская пуля паразила!

— Смотрите, Хаджи-баба, уже закат на дворе, не проклиняйте в эту пору, — сказал один из курильщиков.

— Совсем от рук отбился! — сказал Хаджи-баба.

— Что интересного на базаре случилось? — спросил курильщик, который за меня вступился.

— Ой, Хаджи-баба, — сказал я, — ныпче на базаре толпа Рахмата-Хаджи убила, знаете, красивый такой, муж Айши-яллачи! Самосуд устроили...

— Ай-яй-яй... — сказал Хаджи-баба. — Сохрани нас аллах! И вправду красивый был мужчина, интересный собой! Царствие ему небесное! Ну, если его толпа убила, зачислят его в число великомучеников, пострадавших за религию... Зато от вечных мук в адском огне избавился... Вот так-то.

Но остальные хотели узнать подробности.

— Расскажи, как это было? Ты сам видел? Где? В парикмахерской услышал? О, да ты побрился! И правда, ты стал точь-в-точь как иранский падишах Ахмедали-лысый, я сам фотографию видел! Ну, рассказывай...

Я начал рассказывать всю историю с самого начала, как я что услышал и где что увидел. На меня нашло вдохновение, и подробности, одна другой ярче, рождались у меня прямо на ходу и соскакивали с языка так легко, словно были наичистейшей правдой. На самосуд, сказал я, собралось столько народу, что в одном месте земля провалилась, и я чуть было не упал в провал, но он уже был полон теми, кто провалился до меня. А потом царь направил туда стотысячное войско, и войско семьдесят один раз стреляло по народу, и все так шарахались от пуль, что девять женщин родили недоносков, а один из минаретов мечети Кукельдаш покосился. А потом полицейские Мочалова разграбили шорный ряд, а женщины, купавшиеся в это время в бане, выбежали со страху голыми...

Я говорил больше часа и наговорил такого, что Хаджи-баба и думать забыл о моем опоздании. Пока я все это выкладывал, курильня наполнялась гостями, их собралось человек двенадцать. Они слушали, вытаращив глаза, и, по-моему, чуть сознание не теряли от моего рассказа. Некоторые, забыв, что только что приняли опиум, попросили порции снова. Двое или трое были сами на базаре, и — удивительно: они не только подтверждали мои слова, но еще и от себя кое-что добавляли! Сразу после третьей молитвы пришел и мой индиец. Вид у него ныпче был веселый. Он успел услышать половину моего рассказа и по ходу дела переспрашивал, вставляя свое «машалла, машалла!».

Потом все общество стало обсуждать печальную историю Рахмата-Хаджи. Одни обвиняли его самого, другие Айшу-яллачи, третьи — маргиланскую вдову, четвертые нападали на эту необузданную толпу (хорошо, что самой толпы здесь не было!), пятые проклинали беспечность Мочалова и его полицейских.

— Это верно, бывают недоразумения, — сказал уста Мирсалим, старый очкастый мулла, наш постоянный посетитель. — Вот, например, в прошлом году на саиле в Заңги-ата что вышло. Была пятница, стойте, когда же это было, ну да, в середине месяца сунбула! К святейшему пиру Заңги-ата паломники прибыли. И-и, откуда их только ни наехало — из Ирака да Бадахшана, из Индии и Рума, из Китая — со всего света собрались! А из нашего Ташкента, наверно, все выехали, даже младенцы из люлек повывезали, ей-богу! Словом, народу тьма-тьмущая. Раздается призыв на пятничную молитву, народ идет в молельню, вся площадь около молельни запружена. А тут один опоздавший вперед пробирается, да и видит своего знакомого, а у того из кармана кошелек торчит и вот-вот вывалится. Он протянул руку, чтобы сунуть ему кошелек обратно в карман, один мусульманин это увидел, забыл про молитву и давай кричать: «Мусульмане, караул, среди нас карманщик!» Ну, тут вся молельня, с самим имамом во главе, прервала молитву и давай колотить того человека. Били его, били, потом во двор вынесли и давай там добивать. Добили они его, успокоились, а потом и стали расспрашивать: «А в чем дело? Что он сделал? Кто его поймал?» Ну, тут выходит на середину хозяин того самого кошелька, заливается слезами и говорит: «Это, говорит, был мой лучший друг, он у меня вовсе не украсть кошелек хотел, а, наверно, в карман обратно положить! За что, говорит, его убили?» Но дело уже сделано, говорить бесполезно, мертвого не воскресишь...

— Да, — авторитетно сказал Хаджи-баба, — и этот тоже в рай пойдет, так-таки прямехонько в рай, без всяких допросов и пожертвований.

Тут все снова заговорили и стали восхвалять того покойного неудачника, который пострадал ради чужого кошелька. А потом один говорит: хвала, дескать, нашим мусульманам, стоят они на страже общего блага, ничто от их глаз не укроется, шариат соблюдают так, что лучше не надо, и пока, говорит, такие самосуды случаются, можно спать спокойно, ни один вор не посмеет посягнуть на доб-

ро правоверного. И все стали с ним соглашаться и кричать: «Хвала нашему самосуду, хвала!», как будто кто-нибудь собирался вытащить у них прямо из кармана райское блаженство.

Так они поговорили в досталь насчет самосудов, а потом перешли к тому, что времена уж очень плохие нынче пошли, и народ испортился, и царь что-то не то делает, и вообще не осталось ни чести, ни совести, женщины и дети продаются прямо на базаре, хоть торговый ряд открывай, и шариат никто не соблюдает, а если правду говорить, так до вторичного воскресения Исы осталась ровно неделя, и недалеко от халифата Рума уже появился Дабатул-арз — тот самый страшный зверь зомм, который должен явиться перед концом света с железом Моисея и перстнем Соломона и победить главного врага ислама. А со стороны Китая вторглись одноглазые народы Гог и Магог, и половину Ирана земля поглотила, и мало всего этого — так у нас в Ташкенте, в Туп-Кургане, вдобавок еще нашли незаконорожденного младенца!

Тут Хаджи-баба, который был имамом нашей веселенькой мечети, встал для совершения четвертой молитвы, и все, конечно, тоже встали. А я принялся заваривать в чайниках крепкий чай и расставил их на мангале, снова набил чилим табаком и зажег посреди комнаты лампу. Потом я на большом подносе разложил каждому его порцию — по одной лепешке, два кусочка сахару и горсточку черного кишмиша, а когда молитва кончилась, поставил всем по чайнику и пшале. Хаджи-баба снова стал раздавать опиум — одним больше, другим меньше, смотря по внесенным деньгам, а четырем паркоманам, которые пили кукнар, подал по чашке сиропа, накрыв сверху платочком. Тут наконец началось веселье, и уж если все они в трезвом состоянии могли такого наговорить, что уши вяли, так слушать их после того, как они наглотаются своего добра, было и вовсе нелегко. Трезвые они были прижимистые, лишней пол-изюминки не выпросишь, да у некоторых и не было этой самой лишней пол-изюминки, а тут они становились на словах такими щедрыми богачами, куда там!

Один из них расхваливал свой цветущий сад, видно взлелеянный им в мечтах, такой сад, что его из конца в конец за день не пройдешь; другой считал свое воображаемое золото и никак не мог сосчитать, сколько его было; третий приглашал соседа к себе домой. «Двух баранов зарежу», — говорил он, размахивая руками, но я подозре-



ваю, что у него не только баранов — и самого дома не было. А как они угощали друг друга чаем, подвигали кипиши и лепешки! Даже опиумом они делились, кусочками размером с крылышко мухи...

Я, стараясь не вслушиваться, усердно их обслуживал. Стоило кому-нибудь стукнуть крышкой чайника, я уже тут как тут и наливаю свежего чаю, крепкого, кузнецовского. Но, конечно, как всегда, главный объект моих забот — индиец.

— Машалла, сын мой, машалла, я доволен.. Нынче базарный день, трудный день, я устал, ох и устал... Подсчитать выручку нынче не успею, ладно уж, завтра, принеси-ка мне чилим.

Я кладу в головку чилима три уголька, раскуривая как следует. Захватываю заодно и купленный для него толченый пас:

— Вот, и кальян готов, и жар в меру.

— Молодец, сын мой, молодец...

Он несколько раз затягивается, табак крепкий, каршинский. Он быстро пьянеет, по смуглому лицу разливается бледность, глаза закатываются:

— Воды... принеси воды.

Я бегом приношу ему пиалу холодной воды. Руки его дрожат, он делает несколько глотков. Я с минуту стою возле, он понемногу приходит в себя. Я отдаю ему пас, завернутый в бумагу:

— Вот, я принес вам бухарский насвай.

— Ай, молодец, сын мой, какой молодец! Спасибо...

Он роется в своем мешочке с мелочью и протягивает мне серебряный полтинник:

— Это тебе в подарок, спрячь от Хаджи-баба...

Я беру и едва заметно кланяюсь:

— Спасибо.

Оглядываюсь — другим тоже надо подавать чилим и чай. Бдение продолжается до вторых петухов. Хаджи-баба давно уже удалился в ичкари, оставив всех на мое попечение. Постепенно расходятся и клиенты, только индиец и уста Салим, тот, что в двойных очках, остаются, как всегда, почевать в курильне. Я задуваю лампу и тоже ложусь...

Завтра ведь четверг — тяжелый день! Накануне пятницы полным-полно посетителей.

Утром я встаю спозаранок, ставлю самовар. Веник ходит быстро, вот уже все и подметено, прибрано — чисто-

та. Уста Салим в своем углу в одиночку совершает утренний намаз, долго поминает своих умерших родителей и еще кучу покойной родни, не оставляет без внимания и тех, кто сейчас находится на пороге смерти, молится и собственному духу-хранителю, наконец, завершает долгий перечень и спрашивает:

— Чай у тебя вскипел?

— Шумит.

Надо сходить за свежими лепешками, но Хаджи-баба не разрешает оставлять курильню без призора. Что делать? Не посылать же уста Салима! Благо, Хаджи-баба сам появляется.

— За лепешками, наверное, еще не ходил?

— Вы же денег не оставили...

— Правда, так-то оно так...

Порывшись в кармане, он дает мне две таньги, после чего, как всегда, следуют продолжительные наставления:

— Будешь покушать, осмотри со всех сторон, чтоб не было подгоревшей или недопеченной. А то принесешь, так и есть нельзя будет. Так вот оно и бывает, да. Отломи кусочек, попробуй, не перекисло ли тесто. Не бери всего, что тебе совать будут! Да прикнижь на руке, чтобы весом были побольше. Так-то вот. Война войной, а пекарни земля еще не проглотила...

Я перебрасываю платок через плечо и бегом отправляюсь к пекарне. Рань еще какая! Воздух свежий, все чуточку сквозит синовой, деревья, дувалы, дома словно омыты щедрой голубой прохладой утра. На повороте у старого Каптана я натываюсь на Малла-джинни, за которым тащится свора голодных бродячих собак. Он идет и громко разговаривает сам с собою:

— Купи верблюда за копейку — где твоя конейка? Купи верблюда за тысячу рублей — твои деньги при тебе! Слышали, собачки? — Он поворачивается к своей своре и подзывает самую маленькую собачонку, тощую замухрышку. — Ты, душечка, — говорит он ей, — лучше всех падишахов, ни с кем не ссоришься, а до тех, кто ссорится, тебе и дела нет... — Тут он замскает меня: — Эй, парень, целуй хвост моей душечке!

Я отскакиваю в сторону и наблюдаю издали за его дурачествами — давно я не видел тапкентских джинни, старых знакомых. Я и сам не замечаю, как бреду вслед Малла-джинни с его сворой, пока, спохватившись, не поворачиваю назад, к пекарне. Когда я возвращаюсь в курильню

с лепешками, Хаджи-баба возится подле вскипевшего давным-давно самовара:

— Нечестивец, ты что, до самой Тойтепы за лепешками ходил? Где ты запропастился?! Давай сюда!

В курильне уже семь или восемь посетителей, мы раздаем им питье, еду, наркотики, кому сколько полагается за его плату, а когда все принимаются за свое, я потихоньку открываю ларчик, где хранится чай и сахар, достаю оттуда вчерашний гостинец, халву, делю ее на три части и кладу куски перед Хаджи-баба (ему самый большой), перед индийцем и уста Салимом. У Хаджи-баба глаза загораются:

— Ты где это взял, нечистое отродье?

Я говорю, скромно потупив глаза:

— Кошил пятничные деньги, что вы давали, и купил вчера на базаре...

Хаджи-баба удивлен и растроган, индиец и уста Салим — тоже:

— Молодец, мальчик, из тебя выйдет человек! Быть экономным да про запас откладывать — это... это хорошая черта. Так и поступаи, быстро разбогатеешь. Да, так вот оно и бывает... Ну, иди, сынок, иди, пусть прибудет тебе вдесятеро, так-то вот...

День проходит как обычно, а ближе к вечеру появляется много нового народа. Как и всегда накануне пятницы, это большей частью молодые ремесленники. Они затянутся раз-другой, ну, полчилима выкурят от силы, зато сготовят плов или шурпу, весь вечер весело гогочут над каждым пустяком, — словом, курильня становится хоть ненадолго похожа на обыкновенную чайхану, с обыкновенными людьми, по которым я, правду сказать, здорово соскучился. И где уж мне отведать в будни такого жирного плова, такой ароматной шурпы! А эти парни от каждого блюда откладывали кое-что для «мальчишки-чайханщика» — для меня то есть. Ну, и щедрый они народ, хоть у самих в карманах не густо! Может, не привыкли еще считать каждый накыр, но только всегда они переплачивали и за чай, и за лепешки, и за дрова, и за соль, и за красный перец, так что — копейка за копейкой — мне и деньги переплавали. Глядишь, я зарабатывал в такие вечера пять-шесть таньга — огромную сумму! Ведь плов в складчину готовился в курильне не один раз за такой вечер. Я объедался, бывало, так, что к ночи ходил, как гусь на водоное.

День сегодня удачный, торговля была бойкая, я вручаю Хаджи-баба двадцать один рубль сорок копеек наличными. У него просто рот до ушей — так он доволен! После пятой молитвы, когда в курильне снова остаются семь или восемь посетителей, он берет четыре свечи из тех, что я принес вчера, ставит их по четырем углам и зажигает, прочитав над каждой по одному стиху из Корана. А на нарах уже пристроился уста Салим, положив перед собою на досняющуюся подушку все ту же почитаемую книгу «Сказание о битвах счастливца Або-Муслима», — сейчас он начнет читать вслух громким раскатистым голосом. Остальные приготовились слушать, заранее замирая от удовольствия, ужаса и восхищения. Все это написано на их лицах, озаренных светом коптящей керосиновой лампы.

«Ита-ак... итак, со стороны Маймана, с правого крыла, у предгорья Кухидаман, поднялась пыль. В пыли скрывалось семьдесят два знаменосца семидесяти двух тысяч воинов в доспехах, состоящих из семи панцирей, а со стороны Майсары выстроились ровным строем, словно стена Искандера Зулкарнайна, богатыри почтеннейшего Або-Муслима — Счастливца из Хорасана. Над его изумрудным тронem, украшенным золотым орнаментом, развевалось знамя Мухаммеда, лучезарный стяг Хорасана.

Из неприятельских рядов, пришпорив резвого скакуна, вырвался на поле брани богатырь в маске, в доспехах из семи панцирей. Ноги его лошади по щиколотку проваливались в землю. Крутя над головой семидесятидвухбатованную палицу и сорвав маску с лица, он закричал:

— Эй, Або-Муслим из Хорасанских степей, любитель животных, если знаешь меня, знай, если не знаешь, узнаешь, — я Насрисайяр Беор и сегодня на этом поле вышибу из тебя дух!

Тогда почтеннейший Або-Муслим в порыве храбрости вскочил на свою сивую лошадь по имени Кухтач, загородил этому проклятому дорогу. От охватившего гнева каждый волосок его вздыбился, пронзив доспехи подобно отравленному копыю.

Он на лету схватил Насрисайяра за пояс с возгласом «О, Али!», поднял вверх и, семь раз покрутив над своей благословенной головой, швырнул в небо. Тело этого печетливого скрылось из глаз и не показывалось столько времени, что можно было успеть приготовить плов. Потом, протянув благословенные руки в небо, почтеннейший

опять схватил его, поставил невредимым на землю и сказал:

— Эй, Насрисайяр, отныне не смей так непочтительно задевать честь хорасанидов!

Насрисайяр раскаялся, целуя стремя коня почтеннейшего, и заверил его в своей покорности».

Эта потрясающая история то и дело прерывается возбужденными возгласами, ахами, охами, а когда чтение заканчивается, никто уже не может молчать — начинается бурный обмен мнениями.

— Вот это герой! — говорит Ахмадали-суфи из Тикалдимазара. Он даже слезы вытирает! — Вот это мужество! Про таких и говорят: храбрец познается в походе. Что нынешние войны! Так, одно малодушие. Стоит за версту, да и стреляет из винтовки в человека, а то из пушки палят по мирному народу... Богоотступники, а не войны!..

— Так, воистину так! — говорят остальные. — Нет теперь таких героев, нету!

И мой индеец присоединяется к общему хору.

— Машалла, машалла, — говорит он. — Воистину так...

## МНЕ НАДОЕЛО

Говорите, что хотите, но оставаться тут месяцами моего терпения бы не хватило! Оно, конечно, выгодное местечко, где еще мальчишка вроде меня может столько скопить, чтобы не только матери с сестренками помочь, а еще и на дорогу в Индию заработать! И все же, если до того ты привольно гулял, как теленок в молодой траве, и вдруг оказался вроде суслика, попавшего в кувшин, хоть в этом кувшине полно лакомств, — не очень-то повеселишься. Неба-то из кувшина видно всего маленький кружочек, вроде серебряного рубля, а разве серебряный рубль может заменить небо?.. И рассказы индийца-менялы — очень интересные рассказы, и длинные, вроде его костюма, который на аршин длиннее самого индийца, — разве эти рассказы могут тебе заменить мальчишку-сверстника, твоего закадычного друга, с которым можно и поиграть, и подраться, и помериться силами, и помириться после ссоры?

Я скучал, — даже не могу и сказать, как скучал, — и все искал, чем бы позабавиться. Перепела, которых держал Хаджи-баба, уже начали петь, запел и кеклик, которого оставлял у нас в курильне Султан-курносый, наш по-

стоянный посетитель, тот самый, что ходил в феске. Но и перепела и кеклик были такие же невольники, как я: одного разлучили с высокими склонами снежной горы Тай-тай, других — с зелеными лугами Кунгпрактепа. Слушая их, я только острее чувствовал свою неволю. Мне, чтоб развлечься, требовалось что-нибудь поинтересней, что-нибудь такое неожиданное, вроде того, например, чтоб из зверинца убежал тигр и набросился в галантерейном ряду на Валиходжу-ака или в бане посреди дня котел взорвался. Я так и мечтал об этом и прямо представлял себе, как тигр идет по галантерейному ряду и каждую секунду чихает от всех запахов, не успевая толком пасть открыть, или как разваливается баня и голые оттуда так и сыплются, словно блохи из кошмы.

Но чаще всего я воображал путешествие в Индию — по густому лесу, и как я со львом сражаюсь, и обрубаю головы сорокаглавым змеям, и приручаю дикого человека, и езжу верхом на крокодилах и носорогах... Такая жизнь была бы по мне!

А здесь что? Эти наркоманы, серые, как больные горлянки, их нудные разговоры, нескончаемые, как и дремота, в которую они впадают, — как я еще только терплю все это? А когда они разойдутся, так и вовсе тошно становится: шумят и машут руками, лучше бы уж мертвецы ожили и стали строить планы на будущее! Удирать отсюда надо, удирать! Да и перед матерью стыдно, и перед махаллей — наверняка Тураббай не удержался и шепнул кому-нибудь про нашу встречу! Но что-то тут же шепчет мне: «Рановато еще уходить, рановато...» Во-первых, денег на Индию я еще не накопил, хоть грех мне жаловаться и на щедрость индийца, и на туповатые расчеты Хаджи-баба, и на снисходительность любителей плова, и на собственную расторопность. Правда — это я только вам говорю, да еще индеец знает, не считая аллаха, конечно, — у меня уже собралось три пятирублевки, одна десятка, два целковых и еще серебро да медяки. Как только мелочи набиралось у меня на круглую сумму, индеец обменивал ее мне на золотую монету. Золото я зашил в кромку своего легкого летнего халатика, остальное положил в глиняную пепельницу Хаджи-баба и зарыл у арыка, под старым топелем, шагах в пятидесяти от курильни. Конечно, немало я заработал, что и говорить, а все-таки еще недостаточно.

Но это лишь полдела. Ведь по-доброму Хаджи-баба меня не отпустит, он моей работой доволен, да и обойтись

ему без меня трудно. А если просто удрать, он еще, пожалуй, искать меня станет, а ведь тут не степь, город, все обнаружится, мне тогда и в махалле нельзя будет оставаться. Нет, один выход: натворить что-нибудь такое, чтоб меня выгнали отсюда. До сих пор-то я был кроток, как жаба на лунной дорожке...

То ли потому, что всю последнюю неделю голова моя совсем забита незрелыми планами, или потому, что скука и уныние совсем мной овладели, только все в курьих заметили мой необычно тихий и задумчивый вид. Хаджи-баба это, видно, беспокоило, а индеец — еще больше.

Во вторник Хаджи-баба подозвал меня и спросил ласково:

— Скажи, сынок, это останется между нами — ты, не дай бог, не пробуешь ли случайно этого черненького, чтоб его черт подрал?

— Какого это черненького?

— Какого, какого? Того самого, что мы употребляем, я же о нем говорю...

— Что вы, Хаджи-баба! И в мыслях у меня не было... Я вижу, до чего наши клиенты доходят. Пусть меня озолотят, я его и в рот не возьму!

— Ну, слава аллаху, молодец, сынок, а то так-то вот оно и бывает, смотри, берегись этого яда...

Хаджи-баба вытер глаза поясным платком, как всегда перекинутым через плечо, порылся в кармане и вытащил рублевую бумажку:

— Это тебе на завтра базарные деньги, сынок, походи, полакомись. Очень ты меня порадовал, я уж испугался, думаю, погубили мы такого хорошего мальчика.

Пряча деньги в карман, я сказал:

— За это можете быть спокойны, Хаджи баба, не дурак же я!

Он, видно, и вправду успокоился и завел свои обычные наставления.

Вечером меня так же ласково подозвал к себе индеец.

— Иди-ка сюда, сынок, как твои дела, не болен ли ты?

— Нет, пачча, спасибо, я здоров.

— Чем же ты озабочен?

— Да так...— Я посмотрел на него искоса и решился: — Я все об Индии думаю, пачча, хочу туда поехать!

Он засмеялся. Я тоже засмеялся.

— Машалла, ты и вправду хочешь поехать в Индию?

- Да, пачча.
- Далек путь в Индию и трудеп!
- Велико мое усердие, пачча...
- Молодец, сынок... Машалла!

Он на несколько секунд замолк, глаза его затуманились, словно он увидел что-то далеко за пределами нашей курильни. Потом он зажмурился и мотнул головой, как бы отгоняя видение, снова посмотрел на меша еще ласковей прежнего, полез в свой мешочек и вытащил — ого! — пятирублевку! Я чуть замешкался, я и вправду не поверил, что все это мне. Но он сказал:

— Бери, сынок, бери, у меня ни семьи, ни детей, всего не истрачу, да и аллах любит искупительную жертву!

Ну и везет мне нынче! Видно, встал я с правой ноги. За один день заработать шесть рублей! Так и миллионером стать недолго. Знал бы я, что грустный вид приносит такой доход, всю бы жизнь, с самого начала, ходил с печальной миной. Однако настроение у меня поднялось, и до вечера я работал, то и дело улыбаясь ни с того ни с сего.

В среду на рассвете Хаджи-баба дал мне две таньги и сказал:

— Сбегай быстренько за лепешками, сынок, наполни хумы водой да посмотри, есть ли корм и вода у перепелок. А потом — ты свободен, так-то вот, беги на базар, ешь, веселись, развлекайся! Вернешься, когда захочется. Но смотри, слишком не запаздывай, времена теперь плохие, дурных людей хоть пруд пруди, так вот оно и бывает, да...

Я мигом слетал в пекарню, натаскал воды, позаботился о перепелках. Потом мы с Хаджи-баба выпили чаю, и я отправился на базар. На этот раз я начал с молочного базара, что возле Хасты-Уккоша: захотелось мне сливок с лепешкой... И только я туда заявился, не успел еще, как водится, перепробовать разного товара, лизнуть из одной касы и сказать «кисло», лизнуть из другой и сказать «жидко», как увидел мальчика из нашей махаллы, Убая, младшего братишку мельника Абдуллы-писклявого, сына старого Ибрагим-палвана. Он обрадовался и удивился, увидев меня, — стало быть, Тураббай сдержал слово! — и опять пошли расспросы, рассказы, слава аллаху, я отделался где правдой, где небылицами. Потом мы перешли к делу. Пока я съем сливки, он продаст молоко, которое принес на базар, а там мы отправимся в цирк Юпатова! Потом полакомимся мороженым, покушаем жареной рыбы,



покатаемся на кенджава — закрытых ящиках, прикрепленных к седлу верблюда, посмотрим панораму — картинку через увеличительное стекло... Повеселимся вдоволь!

Я сказал Убаю, что нынче угощаю его всем — деньги, вырученные за молоко, он не мог потратить, а то от невестки попадет, она наказала ему дешево не продавать! Пока он торговал, я купил крыночку сливок за мири, лепешку за две копейки и уселся в тени на корточках. Скоро подошел и расторговавшийся Убай, он помог мне справиться с едой. Мы оставили его опустевшие горшочки в лавке мясника Карабая и оказались свободны, словно стригунки, которым развязали путы!

Базар. Полдень. Тьма народу. У входа в караван-сарай, загораживая улицу, тянутся вереницей ожидающие пристанища караваны верблюдов, груженных соломой, саксаулом, углем. Верблюды стоят молча, на их безобразных мордах написано не то крайнее презрение, не то безграничная покорность, только иногда какой-нибудь из них повернет голову, и колокольчики коротко звякнут. Тогда кажется, что их молчание — это на самом деле длинная-предлинная, только неслышная нам речь и вот в конце поставлена-таки долгожданная точка...

За мостом через арык Махкама, чадя на весь свет, жарят рыбу. На грязном столе лежит, распластавшись, огромный сырдарьинский сом. Его открытые, похожие на мешочек с сюзьмой глаза облеплены мухами. Напротив торгуют сафьяном. Дальше площадь — и на ней белоголубой брезентовый купол цирка! На высоких деревянных нарах у входа расположились уже знакомые нам музыканты и клоуны, среди них и знаменитый Рафик. Они зазывают публику, играя и показывая короткие номера...

— Эх, жалко, нет под рукой кок-султана или граната,— говорю я Убаю и рассказываю мое приключение с музыкантами в прошлую среду. Мы оба хохочем.

— Ну, что,— говорю я,— пойдём в цирк?

— Не-е,— говорит, к моему удивлению, Убай,— неохота...

— Ты чего это?

— Дорого...

— Я ж плачу!

— Да понимаешь, там, говорят, какая-то Майрамхан выступает голая, а я ужас как боюсь голых женщин! Ей-богу, все равно что на лягушку наступить! А что там еще

будет? Фокусы мы посмотрели, музыку послушали, на танцующих лошадей, что ли, смотреть? Так у нас своя лошадь есть, мой отец на ней знаешь как ездит... Все равно эти лошадиные танцы с козлодраньем не сравнить. Ты был на уллке?

— Нет, ни разу.

— А я был! Ух ты! Вот это цирк!

— Может, зайдём все-таки?

— Что ты, купец, что ли, деньги на ветер бросать? Лучше мороженого купим, чем опять то же самое смотреть... — Он оживляется. — А ты видал, здесь, в цирке, говорят, Рафик один раз набрал полный рот опилок, чиркнул спичкой и давай сыпать искрами изо рта! Видал?

— Врать это...

— Да мне Хуснибай рассказывал!

— Ну, Хуснибай и врет!

— Ну, ладно, пошли за мороженым?

Мы пошли. Я взял красного мороженого, Убай — кремового; нам подали его в тарелочках с воткнутыми в холодную льдистую массу деревянными ложечками. Вот ведь есть же люди, которые могут наслаждаться такой вкуснотой каждый день! Мы и не заметили, как тарелочки у нас опустели.

Тут же, недалеко от караван-сарая и площади, находится почта, а около нее установлены столбы с канатами для канатоходцев. Представление еще не началось, пока что играют несколько музыкантов да два клоуна на длинных деревянных ходулях раскачиваются, рассказывая всякую чепуху. Одного из них я знаю — я помню его тюбетейку с пришитыми золотыми косичками: его зовут Ака Бухар. Мы повернулись и здесь, но не стали ждать начала: пошли дальше, обсуждая вопрос о том, из чего мы сделаем себе ходули по возвращении в махаллю. Как это мы раньше обходились без них, просто непонятно! Ходить на них нетрудно (так нам, по крайней мере, кажется), а голова твоя оказывается выше самого высокого человека, выше любого дувала. Смотри куда хочешь и на что хочешь!

— Может, вареного гороха купим? — спрашивает Убай.

— Да брось ты, только что ж ели сливки с лепешкой! Лучше пойдем в панораму, посмотрим картинки через увеличительное стекло. Мы с самого начала собирались, помнишь?

Картинки показывал младший брат Ильхама-чайхансика, плешивый Ибрай. Просмотр двух картинок стоил копейку, но Ибрай узнал нас — соседи! — и согласился показать пять картинок за один пакры. Мы приставили к глазам «бинокли».

— Во-от,— говорит Ибрай нудным голосом,— это падишах Фаранга, кесарь Румелийский, прогуливается по улицам со своей женой... А это халиф турецкого султана Абдулхамид Второй. Он приехал в пятницу в соборную мечеть Софии для совершения намаза. Перед фаэтоном пищие, которые выпрашивают подавание... А это афганский султан Абдурахман... А это принцесса Индии, дочь падишаха Фаранга, верхом на слоне прогуливается по джунглям Мазандарана...— Ибрай бубнил свои объяснения чересчур быстро, и картинки за ним не успевали, так что мы уже приняли было жену кесаря Румелийского за халифа турецкого султана Абдулхамида Второго, а едва мы обнаружили эту ошибку, как афганский султан Абдурахман попытался выдать себя за принцессу Индии верхом на слоне. Ибрай между тем знай себе тарабанил: — Это паломники в Маккатулле, они восходят на холм Арафа... А это кормилица его величества белого царя — Валентина Федоровна. Она скончалась в прошлом году от колита. Ну, идите гуляйте!

Ибрай явно торопился, видно, чтобы сэкономить уступленную нам плату. Мы расплатились и пошли прочь. Казалось, мы только что проехали весь свет из конца в конец, так много непонятных вещей успел нам показать Ибрай за две минуты, и в голове у нас все окончательно перепуталось. То, что падишах Фаранга (то есть Франци) со своей женой преспокойно прогуливается по улицам, в то время как его дочь, принцесса Индии, катается на слоне черт-те где, нас нимало не удивило. Но что делают паломники в Маккатулле у мечети Софии... Тьфу! Они же вовсе поднимаются на холм Арафа, чтобы выпросить подавание у кесаря... Словом, мы так запутались, что и до вечера во всем бы не разобрались. Однако на восковом базаре, куда мы вышли, нас ожидало новое зрелище, и мы сразу же начисто забыли обо всех этих свихнувшихся царственных особах и их кормилицах, умерших от колита.

Навстречу нам, подняв на все торговые ряды такой шум, словно это сорвались с цепи пьяные медведи или взбесившиеся верблюды, шли, распевая свои песни, ка-

ландары Миттихан-турам. Мы подождали, пока они пройдут мимо, и пошли следом. Они направились к соборной мечети Маджами. За мечетью, рядом с базаром, где торговали гузапаей, была широкая площадь. Сегодня на этой площади должен был читать проповедь Куса-маддах — самый знаменитый проповедник не только Ташкента, но и всей Средней Азии! Каландары и оказались его глашатаями.

Они выстроились в ряд перед мгновенно собравшейся толпой. Ни один из них не сел. Они опирались на палки, кто на длинную, кто на короткую, кому какая досталась, и, покачиваясь, восклицали: «Хув, хув, хув...» Откуда-то принесли кресло, поставили его на середину и покрыли овчиной. Рядом оказалась табуретка, на ней разложили лепешки и сахар, принесли и чайник с пшалой. А через некоторое время появился сам Куса-маддах — низенького роста упитанный старик, лет семьдесят, с бледным, морщинистым безбородым лицом, в большой белой чалме, в палевом халате, из-под которого виднелся обшитый тесьмой воротник рубахи. Держа в руке трость, он уселся в кресло и обратил лицо в сторону кыблы. Весь ряд каландаров оказался перед ним, и тут вышли еще двое, один с черной бородкой клинышком, другой помоложе, без бороды, оба в белых мантиях, накинутых на плечи, в легких халатах, в кавушах на босу ногу. На голове у них красовались такие же белые чалмы, как и у Кусы-маддаха. Это были его ученики. Они шли и вопили: «Дуст! Дуст!»

Куса-маддах налил пшалу чая, промочил горло и встал, опираясь на трость. Потом, не торопясь, обошел весь круг (мы с Убаем успели уже пробраться в первый ряд), осмотрел собравшихся и вернулся на свое место. Все замерло. Он поднял руку и крикнул хриплым голосом:

— Эй, люди, прежде всего, садитесь, не стойте на ногах, словно каменные боги язычников!

Ответом ему был дружный шум, все уселись там, где стояли. Мы тоже сели, развалившись, насколько позволяло место.

— Bravo! — воскликнули ученики проповедника такими визгливыми голосами, что их небось слышали даже на Шейхантауре.

Куса-маддах между тем продолжал:

— Извещаю вас, что среди собравшихся немало наших братьев мусульман из Самарканда и Бухары, из Каттакургона и Уратепы, из Ферганы и Ходжента! Они прибы-

ли в наш подобный раю Ташкент! — Толпа негромко загудела и смолкла. — А теперь я представлю вам вашего покорного слугу! Я родом из Бухары, из махалли Казагаран. Меня зовут Хаджи Наджмиддин ибн Салахиддин, наш достопочтенный отец тоже был славнейшим проповедником во времена эмира Музаффера! Через семнадцать поколений мы связаны с Мавлоно Хусани-ваизом Самарканди. Этот почтеннейший предок процветал при Хусейне Байкаре, великом тимуриде... О, золотые времена! Книга «О благодетельной нравственности» написана им, почтеннейшим, а я прихожусь ему семнадцатым внуком! Кто усомнится в этом, да почернеет, как котел, а душа его да горит огнем, как тандыр! Аминь!

Ученики тоже завизжали:

— Аминь! Да подвергнется тленью!..

— Теперь перейдем к делу, — сказал Куса-маддаж уже другим тоном. — Аллах в своем Священном писании предписал рабам своим повиноваться троим. Во-первых, ему самому — благословенному и всевышнему. Мы сотворены его могуществом и обязаны повиноваться ему ежечасно, ежеминутно, ежесекундно!

— Дуст, дуст, обязаны! — завизжали ученики, а каландары загудели:

— Хак, хо, хув...

Куса-маддаж остановил их жестом и продолжал:

— Во-вторых, благослови его господь и приветствуй, нашего пророка Мухаммеда Мустафу, посланника аллаха! Мы должны повиноваться пророку и свято соблюдать каждую его заповедь. Да будет благословен его чистый дух!

— Хай, хай, да будет благословен, аминь! — пискнули ученики, а каландары снова выпустили на волю свой трубный глас, восславляя аллаха и пророка. Но проповедник опять остановил их взмахом руки.

— В-третьих, — заговорил он еще более громко и хрипло, — нашему великому императору, белому царю, его величеству Николаю Романову, который, как сказал аллах в своем Священном писании, является тенью бога на земле, да не оставит нас его милость...

— Да не оставит, — запели ученики, — является тенью, аминь, является тенью-у-у... — И каландары затаили свое: «Государь, внемли моим нуждам, государь, будь ко мне милосерд, ху-ху...»

— Да будет тысячу лет неколебим двор нашего великого Николая, его министры и советники, аминь! — Уче-

ники завелись было, боясь упустить такой удобный случай, но он не дал им даже развернуться.— В эти дни,— продолжал он зловещим голосом,— несчастный вражеский царь Герман направил против нашего великого императора стотысячные войска, облаченные в семь панцирей, снабженные пушками и летающими машинами, принес народу неисчислимые бедствия! Каждый мусульманин в эти дни особенно обязан повиноваться великому царю и его любому повелению. Аллах сказал: какой бы веры ни был ваш царь, повинуйтесь! Но, слава аллаху, наш царь и его министры придерживаются веры Святого писания, святого Мессии. Разве Иисус не пророк божий? Наш великий царь и его двор не являются северными, они получили книгу откровений до Мухаммеда, запомните это, и повинуйтесь нашему царю, окажите ему помощь в дни великих битв. Аминь! И предупреждаю вас, не поддавайтесь подстрекательствам босоногих бездомных плутов, северных мастеровых, тайных врагов, которые бродят среди вас. Всех этих нечистых возмутителей, где бы вы их ни встретили, задерживайте и отдавайте в руки городских властей, его превосходительству господину полицмейстеру и его полицейским... Пусть подстрекатели подавятся камнями! Аминь! Аминь! Аминь!

Ну, тройной «аминь» ученики и каландары сочли истине сигналом свыше и выдали в ответ такую порцию воплей и визга, что окрестные стены дали трещины:

— Аминь, пусть подавятся, пусть подавятся, ами-пнь!

На этом первая часть проповеди закончилась, и Кусамаддах перешел к разным текущим вопросам, проливая на них лучезарный свет шариата. С какой целью следует заходить в отхожее место? Если в проточную воду попали нечистоты, сколько раз они должны перевернуться, чтоб проточная вода снова стала чистой? Может ли едущий верхом на лошади приветствовать того, кто едет на осле? На которую ногу надо сначала надевать кавуши, вставая утром, на правую или на левую? Попадут ли в рай пивен и парикмахеры? Можно ли есть пищу, приготовленную в плоском русском котле? Является вор рабом божьим или нет? Дозволено ли шариатом есть картошку? Надо правду сказать, все эти труднейшие проблемы Кусамаддах щелкал, как орешки, но нас с Убаем они что-то не волновали.

— Слушай, Убай,— сказал я ему тихонько,— по-моему, во всей этой чепухе вкусу не больше, чем в мороженом огурце. Что это он несет?

— Я тоже не пойму,— сказал Убай.— Чего он так раскудахтался насчет белого царя и чиновников, взятку, что ли, от них получил?

— Может, пойдем отсюда?

— Ты что, с ума сошел, разве выберешься!.. А потом, знаешь, самое интересное — это когда маддах деньги выпрашивает. Лучше цирка! Интересно, дошел он уже до того места, когда начинают деньги просить?

— Э, ничего ты не знаешь,— сказал я.— Разве после такой проповеди деньги просят? Это когда сказки рассказывают, вот когда. Дойдет до самого интересного места, все ждут, что дальше будет, тут-то он остановится и давай деньги требовать!

Соседи на нас шикнули, мы замолчали, и тут как раз Куса-маддах начал свой фокус со сказкой. Он стал рассказывать такую фантастическую, невероятную историю, с таким нагромождением бестолковых чудес, что наверняка и сам не знал, какое новое чудо произойдет в его рассказе в следующую секунду. Это было ловко задумано, ведь если он сам не знал, то уж публичка-то никак не могла догадаться. Все слушали, боясь проронить слово, и вдруг он оборвал свое повествование. Я думаю, он сделал это не потому, что настал момент выпрашивать подношения, а просто потому, что забрался в дебри, из которых не в силах был выбраться. Ему требовалось время, чтобы пришла помощь свыше, простой смертный эту историю уже не распутал бы. В общем, он убил двух зайцев сразу.

— Мусульмане,— сказал Куса-маддах,— все мы люди, обремененные семьей, и аллах велел нам ее содержать. Те, кто хочет услышать продолжение нашего рассказа, все наши братья по шарнату и те из них, кто хочет иметь ребенка, кто желает богатства или избавления от долгов, кто намеревается жениться или просит исцеления от болезни, все, кто хочет, чтобы аллах услышал их молитвы, да пожертвуют...— тут он сделал эффектную паузу,— семьдесят лошадей от семидесяти молодцов! — Он прикрыл глаза, сделал горестную мину, причем лицо его так сморщилось, что, кроме морщин, на нем ничего и не осталось.— Ай-яй-яй, напрасно я так прошу, напрасно, зачем мне, старику, бедному, немощному старику, семьдесят лошадей? Аллах видит, мне достаточно одной буланой! Одной буланой от одного молодца! А остальные шестьдесят девять да расщедрятса всего на шестьдесят девять золотых! — Он снова сморщился и покачался из стороны в сто-

ропу, я думал, он и вправду сейчас упадет. Но он-то и не думал падать.— Ай-яй-яй, напрасно я так прошу, напрасно! В такое беспокойное время, когда у всех столько забот, откуда люди возьмут золотой? Не надо мне золотых, прошу всего по целковому! — Он снова стоял и качался с прикрытыми глазами, но теперь я бы голову дал на отсечение, что он видит всю толпу до последнего человека, и нас с Убаем тоже. Мне даже как-то не по себе стало, словно он проник своим всевидящим взором в кромку моего летнего халата, где защиты монеты... Но тут он заныл опять: — Эй, мусульмане, в книге пророка сказано, во всем хороша золотая середина. Не значит ли это — просить, кто сколько может дать? Воистину так! Я жду от щедрых всего по одной таньге! По одной таньге, правоверные! Не заставляйте себя ждать, поройтесь в своих кошельках, кто хочет узнать, что было дальше в нашей прекрасной сказке!

Оба ученика пошли по кругу, держа в руках кепчик — маленький барабан, обтянутый кожей с одной стороны. И тут вышел в круг какой-то бай, ведя за собой захудалую лошадку, подвел ее к проповеднику и с поклоном передал уздечку Кусе-маддаху.

— Господин, — сказал он, — я бездетный, помолитесь за меня!

Проповедник, словно пророк, поднял глаза к небу (я только теперь увидел на одном из них бельмо), распростер руки, не выпуская, впрочем, уздечки, и возгласил:

— Аминь, правоверные, твердите со мною: «Аминь!»

Со всех сторон заголосили «аминь».

— Пусть все желания этого человека дойдут до всевышнего! Пусть великий лев божий, покровитель веры Али, благословит его! Пусть аллах сделает его отцом девяти близнецов-сыпцов и девяти близнецов-дочерей. Пусть он всю жизнь справляет свадьбу за свадьбой! Аминь!

Вокруг опять раздалось «аминь», уже менее дружное, и в этом нестройном хоре отчетливо выделялся визг учеников и трубное пение калаандаров. Одновременно я услышал сбоку шепоток, что кое-кто уже и раньше видел Кусе-маддаха на этой лошадке... Чего только не нашептывает шайтан в уши человеческие!

Сборщики подаяния обходили между тем круг, задерживаясь подольше возле тех, кто был одет получше; сколько им дали в их барабан, аллах ведает, я не счи-



тал. Наклонившись к уху Убая, я рассказывал ему про почтеннейшего ишана, у которого я проживал... Убай хихикал, я увлекся, мой рассказ был, верно, написан у меня на лице.

Мы и не почувствовали, что на нас остановился зоркий взгляд Кусы-маддаха.

— Эй, каландары! — закричал он вдруг. — Выведите-ка, уважаемые братья, выведите из круга этих двух непочтительных мальчиков, что смеются над святым делом, каналы этикие! Прочь их, поганых мух в чистой пище!

И не успели мы опомниться, как четверо толстых каландаров к нам приблизились, двое схватили под руки меня, двое — Убая, вытащили из круга и, дав напоследок по тумаку, вышвырнули с площади. Вслед нам понеслась брань, но мы не прислушивались.

День уже прошел наполовину, делать вроде бы и нечего, да и Убай заторопился домой. Я иду и раздумываю: что, если потратить рубль-другой, купить бедной маме и сестренкам фунтов десять риса, маша, пару фунтов сала, немного мяса да еще всякой мелочи и передать все это через Убая? Да, но как быть, если мама станет Убая спрашивать, где он меня видел, или скажет: поведи меня к нему, найди его! Что тогда делать Убаю? Правда, я скитаюсь уже несколько месяцев. Ну, да кое-кто в махалле знает, что я жив-здоров, и маме, верно, это впустили. Сколько уже мы терпели, и они и я, потерпим еще чуть-чуть... Все равно теперь больше недели я у Хаджи-баба не останусь.

Я протянул Убаю серебряную монетку:

— На тебе на мелкие расходы. Смотри не говори никому до следующей недели, что видел меня, ладно? А на той неделе я вернусь!

Мы расстались.

Я вдруг почувствовал, что голоден. Э, была не была, схожу-ка я в чайхану Ильхама, да и почаевничаю там, как байский сынок!

В чайхане было все по-старому, так же играл граммофон, и Асра-лысый суетился, только попугай куда-то исчез. Асра-лысый сначала и пускать меня не хотел:

— Иди, иди, проваливай отсюда, занимайся своим делом! Тут чайник чаю, да осьмушка сахара, да одна лепешка, знаешь, сколько стоят? Четыре с половиной пакрыра! Здесь пить чай таким, как ты, не по карману. Давай, давай, катись! Только грязи натащишь на кошму!

— Ой, миленький Асра-ака, да вы меня пустите, у меня не только четыре пақыра, у меня рубль есть! Вот! Не верите — смотрите! — И я показал ему целковый.

Он отступил.

— Ишь ты, нечистое отродье, — пробурчал он. — Торговые ряды ограбил, что ли? Где ты рубль взял?.. Ну, ладно, проходи...

Я уселся на краю нар, он принес мне все, что полагалось. Я сидел, попивая чаек, наслаждался, слушал граммофон, жаль, попугая нет больше, то-то я бы с ним побеседовал!

Около меня, тоже на краешке нар, уселся какой-то обшарпанный дехканин, приехавший, должно быть, издалека. Как это Асра-лысый впустил его? Видно, недоглядел. Дехканин робко оглядывался, все никак не мог усидеть на месте. Я сперва думал, он кого-нибудь ожидает. Потом догадался — да он просто не может понять, кто поет! Я так и прыснул. Он поглядел на меня с опаской. Тогда я, как мог почтительнее, объяснил ему, что поет вон та машина с трубой... воп та, в углу! Тут он совсем растерялся и долго смотрел на нее испуганными глазами. Видно, он раздумывал, что бы это могло значить: если внутри сидит человек, так ящик для этого слишком мал, если там нечистая сила, так в песне поминается аллах и пророк! Просто страх божий, лучше не думать! Я все хихикал про себя, я-то граммофон миллион раз слышал! Но тут мне пришло в голову, что, попроси он меня объяснить, в чем там дело, я и сяду в лужу: я знаю об этом не больше, чем он...

## ВЗРЫВ

Я сделал на базаре обычные покупки — фунт свечей, бухарского наса на две копейки, немного халвы — и поплелся в курильню. Осточертела она мне до крайности. При мысли, что я опять увижу все эти физиономии, мне просто тошно делалось. Только индееца еще хотелось повидать.

Придя, я сделал кое-как все необходимое, стараясь ни на кого не смотреть, и лег спать. Проснулся я от холода. Что-то непонятное творилось в мире, было и темно и странно светло разом. Я выглянул — на земле, тая, лежал тоненький слой первого снега! Так рано снег еще никогда не выпадал, и так неожиданно! Вечер вчера был теплый,

только ночью, видно, небо затянули холодные, хмурые тучи... Ну и дела!

Я вернулся в помещение, не зная, с чего начать день... Потом вдруг мне пришла в голову странная мысль. Я зажег лампу, уселся и на обертке от пачки кузнецовского чая, в какой обычно Хаджи-баба подавал опий своим гостям, одним духом написал... стихотворное послание Хаджи-баба! Вот оно полностью:

### СНЕЖНОЕ ПИСЬМО

О джап-баба, нам снег послал всевышний,  
грозит мороз, и смотрит хмуρο небо.  
А у бедняги вовсе деньги вышли,  
и на одежду — ни копейки нету.  
Я весь дрожу, окоченели ноги,  
и голову прикрыть не знаю чем я.  
А я служил прилежно дни и ночи  
и выполнял все ваши порученья!  
Истерся я вконец, как мягкий веник,  
мета весь дом от самого рассвета...  
Мне б на халат да и на шапку депег,  
и, кроме вас, другой надежды нету!  
А вам за все благодеянья ваши  
дай бог семь раз домой прийти из хаджа!

*Ваш ученик-сирота.*

Я перечел его, и оно мне самому понравилось. Я свернул свое послание в виде письма, а когда Хаджи-баба вышел из своей комнаты, протянул ему.

— Что это, сынок?

— Не знаю, приходил какой-то человек, оставил, говорит, письмо из Намангана.

— А, вот оно как, наверное, от Маматризы. Он собирался в этом году мак сеять, — сказал Хаджи-баба и протянул письмо уста Салиму, очкастому. — Прочитайте-ка письмо от друга. Что-то я по утрам вижу плохо.

Мулла взял письмо, развернул и стал читать:

— «Снежное письмо...»

— Что-что? — переспросил Хаджи-баба.

— Снежное письмо, — повторил уста Салим и давай читать дальше.

Хаджи-баба весь затрясся.

— Эй, ты, нечестивец, — закричал он, — кто это тебе дал, почему ты сразу его не задержал, а? Да мы бы поса-

дили его задом наперед на ишака, намазали бы сажей и прокатили по Чорсу! Ах ты, господи, кто же это решился высмеять меня на старости лет! А ты хорош — гляди, каким скромным прикидывается, как кот у бакалейщика... Ну, читайте дальше, уста Салим, читайте.

По мере того как уста Салим, запинаясь и вставляя после каждого слова свое «хуш-хуш», продвигался к концу послания, до Хаджи-баба дошел смысл всей истории, и он понемногу перестал злиться. А когда услышал конец «дай бог семь раз домой прийти из хаджа», он растаял и даже прослезился. Подпись «ученик-сирота» совсем его доконала.

— Так ты ж это и написал, собачье отродье,— сказал он со слезами на глазах,— что ж ты сразу не признался? Оказывается, ты и стихи писать умеешь, а? Да, так вот оно и бывает!..

Он достал из-за пояса платок, вытер слезы и пошел в ичкари, а пока его не было, уста Салим стал меня расхваливать и говорить о трудностях стихосложения. Он стал уже забираться в такие тонкости, что я совсем перестал понимать, о чем речь, но тут вернулся Хаджи-баба, в руках у него была поношенная шапка с фиолетовым бархатным верхом.

— Надень-ка это, сынок, ну, ну, подними руки для благословения, о, господи, дожить бы тебе до моих лет! Так вот оно и бывает, да, стоит птенцу вылупиться из яйца, он и начинает оперяться. Будешь жив-здоров, скоро и ватный халат тебе будет, так-то вот оно...

Благословение его сбылось, на завтра индиец, который тоже при всем этом присутствовал, подарил мне свой старый зимний халат без рукавов. Халат был на три четверти аршина длиннее, чем мне требовалось, но я подрезал подол. Теперь я был одет и обут, как принц: на ногах опорки, сам в индийском халате, подпоясанном ремнем, на голове бархатная шапка. А если бы кто стал болтать всякие глупости, что я, дескать, похож на воронье пугало, так я на того плевать хотел.

Пару дней я усердно работал, но мысль о том, что отсюда надо убираться, гвоздем засела в моей голове. Как-то утром я решил привести в исполнение первую часть разработанного мной плана. На рассвете, когда я в одиночестве убирал курильню, попался мне пустой флакон из-под насвая. Я наполнил его водой, плотно закупорил и глубоко закопал в золу в мангале. Потом я развел огонь и зашес

мангал в курильню. В курильне проснулись, появились посетители, скоро все собрались на завтрак. Тут были и сам Хаджи-баба, и уста Салим, и индеец, и Султан-курносый в своей неизменной феске — словом, все общество. Закусывая, они заговорили, конечно, о политике.

— Великая беда этот Герман,— сказал уста Салим, разжевывая лепешку.

— Великая! — хором отозвались индеец и Хаджи-баба. «Греется флакончик»,— думал я.

— С воздуха бомбы бросает, выданное ли дело? — сказал уста Салим.

— Наказал нас аллах, видно, земля нагрела, вот небо и рушится,— сказал Хаджи-баба.

«Вот-вот закипит»,— думал я.

— А бомба, говорят, если упадет, одна тыщу домов спопит! — сказал Султан-курносый, по привычке поправляя феску. — От одного взрыва, говорят, миллион человек идет на тот свет!

«Вот сейчас!» — подумал я, и тут действительно ахнуло! Флакон в мангале взорвался с таким грохотом, словно разнесло котел в бане! Курильня наполнилась облаком золы, что-то зазвенело, полетели осколки, какие-то тяжелые предметы попадали на пол. Словом, взрыв был такой, что и на войне лучше не бывает! Когда зола немного осела, Хаджи-баба и Султан-курносый приподнялись и на четвереньках поползли в сторону. Меняла и уста Салим лежали без движения, но я побрызгал им в лицо холодной водой, и они пришли в себя.

Несколько секунд слышались только робкие охи. Потом Хаджи-баба, отплеываясь — у него был полон рот золы,— начал посылать проклятия Герману и Николаю. Уста Салим спросил:

— Ах ты, господи, а что это было-то?

— Пропади вы пропадом, все из-за вас! — закричал Хаджи-баба. — Говорил я вам, не лезьте в политику!

Султан-курносый ползком добрался до двери и исчез. Все на некоторое время замолчали — они поглядывали друг на друга, видно соображая, что же это все-таки могло быть, и на всякий случай отодвигаясь подальше от страшного мангала. Под конец все забились в углы, стараясь стереть с лица золу. Посмотрев на меня, Хаджи-баба сказал:

— Что ты нахохлился, как фазан? Что ты стоишь, пропади ты пропадом? Иди, вынеси мангал!

Я потащил мангал, делая вид, что ужас как боюсь, и стал подметать золу. Но тут появился Султан-курносый — и не один: с ним было двое полицейских!

— Выстрел был вот здесь! — сказал он, тыча пальцем в то место, где стоял мангал, а потом повернулся к уста Салиму: — А стрелял вот он!

Уста Салим что-то растерянно завопил было, но полицейские его не слушали. Они начали обыск, предварительно ощупав со всех сторон уста Салима, который извивался у них в руках и паническим голосом уверял, что он вообще никогда в жизни не стрелял, даже из рогатки. Всю курильню перевернули вверх ногами. Потом проверили паспорта. Потом допросили Хаджи-баба и уста Салима, выясняя все их родственные связи, вплоть до чьей-то бабушки, которая, по словам уста Салима, осталась бездетной и умерла от нервного истощения. Конечно, не нашли ничего, кроме двух фунтов анаши и четверти фунта опиума. Один из полицейских незаметно отломил кусок анаши размером с кулак и положил его себе в карман, я это видел, но, разумеется, промолчал.

— Ладно, — сказал наконец полицейский, тот, что был помоложе. — Насчет выстрела не подтвердилось. Бомбы тоже не видать. Видно, какой-нибудь мальчик устроил фейерверк.

Только он это сказал, все посмотрели на меня, и глаза у них загорелись мрачным огнем. Я уже приготовился с плачем отнекиваться, но тут второй полицейский добавил:

— А вам, Хаджи-баба, придется пойти с нами, объясните господину полицмейстеру насчет этого, — он показал на анашу и опий.

— О великие! — сказал Хаджи-баба, и колени у него подогнулись, как будто он собирался стать на них. — На старости лет не ведите меня в суд, это ведь не мое, мне дали на сохранение...

Тут остальные тоже вмешались:

— Оставьте это дело, век не забудем вашу доброту, дай бог жизни и вам, и господину полицмейстеру, и белому царю...

Хаджи-баба начал лихорадочно рыться в своем кошельке, выгреб оттуда целую горсть меди и серебра и отдал старшему полицейскому.

— Вот, возьмите, добрые люди! Хоть и мало, но сочтите за многое, даю от всей души...

Полицейские переглянулись.

— Ладно уж,— сказал младший.— Смотрите, чтоб впредь этого не было, на первый раз простим, как-никак вы старый человек...

— Ой, спасибо,— забормотал Хаджи-баба и стал кланяться.

Полицейские ушли. Хаджи-баба обессиленно уселся на край нар.

— Уй, еле спасся от беды, благодарение аллаху, пронесло... Эй ты, чертов сын, сколько ты мне вчера вечером денег отдал?

— Семь рублей, одна таньга и мири!

— Слава аллаху, дешево отделались... Ну, а теперь говори — твоя проделка?

— Умереть мне, нет!

— Смотри, так и умрешь без покаяния!.. Может, какой-нибудь мальчик в курильню заходил?

— Я не заметил...

— А-а, ты не заметил, так-то вот оно! И сам ни при чем, и не видел никого! Сыт, одет, деньги копишь, так еще и номера стал выкидывать, как козел Ишанхана! Еще говорит, я не заметил! А-а!

Он схватил лежавшие рядом медные щипцы для угля, вскочил и кинулся ко мне. Несколько раз он успел меня ударить, но тут его удержали остальные. Я забился в угол и плакал. Меняла умылся, оделся и с печальным видом ушел на базар. Уста Салим принялся за изготовление цветов из разноцветной бумаги — подарок какому-то баю на той, по случаю обрезания младшего сына. Хаджи-баба ушел к себе. Султан-курносый не показывался. Мало-помалу к середине дня все вошло в свою колею. Но дело было сделано... Я остался под сильным подозрением.

Когда дня два спустя наши посетители беседовали, сидя на сури у стены курильни, с крыши на них упали два дерущихся кота. Если бы из зверинца действительно сбежал тигр и прыгнул на них сверху, они бы и то больше не испугались. Коты, правда, до того озлились, что, даже свалившись, продолжали рвать друг друга, истощно воя, и при этом, конечно, не особенно заботясь о красоте наших клиентов. Они начисто разодрали чалму уста Салиму, и, помимо, ему еще надо было благодарить аллаха, что на нем была чалма, потому что у двух других они выдрали примерно половину волос из головы и бороды, да так и скрылись со своей добычей.

И, подумайте, их приписали тоже мне!

Разве не обидно? Ведь в этом я был ни сном, ни духом не виноват, я этих котов раньше и в глаза не видел! Но во всем есть своя хорошая сторона. Теперь ясно, что задерживать меня здесь особенно не станут...

Однако дело этим не кончилось.

В следующий четверг Хаджи-баба приготовился к обычной торжественной трапезе накануне пятницы. В широкой щели под потолком у него стоял ирбитский ларчик, который открывал только он сам: там хранились наркотики, чай, сладости. На этот раз он спрятал туда полфунта ароматного кузнецовского чая, фунт халвы, больше фунта ургутского желтого кишмиша и другие лакомства. Ларец он, как всегда, запер, а ключ привязал к связке, что носил на поясе. Там были еще ключи от чулана, от ворот, от комнат, от большого сундука и еще бог весть от чего. Настроение у него было прекрасное, это я понял по его пению. Когда он был чем-нибудь доволен, то всегда напевал вполголоса. Сейчас он пел какую-то непонятную песню «Антал-хади, антал-хак, лайсал-хади, шлал ху...»

Вечером, после четвертой молитвы, уста Салим, как обычно, стал читать вслух какую-то книгу толщиной в кирпич. Все слушали, затаив дыхание. Потом улеглись спать. Разбудил меня старый перепел, за которым Хаджи-баба, получивший его в подарок из Ура-тубе, любовно ухаживал с самого Науруза. С минуту я лежал, слушая его пошвыстывание, потом встал, умылся, поставил самовар. Следом встали уста Салим и индиец. Я продолжал наводить порядок, приготовил все для завтрака. Вошел и Хаджи-баба. Видно, проснулся он с тем же прекрасным настроением, потому что, как и вечером, напевал свое «Антал-хади». Мы обменялись приветствиями.

— Самовар вскипел, Хаджи-баба, если дадите чай, я заварю...

Он перебрал связку у себя на поясе, нашел ключ от ирбитского ларца, отделил его от остальных и взглянул наверх. Ларца наверху не было.

— Ты что, ларец под голову спрятал? Молодец, сынок, осторожность вещь хорошая, так-то вот. Говорят, соблюдай осторожность, только соседа вором не считай... Ну, куда ты его поставил?

— Хаджи-баба, я его никуда не прятал! И под голову не клал. Он был на месте.

— Что, что? — спросил Хаджи-баба встревоженно. — На месте был? Уста Салим, вы не видели?



— Вечером видел, он там стоял.

— Так ищите же! — сказал Хаджи-баба, чуть не плача. Потом он сжал губы и зло посмотрел на меня: — Подума́й как следует, нечестивец, куда ты его дел?

— Хаджи-баба, ну ей-богу, не трогал я его! Я же ваши вещи никогда не трогаю, вы же знаете! Чтоб мне провалиться, если я знаю, где этот ларец...

— Он не птица, чтобы самому улететь! И не лягушка, чтобы выпрыгнуть! Так-то вот! Ищи, проклятый! Не смей шутить со старым человеком!

— Хаджи-баба, да разве я когда-нибудь...

Он оборвал меня:

— Кто сюда заходил после меня?

— Никого не было, Хаджи-баба, даже сорока не залетала!

— Никого? — сказал Хаджи-баба в ярости, передразнивая меня. — Опять никого, и ты не виноват!

Он погрозил мне кулаком и начал поиски, заперев дверь курильни. Он перевернул все вверх дном, даже полнейские и те так не старались. Он дважды обследовал пустую щель, где стоял ларец, как будто думал, что тот может появиться сам собой, заглянул под курпачу, в трубу самовара, потом стукнул меня и велел раскрыть рот: может, он думал, что я съел его ларец по частям и теперь от испуга начну выплевывать непереваренные кусочки? Совершенно разъярившись, он схватил свои любимые медные щипцы и стал меня колотить. Уста Салим к нему присоединился. Я орал во весь голос. Я вправду испугался, потому что ларец я и трогать не трогал, черт его знает, куда он исчез! Наконец, изрядно избив меня, они угомонились. Индеец, который смотрел на все это, забившись в уголок, плакал от жалости ко мне, но не вступался. Видно, он растерялся или вправду считал меня вором...

— Проклятое отродье, — говорил Хаджи-баба, — ишь, мягкий веник! Говорят: вскорми осиротевшего теленка — рот и нос будут в масле; вскорми осиротевшего мальчишку — рот и нос будут в крови. Так вот оно и бывает, да! Как ты у меня прижился — так и дней спокойных не стало! Говори, куда сплавил ларец, по-хорошему говори, вернешь его — все забудем. А иначе я тебя к казнию поведу, в суд, да, так-то вот оно! Несдобровать тебе тогда, в Сибирь попадешь!

Я ответил, всхлипывая:

— Если уж на то пошло, Хаджи-баба, я и сам вас к ка-

вию позову! Где это видано, сколько я у вас работаю, а получил одну старую шапку! Да еще избili вы меня, сироту! Где это в шарияте такое сказано? Думаете, я к белому царю дорогу не найду? Ой, мамочки, ой-ей-ей...

— Ах ты, негодный, да ты и так еще разговаривать умеешь! Неблагодарная твоя душонка! Вон отсюда! Убийрайся сейчас же! Что я тебе должен, получишь на Страшном суде!

Тут уста Салим вмешался:

— Хаджи-баба, зачем вам его гнать? Черт с ним! — Тут он подмигнул Хаджи-баба. — А ты, мальчик, укороти язык, понял? Если не ты взял, скажи, кого подозреваешь?

Тут индеец не выдержал:

— О, бедный мальчик, несчастный сирота! — сказал он дрожащим голосом. — Хаджи-баба, я оплачу стоимость вашей пропажи. Во сколько вы свой ларец цените?

— Прекрати свой мешават-пешават! — сердито оборвал его Хаджи-баба. Потом снова обратился ко мне: — Скажи нам, кого ты подозреваешь?

Я и вправду не знал, кого мне подозревать. Потом я подумал про Султана-курносого. Может, он?

— Тяжело клеветать на других, хозяин, — сказал я. — Только мне думается, это курносый. Зря ли он полицейских сюда привел? Он против вас всех, видно, зло затаил!

— Гм, — сказал Хаджи-баба. — Ну, это мы проверим. Он от нас никуда не денется...

На том все кончилось. Но день был испорчен, курильню открыли только к полудню, да и то, несмотря на праздник, народу пришло мало. Вечером я разделался со всеми делами. Потом притворился, что ложусь спать. Хаджи-баба уже ушел к себе, индееца нынче не было, а уста Салим подозрительно долго не ложился. Видно, караулил меня. Но сон в конце концов его сморил. Тогда я выскочил и побежал к тополю, под которым зарыта была пепельница с частью моих денег. Потом я вернулся тихонько, уста Салим спал. Я достал иголку и принялся в темноте кое-как зашивать все монеты в кромку индийского халата. Денег было что-то около сорока рублей — целое состояние! Если б не война, можно купить десять баранов!

Я уже кончал свою работу, когда вдруг, неловко наклонившись, задел стоявшую рядом пепельницу, и она с грохотом покатилась. Уста Салим проснулся и вскочил в испуге:

— Кто... кто тут?

— Никого нет, мулла-ака, это я... — сказал я спокойно. Монеты все уже были зашиты.

— Что... что ты делаешь там, в темноте, а?

— Ничего я не делаю, халат свой зашиваю. Выгоняют меня, так не идти же мне в рваном халате!

— А ну, зажги лампу!

Я встал и зажег. Он жадно оглядел комнату, увидел мой халат и иголку с ниткой, торчавшую из кромки.

— Бедненький мальчик, — сказал он лицемерным сладким голосом. — И вправду, гляди-ка, шьет в темноте... А ведь зря ты шьешь. Меняла у тебя халат обратно заберет. Такой жадюга! — Я посмотрел на него, он на меня, лицо у него было сонное, а глаза хитрые-прехитрые. У меня вдруг одна мысль мелькнула. — Да, — продолжал уста Салим, — ты видал, какие деньги он здесь пересчитывает? А ведь я сижу тут, нуждаясь в горсточке кишмиша! Не помню, чтоб он мне хоть раз медяк дал... — Он помолчал. — Ты лучше уходи, пока можно, да и почь нынче лунная. Жалко, конечно, я тебе как раз завтра змея хотел сделать... — Он покосился на меня. — Теперь и бумага и камыш зря пропадут! Ничего не поделаешь, такая у тебя судьба...

Я притворился страшно огорченным.

— Что вы, мулла-ака, неужели он вправду халат обратно отберет? — Я знал, конечно, что это вранье, ведь уста Салим и не подозревал о подарках, которые делал мне индеец. Мне кое-что стало ясно.

— Отберет, жадюга! — сказал уста Салим. — И не задумается! Уходи, пока луна да все спят... И прощаться нечего. Хаджи-баба не любит много разговаривать, ему молчаливые по душе.

«Как же! — подумал я. — Нашел молчальника. Вот оно что, Ильхам-чайханщик содержал поугая, чтоб собирать людей в своей чайхане, а Хаджи-баба держит для этой цели уста Салима. Чему Хаджи-баба его учит, то он и говорит. А ларец-то он украл! Он, точно. Только без ведома Хаджи-баба... Ну, ладно, черт с ними, пусть себе разбираются, мне ведь главное — уйти отсюда тихо». Я сказал:

— Спасибо за совет, уста Салим, как вы скажете, так и сделаю. Уйду...

Я налил в кумган воды из самовара, вышел и помылся теплой водой. Помыл лицо, руки, ноги — в честь избавления. Потом зашел, надел халат и шапку. Уста Салим

жадно следил за мной. Следи, следи, денег моих ты не увидишь! Я поклонился ему и вышел.

После первого снега снова потеплело, но воздух все же был холодный, благо я был одет и обут. Я вздохнул полной грудью и тут только понял, до чего спертый и вонючий воздух в курильне. Ах, теперь я легок, чист, свободен, как птица, вылечившая крыло! До рассвета еще далеко, но на душе у меня уже словно заря занимается! Куда же я иду?

. Домой! Домой!



АСКАД МУХТАР



Каракалпакская  
повесть



*Перевод Алексея Пантиелева*



Перед рассветом разразился ураган, и казалось, что ночь затянулась... Небо из края в край заволокла непроницаемая, вихрящаяся пелена песка и пыли. Над берегами Муйтенкуля, над буйными зарослями камыша и осоки, катился тяжелый, слитный гул, точно от землетрясения. В этом гуле не было слышно ни рева быков на скотном дворе Алланбия, ни бойких, певучих го-



лосов девушек, толкущих сушеную рыбу, ни топота коней на пастбищах.

Камышовые ограды в ауле смелó. Сорванные с юрт кошмы и рыбацкие сети носились в воздухе. Верблюды с забитыми песком ушами и глазами, фыркая и плюясь песком, ошалело метались по степи, волоча за собой обломки арб.

Не раз обрушивался ураган на юрту Жапака, пытаясь сорвать ее и унести. Но она крепко держалась за землю — плетеная тесьма, спущенная с потолочной горловины, надежно привязана к жернову, который положен у очага. Все же ветер проник и сюда: пыль и песок, зола и копоть от давно потухшего костра туманом висели в юрте.

А Жапак, казалось, ничего не замечал. Он сидел неподвижно, уставив застывший взгляд в крошечный огонек площадки. В тусклом, дрожащем свете его широкие выпи-

рающие скулы, отливали чернотой, и вся его фигура, плечистая и статная, походила на чугунное изваяние.

Он не помнил, сколько просидел так, бесчувственный, оцепеневший. В эту ночь Жапак словно не жил, и кровь его стыла в жилах.

Внезапно он вскочил, припал ухом к степе юрты. Сквозь рев и вой урагана он ясно различил слабый шорох там, снаружи. Прислушался... Нет, померещилось. Руки его бессильно опустились, он снова сел на корзину с сушеной рыбой.

Ветер, ухнув, навалился на камышовую дверь, она закрипела. Из-за нее донесся слабый стон... Может, это шакал ищет крова в бурную ночь или ветер стонет в камышах, подобно шакалу? Жапак ждал много.

Развязав толстую бечеву, он осторожно приподнял дверь. Щеку, точно хлыстом, обожгла колючая струя песка. Щурясь, Жапак всмотрелся. Под камышовой оградой, опоясывавшей юрту, лежал человек. Он тихо стонал. Жапак бросился к нему, подхватил на руки и потащил в юрту, к очагу.

Человек нездешний. Невозможно было разглядеть лицо — так оно запылено. Лежа на кошме, возле арчевого сундука, он выставил вверх косматую, полную песка бороду, и ее трудно было отличить от кошмы. Только глаза с нездоровым, лихорадочным блеском молили: «Спази... Погибаю...»

Жапак протянул касу из выдолбленной тыквы. Человек жадно припал к холодной воде иссеченными до крови губами. Потом прохрипел:

— Кунак... — И глаза его закатились.

Жапак присел на жернов и опять словно окаменел, будто забыв о неожиданном госте.

Ураган бушевал все сильнее. Юрта дрожала и гудела, и в ней, подобно плу во взбаламученной воде, оседали волны пыли. Потом с кошмы донесся слабый плеск воды. Гость ожил — он умывался одной рукой, лежа на боку. Рука его тряслась, подняться не доставало сил.

Видимо, он ждал расспросов: «Кто ты? Откуда?» Но Жапак молчал, опустив голову. Гость удивленно смотрел на него.

«Молод, здоров, силен... Что с ним?» Лицо обветрено до черноты, а губы по-мальчишески мягки. Обманчива его не-



подвижность. Казалось, молодость боролась с затаенной болью и не хотела поддаться.

Гость отвалился на спину; его начало знобить, застучали зубы. Жапак пододвинул плоску и увидел на страшном от худобы, серо-желтом лице человека крупные капли пота.

— Болеешь безгаком?

Человек с усилием разжал челюсти.

— Что такое безгак? Не все слова понимаю... Я русский.

— Рус?!

Жапак медленно приподнялся. Впервые его лицо оживлось. Он присел перед гостем на корточки и только теперь разглядел: борода и волосы на непокрытой голове русского седые... Старик? Непохоже — глаза и зубы молодые. Видно, и он хлебнул горя, бедняга, — больной, почти потерявший облик человека...

Гость первый спросил у Жапака:

— Что-то тебя мучит, друг? Какая у тебя кручина?

Жапак заботливо пригладил ладонью его растрепанные волосы, натянул ему на голову свой тельпек, отороченный мехом, пропахший рыбой. Долго молчал. Губы его дрожали.

— Я... я человека убил...

Русский привстал на локте.

— Ты?.. Скажи, что спас человека от верной смерти.

— Нет, убил, убил!

— Стало быть, плохой он человек.

Жапак отошел, качая головой.

— То-то и оно, что хороший...— И, тяжело опустившись на жернов, опять онемел и забылся.

Огонек плоски погас. В юрте было холодно, как в погребу. Но хозяин больше не зажигал плоски, не разводил огня в очаге.

А свирепый ветер ревел и ревел в камышах Муйтенкуля.

Буря стала утихать лишь к утру следующего дня.

Жапак задумал бежать на лодке в Машанские камыши. Но в юрте его оставался гость, больной, беспомощный. Глаза русского смотрели то с сочувствием, то с мольбой. Жапак не мог его покинуть. И вот наконец запылали в очаге кизяк и сухой камыш. Забулькала, закипая, вода в

черном, закопченном кумгане. И глаза гостя тоже слегка потешлели. Жапак положил перед ним лепешку, посыпанную толченой икрой, поставил рядом чашку с чаем, поперченным и забеленным верблюжьим молоком.

— Так-то, отец, — говорил Жапак, глядя, как гость, обжигаясь и покряхтывая, пьет чай. — В ответе я перед родом киятов за смерть Эльгельды. Ты не утешай меня. Ни когда не бывало, чтобы у нас отрекались от кровной земли. Этот обычай называется хун, — он в наших краях исстари, от отцов и дедов. Я сам из рода муйтен. И уж моему бедному роду горше всех достается: за пощечину расплачиваемся лютой смертью. И мы и кияты одного племени кунграт, но кияты — сыновья, а мы — вроде бы пасынки. От киятов милости не жди. Ни за что не простят нам хуна!

— Постой! Если и вы и они одного племени, чем же вы хуже их?

— А тем, что мы муйтены, а они кияты... Говорят, наш род произошел от человека, которого когда-то подобрала в степи, приютила одна добрая женщина Акчулпан. Он был еще ребенком, сиротой, без имени, без рода. Спроси, кто наш отец, — мы и не знаем. Над нами смеются, дразнят нас: будто мы ведем свой род от зверя, обросшего шерстью, из страны лесов...

— Ох, страсть какая! — проговорил русский, с трудом улыбнувшись.

— Зря ты шутишь. Я кията убил. Кровь Эльгельды лежит на мне. Не сегодня — так завтра придут они по мою голову. От хуна никуда не уйти. — И Жапак дернул ворот своей рубахи из грубого серого полотна.

В очаге потрескивал кизяк. Сгорая, сворачивались в кольца сухие камышинки. Маленький коврик, висевший на стенке юрты, некогда красный, а теперь прокопченный насквозь, хлопнул под порывом ветра. Вдруг из-за спины Жапака, из-под старой кошмы, едва различимой в полутьме, послышался горячий шепот:

— Буря... эй, буря, унесись к плешивому! Ветер, эй, ветер... унесись к плешивому!

Гость невольно вздрогнул — в юрте была еще одна живая душа. Голос не мужской, хотя и хрипловатый, простуженный... Казалось, и Жапака напугал этот голос.

— Помолчи, Гульзира! — прошептал он, не оборачиваясь. И добавил вполголоса: — Сиротка несчастная. Дочка моего старшего брата. Никого у нее, кроме меня... Лет

десять назад с ее отцом рассчитались кияты. Привязали к арбе и забили до смерти. Тоже хун! Вот как у нас, отец.

Гость присмотрелся: девочка была плотно завернута в кошму от затылка до пяток, только прядь волос торчала паружу.

— Зачем она так лежит?

— Не видишь разве? Безгаком болеет, вроде тебя...

Русский стал рыться в своих лохмотьях. Долго ворочался, искал что-то и совсем пзнемог, захрипел, закатывая глаза.

— Послушай-ка, а среди киятов должны быть и хорошие люди? Неужели нет таких?

Жапак тяжело вздохнул.

— Есть... Есть у киятов девушка, красивая, как тюльпан, смелая, как джигит, и поумнее иного мужчицы! Зовут ее Сулув...

— Вот как! Полюбилась она тебе?

— Не будь ее, разве я побоялся бы смерти? Разве я дрожал бы сейчас, как баба? Сам бы пошел к киятам и подставил бы голову, клянусь!

— погоди, дурень, не спеши помирать-то... Тебе ли думать о смерти? Видать, что и девушке этой ты по душе!

— Сулув должна собственной рукой прикончить меня. Она сама приведет сюда мужчии своего аула и покажет им: «Вот он!» Эльгельды, убитый, был ее отцом...

Русский насупился, кусая пересохшие, потрескавшиеся губы. Жапак больше не слышал его вопросов. Сидел, сгорбясь над гаснущим очагом, и красные блики ползли по его отливающим чернотой скулам.

Очнулся он, почувствовав на своей руке пышущую лихорадочным жаром руку гостя. Тот слабо совал Жапаку в ладонь что-то завернутое в клочок шершавой бумаги.

— Ну-ка, браток, не дури... Шевелись давай! Вели вот это проглотить Гульзире.

— Что это?

— Лекарство от безгака. Хинни.

Жапак с интересом и сомнением покосился на русского.

— Что же ты сам не вылечился, если у тебя такое лекарство?

— Меня, дорогой, могила излечит. Немало я его глотал. Весь пожелтел, видишь. Не берет... А девочке он поможет. Дай ей, не бойся...

Девочка с узенькими блестящими глазенками, со сбитыми колтуном, нематыми волосами, дрожа, вылезла из свернутой трубкой кошмы. Проглотив порошок, она даже не почувствовала его горечи и снова страстно зашептала:

— Буря, буря, унесись к плешивому!

— О чем это она?

— У нас верят, что ветер приносит безгак. Она, глупая, и заклинает его. А меня он только и спасает... Знаешь ты, что такое уран? Боевой клчч. Утихнет буря — сам услышишь над моей юртой уран киятов. Тогда поймешь...

Русский развел руками.

— Одного не пойму: как у тебя поднялась рука на того человека? Или дочка-то не в отца?

— Я себя не помнил...

— Чего же вы не поделили, сыны и пасынки?

— Посуди сам. Мы, муйтены, рыбаки. Аул наш беднее бедного, но мы не идем, как кияты, в кабалу к Алланбию. Рыбак, будь он самым распоследним бедняком, не продаст свою волю. Опухнет от голода, а не согнется! Правда, улов мы относим Алланбию — рыбу он скупает. Но потом опять уходим на озеро и плывем по волнам Муйтенкуля, куда хотим и сколько нам вздумается. Мы сами себе хозяева. А кияты что! Один сушит рыбу у Алланбия, другой гнет спину на байской маслобойне, третий — пастух у него, четвертый — издольщик, пятый — поденщик, а шестой — вовсе калымщик, женился за счет бия и по гроб жизни его должник, сказать попросту — раб. Если подумать, так кияты куда беднее нас. Потому-то нам и обидно, что они кичатся перед нами...

Русский неодобрительно покачал головой, но Жапак понял его по-своему.

— Было это как раз перед бурей. Развесили мы на берегу наши сети сушить, а кияты взяли и погнали стадо Алланбия прямо на это место и порвали сети в клочья! Прибегаю я к озеру, вижу — невод наш изодран копытами, верши волокутся у скотины на ногах, плавают в воде... Разор полный! Если, друг, мы не наловим наваги в пути-ну, перемерем с голода. Гнев охватил нас. Стоим, смотрим. А пастухи Алланбия ведут стадо обратно. Кто-то из нас крикнул: «Эй, кияты, неужто вам мало места у озера для водопоя?» Они только посмеиваются, будто не понимают нас. Стадо опять пошло топтать, рвать сети. И тут началось. Крик, ругань, драка. Скотина ревет, бодается. Пыль встала столбом на берегу — не разглядишь, кто кого... Су-

нул мне кто-то в лицо ком мокрой сети. Не удержался я, размахнулся своей острой... — Жапак поперхнулся, перевел дух. — А там поднялся ураган. Люди кинулись кто куда. Слышу, вопят: «Убили, убили!» А утром узнали мы — напоролся на мою острогу Эльгельды — кият... Скажи, отец, что мне теперь делать?

Гость странно усмехнулся. Спросил неожиданно:

— Ты почему меня называешь все время отцом?

— Да ведь ты седой, белобородый.

— Что? Я?! — вскричал русский испуганно.

Трясущимися руками он схватил посудину из выдолбленной тыквы, полную воды, с трудом подполз к огню, всмотрелся в воду. И ахнул негромко. Вода заплескалась; Жапак взял из его горячих рук посудину, оставил в сторону. Подошла Гульзира, завернутая в кошму, — и она тоже почувствовала неладное.

Русский долго не мог отдышаться, унять стук зубов. Потом улыбнулся, приветливо и жалобно.

— Вот что, с-сын-нок, ежели я не помру, то мне исполнится от роду... тридцать годков!

### «МЕНЯ ПРИНЕСЛО БУРЕЙ»

Степан Силаев родился и вырос в кара-ногайском ауле Теракли-Мечеть. В начале двадцатого года в этом маленьком, заброшенном ауле Дагестана была учинена дикая расправа. По велению имама Гоцинского, святейшего палача, в одну ночь бандиты вырезали одиннадцать русских семей, проживавших в ауле. Среди погибших был и отец Степана, старый рыбак Илья Силаев. Сам Степан уцелел случайно. Он бежал в порт Петровск. Вскоре городской комитет партии большевиков принял рыбацкого сына в партию. Сил тогда было мало, партийцы — наперечет. Пришлось молодому Силаеву на первых же порах брать на себя трудные и опасные поручения, работать почти самостоятельно. Благо парень был смекалистый, не робкого десятка, несмотря на все, что ему довелось пережить.

— Пойдешь на «Комету», — сказали однажды Степану в комитете. — И держи ухо востро, не зевай.

«Кометой» назывался небольшой грузо-пассажирский пароход, попавший в руки белых. На нем были две команды — матросская и солдатская. Степану удалось довольно легко устроиться на «Комету» матросом — он выдал себя

за анархиста. Труднее было здесь удержаться. Хозяйничали на пароходе пьяные офицеры. Пьянствовали они непробудно, на пристанях водили в кают-компанию женщин, разодетых, раскрашенных, визгливых. Офицеры избивали грузчиков, при малейшей оплошности грозили расстрелом матросам и даже самому капитану, приставив к его носу пистолет.

Матросы держались недружно, каждый сам по себе. Мечтали об одном — при случае выпить. Долго не удавалось Степану с кем-либо сблизиться на «Комете». Один матрос казался смелее и разумнее других. Степан попытался вызвать его на откровенность. Матрос выкрал из кают-компании спирт — дело отчаянное. Степан застал его ночью в трюме сосущим из горлышка. Матрос поднес Степану обжигающего зелья, предупредил:

— Проболтаешься спьяну — обоим хана!

— Из каких краев, браток?

— Если память мне не изменяет, из разнесчастной России.

— Сам из крестьян будешь?

— Был... в нежной своей юности. А тебе что?

— Много ли у батьки твоего земли?

— У нас у обоих по три с половиной аршина законных!

— Этого добра и у меня с лихвой. Обеспечены... Ты какой власти держишься?

Матрос отодвинулся от Степана, циркнул сквозь зубы слюной.

— Я сам себе... верховная власть!

Повернулся и ушел.

В следующую же ночь на «Комете» начался аврал. Старший из офицеров, тощий как жердь, непривычно трезвый, ходил по палубе с револьвером в руке, лаялся до хрипоты, то пиная грузчиков, то тыча в грудь дулом револьвера. Грузчики, приседая, бегом таскали с пристани, вдоль длинной цепи солдат, ящики из свежего теса, аккурратно обшитые жестяной лентой.

Степан сразу сообразил: это оружие. Связаться с комитетом он не мог: команду не пускали на берег. «Комета» спешно разводила пары. На борту ни одного человека, которому можно было бы довериться. Вот когда ощутил Степан всю свою неопытность и... решимость. Он здесь один, но он большевик и выполнит свой долг. А долг свой Степан понимал так: утопить оружие.

Еще не рассвело, когда «Комета» легла на курс. А на заре к Степану подошел военный фельдшер, которого он не встречал прежде на «Комете», и усталился Степану в переносицу строгим взглядом.

— Болен? Лихорадит?

— Н-никак нет...

— Врешь! Начальство не обманешь. Как фамилия?

— Силаев.

— Ступай за мной.

Фельдшер выслушал у Степана пульс и приказал ему принять двойную дозу хинина. Степан было заартачился. Фельдшер шепнул:

— Пароход идет на Бекдаш...— И крикнул начальственно: — А сердце у тебя крепкое, мол-лодец!

Степан растерялся от неожиданности. «Неужто свой?» Сердце его забилося, как колокол. «А вдруг провокатор? Выпытывает... Поймает на слове — к стенке и за борт!» Как-то не вяжется: фельдшер — и большевик...

Между тем в кают-компании уже шла пьянка. А из рулевой рубки доносилась приглушенная брань старшего офицера:

— Молчать, сволочь, шляпа! Не только в Кара-Бугаз — в утробу к самому дьяволу поведешь свою посудину... Это личный приказ атамана, и не рассуждать у меня! Джунайдхан встретит нас на том берегу, повезешь обратно контрабанду, разбогатеешь за один рейс, рыло, бабья твоя душа!..

Степан ясно представил себе, как офицер помахивал у носа капитана маузером. Тщетно старик капитан бормотал в ответ, что «Комета» дряхла, как он, а в Кара-Бугазе свирепые штормы. Офицер не слушал.

Взгляды фельдшера и Степана встретились.

— Не доверяешь? Хорошо! — сказал фельдшер. — Однако некогда. Дело не терпит.

— Атаман... это кто же?

— Дутов, конечно.

— А Джунайдхан?

— Шакал из каракалпакских степей. Оружие — ему...

Степан опасливо оглянулся.

— На борту есть еще... больные?

— Тебе лучше знать.

Степан промолчал виновато. Но фельдшер не стал его упрекать.

— Если понадобится, придешь ко мне за хинином. Ка-

питан трусоват весьма. Начнем с него. Правда, это затея шаткая... Иди!

В середине дня, идя в свою каюту слегка передохнуть, капитан подобрал у дверей записку:

«Господин капитан, если пароход не собьется с курса на Бекдаш, получишь в затылок пулю.

*Комитет».*

Капитан тотчас же вернулся в рубку и не выходил из нее до поздней ночи. Все это время «Комета» шаталась по Каспию, точно без компаса, следуя необычайному, зигзагообразному курсу. Остаток ночи капитан провел без сна, запершись в каюте. А утром не выдержал, понес записку в кают-компанию.

Офицер приказал построить обе команды — матросов и солдат — друг против друга. И пошел меж двух шеренг на неверных ногах, бледный до синевы, размахивая пистолетом, суя в лица матросам записку.

— Расстр-реляю сукиных сынов! Я из вас выбью большевистскую заразу! Даю три минуты на размышление: если не выдадите зачипщика, разменяю каждого четвертого...

Матросы молчали. Офицер вынул золотые карманные часы, щелкнул крышкой, некоторое время смотрел на циферблат мутными, сумасшедшими глазами и скомандовал:

— На первый-четвертый рассчитайсь! Четвертые, шаг вперед!

Подошел фельдшер.

— Ваше благородие, половина команды болеет малярией. Кто поведет пароход?

— Уйди прочь, клистирная трубка!

Тогда матрос, стоявший на правом фланге, тот самый, с которым Степанпил в трюме спирт, спросил:

— А дозволейте узнать: что там хоть написано, в той бумаге?

Золотопогонник тут же выстрелил в него дважды, но промахнулся. Капитан схватил офицера за руку.

— Что вы делаете?! Мы погубим сами себя. Опомнитесь! Распустите команду. Завтра мы будем в Бекдаше, я отвечаю!

Офицер как будто пришел в себя, положил оружие в кобуру, расслабленно махнул рукой.

— Разойдись... Удвоить караулы!



День прошел в затаенном напряжении. На море было безветренно, душно. Но с востока, со стороны Кара-Бугаза катилась округлая, тяжелая волна — мертвая зыбь. Старая «Комета» сотрясалась от бака до кормы, с трудом забиралась на волну, зарываясь в нее низким носом. «Не идет, пашет...» — шептал капитан. А валы становились все крупнее, и на их свинцовых горбах зловеще горела багровая вечерняя заря.

В эти часы даже в кают-компании притихли. Все ждали чего-то... И дождалось.

Ночью по палубе прокатился панический топот.

— Братцы! Полундра! Тонем... Кингстоны открыты...

Зыбь заметно уменьшилась, но «Комета» погрузилась в воду едва ли не по фальшборт. Нос задрался, корма осела. Судно не слушалось руля.

Старший офицер, выбежав из кают-компании, мгновенно протрезвел. Но когда он опять поднес свой маузер к глазам капитана, старик сказал:

— Теперь мне ничего не страшно. Вы своего добились. Через несколько минут или несколько часов нас развернет бортом к волне, и мы пойдем ко дну! Что же, командуйте, стреляйте...

Общий крик пронесся по палубе. Матросы и солдаты смешались и тесной толпой окружили старого моряка.

— Ты капитан! Говори, что делать!

— Во-первых, чтоб мне не угрожали...

— Не бойся! Не тронет! Не дадим!

— Тогда слушать меня. Кингстоны удалось заткнуть. Но нам не откачаться. В кубрике вода. Захлебываемся. Выход один — груз за борт!

Капитан, а за ним обе команды повернулись к офицерам. Но те не осмелились вымолвить ни слова. Им разрешили уйти в кают-компанию. Больше они не показывались на палубе.

И вот аккуратные ящики, обшитые жестяной лентой, полетели в воду. И солдаты и матросы работали не за страх, а за совесть. Степан и фельдшер в четыре руки, молча, лихорадочно выбрасывали ящики за борт — им не успевали подносить. Не оставили в трюмах ни одного, хотя судно давно уже поднялось, выровнялось и ускорило ход.

На следующий день «Комета» медленно, без единого гудка, вошла в мертвые воды Кара-Бугаза. У Черного острова ее ждал караван благороднейшего Джунаидхана.

Встретили ее дружным ружейным салютом. Но с «Кометы» не отвечали.

Небольшой початый ящик револьверных патронов уцелел в кают-компани. Его и сгрузили на берег.

Начальник каравана в помудском колпаке, с алжирской саблей на боку подскочил к русским офицерам, тряся кулаками. Люди его свиты схватились за сабли. Солдаты-дутовцы в свою очередь выставили вперед штыки. Началась перебранка.

В суматохе Степан и фельдшер бежали в степь и укрылись в барханах. Но им удалось захватить с собой лишь немного воды и еды. Выходить на большую караванную дорогу они опасались. И вскоре совсем обессилели.

Сильно дул гармсилъ — обжигающий ветер с душным запахом серы. У фельдшера распух язык, его тошнило. Потом отнялись ноги, его стало рвать с кровью. В последние его минуты Степан не мог даже смочить ему губы хотя бы несколькими каплями воды.

— Вот все, что осталось от фельдшера, — сказал Степан, показывая Жапаку истертый полотняный мешочек с порошками хинина.

— Ты... прошел Усть-Урт?! — изумленно проговорил Жапак, касаясь мешочка, точно живого существа.

— Пришлось мне поскитаться по этой проклятой пустыне... Иной раз думал: хоть бы помереть! Сперва посчастливилось: пристал я к заблудившемуся каравану, месяца полтора таскался вместе с ним. А после того, не помню уж сколько, провалялся ни живой, ни мертвый в шалаше одного старика туркмена — он сторожил колодец у Барса-Кельмеса. Наверно, пропах я хинином насквозь: помню, лежал при последнем издыхании в песках, подошел шакал, понюхал и отошел, не тронул! В твою юрту меня занесло бурей...

Тихонько подошла Гульзира и тоже коснулась мешочка с хинином. Ей стало легче после порошка, озноб прекратился, и она смотрела на мешочек, точно зачарованная. Степан привлек ее к себе, погладил дрожащей рукой растрепанную головку.

— Тебя-то я вылечу... И сам поправлюсь, а потом пойду искать свою юрту...

— Оставил бы мне одну штучку своего лекарства... я бы дала своей подружке... — проговорила Гульзира не детски озабоченно.

Степан задумался, спросил Жапака:

— Многие болеют в ауле?

— Нас, рыбаков, безгак не трогает. А для киятов, которые живут возле стоячего озера, безгак — беда, горе... Не болеют, мрут!

### УРАН...

Над берегами Муйтенкуля установилась наконец тишина. Посреди полного безмолвия с озера явственно допелся хохот чайки. Улеглась волна, выпрямился камыш, осели облака пыли. А в юрте Жапак стало еще тревожнее. Жапак знал — кияты уже собрались, они наготове.

И в самом деле, затишье длилось недолго. Невдалеке вдруг послышался нарастающий топот копыт, неистовые крики. Не выходя из юрты, можно было понять, что на аул несется дикая толпа. Трещали плетенные из хвороста ограды, вновь вздымалась колючая пыль.

— Орухон! Орухон! — многогласно вопила толпа.

— Слышишь?.. Они! Это их клич, — проговорил Жапак, побледнев.

Не прошло и минуты, как другой вал топота и криков, все усиливаясь, покатился навстречу первому.

— Акчулпан! Акчулпан! — Это шли муйтены, ободряя и горяча себя своим ураном.

Две толпы, два рода, сошлись лицом к лицу у юрты Жапак. Слепленные безумной ненавистью, они, казалось, хотели перекричать друг друга, утратить свирепой решимостью пролить человеческую кровь.

Один визгливый голос, похожий на женский, выделялся среди общего гвалта:

— Весь ваш замызганный род втопчу в землю! Плати полный хун за Эльгельды! Где Жапак? Выдавай убийцу!

— Кто это разоряется? — спросил Степан.

— Палмантаз, плешивый, старшина киятов...

Только теперь понял Степан по-настоящему, в какой опасности его новый друг. Прежде не верилось, что этакое возможно... Как же быть? Как выручить его?

— Ты увези Гульзиру в свою страну, кунак, — сказал Жапак, прижимая к себе девочку, дрожащую всем телом. — Не отдавай ее никому, не бросай... Эх, не успел я с тобой подружиться толком! Ну, я пойду...

— Ты куда?

— Если я сейчас к ним не выйду, перебьют друг дружку. Столько голов проломают, кишок повывусят!..

И, оторвав от себя девочку, Жапак пошел из юрты.

Гульзира молча кинулась на грудь Степану, схватила его за руку и с недетской силой потащила за Жапаком.

Перед юртой нависла такая густая пыль, что нелегко было в ней что-либо разобрать. Жапак стоял, низко опустив голову, меж двух разъяренных толп — киятов и муйтенов. Когда он появился, шум стал стихать, дубинки опустились.

К Жапаку подошел низкорослый человек с дубинкой в руке, с веревкой за поясом. Нижняя часть его лица была прикрыта до ушей ярко-красной повязкой. Это тоже для устрашения, вид лихости...

— Или ты заплатишь нам за смерть Эльгельды... — сказал он задиристым бабьим голоском, — или... — Палмантаз бросил к ногам Жапака конец веревки, свитой из козьей шерсти.

Со стороны киятов тотчас посыпались насмешки:

— Чем он тебе заплатит? Нищий муйтен... Рыбьей чешуей, что ли? Хватай его, привязывай к арбе!

Закричали и муйтены, потрясая острогами:

— Сами вы попрошайки, голодранцы! А вы нам за сети чем заплатите?

Палмантаз перекричал всех:

— Чести не знаете, муйтены! Путаете дело с безделицей! Или забыли, что такое хун? Пускай Жапак сам скажет. Ты убил Эльгельды?

— Я, — ответил Жапак.

— Будешь платить хун?

Жапак молчал. Он был гол как сокол. Все его достоиние — его жизнь.

— Стойте, други дорогие! — выступил вперед Степан.

Тишина. Гомон удивления. Кто этот изможденный, оборванный, никому не знакомый человек? С первого взгляда видно — замучен безгаком...

— Я издалека, гость в ваших краях. Зовут меня Степаном Силаевым.

— Рус...

— Рус?

— Рус!

Это слово прозвучало по-разному: у одних — с недоверием, у других — с интересом, у третьих — с откровенной неприязнью.

— Братцы... Все вы, как я погляжу, ровни. И те и

другие бедняки. С чего враждуете меж собой? Иной у вас враг, общий...

— А ты кто такой — нас учить?! — закричал Палмантаз. — Что ты понимаешь в наших делах!

И обе стороны вновь зашумели. Вмешательство чужака, русского, никому не поправилось.

Степан видел — озверели люди, речами их сейчас не уймешь, не помирить.

— Слушайте! — сказал он, подходя к Жапаку и заслоняя его собой. — Есть у моего друга выкуп! Богатый! Такого, пожалуй, не сыщешь у самого Алланбиа. Это за деньги не купишь, такой выкуп золота дороже...

Кинь собаке, бросившейся на тебя, кусок мяса — она и лаять перестанет. Запльвившие глазки Палмантаза загорелись жадным огоньком. Он почесал свою бороду под красной повязкой.

— Что такое?

Степан отстранил его слабой рукой.

— Я слышал, страдаете вы от безгака. Правда ли это?

— То-то что правда! Гибнем от него, — ответил рослый старик из толпы киятов.

— А у Жапака есть лекарство. Как рукой снимает... Сто человек может исцелить, спасти от смерти!

Кияты заволновались. Толкая друг друга, стали тесниться поближе к Степану.

— Какое лекарство?

— Где взял?

— Покажи!

Плешивый Палмантаз замахнулся дубинкой на своих.

— Куда полезли? Развесили уши! Врет он...

Но с плешивым заспорили:

— Пусть покажет! Сам посмотрим. А если обманет, не жалуйся...

Палмантаз рассмеялся.

— Что ж вы, не видите? Хитрят! Будь у руса такое лекарство, себя бы давно исцелил... Гляньте — весь желтый, едва стоит на ногах. — Палмантаз ткнул Степана пальцем в грудь, тот пошатнулся. — Ты нам зубы не заговаривай, пришелец! Не суйся в чужие дела!

— А ты не пугай, не такне пугали.

— Свяжем обоих, если вы заодно!

— Вяжите, если вы не люди! Валяйте, мудрецы...

Снова поднялся гвалт. Особенно усердствовал Палмантаз. Но пока Степан стоял рядом, Жапака не трогали.

Драка началась с краю — там уже толкали друг друга в грудь, вздымались на дыбы испуганные кони. И все же недавний дикий запах иссяк.

Неожиданно люди стали расступаться, давая дорогу высокому джигиту в дорогой шапке, отороченной пушистым мехом.

— Дети кунграта, каракалпаки, мусульмане! — напыщенно произнес джигит, поднимая руки к небу. — Мы все сыны одного племени, все братья по вере. Бог нас рассудит...

— Предки велют карать за убитого, — возразил было Палмантаз.

— Утешьтесь — Эльгельды жив.

— Жив? Где же он?

— Милостью Алланбня бедный наш Эльгельды отправлен в Турткуль, в больницу. Кончим семейные споры. Разойдемся с миром по своим домам... Так будет благороднее, братья соотечественники!

Видимо, к этому голосу привыкли прислушиваться. Опустив головы, поругиваясь сквозь зубы, люди стали расходиться. Кияты повернули коней к своему аулу.

— Братец Эримбет, что-то я не понимаю тебя... — негромко заметил Палмантаз джигиту, снимая с лица красную повязку.

Эримбет взглядом указал на Степана, шепнул, кривя губы:

— Вон бы кого надо... Тратишь силы впустую, старшина!

Степан толкнул Жапака локтем в бок.

— Кто этот человек? Речи сладкие, поповские, а смотрит волком...

Жапак не отвечал. Он был не в себе. Степан повел его в юрту.

Дернул за тесьму — открылось потолочное отверстие, в юрте стало светлей, а на душе как будто покойнее.

— Ну, можешь теперь не горевать, твой будущий тесть живой! Не судьба тебе стать убийцей.

Гульзира поднесла Жапаку чашку с айраном. Тот судорожно глотнул раз-другой, сказал глухо:

— Теперь он сам сквитается со мной. Будет ходить тенью по моим следам. Все равно нет мне жизни.

— Не каркай, ворона! Гляди веселей!

Приподнялась камышовая дверь, в юрту протиснулся

человек. Степан тотчас шагнул к двери, заслоня собой друга. «Опять?»

— Уббинияз... Кият...— прошептал Жапак.

— Тебе что, браток? — спросил Степан, хмурясь.

Уббинияз вошел в юрту. Это был рослый, важный старик в овечьей папахе и в широком халате, похожем на робу. У него была борода, расширившаяся книзу,— такую называют «турва-сакал».

— Иной раз любопытней узнать имя одного человека, чем родословную тысячи других,— степенно сказал старик.— Будем знакомы.

— Салам... Заходите!

Старик кивнул кому-то через плечо, и вслед за ним в юрту проскользнул молодой человек, сильно хромавший на правую ногу.

— А ты по правде русский, сын мой?

— Слава аллаху, знаю отчасти и мусульманскую веру.

— Вон оно что... Понравился ты мне. Давеча ты обмолвился про лекарство против безгака.— Старик опасливо оглянулся.— А у меня четверо детей, почитай полгода горят в страшном огне. И у этого парня жена молодая... гаснет, как уголек...

Хромой молча закивал головой, просительно глядя на Степана.

Степан крикнул весело.

— А ну, садитесь, гости дорогие! Я, видишь ли, не против, отец. По мне — лечить надо. Да только лекарству этому хозяин Жапак! А он, оказывается, вам кровный враг...

Старик горестно вздохнул.

— Что поделаешь, сынок, у нашего народа такой уж обычай...

— Я народ уважаю,— сказал Степан.— Однако обычай обычаю рознь! Самы вы друг дружку не уважаете... это за чем же?

Хромой, с мольбой глядевший то на старика, то на Степана, затряс головой, потянулся к Степану.

— Это все тот, плешивый. Собрал самых безмозглых из нашего аула и привел сюда.

— Палмантаз ловок,— добавил старик.— По горам скачет козой, по болоту ползет змеей. Да разве он причина? Ты скажи, чей он лизоблюд, кто над ним голова!

— А ведь и вы пошли за Палмантазом,— заметил Степан.

— На общем току, сынок, и ветер общий: в одну сторону веет, в одну метет...

Степан усмехнулся.

— И вы работаете на Алланбия?

— Приходится. Вожу из Караумбета соль, размалываю на мельнице. Солим рыбу в байском чулане. У мусульман отродясь не бывало чуланов, а вот Алланбий завел, разбогатевши...

— Что же у тебя общего-то с баем, отец?

— Кормит нас,— уклончиво ответил Уббинияз.— Грех мужчине жаловаться на свою судьбу. А придешь домой, глянешь: у старшей дочки — безгак, зуб на зуб не попадает, а младшенькая — кожа да кости. Без слез не могу смотреть на них... Бог возместит тебе! Сделай благое дело, дай нам лекарство, братец.

Степан кивнул Жапаку, и тот, достав из заветного мешочка несколько порошков, протянул их Уббиниязу и хромоту. Старик принял их обеими руками, беззвучно шепча благодарственную молитву, а хромой вскочил и согнулся в низком поклоне, точно получал невесть какую милостыню. Парень заплакал от радости.

— Ну, ну, видим, любишь свою женку! — сказал Степан.

— Дорого она ему досталась. Алланбий его женил... — невесело проговорил Уббинияз.— Когда-то он сумеет выплатить калым!

— Слушай-ка, а кто такой тот человек, который вас под конец утихомирил? По шапке — бай, по речам — мулла...

— Кто его знает! — ответил Уббинияз.— Говорит складно, а что у него в душе, нам неизвестно.

— Не любит он русских... — тихо добавил хромой.— Это племянник Алланбия, любимчик...

Уббинияз прервал его сердитым жестом.

— Я скажу правду: честный каракалпак никогда не подумает худо про русских, сын мой! Когда хан Хивинский объявил награду в тысячу золотых за голову каждого руса, мы утопили все пушки Отахана-тёре в болоте. Был у нас такой год — великого голода. Мы его назвали Годом Белого Мешка. Спросишь почему? А потому, что в тот самый год русские прислали нам целый пароход, нагруженный белыми мешками с мукой! Роздали ящики с чаем. А когда мы поднесли им в благодарность коровье



масло, они не захотели принять его даром. Те русские, на пароходе, были похожи на тебя.

— Похожи, говоришь? А вы не слыхали тут про большевиков?

— Как же! Говорят,— худые люди...

Уббинияз, а за ним и хромой поднялись с мест. Они хотели поскорей отнести лекарство домой больным и просили это позволить. Жапак вынул из мешочка еще несколько порошков и сунул в руку старику.

— Отец Уббинияз, возьми, пусть исцелит твоих соседей!

Старик и хромой молча поклонились.

Проводив их до двери, Степан с улыбкой хлопнул Жапака по плечу.

— Видать, и среди киятов больше хороших людей, чем ты думал!

Жапак ответил не сразу, точно против собственного желания:

— В молодости Уббинияз охотился на барсов. Знаменитый был батыр. И певец. Когда девятилетний бахши Утар-бобо, по велению Юлбузара, муфтия Хорезмского, был объявлен вероотступником, Уббинияз первый подхватил его песни и распевал их повсюду, никого не боясь. Баи ненавидели его за это, травили много лет... А того, хромого, зовут Каипназар. Он солил рыбу у купца в Муйнаке. Поднял девятипудовую бочку и не удержал, уронил себе на ногу... Теперь таскает бочки у Алланбиа.

Степан сидел в глубокой задумчивости, и Жапак встревожился, подсел к нему.

— Ты... думаешь о дороге, да? Если ты уедешь, что со мной будет, брат?

Неслышно подошла и Гульзира, молча забралась на колени к Степану и уставилась ему в глаза вопрошающим взглядом.

— Что вы! Не то у меня в голове,— пробормотал Степан, растроганный и смущенный.

### «ЗА МНОЙ НЕТ ВПНЫ»

Вольной птицей росла Сулув на степных просторах Усть-Урта, на горных лугах Улутау.

Бывало, что Эльгельды, табунщик Алланбиа, годами не возвращался в аул, не приближался к людскому жилью.

Бродил и бродил с табуном полудиких коней с пастбища на пастбище, по безлюдным местам, усадив позади себя, на спину коня, маленькую Сулув. Со временем она стала надежной помощницей отцу, и он посадил ее на лучшего скакуна в табуне. Девушка была ловка, вынослива и смела, как джигит. Не боялась ни холода, ни голода, ни вьюги, ни волка. Спала на земле, ела мало, могла обуздать любого коня, слышала и видела так же чутко и зорко, как ее кони. А годам к шестнадцати Сулув неожиданно так похорошела, что Эльгельды возгордился: его дочь оправдывала свое имя — Прекрасная. Табунщик не видел ей равной в аулах.

Теперь он старался еще реже бывать в селениях. На людях душа его была беспокойна — уж больно засматривались мужчины на дочку. Боялся — засватают, обманут, умыкнут...

Сулув, напротив, стремилась к людям всей душой. Стремилась потому, что не знала их...

С детства по ночам, у непотухающего костра, девушка слышала старинные сказания — дастаны — и печальные песни; их играл отец на кобузе. Песни и дастаны уносили Сулув в далекую, необыкновенную страну сказок. Эта страна манила мечтательную девочку. Ей думалось, что в аулах должны жить, как в дастанах. Что это за славная жизнь! Она полна любви и преданности, битв и богатырских подвигов.

Иной раз Эльгельды казалось, что в его дочку вселился дух Гулоим — девы-ратницы, которая некогда собрала сорок себе подобных длинноколых всадниц и обороняла с ними крепость от кочевников. Тем большее разочарование пережила Сулув, когда столкнулась с уродствами аульской жизни. Никогда не забыть ей недоумения и отвращения, которые она испытала, увидев впервые, как рабоблепствуют люди перед бесчестным и безобразным Алланбием. Никогда не забудет и Эльгельды гнева, который охватил Сулув, когда она поняла, что Алланбий всю жизнь обкрадывал ее отца, а отец считал это справедливым!

Трудно было Сулув привыкнуть к аульным порядкам. Втайне она восхищалась муйтенами — они жили вольнее, чем князья. Недолюбливали в ауле и Сулув — за дерзость, независимость и ту завидную власть над мужчинами, которой обладала ее дикая красота. Казалось, волны степного ветра застыли в ее волосах. А глаза, привыкшие

всматриваться в степные дали, словно бы навек прищуренные, блестели в узком разрезе век, подобно черным звездам.

Сулув собиралась с отцом на дальнее джайляу, когда пришло горе. С водоноя принесли бесчувственное, изувеченное тело отца. Он походил на кречета с перебитыми крыльями, а у людей, которые его несли, были окровавлены рукава.

Очнувшись, Эльгельды застонал сквозь стиснутые зубы. Сулув замерла, потрясенная. Никогда до тех пор не доводилось ей слышать его стона.

— Отец... Кто тебя, отец?

На лице его и одежде запеклась кровь, смешанная с пылью и песком, но в глазах не было гнева, в них светилась смертная тоска.

— Муйтены, доченька... проклятые изверги...

— За что?

Она почти не разбирала его слов, но ему хотелось оправдаться перед ней, прежде чем он умрет.

— За мной нет вины, дочь моя... Я хотел отогнать стадо от их сетей...

Сулув приняла его слова за бред. Мыслимо ли, чтобы ее отец, простосердечный, как герои дастанов, был виноват?

Она попыталась перевязать его, чтобы унять кровь. Он лишился чувств от боли.

«Помирает!» — подумала Сулув. Но и теперь ее глаза остались сухими. В них зажегся огонек безумия.

Не помня себя, она выскочила наружу. Ураганный ветер тотчас прижал ее спиной к стенке юрты. Сулув оттолкнулась и, защищая глаза рукавом, пошла в сторону аула муйтенов. Ее с трудом вернули.

Всю ночь отец стонал и бредил, повторяя, что невиновен. А утром в юрту явился Эрмбет. Этот джигит в тельнике из нежного меха, в бархатных штанах с вышивкой и в сапогах с загнутыми носками напомнил своей одеждой и обхождением сказочного батыра. Он был известен ученостью, жил где-то возле Алгыкудука, изредка приезжал к Алланбию, говорил в ауле перед народом назидательные речи и уезжал. В последнее время он зачастил в аул. Бабы языки приписывали это тому, что он увидел Сулув. Эрмбет привел с собой двух слуг. Они завернули Эльгельды в кошму и перенесли его на арбу с крытым верхом.

В арбу был впряжен самый резвый конь Алланбия, серый скакун Куктемир. Звякнув удилами, конь потянулся мордой к Сулув — он ее помнил, он носил ее в седле на джайляу.

Сулув удивилась: «Бай дал Куктемира?..»

— Отец Эльгельды — наш единокровный брат, — сказал Эримбет, глядя на девушку ласковыми, красивыми глазами. — Его повезут в Турткуль, я написал записку доктору, он вылечит... С богом!

«Хороший человек», — подумала Сулув, низко кланяясь Эримбету.

Эльгельды протянул слабую руку и обнял дочь.

— Не печалься, свет мой... Если не приберет меня к себе создатель, я вот этой рукой вырву глаза Жапаку...

Сулув отшатнулась.

— Жа-па-ку? — прошептала она.

Арба тронулась и отъехала. Сулув стояла как вкопанная, растерянно глядя вслед.

Эримбет с любезной улыбкой утешал ее, взял за руку, любовно погладил по голове.

— Конечно, он! Разве ты не знала? — сочувственно и негодуя проговорил Эримбет.

Сулув оттолкнула его с неженской силой и стремглав кинулась в юрту. Жапак пролил кровь ее отца! Она не могла этому поверить. Ей хотелось побежать, догнать арбу, спросить отца: так ли это, не ошибся ли он? Жапак... Он, единственный из аульных джигитов, нравился ей. И он — такой злодей?

Жапак поднял руку на старого Эльгельды! Как же это понять? Неужто в самом деле муйтены — потомки волосатого зверя и в их душах нет ничего человеческого?

В отчаянии Сулув упала ничком на кошму и пролежала так, не шевелясь, весь день.

К вечеру она поднялась, разбитая, обессиленная.

«Отныне ты в юрте глава», — сказал отец.

Сулув наломала хвороста, развела в очаге огонь, вскипятила молоко. Накормила и укрыла кошмой теленка — самое дорогое, что было в их хозяйстве, единственное, что приобрел отец за всю жизнь. Замесила тесто и завернула его в овчину, принялась толочь в ступе просо. Но работа валилась из рук.

Отец говорил: «Ты одна моя утеха. Если б найти тебе пару, пошел бы и я на покой, кипятил бы твой кумган, коротая жизнь с теми, кто мне дорог...» Бедный отец!

И он надеялся найти ей пару. А она уже не верила больше, что есть в ауле человек с добрым и верным сердцем, человек, подобный героям дастанов.

Спустилась ночь. Печальна была тишина после бури. Казалось, аул опустел — ни человеческого голоса, ни собачьего лая.

Грудь Сулув стеснило. Она одна во всей этой бескрайней суровой степи. Кроме беспомощного отца, ни родича, ни друга. С кем поделиться девушке тем, что накопилось в душе? Никто не поймет... Как бы прощаясь со своими девичьими мечтаниями, Сулув достала монисто, вплела его в косы, надела на голову пышный тюрбан и повязалась поверх него платком, повесила на шею бусы. Вот и все ее наряды. Но и они сегодня не радуют. От них еще горше в груди. Вдруг она подумала: а что, если Жапака уже нет в живых? Утром она слышала свирепый уран киятов... Она содрогнулась от ужаса и отвращения: опять кровь, безумие ненависти. И он, Жапак, уже не оправдается перед ней!

В ту же минуту бесшумно приоткрылась дверь, из темноты в юрту шагнул широкоплечий человек, снял шапку без меха, с голыми полями, какие носят рыбаки — и замер, опустив голову.

Сулув тотчас узнала его и отвернулась.

Не смея выговорить ни слова, исподлобья глядел на Сулув Жапак. Он никогда не видел ее в таком наряде. В неровном свете очага поблескивали монетки на ее выпуклом лбу, подчеркивая бронзовый цвет лица. По щекам разлился густой румянец, точно на морозе. Пронзительно черные глаза глядели гордо и гневно. Маленькая, стройная, гибкая и крепкая, как пучок камыша...

Давно ли Жапак, проследив, куда она гонит стадо на водопой, пробирался в лодке тайком к заветному месту, глядел на нее и не мог наглядеться, а она, сидя на коне, расплетала свои косы, косилась в сторону Жапака и, казалось, угадывала, где он притаился, и улыбалась ему? Теперь они чужие, враги, и она ему не улыбнется. Чего ради она нарядилась — в такую пору, одна? Для кого?

— Ты зачем пришел сюда среди ночи?.. — спросила наконец Сулув, сжимая маленькие твердые кулачки.

— Днем не могу показаться в твоем ауле, — ответил он тихо, — забьют меня кияты... Но я бы сам привязал себя к арбе, только бы ты меня простила, Сулув! Не вино-

ват я. Если ты осуждаешь меня, для меня это хуже смерти!

Девушка резко обернулась и шагнула к нему, легкая и сильная. Сорвала с головы платок и тюрбан, швырнула их в сторону. Звякнуло монисто в ее длинных косах. Теперь Жапак уже не разбирал, что в ее глазах — упрек или мольба, ненависть или жалость.

— Кто же тогда виноват?! — вскрикнула она с такой тоской, с такой болью, что ему захотелось схватить, обнять ее, повалиться перед ней на колени.

Он не осмелился двинуться с места.

— Я не знаю, Сулув... не знаю... Лучше скажи, что с ним... с отцом?

— Как ты решился переступить наш порог? Уходи, муйтен! Уходи, убийца!

Жапак выпрямился, надвинул на брови шапку, сказал горестно:

— Ладно. Коли не веришь мне, приди сама и убей... когда захочешь. Я пальцем не пошевелю.

Толкнул дверь и так же бесшумно, как вошел, шагнул в темноту ночи. А Сулув подняла с земли свои наряды, села у очага, уткнулась лицом в колени, сжалась вся и заплакала — впервые в жизни. Плакала она навзрыд, совсем как девчонка, плакала долго, очень долго и не знала, от чего — от горя или обиды, от злости или любви.

## СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ

В ханские времена Алланбий был родовым судьей в своем ауле и ходил, нацепив на грудь медную бляху величиной с ладонь. Когда белый царь пошел на семь стран войной, Алланбий появился в Хиве, за большие деньги купил у ханского чиновника, диванбеги, должность аталыка — правителя, а потраченное выкачал с лихвой из тех, кем правил. В те годы неоглядные степи казались Алланбию тесными, тысячи голов его скота паслись на джайляу, где он сам никогда не бывал, и только в советское время бай уместился в небольшой усадьбе близ Муйтенкуля. Он поклонился святым, принял священный обет и сам стал святым отцом.

Алланбий происходил из рода муйтенов. Но, как известно, святые не принадлежат одному роду, они отцы и покровители всех родов. И усадьба Алланбия, обнесенная

высоченным забором, стояла особняком от обоих аулов — и муйтенов и киятов.

Днем и ночью не утихал шум маслобойки и солерушки во дворе бая, не умолкало ржание кобылиц, рев верблюдиц. Ругались табунщики, отмахиваясь от комариных роев, которые налетали от черпых юрт поденщиков, занятых разделкой рыбы. Люди задыхались от вони, исходившей из рыбного чулана.

А из богатого дома Алланбия днем и ночью пеллись крики джигитов, распивавших хмельной кумыс.

Над девятикрылой юртой бая, покрытой расписными кошмами, торчали изогнутые могучие рога архара. Некогда, говорят, голова этого козла была съедена самим Каракум-ишаном; Алланбий водрузил рога над домом. Верное средство от сглаза и убытка!

И все же на сердце у бая беспокойно ни днем, ни ночью. Кошки скребут. Подчас он словно забывал о своей святости. Единственный его глаз зловеще наливался кровью, пальцы лихорадочно трепали реденькую, в несколько волосинок, бороденку. Дела шли все хуже, хозяйство катилось к упадку.

Спозаранок к Алланбию явился Палмантаз. Держась обеими руками за живот, он хохотал, булькая, как вскипевший кумган.

— Неужто же мальчик, пришедший отдать тебе благую дань, не понял твоих желаний, святой отец? Что с ним стряслось?

Однако бай не разделял его веселости. Плешивый осекся. Подсев на овчину, поближе к сосуду с кумысом, он безнадежно покачал головой.

— Ума не приложу — чем же тебя утешить, святой отец... Может, завести сундук-бахши?

Алланбий не отвечал. Палмантаз вынул из-за щеки жвачку и, помяв в пальцах, стал катать из нее шарик.

Было время, плешивый умел угодить баю. На радениях, которые устраивал святой отец, на перепелиных боях Палмантаз неизменно тренькал на кобузе, услаждая слух повелителя, и очень смешил его — в доме Алланбия плешивый слыл великим остряком. Ныне даже они, неразлучные друзья, бай и его верный шут, не находили общего языка. Палмантаз спросил заискивающе:

— Так ты позволишь мне увести барана, святой отец?

На сей раз бай заговорил, сердито сверля плешивого своим единственным глазом:

— Барапа? За какие такие заслуги?

— Как же! Помилуй! Не я ли старался — поджег сено у киятов? Они уже схватили четверых муйтенов, заперли их в твоём чулане — проморозить им кости... Не миновать завтра резни!

— Ты мне скажи про Жапака, про Эльгельды, ловкач, попрошайка!

— Говорю тебе, я сделал все, что мог. Не веришь, — так возьми назад свою хроющую корову, зазря она мне не нужна! Во всем виноват твой племянник. Если не отошлешь его домой, в Алтыкудук, имей в виду, и с поджогом сена кончится пустяками, опять он их примирит!

Бай выругался сквозь зубы.

— Навязался на мою голову ученый дурак...

Приподнялась камышовая дверь, покрытая ковром. В юрту, пригнувшись, вошел Эримбет. Он сразу угадал — говорили о нем — и с досадой поморщился.

— Как ты не видишь, что поджигаешь собственный дом, дядя? Безумствуешь, голову теряя... Ты сам муйтенец, а их травишь!

— Глупец! Болтун! — ответил Аллапбий, презрительно кривя губы. — Вон какой длинный вымахал, а не дал тебе бог ума хотя бы с птичий коготок. Я не муйтенец, я бай! Запомни. Муйтены — слуги мои. И кияты — слуги мои. Чем злее во дворе собаки, тем хозяину покойней! Слышал ты, как на той стороне реки снюхались ахаи и кипчаки? Копчилось тем, что поденщики Турдымурата взяли и не пошли работать на его рисовые поля. Понял, краснобай? Хочешь, чтобы и кияты с муйтенами снюхались и я сел бы в лужу, как Турдымурат?!

— Напрасно надеешься погреть руки на пожаре, дядя, — отозвался Эримбет, взбалтывая кумыс. — Тебе следовало бы видеть дальше своего носа. Катастрофа из-за реки придет к тебе раньше, чем ты думаешь, если только все роды кунгратские не объединятся в одну семью и не заслопят тебя, как родного отца. Эту катастрофу русские называют классовой борьбой. А у нас нет и не было никаких классов, тысячелетиями живем в мире и братстве между собой, мы одной веры, одной крови, — вот чему надо учить людей!

Аллапбий со злобой сплюнул.

— Учитель! Зудишь без толку, как овод у коровьего вымени!.. Известно тебе, что этот самый Жапак, которого ты прикрыл, уже не носит улова ко мне в чулан, отвозит



в Муйнак? Один этакий шарик бараньего помета изгадит бурдюк кумыса! Камышинка порежет тебе руку, если ты ее некрепко держишь... Нет уж, милый. Собаки сбиваются в стаю, когда видят волка. Я распалю между ними огонь, сам бог его не погасит! И лучше ты не мешай мне, если недостает ума помочь. Езжай себе, пока я добром прошу, в Алтыкудук...

— Опомнись, дядя. Я ли тебе враг? — проговорил Эримбет, невозмутимо потягивая кумыс из рога архара. — В твоём стаде русский...

Алланбий фыркнул пренебрежительно.

— Этот русский подохнет от безгака, от которого взялся лечить!

— Одно его слово опаснее, чем весь его хиниш.

— Ты заруби себе на носу мое слово! — закричал Алланбий. — Будет прикидываться овцой! Знаю я, зачем ты здесь у меня торчишь, какая птица тебя удерживает...

Палмантаз хихикнул и вставил сладеньким, бабьим голоском, подливая масла в огонь:

— Ах, горяча, как пуля! Хороша, как тюльпан, эта девка...

Алланбий вскочил на ноги и в бешенстве прошелся по юрте, выбивая сапогами пыль из овчин.

— Вот что тебя сюда приманило, собачьего сына! Теперь понятно, зачем ты отправил еле живого Эльгельды к доктору, до которого добираться шестеро суток! Надеешься облапошить девку, пока нет отца? Я тебя выведу на чистую воду. Кто тебе позволил взять Куктемира? Подлая ты душа!

Поднялся и Эримбет, с достоинством запахнул халат.

— Я приехал, чтобы спасти тебя от твоей недалёковидности, дорогой дядя, но... с тобой стало трудно говорить.

Эримбет повернулся к Палмантазу:

— Ты разнюхал, кто этот русский, что поселился у Жапака? Откуда он взялся?

— Никто знать не знает, мулла.

— Тебе бы следовало знать. Зевает! Облепился!

Эримбет вынул из кармана железную коробочку зелёного цвета с белой надписью, выведенной прописью, латинскими буквами. В коробочке был пушистый белый порошок. Эримбет протянул её Палмантазу.

— Разделишь это на щепотки. Завернешь в бумажки

аккуратно, чтобы похуже было на его лекарство... И подбросишь в ауле больным безгаком.

— Задаром?

— Всем, кто возьмет. И не жадничай, скряга.

— Слушаюсь... Но зачем же тратить такое добро, учитель?

Эрмбет рассмеялся.

— Это — зубной порошок...

Палмантаз ничего не понял, но угодливо осклабился.

— Хе-хе... слепой курице и мусор кажется зерном! Преклоняюсь перед твоей мудростью, учитель. Лучше мне сломать шею, чем не выполнить твое желание...

— То-то же! — сказал Эрмбет и с важностью вышел из юрты.

Аллабий проводил его насупленным, подозрительным взглядом.

— Лукавит, ученый жеребец...

— Истинно, голову морочит, святой отец.

— Ладно. То, что он велел, сделай. А в остальном следи за ним в оба, глаз не спускай!

— Будьте покойны, святой отец, не прозеваем.

— Ты на все способен, плешивая скотина. Чувствую — купит он тебя по дешевке. Говорят, жадный осел торбу проедает. Тогда уж пеняй на себя!

— Господи! Да пусть сгниет моя борода на груди, если я...

Взгляд Аллабия немного смягчился.

— Можешь взять барана. Только уладь мне это дельце с Сулув.

— Слушаю и повинуюсь, святой отец.

Аллабий снял с головы чалму из тонкой кисеи цвета ртути, утомленно оперся локтем о пуховую подушку. С минуту длилось молчанье. И слышно было, как отчетливо тикали ходики, висевшие над слегка помятой трубой граммофона.

Аллабий приподнял угол кошмы, натянутой на каркас юрты, и выглянул во двор. Там распорядилась его жена Бибикатча.

Накинув сложенный вдвое платок поверх громадного турбана, похуже на высокую корзину, позвякивая тяжелыми серебряными подвесками, украшавшими ее толстую шею, она то и дело покрикивала на женщин, ткавших коврики. Женщины сидели вокруг костра, глаза у них были красны от дыма.

— Ишь, всю воду выдула... у-у, ненасытная! — сварливо бранилась Бибикутча.

Алланбий смотрел на жену и морщился.

— Как услышу ее голос, все нутро у меня леденеет. Это она, дуреха, пустила слух, будто бы Сулув без рода, без племени. Эльгельды, видишь ли, нашел девку в степи — она, мол, диким кабаном вскормлена.

— По чести сказать, норов у Сулув такой, — заметил Палмантаз, хихикнув, — что, может, и вправду... кто ее знает!

— Болтай у меня! — оборвал Алланбий. — Сама она родом от гиены, бесстыжая корова, неспособная рожать! Двадцать пять лет гуляла моя палка по ее жирной спине, а в голове ее пусто, как и в чреве. Будь у меня сын, я бы этого долговязого петуха на порог к себе не пустил...

— А уж не сам ли ты слабоват, святой отец?..

— Не твоего ума дело! Приведешь ко мне Сулув — увидишь...

Сощурив единственный глаз, Алланбий силно вздохнул.

— Был я когда-то чинарой в наших степях. Согнуло меня ураганом. До чего дожил! Сижусь с тобой, плешивым псом, скулю, как сука. Что поделаешь, когда нет и горсточки мюридов, на которых можно было бы положиться!

Палмантаз, польщенный тем, что бай запросто делится с ним гаремными тайнами, пропуская мимо ушей брань.

— И я, бывало, сиживал в красном углу, святой отец. Не каждого устаивал своим вниманием, зазорным считал для себя пойти на той к небогату. А ныне сижусь у твоего порога. Сверху-то блестит, внутри свистит... Однако недаром побои достаются ведущему верблюду. Терпи, святой отец, все минет... образуется!

— Дай бог, дай бог... Глядишь, объявится, на мое счастье, еще кто-нибудь вроде Шертаке. Вот был батыр — истинный сын Джунаидхана! Я пожертвовал для его джигитов девяносто голов гнедых. Отыщется другой подобный — и большего не пожалею. А должен бы отыскаться! Наш Муйнак, точно жирное сало, приманивает этаких воронов... Дождаться бы светлых деньков!

— Дождемся, святой отец, не сомневайся...

— Твоя забота теперь — Сулув.

— За нами дело не станет. Я привяжу ее к твоему серебряному поясу, и будет она лучшим его украшением! Позволь уж, я уведу двух баранов. Задаром только обезьяны пляшут, святой отец.

Алланбий кивнул в знак согласия.

— И вот еще что сделай: воду, которой муйтены промывают свои солончаки, поверни на просяные поля киятов.

— Слушаюсь, святой отец.

### «У НАС С ТОБОЙ ЗДЕСЬ ВАЖНЫЕ ДЕЛА!»

Степан лежал в тени под стогом камыша. Дремал, дожидаясь Жапака.

Что-то зашелестело в траве. Степан открыл глаза и невольно вскрикнул. Жапак стоял над ним, и на обнаженную руку его от кисти до локтя была намотана живая змея; хвост ее извивался, голова зажата в кулаке. Жапак был в испарине, взгляд его блуждал.

— Эй! Жапак, ты что делаешь?

Жапак смущенно улыбнулся и с досадой стал сматывать упругое, пружинящее тело змеи с руки. Аспидно-зеленая, длиной аршина в полтора, змея хлестала Жапака хвостом, точно плетью.

— Жалко, ты проснулся... Хотел я вложить ее тебе за пазуху.

Степан вскочил и отодвинулся, вздрагивая от отвращения. Он, правда, успел заметить, что змея не ядовитая. Брюхо черное, на голове корона — «желтые уши», это ужак.

— Лекарство твое на тебя не действует, — пояснил Жапак. — А какой же я каракалпак, если не умею вылечить гостя от безгака!

Степан с недоумением смотрел на огромного ужа.

— Ты что же, меня лечить собирался?

— У нас так: если безгак затянулся, это последнее средство. Надо пугнуть больного змеей, тогда он разом выздоровеет! Но пугнуть хорошенько, чтобы прямо руки, ноги отнялись...

Степан не знал, посмеяться ли ему или рассердиться на простодушного друга. Жапак был не на шутку огорчен.

— Целый день гонялся за ней по степи... — сказал он, словно бы с упреком, выпуская змею и следя за тем, как стремительно она уползает по песку, меж редких травинок.

— Так вот где ты пропадал целый день! А я тебя жду и жду... Забудь зменное лечение. Выдумка это глупая, дружище.

— Может, и глупая... — разочарованно ответил Жапак.

— Займемся делом. Собирайся! Я тебе пособию. Порыбачим вместе.

— А ты не свалишься опять? — с недоверием спросил Жапак.

— Выдержу, не бойся. Рыбки свеженькой охота...

Жапак, обрадованный, побежал в юрту, надел сапоги с высокими голенищами и вернулся с вершей на плече. Друзья пошли к Муйтенкулю.

Степан в потрепанном пиджачке, накинутом поверх каракалпакской рубахи из грубого полотна, с трудом поспевал за Жапаком, размашисто шагавшим в тяжелых болотных сапогах.

— Мертвые поля, — проговорил Степан, кивая на солончаки, тянувшиеся до самого горизонта. — Круглый год они такие белые?

— Круглый год.

— Соскучился я по деревцу!

— В усадьбе Тураббия росло одно-единственное дерево — тополь. И видно его было за девять конских переходов, — проговорил Жапак певуче, словно вспоминая старинную сказку.

— Неужели только одно?

— Одно-единственное на весь край муйтенов и киятов. И называли его не иначе как кровавым тополем. В ханское время, говорят, люди племени жанибас нарушили повеление хана, отказались рыть арык. Тогда их всех повесили. А вешали их на ветвях того тополя. — Жапак развязал свой кушак и, зачерпнув им воды из стоячего озера, напился. — С той поры тополь стал сохнуть на корню, а там его и буря повалила.

Пошли к берегу озера. Жапак отвязал лодку от чигря, с помощью которого обыкновенно подтягивали невод, бросил на дно вершу. Степан сел на нос лодки, Жапак оттолкнулся багром, и вскоре они выплыли в густые заросли камыша.

Лодка скользила по узенькому, пзвилистому фарватеру, точно по коридору меж шелестящих стен камыша, — наверно, потому и называли этот путь по озеру «шелестящей тропой». Иногда она выводила на тихие округлые заводи, тянулась мимо зыбких болот, покрытых горелым камышом. Так можно плыть от заводи к заводи, из озера в озеро, обходя непролазные топи, и приведет тебя «шеле-

стящая тропа» через шесть дней на сверкающую гладь Арала.

У берега, близ аула, не умолкает лягушиный шабаш, стоит затхлый, одуряющий запах дохлой рыбы, всплывшей кверху брюхом. А в глубине озера воздух чист, тишина; только гулко и мерно дышит камыш да изредка бухнет выстрел охотника в кабана. С заводей белой тучей вздымаются стаи ленивых бакланов с длинными клювами, набитыми рыбой. Лодка без плеска словно бы вползает в камыши, и кажется, что нет им конца. Дикие, глухие места, заповедные воды, суровый край.

«А живут здесь бедняки, труженики, горемыки... — думал Степан. — Должна и сюда дойти новая жизнь. Иначе быть не может!»

Лодка медленно плыла вдоль длинного сухого мыса, заросшего камышом и кустарником. Степан заговорил как бы про себя, словно думал вслух:

— Ходил я вчера по аулу, попал в компанию бахши...

— Скажи лучше — к киятам, — неодобрительно отозвался Жапак.

— А хотя бы и к ним! Привел меня в свою юрту старик Уббинияз. Оказывается, детисек его вылечило наше лекарство, — так он не знал, куда меня усадить! В юрте у него собрались со всего аула любители послушать его песни. Дали ему кобыз; и давай уговаривать, чтобы он спел песни того самого Утар-бобо, девяностолетнего веротступника, про которого ты рассказывал...

— Хитрят они с тобой, заигрывают, — ревниво проговорил Жапак.

Степан в раздумье прикусил губу. Понравились ему люди, среди которых он вчера был. Простодушные, открытые, они жадно слушали печальную музыку своего народа, стеснившись вокруг дымящего очага. Как может в их сердцах таиться темная злоба, бессмысленная вражда друг к другу? Разве это человеческий закон — так жить?

— Слушай, браток, расспросил я вчера про ваше житье-бытье. Если верить Уббиниязу, когда-то, давным-давно, эмир Бухары вербовал каракалпаков в солдаты и велел заклеить их коней особым клеймом в виде ножниц. С той поры стали звать этих людей «ножницамп». А потом хан Хивы, призвал воинов, тоже каракалпаков, и заклеил их коней другим клеймом, похожим на гусиную лапу. И прозвали этих людей «гусиными лапами». Давно

уж нет ни эмира, ни хана, а «пожицы» и «гусиные лапы» по сей день враги! Правда это?

— Кто его знает...

— И еще говорил отец Уббиняз, что все пять туксанов<sup>1</sup>, населяющих ваш край Кунграт, ненавидят друг друга. А кто делил людей на туксаны? Холуи хана Хивинского. Зачем делили? Затем, чтобы легче было выкачивать из народа налоги и подати! Соображаешь?

Жапак с любопытством слушал Степана, но ответил ему, упрямо опустив голову:

— Это все басни старого Уббиняза...

Вдруг на мысу, из-за кустов, показалось трое всадников. Вперед скакала женщина, и концы ее белого головного платка развевались на ветру; за пей — старик и пастух-подросток. Парнишка, не умолкая, кричал:

— Вот он, пришелец, который скрывается в юрте Жапака! Вот они оба!

Жапак придержал лодку у берега, и женщина, свесившись с коня, кинула в лицо Степану несколько комочков бумаги, из которых посыпался белый порошок.

— На! Подавился своим лекарством, шут!

— Вот он! Вот он! — кричал пастух.

Старик в накинутом на плечи халате держался спокойней, строже.

— Я вижу, ты чужестранец, — сказал он. — А не то... знаешь, как у нас поступают с тем, кто насмеяется над людьми, лежащими на смертном одре? Привязывают к хвосту верблюда и угоняют в степь...

— Пойдите. Кто вы? В чем дело? — начал было Степан, смахивая с лица белую пыльцу.

Но его не слушали.

Женщина плюнула в его сторону.

— Вот и ходи такой желтый, как песок! И да испрошет тебе аллах смерть лютую на чужбине! — со злобой прокричала она и повернула коня назад.

Старик добавил истово и важно:

— Ты осквернил материнскую любовь. Зачем, скажи? Сын ее проглотил твое белое лекарство, и теперь мучается в судорогах. Думаешь отомстить за Жапака? Не хотим мы тебя больше знать!

С этими словами и старик повернул коня, уводя за собой пастуха, который продолжал твердить:

---

<sup>1</sup> Туксан — девяносто человек, податная группа.

— Это он... тот самый!

Степан рванулся было за ними, но Жапак удержал его. Растерянный, обессиленный, Степан опустил на дно лодки, утирая со лба холодный пот.

У ног своих он заметил бумажный комочек и поднял его. Что такое? Бумага слишком свежа и свернута не так...

Степан торопливо развернул бумажку и коснулся порошка языком.

— Черт! Это не хина!..— вскрикнул Степан.— Понимаешь? Мел или известка... Подлость какая! Кто ж это сделал?

— Ясно кто! Кияты... Запутают они тебя.

— То они заигрывают, то запутывают... Не пойму я, чего мне опасаться.

— Эти люди ночей не спят, ищут повод для резни. Скорей бы уж ты поправился... да ехал к себе на родину...

— Нет, погоди, браток! — Голос Степана наполнился еле сдерживаемой яростью.— У нас с тобой здесь важные дела. Никуда я отсюда не уеду! — и погрозил пальцем кому-то на берегу.— Шалишь, не запугаешь!

Жапак улыбнулся, обрадованный. Хорошо, если бы Степан пожил с ними, что говорить! Только бы он не передумал.

А Степан, сжав в кулаке бумажку с порошком, покусывая губы, примолк. Потом, ни с того ни с сего, стал спрашивать про стройного джигита, который примирил киятов и муйтенов, когда они спорили о хуне. Может быть, Степан искал влиятельного человека, на которого мог бы опереться?

— Ты про Эримбета? О, это ученый человек! Говорят, в своем Алтыкудуке он каждый день газеты читает... Человек благородный! Только и печется о том, чтобы наши роды и племена жили мирно. Недавно он долго сидел с засольщиками рыбы в чулане Алланбиа, толковал про разное. Такой приветливый, обходительный... Учености у него — полон рот!

— О чем же он толковал? — спросил Степан.

— Говорит, будем строить коммуны. Оказывается, мы, кунгратцы, можем раньше всех прийти в коммуны. Почему? А потому, что мы дети одного отца. А раз мы все единокровные братья, нам незачем воевать между собой, как вам, в России. У нас классов никаких нет. Мы должны собрать все свои силы, и тогда сможем сделать все, что захотим. Так он говорит.



— Интересно! Знакомые речи...

— Еще бы, они всем по душе! Даже Алланбий слушается Эримбета, хотя и старше его. Что ни говори, а пришлось Алланбию выпустить из чулана четверых муйтепов, — их схватили за то, что они подожгли сено у киятов. Не будь Эримбета, бай заморозил бы их в чулапе живьем.

— Жапак! Неужели ты не видишь, кто твой истинный враг?! — с горечью воскликнул Степан.

— Уж мне показали кто! На твоих глазах было. Слепой бы увидел...

— У меня к тебе просьба, — перебил Степан, — последи-ка за этим ученым красавцем. Глаз с него не спускай. Надо знать, о чем он говорит, с кем говорит, где бывает...

Жапак с недоумением оглянулся через плечо.

— Ты говоришь так, будто Эримбет...

— Это, брат ты мой, лиса! Облезлая, правда, линялая, но — зубки еще острые, береги горло... Он похитрей Алланбия!

— Что ты, что ты!

Степан махнул рукой.

— А я завтра же полетусь в Муйнак.

— Зачем?

— Надо.

— Не дойдешь ты до Муйнака.

— Не дойду — так доползу. Я большевик, Жапак. Мне не к лицу уходить из боя. Уж если такие дельцы, как Эримбет, не гнушаются работать здесь, я отсюда ни шагу! А у нас с тобой пока — никакого актива...

— Что такое актив?

— Ну, к примеру, аульный Совет. Аул есть, Совета нет. Надо выбрать... понял? Одним словом, в Муйнак, немедля. Свяжемся с муйнакскими коммунистами, и пойдет дело! Голову поднимем!

— Но ведь ты по дороге не знаешь, Степан... Кругом сплошь болота, топи, запутаешься, погибнешь. И куда тебе, хворому, — такая дорога! Не пуцу я тебя...

— Некогда спорить, друг.

Степан огляделся и кивком головы указал Жапаку на берег. Там появился новый всадник, на высоком коне.

Далеко от берега всадник спешил и скрылся в камышах, но Жапак тотчас узнал коня — серого в яблоках, лучшего из коней Алланбия. Куктемпр!

— Это уж по мою душу, — сказал Жапак не то с радостью, не то с опасением.

Упершись шестом в неглубокое дно озера, Жапак прыгнул из лодки на берег и побежал вглубь, раздвигая обеими руками камыш.

Навстречу ему шла Сулув.

На ее груди не было подвесок, голова повязана помужски красным, туго скрученным кушаком, в руке плеть. Она почти бежала, и все грозней казались Жапаку ее раскрасневшееся лицо и глаза, горевшие неукротимым огнем гнева.

Он понял: она идет, как было условлено меж ними, взять с него хун за отца! Все тело Жапака покрылось холодным потом, но он не укоротил шага. Что ж, если у нее есть нож, пусть всадит своей рукой ему в грудь, больше ему ничего не нужно...

Они встретились лицом к лицу на тесном болотистом пятачке, свободном от камыша. Сулув порывисто дышала. Жапак заложил руки за спину и выпрямился, открывая грудь. Но девушка, взмахнув руками, точно птица крыльями, бросилась ему на грудь, с силой обняла. И Жапак услышал у самого уха ее горячее дыхание, страстный шепот:

— Никого у меня нет, кроме тебя, Жапак... Эримбет ночью ворвался ко мне... Палмантаз круглые сутки вертится около моей юрты. Сама не замечу, как пырну ножом кого-нибудь из этих псов!.. Слышишь?

На глаза Жапаку навернулись слезы. Он прижался щекой к ее виску.

— Слышу, Сулув. Я все слышу... Кто, ты сказала, ночью?..

— Эримбет... Я убежала от него из своей юрты...

— Ну, погоди ж, краснобай! — сквозь зубы проговорил Жапак.

— Милый Жапак, не отдавай меня никому!

— Я с тобой, Сулув... Я всегда с тобой... Кто захочет до тебя добраться, нарвется на меня! Теперь мне ничто не страшно. Веришь?

Она прижалась к нему еще сильнее.

— Но ты не ходи ко мне. Опозорят тебя, милый. Скажут: «Отца убил, а теперь с дочерью...»

— Сулув!

— Не бойся за меня. О себе подумай...

Девушка выскользнула из его объятий и скрылась в камышах. Через минуту Жапак увидел ее скачущей на Куктемире к аулу.

Проводив Сулув взглядом, Жапак бегом бросился назад, к лодке, прыгнул в нее с разбегу, чуть не опрокинув, и привалился плечом к Степану, глядя на него ошалело и восторженно.

— Степан! Друг! Как ты узнал, что Эримбет худой человек? — И, не дожидаясь ответа, он добавил просительно: — Хочешь, я пойду в Муйнак? Говори, что мне там делать? Можно мне вместо тебя?

— Пожалуй, — ответил Степан, утирая со лба лихорадочную испарину.

### МАСЛО В ОГОНЬ...

Жапак вернулся из Муйнака не один. С ним прибыл уполномоченный муйнакского Совета. Это был человек средних лет, с маленькой острой бородкой и белесыми бровями, в полувоенной одежде, в очках с золотой оправой.

— Колесов! — представился он Степану, крепко потрянув его руку. — Вы оказали неоценимую услугу, товарищ Силаев, послав к нам надежного человека. А то, что вы решились, больной, остаться здесь, — попросту подвиг, это по-большевистски. Отныне вы станете нашей опорой в здешних местах. Мне поручено взять вас на учет. Будьте любезны, покажите мне ваш партийный билет.

Колесов взял билет Степана обеими руками, и руки его чуть подрагивали. Холеные руки, без царапин, без мозолька. Из учителей он, что ли? Колесов долго рассматривал билет, подняв очки на лоб, щуря глаза, словно обнаружил что-то подозрительное. Потом сказал покровительственно:

— А вы, оказывается, еще так молоды... Хо-ро-шо! — Он вкрадчиво улыбнулся. — Разумеется, у нас нет оснований не доверять вам, но и... простите меня, пока что мы вас по сути дела не знаем. Не так ли? Вообще вы человек нездешний. Вам необходимо у нас пожить, так сказать, акклиматизироваться, что, впрочем, не умаляет сказанного выше: за своевременный сигнал спасибо.

Чувство робости и настороженности охватывало Степана. Уполномоченный подавлял его мудреными словечками, начальственным тоном. Степан ждал расспросов, хотел бы и товарища кое о чем «спросовать». Но уполномоченный не слушал, а говорил сам без умолку, как за-

веденный, витиевато и наставительно. Не таким представлял себе Степан братка из Муйнака...

— Мы здешние спокон века, — говорил Колесов, пощипывая бородку. — Ситуация, которую обрисовал нам ваш друг, нас, собственно, не может удивить. Ситуация до шаблонности типичная! Право!

«К чему он клонит?»

— Итак, полагаю, следует завтра же провести выборы, — заявил Колесов.

— Завтра?! Сразу? — удивился Степан. — А может, сперва...

Колесов не дал ему договорить:

— Мы верим в народ, товарищ Силаев! В свою очередь, и у нас нет основания сомневаться в доверии народа. Не думаю вместе с тем, что следует в создавшейся ситуации настаивать на выборах Совета полного состава. Видимо, правильнее будет пока что избрать одно лицо, вполне полномочное... ну, допустим, председателя будущего Совета. Таково наше мнение! Кого бы вы считали возможным рекомендовать в качестве кандидата?

Это был первый вопрос, который задал Степану уполномоченный. Но теперь Степан не торопился отвечать. Не нравился ему Колесов. Степан чувствовал нутром, «печенкой», какую-то фальшь в его речах, во всем облике, чуждом, непонятном, — не похож на большевика, и только!

Подлив из тыквянки молока в чай, Степан намазал лепешку икрой и положил угощение перед гостем. Но тот слегка отодвинулся... Воротит здешнего-то от запаха икры!

— Вы хорошо знаете этого молодого товарища... Жапака? — спросил Колесов, обмахивая носовым платком усы и бородку.

— Знаю. Хорошо, — ответил Степан. — Этого бедолагу, как себя, понимаю.

— Превосходно! Лучшей характеристики желать невозможно. Он и в Муйнаке на всех нас произвел хорошее впечатление. Истинный выходец из народа. И такой, знаете ли, горячий, справедливый молодой человек... Вот вам и кандидат! Чем плох председатель? Недурен, право, недурен!

Этого Степан не ожидал. А Колесов даже отхлебнул из чашки чай и сморщился, будто бы оттого, что чай горяч.

Выбрать Жапака... Здорово! Степан и сам, пожалуй,

не решился бы такое предложить. А мысль дельная! Степан посмотрел на уполномоченного немного помягче и не заметил, как улыбнулся ему.

Кого же, в самом деле, если не Жапака, в Совет? Таких, как он, и выбирать. Вот и кончится его сиротство в родном ауле.

В ту минуту Степану очень захотелось потолковать с Колесовым по душам, без обиняков, как попроще... Кликнуть бы Жапака и посмотреть, как он изумится тому, что его, неженатого джигита, последнего бедняка в ауле, прочат во власть!

Но Колесов заторопился. Ему хотелось пройтись по аулу, побеседовать с людьми. Степан ожидал, что тот, по крайней мере, позовет его с собой. И ошибся. Вновь энергично тряхнув Степанову руку, а затем барственно кивнув, уполномоченный ушел.

На следующий день на широком белесом такыре между аулами муйтенгов и киятов, где в прежние времена происходили выборы баев-правителей, собрался многолюдный сход.

Пришло несколько сот человек; тесно расселись на земле, поджав под себя ноги. Вокруг были видны лишь высокие меховые шапки, и казалось, будто это прилегла отара овец.

Многие плохо понимали русскую речь Колесова, но слушали его внимательно. Главное же понимали все: не будут больше в каракалпакских аулах властвовать чиновники ханов-деспотов, а будет в Муйтенкуле Совет, и выберут в него бедняков.

Алламбий сидел впереди всех в меховом тельпеке. Поблескивая единственным глазом, он то и дело согласно покачивал головой — он одобрял каждое слово оратора из Муйнака.

Степан и Жапак стояли позади Колесова. Полуденное солнце пекло нещадно. У Степана кружилась голова. Все, что говорил Колесов, Степан хотел бы сказать иначе — короче, яснее, понятнее, но чувствовал, что не выдюжит, едва держится на ногах от слабости...

Он уже перестал слушать Колесова, когда тот внезапно предложил выбрать первым в Совет Жапака и, отступив в сторонку, подтолкнул Жапака вперед.

Несколько секунд длилась напряженная тишина, затем весь сход одним рывком поднялся на ноги, и вместе с густой пылью вознесся к небу неистовый рев.

Десятки голосов вопили во все горло:

— Не надо нам его, убийцу!

— Пусть заплатит сперва хун!

— Мы еще не сквитались, погоди!

Жапак прижался плечом к Степану, шепча:

— Это кияты... Я говорил: зачем меня?.. Я говорил...

А Колесов словно того и ждал — нимало не удивился и не потерялся. Терпеливо и ласково улыбаясь, он доволь-но вяло помахивал ручками, успокаивая сход.

И эта улыбка, это спокойствие выдали Колесова с головой. Он приехал, чтобы сорвать выборы! Это ясно!

Степан выступил вперед, но, как ни напрягал голоса, его не слышали. Поздно он спохватился...

Опершись о плечо Жапака, Степан проговорил пере-сохшими губами:

— Крикни ты. Предложи выбрать Уббиняза... Давай...

Но и Жапаку было не под силу перекричать толпу. Едва он открыл рот, кияты, горланя, бранясь, потянулись с площади, стали расходиться.

— Не будем выбирать! Не хотим такой власти!

И многие ушли.

Вместе с киятами шумели и муйтены, защищая Жа-пака. И постепенно голоса муйтенов взяли верх. Тогда Колесов визгливо выкрикнул:

— Голосу-ую! Кто за Жапака, поднимите руки!

Муйтены подняли руки.

— Принято! Выборы закончены! — прокричал Коле-сов, смеясь, словно бы радуясь успешному исходу.

Степан, шатаясь, шагнул к нему.

— Что вы делаете? Голосуйте Уббиняза заодно!

— Не надо, не надо первничать, товарищ Силаев, — от-ветил Колесов, обнимая Степана за плечи и почти силой уводя его с собой. — Будем держаться принятых решений.

А гул голосов на такыре не угнхал. Кияты и муйтены продолжали спор, — одни радовались, другие бранились, имя Жапака твердили на все лады.

— Слышите, что делается? — пробормотал обессилен-ный Степан. — Выборы должны были покончить с враждой между аулами, а мы ее только разожгли...

— Странно вы понимаете задачи Советов!

— Я так понимаю, что большинство не голосовало. Ушли люди...

Колесов оттолкнул Степана, принял начальственную позу.

— Мы не потатчики дебоширам и саботажникам. Вам, коммунисту, следовало бы мыслить принципиальнее! — И глаза Колесова насмешливо блеснули за золотыми очками.

— Вы-то коммунист? — спросил вдруг Степан.

Колесов прищурился.

— Я, дорогой мой, перед вами не отчитываюсь!

Затем, взяв Жапака под руку, он повел его в сторону аула киятов. Жапак оглянулся было через плечо на Степана, — взгляд у парня был растерянный и вопросительный, — но Колесов не отпустил от себя новоизбранного председателя Совета.

Степан остался один. Шедшие мимо кияты кричали ему:

— Эй, русский, купили тебя муйтены! За сколько?

— Недолго твоему председателю разгуливать по земле!

— Вернется Эльгельды, он его... выберет!

Вряд ли добрался бы Степан до дома — свалился бы по дороге, — да подошел Уббиняз, крепко подхватил его за пояс.

— Пойдем, брат, провожу...

Жапак вернулся к себе в юрту уже в сумерках. Молча уселся на землю, низко опустив голову.

Время от времени Степан чувствовал на себе его взгляды исподлобья. Казалось, парень что-то подозревал и хотел это скрыть. Однако не мастер он хитрить! Все у него наружу...

Над аулом было по-ночному тихо, только со двора Алланбия изредка доносилось подвывание прирученного волка.

Степан подсел к Жапаку.

— Ну что молчишь? Насупился, как сова... Видать, успел он наплевать тебе в душу.

— Он человек тоже ученый, — ответил Жапак глухо.

— Еще бы! Проучил нас, ротозеев. Это ж провокатор чистой воды...

— Чистой воды? Что это такое?..

Степан ответил, стукнув себя кулаком по лбу:

— Я сам виноват, сам! Ах, добраться бы мне до Муйнака!..

Жапак вновь опустил голову, прища глаза.

Издалека донесся протяжный вой волка. Степан невольно поежился, а Жапак словно и не слышал, привык, — волк этот всегда воет, когда в белой юрте бая появляется новый человек.

В ту ночь у святого отца гостил не кто иной, как Колесов...

С удобством облокотясь на пуховые подушки, он обгладывал жирное баранье ребрышко, запивая мясо добрым кумысом. Сытно в байском доме, но не мирно. Колесов пушил Эримбета:

— Зря ты путаешься под ногами у бия. Твоя старообразная, изношенная, как тряпка, теория о вращении рода в социализм давно изжила себя. Она пошла на саван алаш-ордынцам! Поди, истлела уже в их могиле... Большевики похоронили ее надежно. А ты еще носишься с ней со страстью политического дурачка!

— Во всяком случае, я не обольщивчился, подобно тебе... — отвечал Эримбет.

— Милый друг, у тебя как будто два глаза, ровно вдвое больше, чем у бия, но он видит в политике то, что ты и не заметил! Мы все балуемся, играем под большевиков. Но зачем? Затем, чтобы делать свое! Здесь не Россия, здесь мы к аллаху ближе. И пока любезные тебе роды и племена дерутся, они слепы! Что и требовалось доказать...

— Эта политика тоже на ладан дышит, дорогой Колесов!

— Положим. Допускаю. Но придумай же что-либо новенькое!

— Представь, что придумал. Очень скоро, быть может, ты увидишь меня в роли рыцаря ножа и плаща... Больше ничего не остается.

— Шикарно сказано. Что-то мне еще доведется услышать! Объяснись же, ради аллаха...

Эримбет бросил на блюдо обглоданную кость.

— Арал наш велик. И суда пока в наших руках. Я акционер пароходства Райтмана... На нашем Арале можно спрятать целый пиратский флот! Ты слыхал когда-либо, что такое «щелестящая тропа»?.. Айда со мной, господин адвокат! Сделаю тебя юнгой... Брошу все, выйду в море, и я адмирал. Гуляй, пока не потонешь!..

— Лю-бо-пыгги! Ты знаешь, весьма, весьма... — проговорил Колесов, перестав жевать.

А волк на цепи, привязанной во дворе к арбе, все выл и выл, подняв длинную пепельно-серую морду к луне.



## НОЧЬ, В КОТОРУЮ ПРОПЕЛА ПРЕДВЕСТНИЦА БЕДЫ

Жапака словно подменили. Целый день он не отходил от Степана ни на шаг, но глядел по-прежнему исподлобья, и в глазах его была тоска.

Степан и не пытался с ним заговорить, знал, что тот отомолчится, прикинется тугим на ухо.

«Пусть, пусть переболеет... Пусть сам разберется, что к чему», — думал Степан, не позволяя себе рассердиться, делая вид, что ничего не замечает.

Поздним вечером, при свете плошки, они сидели друг против друга и плели вершу. Степан тихонько напевал. И вдруг Жапак вскочил и, топчя старые, рваные сети, бросился к нему, крепко обнял его колени. Степан оторопел от неожиданности.

— Ты что? Зачем это?

— Я верю тебе... Верю, Степан! А тому, в очках, — не верю. Ты опять правду сказал: он тоже худой человек. Неужто все ученые такие? Зачем им дана ученость? Обманывать нас? Принес мне ветер из степи друга, тебя... а этот меня — как пса на лисицу! Совсем худой человек.

Степан потрепал его черные, точно смола, жесткие волосы, оттолкнул от своих колен.

— Коли я тебе друг, что ж ты кланяешься мне, как баю? Отвыкнуть пора от этих повадок! Чучело гороховое! Чем у тебя голова забита?

— Я знаю, знаю, что глуп.

— Кто глуп, кто умен, дело покажет. А раз уж тебя избрали — держись! И думай теперь не о себе. О людях думай. Что для них сделать?

— Не знаю я... не умею...

— Это ты брось, парень! — сердито вскричал Степан. — Раз и навсегда... Кто же верней тебя поймет, в чем нужда у трудового человека? Алланбий, что ли? Хватит слюни-то распускать! Не позволю! Кровь из носу, а что надо, сделай... сумей!

Жапак опустил голову, сказал неуверенно:

— Есть у нас большой арык, на нем дамба. Каждый год вода ее прорывает. Прозвали эту дамбу — Ишак Утоп... Эх! Собрать бы народ, вывести, поднять дамбу! Хорошо бы...

— И собери, выведи!

— А княты? Затеют на дамбе резню...

— А ты зачем? Ты власть. Не зевай. Вон Эримбет — именем аллаха... а ты — именем советской власти!

Жапак прислушался, отошел к открытой в степь двери юрты. Плоские вяленые рыбыны, висевшие над дверью, внезапно закрутились волчком под сильным порывом ветра.

— Опять задувает... — сказал Жапак. — Давеча в сумерках кричала птица-табушник. Не к добру.

— Вернись приметам?

— Как подавишься рыбьей костью, так и айрап будешь жевать!

Жапак вновь прислушался, беспокойно поглядывая на Степана. Ночь выдалась темная, в небе над степью ни одной звезды. А ветер свистел и ухал, набирая силу.

— Слышишь? — спросил Жапак.

Степан тоже подошел к двери.

— Что это?

— Сам не пойму...

Издалека, сквозь протяжные вздохи ветра, доносился странный шум — не то шелест камыша, не то гомон людских голосов.

Жапак и Степан вышли из юрты, почти на ощупь побрели к холму, у подножия которого стояли палатки муйтенов-рыбаков. Непонятный шум доносился все явственнее. Теперь можно было различить отдаленные голоса, испуганные, жалобные, — казалось, они звали на помощь.

— Беда! Это в ауле княтов, — сказал Жапак. — Недалеком кричала табушница...

Между палатками замелькали тусклые огоньки фонарей. Огоньки тянулись вверх на холм. А с холма слышались негромкие голоса муйтенов:

— Факелы! Гляди, жгут факелы... Ишь ты!

— Дамбу прорвало, будь она проклята... Наводнение...

— А поделом им, княтам! Пускай поплавают...

— Это божья кара за грехи... за гордость!

— Братцы, а у них в ауле ни одной лодки. Топут, поди...

— И верпо... Как вода шумит... Не убежишь от нее — догонит!

— Факелов-то меньше и меньше... гаснут... Что делается!

— Ишак утоп... и княт утоп!

— Пошли-ка, люди, спать...

Когда Жапак и Степан взобрались на холм, многие муйтены, позевывая, ежась от ночной прохлады, собирались уже расходиться по домам.

— Товарищи! — крикнул Степан. — Люди гибнут. Выручать надо.

Ему ответили насмешливые недобрые голоса:

— Какие люди? Разве кияты люди?

— Их выручишь, а они завтра прольют нашу кровь!

Степан словно не слышал их.

— Жапак! Скорей... Поднимай всех на ноги!

Но муйтены заговорили еще злее:

— Жа-па-ак? Только ему и спасать киятов!..

— За то, что брата его распяли на арбе, камнями забили...

— И самого убили бы... по сию пору грозятся!

— Зачем срамили его на выборах, позорили?..

— Беги, Жапак! Скорей... клади голову за своих лиходеев!

Степан дернул Жапака за руку.

— Ну, что же ты молчишь? Зачем тебя выбрали? Объясни народу зачем!

— Люди! — сказал неожиданно зычно Жапак. — Раз вы меня выбрали, я больше не муйтенец, не кият, я — аульский Совет. А Совет — за всех бедняков! Там не Алланбий, там рабы его тонут... такие же горемыки, как мы!.. Хотя они и обидчики наши... Стыдно, братья, спать в такой час!

С минуту длилось изумленное молчание. Муйтены словно не верили своим ушам. Но речь Жапака понравилась. В ней была новая правда, непривычная сила. Люди застыли в ожидании.

— Давай, давай... молодец... — шепнул Степан.

Жапак, почувствовав, что его одобряют, на момент потерялся; он и сам от себя не ожидал такой прыти. Парень стоял перед аульчанами, разводя руками, немо шевеля губами. Степан закончил за него:

— Лодки, товарищи... первым долгом — лодки! За мной!

Толпа шумным потоком хлынула вниз с холма. Казаюсь, обрадовались люди... Рыбаки умеют держаться дружно, когда приходит беда!

По аулу муйтенов пронесся призывный крик, словно передаваемый по эстафете:

— Кто выбирал Жапака — на дамбу!

Не заметили, кто первый так крикнул, но зов этот мгновенно облетел аул, и ни один человек не остался равнодушным.

Когда Степан прибежал к месту бедствия, на воде было уже несколько лодок.

В темноте, при неровном свете факелов, люди не узнавали друг друга. Отовсюду слышались панические крики, детский плач, вопли женщин. Глухо и страшно шумела вода. Но теперь Степан услышал и другие голоса, мужские, напряженно-спокойные, и узнал среди них охрипший, но властный голос Жапака:

— Вяжи камыш! Мужчины, на дамбу! Бросай лодки бабам!

Степан видел, как Жапак, высоко держа в руке факел, прыгнул из лодки на откос дамбы. За ним бросились другие с кетменями. Опустевшие лодки понесло к затопленному аулу.

— Катн коруру! Навались!

Корура — это большие округлые комы глины, смешанной с хворостом, камышом и кусками войлока. Обычно целое лето они лежат на дамбе, сохнут на солнце и ветру. Теперь их стали скатывать и валить в узкий прорыв в дамбе, откуда бурливо, с гулким плеском рвалась вода.

Степан вошел в воду по пояс — она была холодна и валила с ног, — поймал лодку и направил ее к ближайшей юрте. Но юрта оказалась пустой — ни людей, ни вещей, она сама плыла, раскачиваясь на легкой волне; рядом плыла детская зыбка, медленно тонули намокшие кошмы.

Потом Степан услышал в темноте кашель и натужное дыханье и втащил в лодку старика, плившего с большим узлом на голове, — бедняга выбивался из сил. Удалось подобрать еще двоих, топивших друг друга на глубоком месте, — эти были совсем невменяемы, не могли вымолвить ни слова. Степан не разобрал в темноте и в спешке, молоды они или стары, мужчины или женщины.

Оставив их втроем в лодке, Степан кинулся вплавать к другой, крутившейся на водовороте. Ухватившись за спущенное на воду весло, Степан нащупал босой ногой дно и... похолодел. Под ногой его был не грунт, а человеческое тело. Вдохнув поглубже, Степан нырнул, нащупал на дне мешок, видимо, с зерном, какие-то шесты и потащил изпод них утопленника. С трудом поднял безжизненное тело в лодку. Это была женщина.

Мимо проплыли две лодки, нагруженные людьми и узлами до отказа. На камышовой ограде, крутившейся на воде, сидел котенок. А неподалеку черпала бортами воду третья лодка, с нее послышались испуганные крики. Степан быстро подгреб к ней, пересадил в свою лодку детишек, перетащил к себе часть вещей, схватил и котенка, а сам опять слез в воду и пустился вплавь, держа за корму лодки и толкая ее впереди себя.

Плыл он легко даже в одежде, но остыл в студеной воде, — его стало знобить, и он опасался судороги.

Хриплый стон заставил Степана с тревогой взглянуться в темноту. Стон повторился, послышалось бульканье. Где-то близко захлебывался человек. Степан бросил лодку и изо всех сил, частыми саженками поплыл в сторону, где слышался стон.

Ему не сразу удалось найти тонущего.

— Где ты? Подай голос!

Молчанье.

— Ну, крикни, что ли!

Ни звука... Неужто опоздал? Степан яростно выругался. И тут же натолкнулся в воде на двоих — женщина, плывя на боку, поддерживала одной рукой мальчишку. Длинные ее волосы распустились, облепив мокрыми прядями лицо. Мальчик был без чувств.

Степан отобрал его у женщины, вытолкнул ее повыше из воды.

— Доплывешь сама-то?

Она невятно промычала.

К счастью, вскоре Степану удалось нащупать ногой землю. Спасительный холмик... Почти силой заставил Степан женщину встать на ноги. Она упорно сопротивлялась ему, судорожно била руками и ногами по воде, ничего не соображая. Потом отдышалась, откашлялась, повиснув всем телом на Степане, дрожа с ног до головы, и стала стыдливо отстраняться, отгораживаться от него локтями. Степан смекнул — это девушка.

— Ладно уж, — проговорил Степан, — держись знай!

— Спасибо... тебе... — ответила она хрипло, откинув волосы с лица.

И Степан узнал Сулув.

Он стал трясти мальчишка, растирать ему ладонью щеки. Тот стонал, не приходя в себя.

— Брат твой? — спросил Степан.

— Я его не знаю.

- Надо скорей... отогреть...
- Спасибо тебе,— повторила Сулув.
- И тебе...

Они поплыли дальше. У Степана свело ногу, но уже на мелком месте. Наконец выбрался на сушу.

На холме, у самой воды, горели костры. Повсюду слышались причитания женщин, детский плач. Полуодетые, промокшие до костей люди теснились вокруг костров, бродили меж ними, отыскивая родных и близких.

Степан положил мальчика у ближайшего костра, и сам свалился неподалеку, дробно стуча зубами.

Так пришла беда, и кияты остались без крова, без имущества, без куска хлеба. И так вышло, что в беде кияты увидели рядом с собой муйтенов. Молчали кияты, не понимали глаз. Не слышно было слов благодарности. Стыдно благодарить...

Только старый Уббиняз, сдирая с бороды налипшую грязь, вымолвил кратко:

- Добром за зло...

Рассветало. Вернулась с дамбы группа мужчин и среди них Жапак, едва волочивший ноги от усталости. Рыбаки сделали дело: прорыв завален надежно, вода перекрыта. Их окружили тесной толпой — и муйтены и кияты; сегодня их не отличить друг от друга.

— А Жапак-то, Жапак... Ну и парень! Что твой батыр! — заговорили в толпе киятов.

Тогда Уббиняз возвысил голос:

- А вы поднимали за него руку?!

— Знал бы я, поднял бы... — отозвался молодой кият. — Хоть сейчас подниму...

Сулув стояла рядом с Жапаком и искоса поглядывала на него восторженно блестящими глазами. А он вроде и не замечал ее, — так изнемог на проклятой дамбе.

— Степан где? — тихо спросил Жапак, и все стали осматриваться, ища Степана.

Его нашли в бреду у потухшего костра. Он не узнавал никого.

Тут же, над лежавшим в беспомощности мальчиком, голосила женщина. Другая женщина неистово колотила над самым ухом мальчика ступой о котел. Третья наставляла:

— Сильней звони, сильней! Услышит он — бог даст, и вскочит, сердешный...

Мальчик тоже бредил. Он так и умер под этот дикий звон.

## ЭЛЬГЕЛЬДЫ ВЕРНУЛСЯ

Вскочив на ноги, Сулув стремглав бросилась из юрты. И не заметила, как задела подолом платья ведро с молоком, — полетели белые брызги.

— Отец! Родной мой!

Она думала, что забьется, как птенец, расплачется на его груди. А оказалось, что отец потерялся в ее объятиях — он стал маленьким и тощим, плоским, как сушеная рыба. Один рукав его рваного халата был пуст, заложен за пояс.

«Ты ли это?» — спрашивал взгляд Сулув. И на глазах отца выступили скупые, постыдные слезы.

Давно ли он был рослым, плечистым, глаза его всегда смеялись, когда он молодецки джигитовал со своей дочкой по горным пастбищам! Теперь он калека, одно плечо опустилось, будто придавленное тяжким грузом, спина согнулась, а во взгляде мука, тоска. И следа не осталось от прежней воли и мужества в его лице; сиротливо торчат редкие сивые усы. Старичок жалкий...

Бережно обняв отца сильной рукой, Сулув повела его в юрту и, как ребенка, уложила на палас — бедняцкий ковер, у остывшего очага, отдохнуть после длинной пешей дороги.

Ныне и юрта Эльгельды не та, что прежде: поставлена кое-как, пуста. Там, где лежали кошмы, настелена чья, благо, что крепок этот камыш и его здесь много... В беспорядке валялись одеяла, стянутые узлами, из них торчала жалкая одежонка.

— Разведи-ка, доченька, огонь, да пажарь баурсаков, богу угодной еды... Все-таки я живым вернулся!

Сулув охватила дрожь, — она не узнала голоса отца. Был у него голос веселый и добрый, стал слабый и злой.

— Сейчас, отец, я мигом...

После наводнения в доме не осталось ни зернышка, ни горсточки муки. Сбежать к соседям... одолжить... да есть ли у них?

— Как же ты уберегла, доченька, хоть эти вещи?

— Я сама чуть не утонула...

— А вещи кто спас?

— Люди... пособили...

Сулув хотелось рассказать отцу, как пришли на выручку муйтены. Но вряд ли он поверит. Не стоит этого касаться.

Она налипла ему молока, пододвинула поближе лепешку. И стала кипятить чай, думая о том, как сказать бедняге, что муки для баурсаков сейчас негде взять.

— Теперь, милый, вы будете хозяйничать в юрте... куда поправитесь, наберетесь сил... А со скотом на джайлау я одна управлюсь, будьте покойны!

Эльгельды сам понял, почему дочка медлит, суетится без толку у очага. Поманив, он молча обнял ее единственной рукой... Поняла и Сулув: зима будет голодной — на каких хлебах ему поправиться? Со вздохом она приникла к его плечу. А он спросил, глядя в темный угол юрты:

— Жапак еще жив?

Сулув с болью посмотрела на Эльгельды. Последние свои силы он бережет для мести. Других стремлений, других желаний нет в его душе. Больше ему ничто не интересно, не нужно.

Всю свою жизнь Сулув любила и почитала отца. Он всегда был ей другом. А теперь... она обманывает его? Она любит и восхищается человеком, который укоротил, изломал жизнь ее отца! Грех-то какой! Она обнимала, прижимала к сердцу этого человека... Узнает отец — проклянет. Никогда перед ним не оправдаться.

— Что ж ты примолкла? — спросил Эльгельды.

Она выскользнула из-под его руки, отошла к рогожной двери и, приподняв, подставила лицо и грудь холодному ветру.

— Поди-ка сюда! — строго окликнул дочь Эльгельды.

Девушка сжалась в испуге. Стоит отцу взять за руку, велеть ей поднять глаза — и она откроется во всем...

Нежданные гости выручили ее.

— К нам идут, — сказала Сулув и отступила в глубь юрты.

Вошел Алланбий.

— Ассалам алейкум! Вернулся жив-здоров, брат наш?

Поправив на голове тельпек, отороченный дорогим мехом, одноглазый уселся около Эльгельды, поджал под толстое брюхо короткие ножки, тронул редкую бороденку и произнес молитву.

— Спас ты меня от лютой смерти, святой отец, — проговорил Эльгельды жалобно и лъстиво. — Но будешь ли доволен рабом своим? Не смогу я служить тебе, как прежде... — Он кивнул на свой пустой рукав и прослезился.

— Ты однорук, я одноглаз, мы ровня! — воскликнул



Алланбий.— Только бы господь был доволен, Эльгельды! А меж мной и тобой ничего, кроме родства, быть не может. Услыхал, что ты дома, бросил все дела, поспешил к тебе... Эй, Палман, где ты там? Давай вноси!

В дверях появился Палмантаз с огромным кулем на спине. Едва протиснулся с ним в юрту. Скинул куль под ноги Сулув и полой халата стал утирать с плешивой головы пот.

Сулув с отвращением отодвинулась от Палмантаза, не замечая, как масляный глаз Алланбия ищет ее в полутьме юрты.

— Вот, брат Эльгельды, это тебе,— сказал бай, поглаживая бороду.— Хорошая белая мука. Вели дочке состряпать тебе баурсаков!

Пламя в очаге на момент вспыхнуло, и взгляд Алланбия жадно скользнул по шее и груди Сулув.

— Белая, чистая, как лебединый пух...

Эльгельды всхлипнул.

— Пусть воздаст тебе господь, святой отец. И без того мы твои неоплатные должники...

— Бери, бери! Я принес тебе свой долг, долг божий! Дарю — твоя мука...

И, благостно помянув аллаха, Алланбий поднялся.

Палмантаз, цокая языком, качая головой, подошел к Эльгельды.

— Бедняга... Ах, несчастный... Ты ли это, корешок? Что от тебя осталось! Ну и ну! — запричитал плешивый, точно над подыхающей собакой.— Диву даешься: какого здоровяка извели, какую силу истратили! О, господи... А ведь Жапак-муйтен, который тебя изувечил, героем ходит, хвастает удалью! По сей день!

— Жа-пак? Хвастает?

— И за такое нахальство муйтены выбрали его правителем в ауле! Вон до какого срама дожили... Ты не слышал разве? Ну, и то ладно, что вернулся домой. Жив — и слава богу!..

Палмантаз покряхтел, отряхивая полу халата, и пошелся за своим хозяином.

Как только их шаги стихли за юртой, Сулув бросилась к отцу, горячо обняла.

— Милый, родной мой! Не бери у них муку, откажись! Пусть унесут ее обратно, умоляю тебя, отец!

Эльгельды слабой рукой отстранил ее.

— Что такое с тобой? Почему?

— Там, на холме... наши односельчане, раздетые, разутые... голодные! Живут в землянках... Дети умирают!

— Что поделаешь... Мы такое видывали не раз.

— Алланбий не дал им даже горсточку сушеной икры! А они день и ночь работают на него, себя не жалея... Чем мы лучше их? За что Алланбий награждает нас? Целый мешок муки... Подумай! Наши соседи пухнут с голода, а мы будем жарить баурсаки,— этакое только баю придет в голову!

— Но, доченька, ежели он захотел проявить милость к нам...

— Не надо нам милостей! Мы ему не чета. Кто знает, что он задумал. Нам на роду написано — держаться своих. А у нашего брата сейчас каждое зернышко на счету.

— Неужто никто ничего не припас к зиме? Не верится...

— Унесла вода. Дожить бы до зимы.

— Это божья кара за наши грехи,— сказал Эльгельды печально.— За то, что не держимся закона, расповалили муйтенов!

— Отец, дорогой,— с горечью выговорила Сулув,— поди посмотри своими глазами... Это муйтены отдали нам свои одежки! Муйтены делятся с нами сушеной навагой! Не Алланбий, святой отец,— муйтены, грешники! Что бы с нами было, кабы не они?

Эльгельды приподнялся на локте, изумленный и разгневанный.

— Муйтены, говоришь? Это правда?

— Клянусь тебе...

— Вот оно что! — проговорил Эльгельды сквозь зубы.— Милостыней хотят смыть с себя мою кровь... И ты еще хвалишь их? Мало тебе нашего позора? Все равно не дождутся они моего прощенья!

Сулув вскочила, отошла к двери, выглянула из юрты.

Над степью шелестел дождь. Ветер рябил унылые осенние лужи.

И тут Сулув впервые в жизни послушалась отца. Схватив куль с мукой за угол, она поволокла его вон из юрты и бросила под дождем.

— Сулув? Рехнулась, девка... Назад! — слабо прокричал Эльгельды.

Она вернулась и покорно припала к его ногам, готовая принять любое наказание.

— Так надо, отец... Так надо, мпый...

## ВЫСОК ТЫН АЛЛАНБИЯ

Зачастили дожди вперемежку с мокрым снегом. Солнце редко показывалось из-за туч. Степь потемнела.

Там, где еще недавно стоял аул княтов, плескалась мутная вода. Ветер волочил над ней дым чадящих костров.

Земля размякла, потекла. Такыр, где обычно собирались сходы, превратился в сплошное месиво — грязь по колено.

Сегодня с утра здесь не утихал шум и гвалт. Посередине такыра высилась куча поношенной одежды, домашней утвари. И куча все росла. Один нес вязанку камыша, другой — мешок с кпзяком, третий — шесты для юрты, четвертый — кошму, циновку... Все это бросали к погам Жапака.

— Берн, председатель... раздавай, кому пужно!

Кругом толпились, ожидая дележа, кияты.

Подошел старый рыбак-муйтен, с трудом вытаскивая сапоги из лишкой грязи. Не один год он выходил на рыбную ловлю старшим на передовой лодке, и его так и звали — Аджинияз-старшой. Он принес связку сушеной наваги и длинное копьё с железным наконечником.

— Народу отдай, не жалей, он сторицей вернет! — проговорил Аджинияз-старшой. — А что, братец Жапак? Время дорого. Обсудил бы с народом, что задумал! Дельно задумал-то...

— Люди! — сказал Жапак. — Вы слышали слова Аджинияза-старшого. На первых порах кое-как вы продержитесь, пропасть не дадим. А дальше? Как жить будете? Зима на носу!

— Айда с нами на озеро! — добавил Аджинияз-старшой. — Лодки, сети — наши, улов поделим. У рыбака, правда, то густо, то пусто. Муйтены никогда сытыми не были, но и с голоду не помирали... Айда вместе, одной артелью! Глядишь, ветерком соленым повывудет из нас прежнюю-то дурь.

Княты помалкивали. Топтались на месте, не глядя друг на друга. А иные стали потихоньку отходить в сторону, подальше от греха.

— Что притихли? — сварливо закричала пожилая женщина, выступив вперед. — Люди в такой несчастный день открыли перед нами свои двери. А мы? Носы воротим!

Доброе слово мертвеца оживит. Спасибо вам, муйтены, спасибо! И то сказать: все мы дети Кунграта!

Уббинияз, подпоясанный поверх ватного халата сырой камышинкой, ответил веско:

— Ладно говоришь, Калчабу. А кричишь зря!

Но Калчабу вновь закричала:

— Взвоешь, милый, как детшки некормленные повиснут на твоём подоле!

— Ну и ступай, положи подол в Муйтенкуле! — насмешливо отозвался кто-то из-за ее спины.

Толпа киятов редела. Молодой пастух в казахской шапке пошел прочь и повел за собой жену.

— Говорил я тебе: сойдешься с муйтенами — вмиг рыбаком станешь...

Вслед за ними пошла другая молодуха, накинув на голову пустой мешок, та самая, которая швырнула Степану в лицо фальшивые порошки...

— Неужто же у нашего святого отца не найдется куска хлеба для нас, сирот? Да лучше я подберу объедки на байском дворе, чем стану делить еду с нищими муйтенами! — И она смачно сплюнула.

За ней потянулись двое стариков, вознося руки к небу.

— Щедрость святого отца не знает границ... Он только мигнет — и прокормит тысячу...

— Дурни вы, дурни! — сказал им вслед Уббинияз. — Гляньте, высок тын Алланбия! Не перелезешь. По мне — лучше войти в открытые двери.

— А есть у муйтенов двери-то? И дверей-то нет! — ответил издали калымщик. И, смеясь, закинул за плечи пустой мешок, точно хотел сказать: «Вернусь с полным».

Многие смотрели с завистью ему в спину. Уверен человек — стало быть, милостив к нему бай. А уж если бай захочет, наградит по-хански убогого раба своего. Слава богу, у Алланбия всего полно, амбары ломятся.

Жапак стиснул зубы. Опять святой отец незримо встал на его пути. Сам на люди носа не кажет, а мутит, сбивает народ с толку. Прав был Степан. Он предвидел и это... предостерегал... А как, как обойти Алланбия?

Муйтены хмурились. Конечно, обидно.

— Сколько ни делай добра, кияты свое — все равно наплюют на твою соль... — шепнул Жапаку Аджинияз-старшой.

Того и гляди разгорится прежняя безумная вражда. А Жапак останется ни в тех, ни в этих... Что бы сделал сейчас Степан? Ему не до того. Выживет ли, бедняга? А поправится — выбранит в сердцах за нерасторопность. «Затем ли, безмозглого, тебя выбрали?»

— Отец Уббинияз, что скажешь? — спросил Жапак.

— Скажу одно: не все княты попрошайки! Как встречаются на байском дворе, мы насмотрелись досыта, а что делается здесь, на такыре, сроду не видывали... Вот мое слово!

— Ампын! Дели имущество! — скомандовал Жапак. — У кого детишек больше — подходи ближе. Посмотрим, кто щедрее, кто милостивее — бай или народ!

И такая была вера в его голосе, что настроение разом переменилось и у княтов и у муйтепов.

Кто имел, опять понес в общий котел, а нуждающиеся брали без жадности, не завидуя один другому.

Между аулом муйтепов и становищем княтов по сырой земле протянулось множество тропинок.

Неожиданно выглянуло солнце, степь посветлела, потеплела, от земли пошел густой пар, и дети княтов выбежали из юрт муйтепов, где их приютили сердобольные матери, поиграть под косогором на солнцепеке.

Насчет главного порешили без спора, не сговариваясь, молчком, взялись сообща чинить рыбацкую спась. Старички княты, в жизни своей не державшие в руках удилица, расселись у сетей, развешанных на кольях, — учиться их латать. Наука немудреная, дело пошло! И пошло веселье, за шутками, за смехом, казалось, забыли про голод. Когда душа сыта, и брюхо не так урчит.

Между тем вернулись два старика, ходившие на поклон к Алланбю. Вернулись, пряча пустые мешки за пазухами.

Их тотчас заметили, но не показали вида, — мало ли кто где ходит...

Пройдя сторонкой, старички подобрался к Уббиниязу, который прилаживал древко к остроге, и смиренно уселись возле него, поджав ноги. Уббинияз усмехался в бороду, не глядя на них. Молодые ребята собрались было позубоскалить над попрошайками — Уббинияз прогнал болтунов.

— И верно, мы дурни, — сказал один из стариков.

— Святой отец из вши кровь высосет, — добавил другой.

— Ему легче душу богу отдать, чем протянуть голодному милостыню. Зимой снега не выпросишь... А у самого в чулане рыба гнет.

— Господи! И во двор не впустил... Увидел меня, закричал: «По твоей вине уплыло две тысячи снопов моего камыша! Теперь будешь девяносто дней косить мне камыш!» Управы на него нет...

Уббинияз неторопливо отложил серп, которым обтесывал древко.

— И других он так же встретил?

— Другим, говорят, мешками отваливает муку.

— Кому? Когда?

— Люди видели: Алланбий сам отвез Эльгельды куль муки, самой что ни есть белейшей! Почему мы и кинулись сдуру к его ногам...

— Ну, Эльгельды — тот его верный пес, — заметил Уббинияз, снова берясь за серп.

Старики заговорили наперебой, словно споря друг с другом:

— А я? Чем я хуже Эльгельды?

— Тем и хуже, что у тебя нет дочки!

— Известное дело: отвесит еще батман муки и уведет девку...

— А ты как думал? Полный расчет!

— Эльгельды служил ему всю жизнь, отдал руку, — пожалеет ли девку!

— Служил он, и она послужит святому отцу...

Подошел Жапак. Он слышал разговор, и Уббинияз встретил его виноватым взглядом, словно считал себя в ответе за Эльгельды. Но Жапак казался спокойным. Он ничего не сказал старикам. Удивительно, как повзрослел этот парень за последние несколько дней!

— Отец Уббинияз, я к вам за советом. У нас на плаву двадцать четыре лодки. Собирайте охотников — завтра с рассветом на озеро.

— Охотники найдутся, — ответил Уббинияз, отводя Жапака в сторону. — А мне самому нужен бы совет...

— Хватит ли у меня ума, отец?

— Сын мой, ты теперь нам голова, па тебя надежда... Не вышел я сегодня работать на байскую маслобойню. Как думаешь, проживу я со своими желторотыми? Не придется опять лизать сапоги одноглазому?

— Не придется, отец. Врозь пропадем. Вместе выдюжим!

— Думаешь?

— Не сомневайся. Сомнение — оно кости ломит похуже безгака.

— Вон как ты говоришь...

— Был я вчера на той стороне реки. Степан посылал. Там везде аулсоветы... Видел я издольщиков Турдымурата. Они давно перестали работать на байских полях. Живут — не тужат без бая!

— Так ли?.. Глянуть бы на них хоть одним глазком.

— Там знают про нашу беду. Обещали прислать нам сыру, молотого риса. Надо бы и их отдарить рыбой — она у них редка, рады будут.

— Помоги господь ее изловить, рыбу-то... и пошли тебе, сынок, счастья!

— Мне со Степаном дайте родительский наказ, отец. Поплывем с ним в Муйнак. Попросим у советской власти зерна. Степан говорит: дадут.

— Плывите, милые, плывите... И ты не бойся, сын мой, я сам посторожу Сулув, уберегу девку...

Жапак покраснел, опустил голову, но сказал твердо:

— Я не боюсь, отец. Сулув нельзя ни купить, ни продать.

## СУМЕРКИ В КАМЫШАХ

Сулув легко подняла на руки барана, вожака отары, и перенесла его через арык. За вожаким потянулась вся отара. Бросив быстрый робкий взгляд на отца, Сулув юркнула в камыши.

Эльгельды, безразличный к разбредшимся овцам, присел на кочку, положил двустволку на колени.

Он все так же молчалив. С утра до ночи ни с кем не обмолвится словом, бродит и сидит один, раздумывая о своем, точно глухонемой. Оживляется ненадолго, лишь когда приходит домой Сулув.

Сегодня он не усидел в юрте, упросил дочку взять его с собой в степь. Но и там не встряхнулся от своей дремоты. Ружье взял по привычке, носил его, как палку. И если под выстрел набежала бы огненно-рыжая лисица, в глазах Эльгельды вряд ли зажегся бы азартный огонек, как бывало.

Дочка держала отару поблизости от Муйтенкуля. Эльгельды и на это не обратил внимания.

Со стороны озера слышался топот копыт. Лихо под-

скакал Палмантаз, кубарем скатился с седла и, сунув плетку за голенище сапога, остановился перед Эльгельды.

— Здорово, кум! Объезжал я табунчиков, гляжу... си-дишь, как ястреб с обломанными крыльями... Не узнать тебя, брат, право, не узнать!

Эльгельды не отвечал. Палмантаз присел рядом.

— Измочил ты дареную муку под дождем, м-да... Но Алланбий не в обиде. Знаем, чьего это ума дело. Видим, размякло у тебя сердце!

Эльгельды и тут не повел бровью.

— Чураешься народа. Оно понятно: чувствуешь свою вину. Растоптал ты честь киятов — щадишь кровного обидчика. Конечно, трусом тебя назвать нельзя — ты увечный... Да люди толкуют иное! Зря, говорят, ждали его; не руку он потерял, а совесть...

Эльгельды поежился, отворачиваясь.

— А главное,— продолжал Палмантаз, причмокнув бледными губами,— Жапак разошелся. Поверишь ли, при всем народе похвалялся, что уведет у тебя дочку... а босяки-муитены слушают и гогочут! Кликну, говорит, сама прибежит, а отца — прогоню...

Эльгельды схватил Палмантаза за грудь слабой рукой.

— Врешь, пес!

— Спроси у нее, милый мой, зачем она не отходит от озера? Где она сейчас, знаешь?

Эльгельды испуганно и жалобно глянул на Палмантаза, промычал печленораздельно и, подняв с земли двустволку, побежал на шатких погах в камыши.

Палмантаз ухмыльнулся вслед, подмигнул слезящимся глазом и вскочил на коня.

Эльгельды выбрался к низкому заболоченному берегу озера. Пожелтевший камыш стеной стоял вдоль берега. Увязая в топкой чавкающей под ногами грязи, раздвигая коленями острые стебли осоки, старый пастух нетерпеливо осматривался, ища свою Сулув.

Неподалеку послышался плеск воды. Эльгельды неслышно вошел в воду, протискиваясь сквозь заросли камыша. Свет закатного солнца ударил ему в лицо, на миг ослепил. А потом Эльгельды увидел в конце узкой ленты воды, сжатой с боков шелестящими шпалерами камыша, две лодки — большую и маленькую. В большой сидели двое мужчин. Эльгельды тотчас узнал Жапака, другой был, видимо, русский. В маленькой лодке стояла, опираясь о шест, Сулув.



Эльгельды хотел крикнуть и не смог.

Ему не было слышно, о чем они говорили с дочкой. Жапак сидел на веслах. Но вот он поднялся на ноги. Сулуп толкнула к нему шестом свою лодку и... обняла парня. Кинулась ему на шею!

Русский отвернулся. А Жапак опустился перед Сулуп на колени, обхватил ноги, прижался к ним лицом. Она выпрямилась, закинула назад голову, счастливо смеясь...

Господи помилуй! Прощались они, что ли? При чужом мужике, не таясь... Бесстыдство какое!

Сердце захолонуло в груди Эльгельды. Он стоял не дыша, опираясь рукой о ружье, увязшее прикладом в тине.

И вдруг над камышами гулко прокатился выстрел.

Лодки качнулись на воде. С головы русского слетела шапка. Эльгельды видел, как Жапак силой принудил Сулуп пригнуться. Но она вырвалась из его рук, быстро осмотрелась, схватила шест и стрелой полетела в легкой лодчонке к берегу, прямо на Эльгельды.

Раздался второй выстрел. Вновь долгое эхо покатилося, запрыгало по камышам. Эльгельды обернулся и увидел в нескольких шагах позади себя Эримбета с черным, блестящим на солнце пистолетом в руке.

Сулуп была уже на берегу. Эльгельды не успел даже протянуть руку, чтобы удержать ее. Она, подобно ужу, скользнула мимо него сквозь густой камыш и, не поднимая крика, не разжав зубов, кошкой метнулась к Эримбету.

Он упер ей в грудь пистолет, зашипел:

— Застрелю! С-сука!..

Эльгельды невольно зажмурил глаза. Когда же он открыл их, Сулуп сидела на Эримбете верхом, рука его, державшая пистолет, была вывернута за спину, а девушка, вцепившись джигиту обеими руками в волосы, тыкала его лицом в грязь и приговаривала:

— Из-за спины, змея... змея...

Ему все же удалось сбросить девушку с себя, он пихнул ее ногой в живот и пустился бежать в камыши. Сулуп погналась за ним.

С треском подминая под себя камыши, подплыла лодка Жапака. Выскочив на берег, Жапак встал против Эльгельды и раздвинул перед собой осоку, чтобы тот его лучше видел. Сказал спокойно:

— Что же, стреляйте, отец. Прежде вы не промахивались... Заряжайте оба ствола!

Эльгельды не в силах был вытащить из тины ноги. Показав кивком себе за спину, он выговорил, задыхаясь:

— Там она... застрелит он... Скорей!..— И протянул Жапаку двустволку.

Парень все понял, ударил себя кулаком в грудь, заревел и по-медвежьки вломился в чашу камыша.

Подошел Степан, взял из рук Эльгельды ружье, осмотрел. Оно было заряжено, но оба ствола чисты, как стеклышко, а приклад в тине.

— Та-ак,— сказал Степан и пошел следом за Жапаком, на ходу взводя курки.

Вскоре, однако, они вернулись втроем — Жапак, русский и Сулук. Эльгельды еще издали слышал их возбужденные голоса. Он присел на борт лодки, стараясь отдышаться. Увидев его, они притихли.

Сулук подобрала в зарослях пистолет Эримбета, подошла к отцу, сказала виновато:

— Сбежал. Царапается, как баба...

Эльгельды будто не слышал.

Подошел Степан, кашлянул для бодрости, почесал ключую бороду.

— Собирались мы в Муйнак, отец. За хлебом для пострадавших. Думаю, привезем хлебца... Это раз. Теперь второе: нужно бы с нами ехать кому-нибудь из киятов. Отец Уббинияз остался в ауле за старшего. Может, ты поедешь... депутатом от народа... А?

Эльгельды выслушал, подождал, не скажет ли русский еще чего-либо, и поднялся с тяжелым вздохом. Взял из рук Степана свое ружье, постоял понуро и, не сказав ни слова, не глядя ни на кого, пошел прочь. Сулук, так же молча, опустив голову, пошла за отцом.

Сгустились сумерки. На озере заметно похолодало. Ночь предстояла студеная, ясная. Жапак и Степан вошли в лодку и оттолкнулись от берега.

## ПОСЛЕДНИЙ РАБ, ОДНОРУКИЙ..

Трое суток Эримбет скрывался в камышах, а на четвертую почь, трусливо обходя костры у землянок, остерегаясь аульных собак, подобрался к юрте Эльгельды.

Красивое, холеное его лицо покрылось мелкими гноящимися прыщами, обросло кабаньей щетиной — с нее ска-

тывались капли росы. Три дня думал, но так и не смог додуматься Эримбет, почему тогда, на озере, Эльгельды не поднял своей двустволки. Стрелок отменный, не промазал бы и с одной рукой. Случай был редкостный, расчет наверняка: старик — в Жапака, Эримбет — в русского. И концы в воду.

Оробел старик, устал? Вряд ли. Эримбет слышал, как он скрипел зубами. У него была гангрена, а он выжил. Эти пастухи выносливы и свирепы, как волки в голодную зиму. Неужели простил старый кровного врага? Простил дочь?.. Не может быть!

Эримбет прислушался. В юрте спали. Старик изредка всхрапывал во сне. Ночь удалась: кругом глухо, неба не отличить от земли. Эримбет неслышно обошел юрту, присел у входа.

Но когда он бесшумно приподнял рогожную дверь, из юрты донесся ясный голос Эльгельды, точно там ждали гостя:

— Эримбет?.. Зачем пришел? Рыщешь по ночам, как шакал. Уходи, покуда цел!

— Встань-ка, Эльгельды, и не кричи,— прошептал Эримбет, вползая в юрту.— Мне надо сказать тебе кое-что...

От очага исходил слабый свет. Эльгельды лежал спиной к Эримбету. А Сулув, казалось, не было в юрте — так легко было ее дыхание. Эримбет не различал ее в полутьме, но и она, конечно, не спала, слушала, не вмешиваясь в разговор мужчин.

— Я знаю, что ты мне скажешь,— спокойно проговорил Эльгельды, не поворачиваясь к Эримбету.— Сперва хотел убить из-за моей спины, теперь хочешь спрятаться за мою спину. Мудрец!

— Но разве мы чужие? — возразил Эримбет.— И разве не должна была моя рука совершить суд божий, если твоя ослабла?

Эльгельды усмехнулся.

— На словах ты намного ловчее, чем на деле...

— Признаю. В этом моя вина! Однако вспомни, кто мне помешал... Твоя дочь преступила законы предков. Впрочем, она молода, я не осуждаю... не виню...

— Нынче, господин мой,— перебил Эльгельды,— не в твоей воле судить, не твоей руке карать. Вот как оно вышло! Наперед советую: дочке под горячую руку не попадайся — пришибет, не приведи аллах!

Эримбет на минуту прикрыл ладонью лицо, скрывая приступ бешеной ярости, прикидываясь удрученным.

— Тебя ли я слышу, отец Эльгельды? Тебя ли, человека, которого я не пустил в могилу, когда другие уже похоронили!.. Бесчувственного, истекавшего кровью, всеми брошенного, отправил в больницу, против воли бая, на его лучшем коне... или это не ты был? Конечно, теперь иное. Теперь я в твоих руках. Ты единственный, кто видел, как я... н-неловко стрелял...

— Ну, видел.

— Если ты скажешь: «Не знаю и не ведаю»...

Эльгельды повернулся наконец к Эримбету, крихтя и вздыхая.

— Ах, господин, господин, добрый господин! Не я тебя загнал в камыши. Новый страх тебя гонит, новый закон! Меня ты не бойся. Твой пистолет я велел выбросить в озеро.

— Спасибо.

— И тебе спасибо,— ответил Эльгельды с насмешкой.— Вот уж спасибо, что не бросил дочку одну, отослав меня в больницу. Пришел навестить в первую же ночь... Думал, отблагодарит дуручка-пастушка за отца! Что же, полакомился девкой? Угостила она тебя, благодетеля?

— Что было, то было... грешен...— пробормотал Эримбет.— Но я бы жевился на ней, если б она не была так строптивая!

Старый пастух презрительно улыбнулся, устало откинулся на спину.

— Все вы одинаковы, хоть ты, хоть Алланбий!

Вероятно, благородный Эримбет был искренне возмущен, когда внезапно крикнул в запале, теряя терпенье:

— Но я же тебя спас, неблагодарный, а он чуть не погубил! Это же Алланбий приказал своим людям изрезать сети муйтенов и кинуть скоту под копыта на водопое! Он подстроил резню!

— За-а-чем?..— ошеломленно выговорил Эльгельды.

Тут только сообразил Эримбет, что проболтался, и прикусил язык. Даже Сулув зашевелилась в своем темном углу. Эримбет закашлялся, стараясь выиграть время. Ничего в голову не шло! Он не понимал, перестал понимать, как нужно говорить с мусульманином, единокровным братом... А Эльгельды сказал неслыханное:

— Все вы сволочи! — И вдруг затрясся, задержался,

вахрипел, слизывая с усов редкие слезы, выставив вперед единственную руку. — Ох, какая сволочь!

В ту же минуту Сулув оказалась возле отца, а Эримбет отпрыгнул к двери.

— Скажи ему, доченька: если он не уберется куда подальше, я его сам изловлю и выдам!

Ночной гость тотчас скользнул за дверь.

Эримбет побежал напрямик к Алланбюю, поднял его с мягкой постели.

— Мне не удалось договориться с однорукиком.

— А что тебе, пустобай, удалось? Уходи!.. Пока еще не рассвело... Возьми, что тебе нужно, и уходи.

— Позволь хоть отогреться. Четвертые сутки без крышп, без огня... зуб на зуб не попадает, изголодался. Невозможно собраться с мыслями...

— Кому нужны твои мысли? Ты свое сделал... Дранный вонючий рыбак, который прежде не смел подойти ко мне, если его не подзовут, вваливается в мой дом, как в свой, без поклона, и еще допрашивает меня, точно он правитель или бай! Ты меня довел до такой жизни, пустомеля.

— Время ли сейчас считаться, дядя?

— Убирайся с моих глаз! Выстрелить толком не сумел, губошлеп! Умей хоть спрятаться. Если тебя увидят, найдут в моем доме... Ты знаешь, что Колесов арестован?

— Не может быть!

— Сейчас все возможно. Мои же рабы разнесут мой дом в щепы... В жизни своей не упомяну такого! Дни Турдымурата пали на мою голову. Весь аул смотрит на меня волком. Я опозорен, обесчещен! Этот мальчишка, безродный щенок, голодранец Жапак усадил все-таки муйтепа и княта в одну лодку... Чудо? Не верится?.. А кто ему подсобил, подыграл своими правоучениями? А русского — после того, как ты промазал, — охраняют, точно святого! Говорят, по нужде одного не отпускают...

— Проклятье!

...Жапак и Степан привезли из Муйпака четыре лодки, груженные мешками с зерном. Провожатого дали одного, — едва выгребли втроем. На другой же день большая часть поденщиков Алланбюя не вышла на работу. За ними потянулись пастухи, издольщики, калымщики... Каждое утро работников у бая становилось меньше, а шло только третье утро! Одна из маслобоен встала; из сарая, где разделялась рыба, несло мушиное гудение, людских голосов не слышно; верблюдицы ходили недоеные.

Один Палмантаз, байский утешитель, признанный весельчак и шут, не унывал: в том, что люди не хотят работать на бая, он видел смешное происшествие, чуть ли не розыгрыш.

По утрам плешивый являлся к баю, по обыкновению держась за живот.

— Ох, лопну... уморят они меня! Помру от смеха, клянусь! Жрать нечего, дети ревут, бабы пухнут, а они... Сидят в одной лодке, ну, ровно собака с кошкой. Муйтен — сюда, кият — туда! Тот — направо, этот — налево. Слыхом не слыхивал про такое баловство. А ведь все он, Жапак, его проделки, ах, черти б его съели! Вот шутник! И что они с ним сделают, как очухаются? Лопну, я говорю, лопну...

Палмантаз и сегодня пришел, хихикая и балагурия, но, увидав Эримбета, запнулся на полуслове.

— Ну, посмотрим, однако, чья возьмет,— проговорил бай, щуря свой глаз, палитый кровью, точно у кролика.— Хватит ли у Жапака ржи переманить моих рабов, которых я выкормил с пеленок!.. Палман, сейчас же собери пастухов, объяви, что будешь раздавать муку всем, кто придет к моему порогу! И рыбу... ту, которая подгнила в чулане... Потом сбегай, позови ко мне Эльгельды. Я-то с ним живо сговорюсь... Посмотрим, что будет!

Плешивый, потирая руки, хлопнул себя по ляжкам, побежал исполнять приказ бая. А Алланбий отправился сам в обход черных юрт своих рабов.

В таком гневе святого отца не видели со времен, когда он был еще правителем. Кормилец и благодетель был вне себя.

Пространно выбрав конюхов, известных лодырей и дармоедов, Алланбий погнал их на маслобойню. Ворвался к валяльщицам кошм. Устроил и там полнейший погром. Всех баб выгнал доить верблюдиц и чистить икру. Попутно распорядился, чтобы табунщикам в горы, на джайляу послали бурдюк с кунжутным маслом и два мешка ржаной муки.

На пороге большой юрты, в которой женщины ткали коврики, Алланбий столкнулся с Бибикатчей. Этой толстозадой все нипочем. Она по-прежнему занята своим: сторожит, чтобы Алланбий не загляделся на какую-либо ткачиху. Упаси боже, если Бибикатче что-то померещится, уж той несчастной не будет жизни! Люта байская супруга. Живьем в гроб уложит.

Аллабий, сплюнув, отошел. Знала бы Бибикатча, какая птичка у него на примете! Не чета грязным ткачихам. Придет час, сплавит Аллабий долговязого, доберется и до Сулув. Кому, как не баю, обломать ей крылышки?! «Зря юлишь, Бибикатча, зря шпионишь, бесстыжая! Не миповать тебе своего удела. Быть в доме второй, молодой. И один дьявол знает, кто из вас кого укоротит...»

«Пусть только явится Эльгельды-кият, — думал Аллабий, возвратясь в свою юрту. — Все одним махом и решу! Нечего тянуть».

Эримбет спал, укрытый с головой несколькими одеялами. А Палмантаз не возвращался. Где он запропастился? Зубоскалит где-нибудь, подлец.

— Пусть только явится Эльгельды! — шептал себе Аллабий, прихлебывая из касы пенящийся кумыс. — Пусть только явится однорукый!

Приоткрылась дверь. Боком вошел Палмантаз и остановился у двери. Он был необычно серьезен, озадачен.

— Где он?! — закричал Аллабий, вцепившись в овчину, на которой сидел.

— Где ж ему быть? У себя, в вонючей норе...

— Ну, так что же? Чего ты мнешься?

— Странно он говорит, святой отец... «Спасибо, говорит, святому отцу за мою жизнь. До смерти и после смерти, говорит, не забуду...»

— Ну? Дальше что?

— «А если, говорит, святому отцу нужно, пускай сам ко мне придет, на своих, говорит, байских пожках...»

— Что? Ты к кому ходил, дурак?

— К Эльгельды, святой отец, к Эльгельды...

Аллабий вырвал из овчины клочок шерсти, вскочил.

— Это он так сказал?

— Ой, святой отец, он, твой однорукый раб!

Эримбет беззвучно смеялся, высунувшись из-под одеял.

## ЮРОДИВАЯ КАЛДЖАНГУЛЬ

За службу у бая пастуху позволялось доить одну из коров. Она кормила пастуха. Аллабий велел увести корову со двора Эльгельды. И стало совсем худо.

Приходил к Эльгельды давний приятель и сверстник Уббиняз, уговаривал его:

— Выйди к людям! Заблудившегося волки съедят!

— К людям? Теперь кияты под властью у муйтенов... — отвечал Эльгельды.

Этого порога он не мог переступить.

Уббинияз хвалил Жапака. А Жапак стал для Эльгельды еще нетерпимей, чем прежде, — он отнимал у него Сулук! Пока с ним дочка, красавица, джигит-девушка, первая в ауле и на всей кунгратской земле, он — человек. Он — отец Сулук! А что такое он без нее? Тосковал старый пастух. Великое горе свалилось ему на душу — горе упрямого одиночества. То, чем он жил с детства, ушло безвозвратно. Не гулять ему больше по вольной степи на коне, не вымячить весной ягненка, не спасти отару овец или косяк лошадей во вьюгу от волчьей стаи! А чем еще жить?

Он все отдал — молодость, силу, честь... А кому отдал? Бесчестному баю, злому человеку, худому хозяину. Пусть бы взял Алланбий его труд, умение, неистовую преданность, готовность жизнь положить за породистого жеребенка или каракульскую овцу. За что искалечил, изломал?

Нынче он всем чужой, сирота. Нет у него ни родичей, ни друзей. От своих отбился, к чужим не прилепился. Ни в тех, ни в этих, не муйтен и не кият... Один, как отрубленный палец!

А однажды уйдет и Сулук. Она уйдет... Так должно быть, так будет. Этого не миновать. Это не ее вина... И виделось Эльгельды, как он бредет по длинной дороге, из аула в аул, сутулый, тощий, запыленный, с пустым, болтающимся на ветру рукавом, с нищей сумой. Собаки далеких, чужих аулов брешут и кидаются на его корявый посох, и никому нет дела до нищего бродяги. Мало ли их на белом свете! Конечно, дочка не бросит его. Но голод уже смотрит им обоим в лицо. Видно, на роду Эльгельды написано — побираться на старости лет. Брюхо не ждет, оно жадно, как бай...

Охрипший, гнусавый голос вывел Эльгельды из раздумья. «Господи, помилуй... Кто это?» Эльгельды поспешно поднялся с кошмы, выбежал из юрты. Неподалеку, разложив на овчине сухой верблюжий помет, старуха юродивая гадала двум женщинам.

«Вот она, моя судьба...» — сказал себе Эльгельды, вздрогнув от суеверного предчувствия. Юродивая разделила помет на три кучки и заговорила с духами. Голос у нее сильный, страшный. Женщины слушали ее с трепетом, но не отходили.



— На твою голову выпало три шарика. Ежели создатель примет тебя рабой своей, будет тебе радость, родная. А вот золотые шарики меднокопытного. Будь покойна, двери твои закрыты для нечистого...

Помянув имя божье, старуха встала и пошла к юрте Эльгельды. А он невольно попятился, глядя на ее трясущийся, острый подбородок, голую иссохшую грудь. Остановилась и она, заметив Эльгельды, и испуганно подняла свою палку, точно обороняясь от собаки.

— Кто ты — человек или пес?

— Иди, иди, не бойся...

Она опустила палку.

— Покажи мне усадьбу Алланбиа, раб божий.

Он показал молча, коротким жестом руки. Но она не уходила. Стояла, тяжело опершись о палку, сверля его маленькими, черными, точно капельки смолы, сумасшедшими глазами.

— А где твоя вторая рука, Эль... Эльгельды?

Он немо разинул рот, схватившись рукой за грудь.

— Калджангуль... — прошептал он, бледнея, будто столкнулся среди бела дня с духом.

— Я самая. Юродивая Калджангуль. Восемнадцать лет, как я юродивая Калджангуль... Слышала, будто зарезали тебя муйтены, да вижу, ты живой, слава богу! — И старуха опустилась на колени, чтобы прочитать молитву.

«Она, она!» — твердил себе Эльгельды, с содроганием глядя на ее босые ступни, почерневшие за восемнадцать лет жизни без крова и приюта.

Помолясь, старуха приблизилась к Эльгельды и спросила, боязливо озираясь:

— Жива?..

Он задрожал и тоже огляделся, точно вор, отвечая:

— Да, Калджан... жива... Как поживаешь? Все бродишь?

— Это не я, доля моя бродит, Эльгельды. Завидев меня, собаки не лают, а воют, как волки над падалью. Именем моим страшат детишек и баб глупых... Нет мне смерти! Вот и странствую из аула в аул, шатаюсь из края в край... Если белая собака оценит черного щенка, ее поскорей убивают; думают, это она меня родила. Если человек невзначай назовет мое имя, потом три дня ходит с закрытым ртом... — Старуха склонилась к уху Эльгельды. — Покажи-ка мне ее!

Он отшатнулся. Давно забытое всплыло в памяти. Много лет назад, когда Эльгельды водил по горным пастбищам табуны Алланбия, годами не показываясь в ауле, среди табунщиков появилась юродивая женщина. Она несла, прижимая к груди, годовалого ребенка, девочку, завернутую в лохмотья.

Табунщики сразу узнали в ней одну из рабынь Алланбия, но никак не могли дознаться, чей у нее ребенок. У женщины поминутно мутился рассудок, и тогда она путала людей с конями и предлагала табунщикам попасться на траве. В минуты просветления бедняга рассказывала, проливая слезы, как Алланбий бил ее сапогами по голове. Это и была Калджангуль, некогда красивая, веселая девушка, певица и затейница игр.

Жену Эльгельды томила бездетность, и она отобрала ребенка у юродивой, приютила у себя. Девочка оказалась чудесная, здоровенькая, бойкая, смешливая. При первом взгляде все называли ее Сулув, что значит Прекрасная... Так это имя и осталось за ней. А Калджангуль исчезла с пастбища так же внезапно, как и появилась. С тех пор Эльгельды ее не видел, только изредка слышал рассказы про нее.

Сулув минуло три года, когда жена Эльгельды померла, застудившись при переправе через горную речку, вспухшую после осенних дождей. И он забыл, давно забыл, что дочка у него приемная. Теперь все восставало в нем против этого напоминания.

— Калджан, я прошу тебя, ты не трогай Сулув. Иди себе своей дорогой... Мне недолго осталось, и я такой же, как и ты... Никого и ничего у меня нет, кроме Сулув. Я не отдам ее.

— Успокойся, чудак-человек,— ответила старуха.— Думаешь, она дочь мне? Я обманула вас тогда, побоялась сказать правду. О, господи... Слушай, что скажу. Она дочь правителя Алланбия!

Эльгельды усмехнулся про себя: заговаривается сумасшедшая, забредила... Но она смотрела спокойно, здраво, даже вроде бы виновато. И он почувствовал, что ноги подкашиваются.

— Слушай дальше, человек... Была у Алланбия когда-то мастерица-ткачиха, ловкая девка, веришь ли, редкой красоты, подобная луне. Мы все завидовали ей. Звали ее Бибикатчей. В один год у Алланбия вдруг померли одна

за другой две молодые жены, и он стал волочиться за той ткачихой, рабыней...

Эльгельды припомнил: действительно был такой случай, за одно лето бай свел в могилу двух жен.

— Одна я знала, что Бибикатча должна родить. И вот родила, бедняжка... Ночью, когда она лежала, еще не обмывшись, без сил, ничего не соображая, Алланбий велел взять у нее ребенка и отнести в дикую балку Кучук-кеткен... бросить там на погибель... Ребенок от рабыни, к тому же девчонка... Это был позор для бая!

Ошеломленный тем, что слышал, Эльгельды пробормотал бессвязно:

— Будет тебе... Молчи... Шла бы ты отсюда, Калджан... Не надо, иди...

Она закончила с гордостью:

— Я подобрала своими руками и убежала с ней из усадьбы Алланбия! Дальше ты знаешь, Эльгельды... Скажи хоть, какая она? Говорят, всех краше! Правда ли, что хороша?

Он смотрел со страхом. «Вот она — моя судьба...» — повторял он. Вчера Алланбий отобрал корову, кормилицу. Завтра велит отдать дочь, единственную радость.

Старуха заметила его растерянность, сказала смиренно:

— И ты тоже чуждаешься меня, раб божий? Грешно тебе, Эльгельды. Подал бы хоть кусок хлеба.

— Калджангуль... не сердись на меня... Не поминай лихом. Нечего мне дать... Господь тебя отдарит.

— Много нас у господи-то! Эх ты... однорукий!

— Не знаю, как тебя и просить... Помалкивай... не разболтай!

— Семнадцать лет, как я помалкиваю.

— Не обижайся...

— Семнадцать лет не обижаюсь.— Старуха насушилась.— Не отличить пса от человека...

В ту минуту она была похожа на большую птицу с встопорщенными перьями и широко раскрытым, точно от жажды, клювом.

Эльгельды не успел сообразить, чем ее задобрить. Подошла Сулув. И он встал между ними, тщетно стараясь отгородить дочь от юродивой. Старуха тотчас догадалась, кто эта девушка. И удивительно, как преобразилась, посветлела, помолодела старая, глядя на нее. Протянув к Сулув руки, она заговорила в болезненном экстазе, словно читала молитву:

— Это ты... гордость моя... сердце мое... жеребенок мой... Я тебя вынесла из дикой балки, из пасти звериной.— Она суетливо стащила со своего плеча рваную, засаленную торбу.— Вот... на, возьми все, верблюжонок мой черноглазый!

Сулув певольно рассмеялась ее дару, ее словам, и старуха вмиг поблекла, осунулась, сгорбилась. Точно слепая, пошатываясь, она пошла мимо Сулув, прижимая к груди торбу.

— Кто это, отец?

— Нищенка, безумная... Она добрый человек. Поди догони ее, поблагодари... Она не хотела тебе плохого.

Сулув побежала за Калджангуль, но та отвернулась и, не слушая, пошла в сторону. Старая бормотала не то молитвы, не то заклинания, шла спотыкаясь; она была уже не в себе.

Сулув вернулась к отцу, обняла его.

— Опять ты на ногах. Бледный как мертвец! Не жалей себя. Пойдем, приляг.

Она повела его в юрту, уложила, принялась разводить в очаге огонь.

— Отец, что я тебе скажу... Не будем мы голодать! Аулсовет решил нам тоже дать немного ржи. И теперь я с женщинами буду вязать сети. Обещали взять меня на ловлю рыбы!

Эльгельды не отрывал от нее беспокойного взгляда. Он слушал веселый голос, но не понимал того, что она говорила. Слушал и вздыхал, вздыхал, подавленный, измученный тайной тревогой: не проболтается ли юродивая?

### БИБИКАТЧА НАШЛА СОПЕРНИЦУ...

Сулув сидела под камышовым навесом и молола рожь на лепешки, когда во дворе появилась Бибикатча. Звеня всеми подвесками, браслетами, богатым монистом из разноцветных бус и монет, она бесцеремонно уселась против Сулув и затараторила:

— Послушай, Сулув, бесценная моя, с тех пор как ты перестала пасти скот, я думаю, ты соскучилась без дела, бедняжка... Тошно сидеть сложа руки!

Никогда эта женщина, сколько Сулув помнила, не заходила так, запросто, к аульным женщинам, работницам ее мужа. Стало быть, и ее мастерицы-ткачихи перестают

работать у бая. Пошла хозяйка по дворам — кого усоветить, кого упросить...

— Я рада тебе, матушка госпожа, — сказала Сулув, не поднимая смеющихся глаз.

А Бибиكاتча как села, так и засмотрелась на девку. Впрямь хороша! Руки полные и крепкие, смуглая кожа точно бархат, молодые груди торчат под платьем, на лбу бисером блестят капельки пота, а глаза как у ханши: и горды, и мапят...

Когда-то, давным-давно, сама Бибиكاتча была такой. Недаром бай взял ее в жены из рабынь. Много лет Алланбий не смел ввести в дом вторую жену. И разве с годами подурнела Бибиكاتча? Она стала еще полнее и пышней...

Пока жива, она не даст себя в обиду. Другая женщина не войдет в юрту Алланбия безнаказанно!

Вчера ночью Бибиكاتча подслушала, как Алланбий шептался с Палмантазом:

— Что хочешь делай, убей однорукого или завали его ишеницей, но девку мне добудь.

Так велел одноглазый, чтоб ему ослепнуть на второй глаз!

И Бибиكاتча поняла простую истину: ее выгонят из дома; Алланбий сквитается с ней за всю былую власть ее молодости. Он хочет вышвырнуть ее в степь, как некогда вышвырнули несчастную Калджангуль. «Однако посмотрим, кривой дьявол, постарела ли Бибиكاتча!»

Перед самым рассветом, еще затемно, она выскользнула, никем не замеченная, из усадьбы и побежала к бродячему лавочнику, промышлявшему опнумом. И вот теперь ладонь ее жег мышьяк — самое верное средство. Бог собил ей найти соперницу.

— Без дела я не сижу, матушка госпожа, — сказала Сулув, утирая пот со лба. — Бедняк сложа руки только помпрает. А ткать коврики я не умею, мать не учила...

На минуту Бибикатче стало жаль ее молодости.

«Погубит тебя твоя краса, девушка, — подумала она. — И мою жизнь она сгубила, кинув меня к ногам бая. Такая уж наша доля бабья... Господи! Кабы послал ты мне счастье родить от немилого немощного мужа, разве подпяла бы я руку на себе подобную? Прости, господи, рабу свою, прости! Не карай за великий грех...»

Откинув за спину тяжелые косы, Сулув глотнула воды из тыквы, стоявшей рядом, и, вытянув вперед занемевшие

ноги, снова усердно завертела маленький жернов. День выдался на редкость теплый, душный.

Взяла тыкву и Бибиكاتча и незаметно бросила в воду несколько кристалликов мышьяка, взболтнула ее как бы невзначай. Но Сулув заметила, что важная гостья только поднесла тыкву к губам и, не испив ни капли, отставила. Брезгует, что ли? Или вода недостаточна студена?

— Хочешь, я подарю тебе... что-нибудь? — спросила Бибиكاتча упавшим голосом. — Хочешь монету из мониста?.. Самую большую!

— Нет, матушка госпожа... За что? Я все равно не пойду к вам ткачихой...

— За красоту твою, глупая.

— Не надо...

Сулув подняла глаза на Бибикатчу и вздрогнула — такая нехорошая, злобная гримаса на миг исказила молодое, сытое лицо госпожи. «Что это с ней?»

— Вам больно, матушка госпожа? — озабоченно спросила Сулув. — Вы неудобно сидите?

— Не беспокойся, я никогда ничем не болею! Ты вот притомилась, бедняжка. Вспотела! Испей водицы, милая...

Сулув послушно взяла из рук Бибикатчи тыкву с водой, а та, вновь зазвенев своими украшениями, поднялась и пошла со двора.

Сулув постояла у камышовой ограды с тыквой в руках, провожая гостью. Бибиكاتча приветливо кивнула ей из дали:

— Испей, испей, родная моя...

Когда же матушка госпожа скрылась из вида, Сулув с размаху выплеснула воду из тыквы и пошла к корчаге набрать свежей, попрохладнее... Коли на то пошло, Сулув тоже брезговала пить воду, которой касалась байская жена!

Часом позже из широких ворот усадьбы Алланбия с воплем выбежала юродивая Калджангуль. Старуха была без палки и без торбы. Редкие седые ее волосы летели по ветру, жалкие лохмотья едва держались на теле. Она бежала вприпрыжку, размахивая костлявыми руками, точно курица, за которой гнался хорек.

Ей удалось отбежать довольно далеко, когда в воротах появился Алланбий, держа на цепи прирученного волка. Зыркнув глазом по сторонам и углядев беглянку, Алланбий показал на нее волку, науськивая. Зверь рвался с цепи, вывалив на сторону язык.

Аллаббий дал юродивой добежать до камышей — за ними начиналось обширное болото. И отцепил цепь от ошейника. Волк без лая, низкими длинными прыжками, словно стелясь над землей, понесся за старухой.

Аллаббий удовлетворенно крикнул. Он сам загодя готовил зверя для такой травли, и вот подоспела нужда... Кому какое дело, если загонит серый никому не нужную, сумасшедшую старуху в трясину или разорвет ей горло коротким волчьим ударом своих мощных клыков! Серый делает свое дело — он похоронит навек то, что не удалось скрыть полтора десятка лет тому назад.

Пусть пеняет на себя сердобольная дурочка!

Волк скрылся в камышах, а Аллаббий — за высоким тыном своей усадьбы. И не увидел святой отец, как из ворот выбежала другая женщина, которой суждено было замешить в этом мире подлунном, на суровой кунградской земле юродивую Калджангуль.

В разорванном на груди платье, без головного платка, с растрепанными волосами прибежала Бибиكاتча во двор Эльгельды, уже полубезумная. Бусинки и монетки с ее драгоценного мониста осыпались одна за другой, падая на дорогу.

Первым долгом она кинулась к тыкве с водой и завывала, заголосила в неподдельном отчаянии:

— Господи! Лучше бы я сама выпила! О, будь я проклята!

Оттолкнув Эльгельды, который строгал весло, прижав его щекой к плечу, Бибиكاتча протянула трясущиеся руки к Сулув.

— Ди-тя мо-е!..

Сулув в испуге отбежала от нее, но та догнала и схватила девушку, повернула к себе лицом и стала ощупывать ее, судорожно, испуганно.

— Доченька, кровинка моя, пепаглядная... Ты вся в меня... Убей же свою несчастную, безумную мать, убей!.. Не прощай! Умрем вместе... Подними руки, задуши меня! Вырви мне глаза! Дитя мое...

Тщетно Сулув пыталась освободиться из ее рук — в них была нечеловеческая сила. Эльгельды стоял не шевелясь.

Вдруг, оставив девушку, Бибиكاتча заметалась по двору, нашла тыкву, схватила ее с диким криком, стала рассматривать, ковырять ногтем ее дно. Потом с яростью швырнула о землю. Посудина раскололась на две половин-

ки. Бибикатча повалилась рядом с ними и принялась слизывать капли воды сперва с одной, затем с другой. Огляделась, увидела Сулув и закричала опять, забилась головой о землю, дергая себя за волосы.

Подошел Эльгельды, приподнял ее с земли.

— Бибикатча, приди в себя... Что с тобой? Хочешь напиться?

Она вырвалась и отползла. Посидела, тяжело дыша, распутив губы, бессмысленно глядя перед собой усталым, потухшим взглядом, и заскулила, тихо, жалобно, точно щенок.

Сулув попробовала с ней заговорить. Но та уже не узнавала ее, не слышала. Когда ее подняли и поставили на ноги, она побрела шатаясь, держась за голову и причитая себе под нос:

— В голове вода... Ты не пей, дитя мое...

До самого вечера Сулув не отходила от отца. Она почувствовала — он что-то скрывает. Таиться от дочери он не умел. Пришлось Эльгельды сказать правду. Она приняла ее как будто спокойно. Но в сумерках, у очага, Сулув неожиданно припала к груди отца, точно дитя, и сказала, вздрагивая:

— Отец, я боюсь... Не отдавай меня... Слышишь?

## ТАК ВО ВСЕХ АУЛАХ!

Холода стояли такие, что у быков рога трещали. Особенно студено было перед рассветом, и Степан, сойдя с лодки и поставив ее на прикол, долго не мог разогнуть одеревеневших колен.

Прибрежный камыш давно пожелтел, пожух, местами повалился, стал гнить. Ветер гулял над озером, свистя и воя, пропизывая Степана до костей. Кругом не видать ни зги, — ни смоляного факела, ни костра. Видимо, до аула неблизко или рано еще, спят. Степан осторожно пошел от берега, на ощупь находя узкую тропу, выющуюся в зарослях камыша.

Отсыревшая одежда жгла тело, Степан продрог, но ускорять шаг было нельзя — собьешься с тропы, набредешь на топь.

Выйдя на тесную полянку, покрытую — Степан знал это по памяти — горелым камышом, он остановился, прислушиваясь. Впереди в осоке что-то тихо хрустнуло. Ка-



мыш непрестанно шелестел под ветром, и не понять было, что там шевельнулось. Хорошо, если кабан или шакал. Но, может, Эримбет опять пожаловал в родные края? Кто знает, что здесь стряслось, пока Степан был в Муйнаке! Впрочем, люди, скорей всего, стерегли бы его на берегу, у самой воды...

Степан вытащил наган, пригнулся и свистнул, ожидая выстрела или топота кабаньих копыт. Тишина. Тогда он крикнул:

— Кто тут есть?

Ему ответил слабенький детский голосок, дрожащий от холода:

— Отец, милый... это я...

Степан оторопел. Неужели ловушка? Детский голос... Хитрая приманка!

И тут же он догадался и крикнул смущенно. Что только не примерещится ночью в камышах! Наоборот, это оберегают его от беды...

Степан шагнул в темноту и нашел под кустом девочку, завернувшуюся в лохматый халат, трясущуюся всем телом. Он узнал ее.

— Гульзира! Ты зачем здесь?

— Отец, милый, тебя убьют, беги скорей... Тебя хотят убить!

— Кто?

— Не знаю.

Он снял с себя бешмет, завернул в него девочку и, подняв ее на руки, понес. Она рассказывала, запинаясь, стуча зубами:

— Валяльщики кошм из черной юрты послали меня за айраном. Пришла я во двор бая, а там, в белой юрте, так бранятся, так бранятся... «Пора, говорят, убрать русского, он замутил нашим баранам головы. Убить его, как собаку!» А ты, отец милый, никому не мучил голову, ты мне дал лекарство, и я выздоровела. И подружка моя выздоровела. Я им сказала: «Зачем его ругаете? Это неправда!» Они закричали, погнались за мной, но не поймали...

Степан с силой прижал девочку к груди, она обняла его за шею.

— Отец, милый, ты не думай, никто не хочет, чтоб тебя убили. Это они, в белой юрте... И Жапак тебя очень любит. А я вчера с вечера пришла сюда...

— Ты... сидела здесь с вечера?

— У нас был дождь... Я их не боюсь...

— Ах ты, горе мое! Руки-ноги-то чувствуешь?

— Не знаю...

Степан ускорил шаг.

— Они не посмеют убить меня, Гульзира. Там, в белой юрте, боятся нас!

— А я всегда буду возле тебя, ладно, отец, милый?

— Ладно.

Еще в темноте добрались до юрты. Жапак не спал. Увидев Гульзиру на руках Степана, он закричал с сердитой радостью:

— Жива! Ах, чтоб тебя... жива! Где только не искал ее целую ночь напролет! Голову потерял...

— Скорей снимай с нее все...

Девочке докрасна растерли руки и ноги, напоили ее кипящим чаем с перцем и, укутав с головой, уложили у жаркого огня. Она уснула.

Жапак, поджаривая на сковороде рыбу, сказал:

— Знаешь ли, весь аул, в точности как наша Гульзира, мечется, боится, сторожит! Люди — как дети, и жалко их, и зло берет!

— Разберемся, — ответил Степан, суша сапоги у очага. — Спокойнее, друг! Не гневайся на детишек... Так сейчас во всех аулах! Старое уходит, новое непонятно. Ну, и боязно с непривычки... Разберемся, дай срок! Прошлый раз, когда мы с тобой хлеба просили, и нам и им недосуг был, минута дорога. Но уж на этот раз я добрался до муйнакских братков, задал им перцу...

— Ты — им? Задал перцу?

— А как же... Революция в степи! Это тебе, дядя, не чай пить...

— А они?

— А они всыпали мне по первое число, — со смехом сказал Степан.

Было это так. Степан вошел в низкий рыбацкий барак, утопавший по самые окна в рыхлом песке.

Встретил его с виду молодой, но болезненно бледный и хмурый человек на костылях, в полосатой тельняшке. Звали его Чары, по выговору чарджоуский узбек.

— Что тебе, дед? Кого надо?

Степан, измученный долгой дорогой, много раз вымокший и насквозь промерзший за несколько суток на «шелестящей тропе», молча протянул свой партбилет. По щекам Чары разлились розовые пятна.

— Прости, Силаев... Так это ты? Дай я тебя обниму, герой, пугало болотное!

Раздвинув костыли, он стиснул Степана за плечи и тут же закашлялся, сел.

— Пуля у меня в легких, нога отнимается, понимаешь. Вроде твоего безгака! Колесов — тебе говорили? — бело-гвардеец, оказывается, махровый. На допросе разошелся: «Скоро, говорит, сдохнешь. Пуля в тебе моя!» Это он меня в Чимбае угодил... в спину... Но врешь, не сдохнем, еще мало-мало проживем!

— Я думал, он из попов. Разит от него на версту, — сказал Степан. — Думал, носы у вас простудой заложило...

Чары усмехнулся, принимая упрек.

— Случай, понимаешь, носы прочистил! У вас в ауле, мы считали, он просто напутал, не справился. И ты заодно с ним...

— Спасибо! Сравняли петуха с вороной!

— Не обижайся, дорогой. Люди у нас считанные... Есть человек вроде тебя в ауле — есть советская власть. Нет человека — и нет советской власти! Руки не дотягиваются... Пролетарская революция — это, Силаев, работа! Ее делать надо. Так или нет... матрос?

— Так.

— А если так, стой на своем посту. Трудись! А то в Муйнак заберем. Нам такие... битые... позарез нужны.

— Нет, — сказал Степан, — я из аула ни шагу!

— Понравилось? Интересно?

— Жизнь худая, хуже не видел, а люди — золото!

— Золото, говоришь? А кто с тебя шапку пулей спиби? Забыл?

— Забыть не дают... пока что...

— Ну, а к арбе привязать, камешком ребра пощупать не обещали?

— С этого началось. Было... А люди хорошие. Рабочий парод! Терпеливый.

Чары рассмеялся.

— А я-то думал — ты на рыбку муйтенкульскую польстился... — Он подмигнул. — Копчененькую, а? Тамошний бай не угощал тебя? Ни разу? Зря.

— Зря, конечно, — согласился Степан.

Между тем около них собрались рыбаки, мотористы — в папахах, брезентовых шлемах, в болотных сапогах и опорках. Чары весело ткнул в сторону гостя костылем.

— Этот вот аксакал и есть Силаев! Представьте — он...

Ему были все рады.

— Слыхали, слыхали про такого...

— А ты на самом деле лечишь от безгака — не то хной, не то известкой?

— Говорят, ты во время паводнения сорок девушек спас?

— Ты лучше скажи, кого вы там выбрали вместо Совета? Правителя? Или придворного?

— А хана вы еще не избрали?

— Если тебе бороду подлиньше, ты и сам сойдешь за святого отца!

Степан развел руками, словно бы в растерянности.

— Смейтесь, смейтесь, а все-таки я своего Эримбета раскусил, а вы белогвардейца проспали!

— Кто такой Эримбет?

Степан и сам не знал, кто он. На словах вроде за народ, за коммуны.

— Он в меня стрелял...

Тогда Чары заговорил об Эримбете так, как будто много раз видел и слышал его. Даже голос Эримбета, воркующий, стонущий от напганного волнения, Чары изобразил до того похоже, что Степан открыл рот в изумлении.

— Ты его знаешь?

— Теперь мы такая сила, — ответил Чары, — что все черненькие, желтенькие, зелененькие будут подкрашиваться под наш цвет. Эта птица должна объявиться в Муйнаке. Если сунется к нам, будь уверен, овечью шкуру снимем с шакала! Не проспим. Колесов — урок достаточный... А пока — держи. — Чары протянул Степану свой наган. — И не зевай. Раз в тебя стали постреливать, значит, ты до рога стоишь!

Отвернувшись, Чары опять закашлялся, и впалые щеки его болезненно порозовели от натуги.

— Тебе бы к доктору, — сказал Степан, с болью глядя на него. — Хоть пулю вытащить...

— Для нашего брата дело — доктор. Лучше не надо! А пулька мне дорога, как память... Ты займись другой пулей, она в груди Муйтенкуля. Именуется: Аллабий!

— Задушит тебя свинец... смотреть страшно...

Чары недовольно нахмурился.

— Разберемся, дай срок, Силаев. Работы по горло... Сейчас помни одно: революция в степи! Это тебе, дядя, не чай пить.

.....

— Покажи наган, — попросил Жапак.

Степан показал. Жапак сосчитал, сколько в барабане пуль, почмокал губами, но спросил с сомнением:

— Ты застрелишь Алланбия?

Степан рассмеялся, отобрал наган.

— Баловаться с оружием не будем. Но уж паразитам вроде бая и его Палмантаза спуску не дадим. Всех к погтю!

— А как это делается?

— Выберем законный Совет. И перво-наперво — выгоним с народного схода Алланбия с позором! Голосовать будут одни трудовые руки. Потом соберем байских пастухов, испольщиков, поденщиков, калымщиков и именем советской власти объявим, что они свободны от всех долгов Алланбию.

— Ну, на это он никогда в жизни не согласится!

— А если он будет рыпаться и не придет в Совет с поклоном и с повинной головой, мы его будем судить народным судом.

— Что ты, что ты! Алланбия? Разве это можно?

— Дальше. Созовем Совет и постаповим — отнять у бая его имущество, нажитое народным трудом и потом, и раздать неимущим байские луга и пастбища, стада и табуны...

Это было неслыханно, и Жапак только прошептал в страхе:

— Резня будет, Степан...

— А зачем брату бить брата — разве нет у нас другой работы?

— То же самое говорил Эримбет...

— Нет, не то, милый! Он плел, что Алланбий тебе брат, а по-моему — Эльгельды. — И Степан закончил радостно: — Наша берет, браток!

Рассветало. Неведомым путем прознали в ауле, что русский вернулся из Муйнака с великими новостями.

И вот в юрту с шумом ворвался старый Уббинияз, обнял Степана, сидевшего у очага, заодно, на радостях, и Жапака и, изменяя дедовскому обычаю, заторопил Степана:

— Ну, как? Что там? Верный ли слух пущен по степи?..

Ему не терпелось самому рассказать то, что дошло до его ушей и проникло в самое сердце, и он заговорил скороговоркой, теребя бородку:

— Неужто не слышали? Два кипчака приехали из Кунграта, переположили весь аул. Им, стало быть, один узбек из Джизака говорил, будто бы фирман вышел, называется реформа! В Фергане, говорит, и земля, и вода, и даже арбы и мулы перешли в собственность Советам, и будто бы все раздают бедным дехканам... Может ли статья такое? Узбек этот с хлебом в руке поклялся, что сказал правду. Как думаешь, не брехня?

Жапак уставился на Степана, затаив дыхание. Видать, он не бросал слов впустую, когда говорил: «Так во всех аулах»... Видать, революция, точно ветер, землю облетает!

Степан вытащил из-за пазухи измятую газету, развернул ее, разгладил любовно и ткнул пальцем в большие, непонятные Жапаку и Уббиниязу, буквы.

— Вот здесь написано... напечатано... черным по белому... В Средней Азии отобрано у баев два миллиона десятин земли!

— А скот? — спросил Уббинияз.

— И скот...

— Так я и думал! Узбек на хлебе поклялся.

Старик взял газету из рук Степана, внимательно и почтительно рассмотрел те буквы, которые указывал Степан, и, став на колени, прижал газету к своему лицу.

На следующий день в ауле состоялись выборы. На этот раз голосовали дружно. Алланбий на сход не пришел. Избрали в Совет Жапака, Степана, Уббинияза, Сулув и Аджинияза-старшего.

Нашлись люди, которые стали подсчитывать на пальцах, сколько будет у власти киятов и сколько муйтенов, но заспорили только из-за Сулув. Когда назвали ее имя, из задних рядов крикнули:

— Она дочь Аллана! Если баю нет нашего прощения, за что такая милость его родной дочке?

Поднялся Жапак, сказал, смеясь:

— Какая же она дочь баю, люди? Пес шелудивый выхаживает своих щенков. Курица бьется с ястребом за цыпленка. Или мы не знаем, как поступил Алланбий?

— А вот заговорит в ее жилах байская кровь — потянет к святому отцу... Что тогда скажешь?

Жапак ответил горячо:

— Разве может река, утекшая в море, вернуться вспять? И можно ли саксаул, выросший в песке, переса-

доть на болото? Сулув — наша сестра, пастушья дочь! Не на байских хлебах выкормлена...

И Степан залюбовался своим другом в ту минуту. Видно было, что людям правилось, как заступился Жапак за девушку, — ее любили в ауле. И когда кто-то крикнул, озорничая: «Известно, почему ты ее защищаешь!», весь сход зашумел неодобрительно.

— Ладно, — сказал Жапак. — Кто болтает, язык откусит! Пусть Сулув сама скажет перед народом, кто ее отец. Говори, Сулув, смело! Скажи, что будешь делать, если тебя выберут.

Сулув встала, зардевшись до ушей. Рядом, у ее ног сидел на земле Эльгельды, сторбленный, молчаливый, держа длинную палку между колен, по обычаю чабанов. Сход притих, и звучный голос девушки был слышен повсюду. Она сказала с обидой и гневом:

— Я Алланбия человеком не считаю! Не хочу о нем говорить... Все знают, кто мой настоящий отец! И если кто хочет его обидеть, пусть выйдет и встанет передо мной...

— Ай девка, орел! — закричала тетушка Колчабу.

— А если меня выберут, — добавила Сулув, — я скажу... что сделаю все, как велит народ.

— Поклянешься на хлебе?

— Поклянусь!

Эльгельды сидел, точно окаменев, не поднимая на дочку глаз, но люди видели, что он изумлен речами Сулув не меньше, чем весь сход. Отроду не бывало, чтобы пастушью дочь выбирали править народом и чтобы она не оробела говорить перед мужчинами. У самого Эльгельды отнялся бы язык с перепугу.

После схода впервые собрался аульный Совет, и Жапак был избран председателем. Парень уперся вначале, замалхал руками, заспорил — лучше бы Уббинияза, тот старше годами, но с ним не согласились.

— Молодой конь, необъезженный, резвее ходит, — сказал Аджинияз-старшой, — а старый больно узде послушен...

Хороший это был день, похожий на праздник. Но вечером заметил Степан, что Жапак невесел. Насунился, замкнулся в себе, как в первую их встречу.

— Что с тобой? Недоволен? Чем? — спросил Степан.

— Потерял я свою Сулув навеки...— ответил Жапак горько.

— Как «потерял»?

— Не видать мне ее теперь, как своего уха! Конец!

— Что случилось? Что ты мелешь?

— Тебе этого не понять... Не вынесу я такой муки!

Уйду отсюда куда глаза глядят.

— С ума ты спятил, Жапак! Очухайся, председатель!

— Без Сулув я не человек. Не могу я вырвать ее из сердца!

— Час от часу не легче... Поругался ты с ней, что ли? Разлюбила?

— Нет, она любит... Позапрошлой ночью, когда искал Гульзиру, встретился с ней. Никогда не видел, чтобы она плакала, а тут... прожгла мне грудь слезами...

— С чего это вдруг?

— Разве ты не знаешь? Она дочь Аллана, а он муйтен!

— Опять старое! Муйтен или кият — что ж из того?

— Как что?! Не говори, Степан... У нас обычай, закон: я не могу жениться на девушке из своего рода. Мы дети одного отца, нельзя!

Степан в сердцах чертыхнулся, затряс головой.

— Ах, браток, браток... Сколько еще мусора у тебя в башке. Таким ветром не вымело! Слушаешь и повторяешь дедовы басни...

— Ты сам говорил: надо слушать народ, уважать стариков... Люди боятся. Проказа будет!.. Опозорят, забьют нас камнями. Ни на что не посмотрят...

— Отчего же проказа?

— От этого самого... если я женюсь на Сулув...

— Неужели же ты не сумеешь растолковать людям, что это вранье, ерунда, темные бредни?

— Слушать не станут. Рта не дадут открыть...

Долго в ту ночь не смог уснуть Степан, размышляя о том, что же на кунгратской земле проще — сломить Алланбия или женить Жапака.

Не спал и Жапак. Степан окликнул его:

— Выкинь дурь-то из головы. Утро вечера мудренее.

— Я спать не буду. Спи... Я днем вздремну.

— Это зачем?

— А ты забыл, что говорила Гульзира?



## АЛЛАНБИЙ БЕЖИТ

Полночь. Все перевернуто вверх дном в усадьбе Алланбиа, огороженной высоким тыном. Там, где стояли юрты, курился дым разобранных очагов, торчали колья. В темноте тревожно ржали кони, скрипели арбы, суетливо метались люди. Слышалась приглушенная брань.

Алланбий в штанах из овчины, заткнув за пояс концы халата, торопил, понукал людей. То и дело он толкал кого-либо концом плети в спину, пинал сапогом, шипел, плевался.

— Живей шевелитесь, ради аллаха, и будьте вы прокляты!

Все было погружено и наготове, когда Палмантаз и горбун-писарь принесли на руках и положили у ног Алланбиа какую-то длинную вещь, завернутую в кошму.

— Что это?

Палмантаз осклабился.

— Ты велел, святой отец, чтобы в этом проклятом богом и тобой ауле ничего не осталось, принадлежащего тебе!

И он покатиł сверток по земле. Шестиметровая кошма развернулась, и из нее выкатилась женщина, связанная по рукам и ногам. Палмантаз и горбун подняли ее, поставили на ноги перед Алланбием. Лицо ее, вспотевшее, раскрасневшееся в духоте, было облеплено волосинками от кошмы, рот стянут платком. Это была Сулув.

— Спихватился, дурак! Осел вислоухий...— проговорил Алланбий сквозь зубы.— Она дочь мне. Развяжите ее.

— Убежит, святой отец! Упаси боже... Или вы ее не знаете? Аул на ноги поднимет!

— Ну, отнесите ее на переднюю арбу. Стерегите оба. Горе вам, если провороните!

Палмантаз хихикнул в кулак.

— Да будет твоя душа покойна, святой отец!

Плешивый и горбун бегом отнесли Сулув к кокандской арбе на высоких колесах с крытым верхом и положили ее на какие-то мягкие узлы. Палмантаз сел на коня, впряженного в арбу, писарь примостился на задке арбы. Подошел Алланбий, проверил, здесь ли Сулув. Арба тронулась и покатила бесшумно по мягкой земле.

Палмантаз и писарь, очень довольные, переговаривались в темноте, не стесняясь Сулув:

— А хороша девка!

— Вылитая мать. И та в молодости была — глаз не отвести. Алланы издавна не выпускают из рук эту породу.

— Все-таки сердится святой отец...

— Ха! Заметил ты, как он ее щупал на арбе?

— Но сам сказал — дочь.

— Слушай меньше, думай больше! Бибикатча, говорят, тоже от родного брата Алланбиа...

— О, господи... С этой дьявол не совладеет...

Сулув неслышно ворочалась на тюках, стараясь ослабить веревки. Руки и ноги ее затекли, во рту пересохло. По всему телу ползло мучительное колотье.

Эльгельды не было дома, когда ее схватили. Он ушел на озеро, и Сулув знала — зачем. Посмотреть тайком, как пойдут односельчане на рыбную ловлю... Не раз уже он провожал так рыбаков, спрятавшись в камышах. Сулув, прикидываясь спящей, делала вид, что не догадывается, где он бродит перед рассветом.

Вернувшись, Эльгельды подумает, что она ушла вязать с женщинами сети, будет дожидаться ее терпеливо, а может, приляжет, уснет после ночной прогулки.

Что будет, когда откроется, что она пропала? Больше всего Сулув боялась, как бы не заподозрили люди, что она сбежала с Алланбием по своей воле, по тайному сговору. «Дочка родная... Заговорила байская кровь... Как волка ни корми...» — слышалось Сулув, и она тихо стонала от боли и бессильной ярости.

Из-под войлочной арки арбы Сулув не видела ни горизонта, ни звезд и не могла определить, куда движется караван Алланбиа. Караван невелик — три арбы, пяток верблюдов. Палмантаз и писарь жаловались друг другу:

— Разорилось гнездо орлиное. Бежим, как воры в ночи...

— А помнишь, бывало, когда Аллан снимался с места и откочевывал, по три недели над степью стоял шум и гвалт, пыль закрывала небо! Теперь за одну ночь собрались...

«Неужто бай бросил свои стада и табуны?» — подумала Сулув.

— Аллан знает, что делает,— хвастливо проговорил Палмантаз.— Хитер, как лиса, смел, как сокол! Турдымурат ему не чета. Помнишь ты правителя Турдымурата с того берега? С виду гроза, туча, а не стронулся с места, пока рабы не поделили между собой все его богатство. И как он мог с этакой головой править девятью аулами,

удивляюсь! Наш-то кривой, а видит на сто верст вперед... Одна нога здесь, другая — далеко, не догонишь!

Сулув поняла, что главные табуны и стада Алланбия давно в пути и он их догоняет.

— А что, если в туркменских степях тоже... Советы?— спросил писарь.— Куда денемся?

— Есть земли и подальше туркменских... Были бы рога да гривы, а трава найдется. Не трусь, горбун!

Так вот куда бежит одноглазый, угоняет скот! В туркменские жаркие степи, а при случае и дальше; может, в другие страны? Сулув слышала от отца — так поступали и прежде очень богатые, властолюбивые баи. Оттуда, из дальних краев, возвращались иногда пастухи, которых тянуло на родину, рассказывали, что земле конца нет.

Пока спохватятся, осмотрятся у Муйтенкуля, уйдет караван Алланбия, как вода в песок. Не счесть дорог в неоглядной степи. Ищи ветра в поле!

Рассвело, когда Сулув наконец развязали, сняли со рта платок.

— Дайте попить...— попросила она слабым, хриплым голосом.

Палмантаз поднес ей бурдюк с кумысом.

Сулув выпила столько, что плешивый и горбун зацокали языками. Потом она растерла себе занемевшие руки и ноги и умыла лицо кумысом. Палмантаз с криком отнял у нее бурдюк. Сулув туго переплела свою распутившуюся косу и выскочила из арбы.

— Отведите меня к Алланбию.

Бай сам подъехал к ней на Куктемире, ее любимце, длинногривом, сером, словно тающем в утренних сумерках. Конь потянулся к ней мордой, слабо, ласково заржал.

Сулув тронула пальцами его шершавые губы, крепко огладила выпуклую, переплетенную железными мышцами грудь и сказала баю, глядя из-под морды коня:

— Все равно не уйдешь, хозяин, от советской власти. Клянусь тебе, не уйдешь!

Алланбий скатился с седла и с размаху хлестнул Сулув плетью.

— Убью своими руками!.. Сучья кровь! Закопаю живьем в землю! — заорал он, брызжа слюной.

Куктемир толкнул мордой бая в плечо. Алланбий и его стегнул плетью.

Сулув опять скрутили руки и бросили на арбу.

В полдень, когда караван остановился на привал и верблюдов стали развьючивать, Алланбий снова подъехал к передней арбе, посмотрел на Сулув и несколько раз ударил ее плетью. Девушка не проронила сквозь сомкнутые губы ни звука.

После этого всякий раз, проезжая мимо арбы, Алланбий не упускал случая хлестнуть Сулув. Куктемир прижимал уши и косился на нее горячим глазом, беспокойно топчась на месте. Бай натягивал поводья, заставляя коня отвернуть морду. Сулув молчала.

На следующий день караван оставил далеко позади жилые места. Кругом расстилалась бескрайняя унылая, выжженная солнцем степь. Ни дымка, ни пепла от брошенного костра, ни следа человеческого на многие, многие версты. Люди Аллана повеселели, перестали оглядываться. На привалах начали пошучивать. И сам бай как будто смягчился, реже кричал, приобрел былую важную осанку и только грозил Сулув плетью.

Прошла однажды мимо арбы Бибикатча, посмотрела на Сулув через плечо взглядом больной собаки, и не понять было, узнала ли...

Сулув почти ничего не ела и много пила. Она заметно осунулась и точно замерла — ни на кого не поднимала глаз. С ней заговаривали, когда Алланбий отъезжал по дальше, — она не отвечала.

— Притихла наша кошка, — сказал писарь, посмеиваясь. — Плеть-то оказалась горячее девицы!

— Придет ее час, смирится, — отозвался Палмантаз, глядя на Сулув масляными глазками. — Когда в реке много воды, она разливается. Когда девке минет пятнадцать лет, она думает, о чем все...

Приближалась вторая ночь в пути. Караван готовился к привалу. Разводили костры. Дни были теплые, ночи пронзительно холодны.

Алланбий, утомленный долгим дневным переходом в седле, прилег на кошму у костра, отдав повод от коня Палмантазу. Плешивый собирался разнуздать и расседлать коня и спутать ему передние ноги.

Он снял с Куктемира седло, когда услышал оклик Сулув. Она звала Палмантаза так почтительно, что он не поверил своим ушам. Ведя за собой коня, Палмантаз подошел к арбе.

Девушка просила отпустить ее по нужде. Палмантаз вскочил на Куктемира и велел горбуну развязать ей руки.

Сулув медленно пошла в степь, не оглядываясь. Палмантаз, ухмыляясь, поехал за ней. Куктемир плясал под ним, часто перебирая тонкими сильными ногами, и Палмантаз выпрямился, подбоченился, — на таком коне чувствуешь себя джигитом!

Сулув знала, что умный конь не спускает глаз с ее спины, и шла, дрожа от радостного возбуждения. Куктемир не забыл ее, не разлюбил... Вот он, ее час!

Она отошла от лагеря шагов на пятьдесят, не больше, и вдруг обернулась, подняла руки и крикнула с дикой радостью:

— Кук-те-мир, милый! Э-гей!

И тотчас конь взвился на дыбы, а затем, козой прыгнув в сторону, поддал задом.

Такие пробы Сулув проделывала не раз на горных пастбищах — на спор. И получше наездники, чем Палмантаз, не удерживались в седле, когда Сулув звала Куктемира.

Плешивый и крикнуть не успел. Он кувырком взлетел вверх, точно затычка из бурдюка с забродившим кумысом.

Коротким галопом, протяжно фыркая, конь подскакал к Сулув, она прыгнула ему на спину и прижалась щекой к его крутой шее.

— Ну, выручай, крылатый... Ходу, милый... Лети...

Куктемир опять поднялся на дыбы и с места пошел азартным наметом. Он понимал, чего Сулув хочет. Он любил ей угрожать. И она похлопала его ладонью по шее, успокаивая.

Из лагеря неслись суматошные крики, а через минуту другую Сулув услышала за своей спиной ровный, гулкий топот погони.

Сулув оглянулась, принякая грудью к шее коня. Всадники позади улюлюкали, размахивая арканами, горяча коней и себя.

Тогда она тоже взвизгнула свирепо в уши коню, раздувая ноздри, отводя лицо от его летевшей по ветру гривы, и почувствовала, как скок коня удлинился и стал словно легче, воздушнее. Дышал он свободно, неслышно, вытянув длинную, узкую голову вперед, и Сулув еще раз взвизгнула, ликуя, одобряя коня, и он понял ее.

Птица-конь! Сколько раз на джайляу Сулув обгоняла на Куктемире джигитов, мужчин. Не всякий иноходец мог настичь его, если на нем сидела Сулув.

Позади уже не кричали и не размахивали арканами.

Не конь, а бес уносил на своей спине строптивую, отчаянную девку. Топот погони отдалялся.

Быстро темнело, и Сулув стала придерживать Куктемира, тихонько потягивая его за гриву, опасаясь, как бы он не попал в темноте копытом в нору. Он не слушался.

— Милый... они далеко... не догонят...— заговорила Сулув, обнимая его за шею.

Конь сделал на скаку полукруг и остановился, высоко подняв голову, ища глазом отставшую погоню и недовольно фыркая.

Еще двое суток пространствовала Сулув по степи, от колодца к колодцу, обессилив от голода. Случай привел ее к туркменским чабанам. Ее накормили, указали верную дорогу.

На пятый день после бегства Алланбия Сулув вернулась в родной аул и спешила у юрты Жапака.

— Меня увезли силком. Бай угоняет табуны. Я поклялась, что он не уйдет...

— И не уйдет,— успокоил ее Степан.— Ножки коротки!

Подошел Уббинияз, выслушал Сулув, сказал:

— Бугай — не рабочая скотина, бай — не человек. Бежавший от народа — как отрезанный рукав...

## В ПУТИНУ

Три месяца — на пастбище,  
Три месяца — на дынях я,  
Еще три — я на тыквах,  
А три — на наваге!..

Так говорят про себя каракалпаки.

«А три — на наваге...» Тяжелая и благодатная пора! В путину рыбак Муйтенкуля трудится день и ночь, не покладая рук, без сна и отдыха. Эти три месяца должны прокормить его семью целый год.

Озеро кишмя кишит лодками, повсюду тянут из воды сети, неводы и верши, которые плели, чинили загодя, задолго до страдной поры. Во дворах, куда ни глянешь, крутятся на ветру подвешенные для вяления связки наваги нового улова и густо пахнет свежесоленой рыбой икрой.

В нынешнем году путина выдалась на редкость горячей и обильной. Муйтены и кияты вышли на промысел вместе, рука об руку. И мужчины, уплывавшие по ночам,

«лунными» тропами, далеко в глубь озера, возвращались с таким уловом, что люди разводили руками, — куда девать столько добра? Не доставало лодок перевозить рыбу в Муинак. Каждая семья вдоволь наготовила наваги — и насушила, и навялила, и засолила. Люди завопили: не надо ее больше, сыты ею!

Тогда аулсовет решил восстановить старый заброшенный чулан Алланбия, и вскоре он был забит до отказа свежемороженой рыбой. Эта рыба стала общим достоянием — как-никак добыта всем миром.

— Она только зовется навагой, — говорили рыбаки, — а подумать — так это золото червонное!

Путина крепко сдружила людей. Работали сообща, увлеченно, в ауле прижилось новое словечко, неслыханное прежде, — бригада. Стали говорить: «Я из бергат Уббинияза...», «Бергат Степана наловила больше»... Такого не знавали при бае.

Но не все шло гладко. Труд сближает, богатство делит. Нашлись люди, которые в самый разгар путины потянулись с мешками, набитыми рыбой, в дальние аулы — продавать, менять... Приносили вещи, продукты. И то сказать — одной рыбой не проживешь. Людям нужны были мука, масло, мыло, ткани. А иначе какое же навага — золото?

Вновь задумались в аулсовете. И по аулу пронесся слух:

— Что затевают! Будто бы станем работать артелью. Весь улов примет государство, даст товары...

Люди заволновались, заспорили. Одни пугали, другие обнадеживали; донимали друг друга расспросами, догадками.

— У кого нет своей лодки, того в артель не возьмут, слышал?

— Были б рабочие руки да голова на плечах!

— Нет уж, коли такое дело, надо загодя поделить рыбу, что у нас в чулане...

— Не в том суть! Говорят, кто пойдет в артель, переселится к морю.

— И правильно. По крайней мере, будем у самой рыбы: мы — к ней, она — к нам!

— Бедная моя головушка... страсть какая! И пресной-то водицы не увидишь...

— На этой земле родились, ею кормились. Все бросить! Ради чего? Ради рыбы?

— Сказано: нищи дорогу, она отыщется. Лучше с другом да с братом, чем в одиночку!

— Как знать... Только избавились от Алланбиа, а вдруг попадемся в сети тамошним богатеям?

— Шалишь! Что было, то слыло. Сами хозяйева!

— Ребята говорят, наша артель на всем побережье будет самым богатым чуланщиком. Вон оно как оборачивается!

Люди ждали. А Жапак и Степан как будто не торопились. Прислушивались к разговорам, зазывали к себе в юрту стариков, советовались. По ночам, при свете коптилки, что-то писали, подсчитывали. Уббинияз и Аджинияз-старшой тоже отмалчивались до поры, до времени...

Было раннее утро. Ветрено. Волны шумно плескались о берег, на них качались зеленые бутоны кувшинок. Не умолкая, пискливо кричали над озером чайки. Они тоже ловили навагу.

Укрывшись за стеной камыша, настороженно оглядываясь, стояли на берегу Жапак и Сулув. Он держал ее за руки.

— Все-таки ты зря меня избегаешь, Сулув. Нам надо разговаривать по делу. Приходи хоть вместе с Уббиниязом. Пусть люди видят, привыкают... Ты член Совета, не забывай!

— Но ты же знаешь, Жапак...— сказала она, припкая к его плечу.— Я бы никогда с тобой не расставалась...

Он вздохнул.

— Что же, отец Эльгельды придет к нам в артель?

Она печально поникла головой.

— Трудно с ним стало. Я вижу, он мучается, а молчит. Все думает, думает... И не поймешь, что носит в своем сердце.

— Не может простить?

— Не знаю...— Она обхватила его руками за шею.— Милый, осмелюсь, подойди к нему, поговори сам — про артель и... про меня... Ты мужчина, ты председатель. Может, ответит тебе...

Он молчал, и она прошептала едва слышно:

— Смотри, хуже будет... не выдержи я, милый...

Он бережно, нежно прижал ее к себе.

— Степан говорит: соберем артель, переменится жизнь, никто не вспомнит про старое. Забудут, кто из какого рода! Тогда не осудят и нашу любовь, простят нас...



— Неужто простят? Жапак, милый, от радости я помру...

И тут качнулся соседний куст и за ним в страхе, не своим голосом вскрикнула женщина:

— О, господи, помилуй и спаси!

Жапак и Сулв тоже испуганно пригнулись, огляделись. Прочь от них, бросив вязанку хвороста, ошалело размахивая руками, убежала худенькая, сгорбленная старушка Айджамаль, носившая обычно огромный, точно корзина, тюрбан, сложенный из семи-восьми платков.

С нестарческой резвостью взбежав на холм перед аулом, она завопила, запричитала истошно, в неподдельном ужасе:

— Люди! Скорей! Люди добрые! Поднимайтесь! Прокказа! Идет на нас проказа! Муйтены! Где вы, муйтены! Быть вам прокаженными! О, господи, господи, господи!..

Со всех сторон к ней сбегались женщины, полуголые детишки, рыбаки. Над холмом поднялись клубы пыли.

Тетушка Айджамаль хлопала себя ладонями по коленям, тыкала пальцем в сторону озера.

— Вон они, там, глядите! Сама видела, лопни мои глаза! Жапак и Сулв.. Стоят и милуются, как нареченные... Ох, лучше бы мне ослепнуть!

Запричитали и другие женщины. Поднялся плач.

Старики закивали бородами, теснясь друг к другу, наскоро творя молитвы.

— Учили дурней, отступников — не водись с чужаком! Пошли против закона, братаемся с муйтенами — и вот она, кара...

— Надо, не мешкая, быстрого человека — гонца — к большому имаму. Пусть снимет с нас великий грех, скажет, как их казнить...

Все оторопело смотрели в сторону камышей, точно ждали оттуда невесть какого зверя.

Подоспели Уббинияз и Степан. Их обступили тесной толпой. Степан прикинулся непонимающим!

— Что тут случилось?

Его уважали, многие побаивались. Аджинияз-старшой подошел к нему, растолкав людей, сказал с достоинством и горечью:

— Братец Степан... поверь... Наш род древний, из него, случалось, выходили и нищие и юродивые, но... никогда на моей памяти у нас не бывало такого страшного позора!

Вот как сказал старшой, а его тоже уважали на Муйтенкуле — и за возраст, и за отменное мастерство, и за честное, совестливое сердце. Недаром выбрали в Совет.

И Степан не нашелся в ту минуту, как ему ответить. Он чувствовал: неловко скажешь — обидишь и себя уронишь. Дело нешутейное. Уббинияз насупился, словно удерживая Степана: не осрамись...

А толпа вдруг притихла, застыла не шевелясь. Из зарослей камыша, держась за руки, вышли Жапак и Сулув и неторопливо пошли на холм как ни в чем не бывало. Степан и сам не ожидал такого оборота, огляделся, обеспокоенный, и... мысленно посмеялся над собой: «Замутили и мне душу. Привыкать стал... Верно, председатель! Рубить — так сплеча».

Жапак подвел Сулув к толпе и сказал:

— У советской власти свой закон. Я буду жить по этому закону. И никого на свете не побоюсь — ни бая Аллана, ни тетущку Айджамаль!

Старуха ахнула:

— Бесстыдник! Побойся бога...

Жапак перебил ее:

— И ты, тетущка Айджамаль, не кричи на меня. Постарше и поразумнее тебя люди не кричат на меня. А почему? Потому, что я живу по новому закону! И других учу.

— Что верно, то верно, люди... — неожиданно проговорил Аджинияз-старшой, почесывая бороду.

— И проказы не боишься? — спросил Жапака мальчишка в рваной шапчонке и широко открыл рот, дожидаясь ответа.

Степан рассмеялся, нахлобучил ему шапку на нос.

— Аджинияз-старшой, скажи ты, может быть проказа оттого, что джигит полюбит красивую девушку?

Старшой обыкновенно в карман за словом не лазил. На этот раз он замаялся:

— Кто знает... Нынче советская власть...

И старшки опять закивали головами, косясь друг на друга: в самом деле... она не слабее большого имама. Однако старая Айджамаль не сдавалась. Не смея возвысить голос на Жапака, она с темной злобой напустилась на Сулув:

— А ты? А ты? Длиннокосая! Есть у тебя страх божий?

Сулув ответила, смиренно опустив глаза:

— Мне как отец велит, тетушка Айджамаль... И как скажет Совет!

Может, так и разошлись бы с миром, если бы в то утро не случилось худшее. С озера, гомоня, прибежали подростки, игравшие у лодок.

— Дедушка Уббинияз! Дядя Степан! Гляньте на озеро!

— Белое озеро... побелело, как тақыр...

— Вся вода покрылась дохлой навагой.

Кинулись люди к озеру и остановились на берегу, не зная, верить или не верить тому, что увидели. Вдоль берега всплывали брюхом кверху сотни рыб. Казалось, незримая зараза травила в воде навагу, губила рыбацкое золото.

Тетка Айджамаль упала на колени, забилась, точно припадочная, голося:

→ Вот оно! Вот оно! Пало на наши головы! Господи, не карай, помилуй!

Мурашки побежали по спине у Степана от ее крика. Такая мертвеца из земли поднимет, а живого до смерти напугает.

— Ну-ка, уведите отсюда эту кликушу, — скомандовал Степан, осердясь. — Слушать надоело.

Женщины оттащили ее. Степан вошел в воду, поднял дохлую рыбину, осмотрел, понюхал ее и повернулся к рыбакам. Те смотрели на него и на рыбу с опаской.

— Братцы, — сказал Степан, — это дело чьих-то рук, не иначе. Бандитское дело. Давай... кто помоложе... в лодки и вдоль берега! Жапак, бери ребят покрепче, обыщи камыш, прочеши вдоль и поперек. Давай!..

Степану не пришлось повторять команды. На облаву в дебри камыша пошли все: стар и млад.

Уббинияз тронул Степана за рукав.

→ Слышишь, сынок, смутно я помню... лет сорок тому назад вдруг пропала в Муйтенкуле рыба... Взяла и пропала... Совсем...

→ Что ж это было?

— Очень худое дело...

## НА НОВОМ МЕСТЕ

Часом позже джигиты Жапака пригнали из камышей плешивого Палмантаза. Он был оборван, лицо грязно и черно. Его нашли далеко от аула, у костра, перед камы-

повым шалашиком, — Палмантаз обгладывал кости воючего пеликана. Увидев людей, он пустился бежать. Виноватый пес всегда поджимает хвост...

— Здравствуйте, земляки, — сказал он, входя в аул и снимая шапку.

Ему никто не ответил. Один из джигитов со смехом показал на его голову.

— Где тетка Айджамаль? Ее предсказание сбылось — вот она, проказа.

Никто не засмеялся. Палмантаза заперли в чулан, и тот же шутник сказал ему в виде напутствия:

— Посиди там, где я сидел!

А к вечеру вернулись в аул Уббинияз и Степан с бригадой рыбаков, усталые до изнеможения и пропахшие дурным запахом гнили.

Предположение Уббинияза оправдалось: в Муйтенкуль были спущены отравленные воды соседнего безымянного озера. Оно лежало в нескольких километрах от аула, и в него годами стекали всяческие отбросы из чулана Алланбиа. В это же озеро дехкане окрестных аулов отводили воды, которыми промывали солончаки, — мертвые воды. Говорили, что озеро не имеет дна, вода в нем стоячая, полная нечистот, была мутно-желта и блестела, как масляная. На берегах его не квакали лягушки, не росло ни травинки. Когда ветер дул с озера, над аулом разносилось тяжелое зловоние.

Рыбаки завалили землей сток губительных вод в Муйтенкуль, и Степан сказал:

— Не так страшен черт... Вряд ли этой тухлятиной задушишь нашего богатыря, кормильца. Отплюется Муйтенкуль!

Когда проходили мимо чулана, из него донеслись отчаянные вопли:

— Помираю, добрые люди! Выпустите меня, я все скажу!

Палмантаза привели к Степану. Собрался народ.

— Это он заставил, Алланбий, мучитель, изверг, одноглазый коршун... — клялся Палмантаз, стоя на коленях. — Не дали ему убежать, бесится...

— Знаем, знаем, кто смердит. А сам ты чпст?

— Что же, по-вашему, — забормотал Палмантаз, — кто выпил айран — ни при чем, а кто вылизал посуду — виноват?

— Заставить бы тебя вылизать гнилое озеро!

Вдруг Палмантаз вскочил на ноги, стал пятиться. Подошла Сулув.

— Ну, расскажи, невинная овечка, — предложил Аджинияз-старшой, — как ты выкрал девушку, чтобы свести ее с баем, родным отцом. Бай — вор, ты — рука, а вору отсекают руку, которая крадет!

— Бей его, люди!

— Привязать подлеца к хвосту верблюда!..

Несколько человек схватили плешивого за руки и за ноги. Он отбивался, визжа по-бабьи:

— Помилуйте, люди! Я бая выдам вам, приведу на веревке!

Тщетно Степан пытался успокоить народ. Здесь издавна привыкли карать преступников самосудом. Почти у каждого в ауле были старые счеты с байским шутком...

И, может быть, люто кончилась бы жизнь Палмантаза, если бы не появился человек, которого никто не ждал. Не замеченный никем в свалке, тихо подошел и выступил вперед старый Эльгельды.

— Дайте я гляну ему в глаза...

Он был худ и темен, но заметно окреп за последнее время. Уже не скажешь, что он немощен. Былое достоинство проступило в его фигуре, он даже выпрямился.

Палмантаза поставили перед ним, и старый пастух сказал:

— Ты называл меня трусом, Палман, осквернившим честь своего рода.

— Ты не понял, несчастный... Я...

— Молчи и слушай! Я жив, Палман, воскрес. И я тебе покажу, как трусит Эльгельды... и что такое честь...

Пастух поднял свою единственную руку.

— Отпустите его, люди. Пните коленкой под зад... и пусть уйдет из нашего аула!

Так после долгого добровольного затворничества заговорил с людьми Эльгельды. И его послушались. Молодой парень, разбежавшись, угостил плешивого таким пинком, что тот прокатился кубарем шагов с десятков под общей хохот. Потом побежал вприпрыжку в степь, не оглядываясь, точно заяц.

Большой сход одобрил решение аулсовета. Муйтены и кияты сошлись в одну артель и стали откочевывать к берегам Арала.

Новая стоянка аула была теперь у самого берега моря, в урочище Чигиркудук, неподалеку от Муйнака.

Вдоль мелководного залива буйно цвел камыш — на нежно-зеленых стеблях висела белая кипень. Лодки бесшумно покачивались на чалках, кланяясь земле и воде, а вокруг колодца на крутом берегу вырастали новые и новые юрты, камышовые навесы.

Днем и ночью прибывали сюда караваны верблюдов, вереницы арб с рыбацким имуществом, домашним скарбом, — и не только с Муйтенкуля. Многие роды и племена снялись с насиженных мест, чтобы начать новую жизнь.

Возле правления артели всегда многолюдно. Новых переселенцев встречают то шутками-прибаутками, то долгами, подробными расспросами.

— Мне неведомо, откуда ты, а ты не знаешь, откуда я. Однако довелось нам встретиться в Чимбае, как говорится... Какой ты ветви?

— Байбише...

— Какого корня?

— Тирем-жекенсал...

— Рода какого?

— Кенгтанаусского... а что?

— Нет, ты скажи, какой твой большой род?

— Большой-то род наш — род муйтен... Клич — Акчулпан, клеймо — гусиная лапа.

— Позволь, позволь, а муйтены вы из Шуллака или Жаунгура?

— Ясно, что из Шуллака!

— Так ты, я вижу, из наших, кунгратских? Верно я появля?

— И понимать нечего...

— Тогда здравствуй, брат!

И незнакомцы кидаются обниматься, словно закадычные друзья, встретившиеся после вынужденной разлуки. Один помогает другому сгрузить вещи, ласкает его детей.

Если прибывали люди, малоопытные в рыбацком труде, — таких отличали с первого взгляда, — возле колодца вспыхивал дружелюбный смех, озорные голоса затягивали веселую песенку:

Ходит в шубе долгополой, меховой,  
Долбит просо дома об руку с женой...  
А поймает хоть наважину одну —  
Сам идет от радости ко дну!

И вместе со всеми от души смеялся тот, кого уличали в бабьем занятии — толчении проса.

Люди радовались тому, что строят свою жизнь, как им хочется, по-новому — не для бая, для себя и своих детей, — и беззлобно высмеивали оробевших, растерявшихся.

Многие еще ночевали под открытым небом, у костров, на камышовых постелях, но держались дружно, не сетовали на судьбу.

После хлопотного дня, полного тревог и забот, прилегли у костра Жапак и Степан. Рядом лежало, мерно дыша, море — старинный рыбацкий друг. Луна серебрила его волнистую спину.

Подошел Уббинияз с домброй в руках, негромко наигрывая.

— Лодок, сетей маловато, — сказал Степан. — Придется опять ехать в Муйнак, просить...

— Просить — не сеять, а жать, — шутливо заметил Уббинияз. — Было бы у кого... брать!

— А вы боялись: не проживем без бая, — напомнил Жапак.

Уббинияз склонился над домброй, тронул чуткими, мудрыми пальцами струны, сделанные из кишок козленка. Полилась протяжная песня. И Степан заметил, что она была не так печальна, как еще совсем недавно, у Муйтенкуля, в юрте певца.

На звуки домбры потянулись люди от других костров. Против Жапака, по ту сторону костра, присела Сулув.

Ее лицо, казалось, горело жарким огнем, а глаза лукаво, загадочно поблескивали.

«Оглядись, милый, — говорили ее глаза, — посмотри, какая у нас с тобой радость!»

Жапак приподнялся на локте, глянул через плечо и увидел за собой Эльгельды.

Старый пастух сидел, поглаживая седую бороду, нахохлившись, точно больной орел, и слушал, жадно слушал молодые голоса, новые речи...

## ОСТРОВ КОЧУЮЩИЙ

Муйнакский богатей Иван-хромой, в юности — рыбак, добровольно отдал советской власти свой чулан и стал в нем распорядителем. Здесь был устроен рыбозавод. Сюда рыбацкие артели свозили улов.

Это было удобно и выгодно. В Муйнаке на деньги купишь все, что твоей душе хочется! И в юртах рыбаков появилось сливочное масло, белый хлеб, конфеты и душистое мыло.

Древний охотничий азарт уводил рыбаков на лов в самые опасные места Арала. Без риска нет удачи. И кто не хлебнул соленой водицы в море, тот не рыбак!

В погожий день Жапак с тремя товарищами отправился в лодке на остров Кочующий, который был в верстах семи от берега. Про этот остров среди рыбаков ходила дурная слава. Говорили, будто время от времени он перемещается с места на место, подобно огромному плоту. Низкие его берега, заросшие непролазным камышом, постоянно покачивались, хлюпая, на воде. Только ли берега держались на плаву или весь остров — никто не знал. Но рыба близ него сама шла в сети! А в море, куда ни поплы-вешь, держи ухо востро... Решили Жапак и Уббинияз побывать на Кочующем, разведать, что эта за диковина. Взяли с собой двух джигитов, поплыли.

Жапак качнулся на ногах, когда спрыгнул на берег, — земля упруго пружинила под его сапогами, точно кочка на болоте.

Привязали лодку к кусту, полезли в камыши. Остров был плоский, как блин. Берег полого, почти незаметно поднимался от воды. При крепком ветре его наверняка за-топляло волной.

Под ногой было топко и вязко. Земля сплошь заросла мягкой бархатно-зеленой травой, какая обычно вырастает над трясинной.

Неуютно и страшновато на острове. То и дело наты-каешься на коварные глазки — колодцы, в которые про-глядывает морская вода. Нырять хоть до дна Арала! Види-мо, грунт здесь держался на крепкой сетке корней, пере-плетенных между собой навечно, так, что и штормовой волне их не расплести.

Жапак повел рыбаков назад к лодке. Благословясь, за-кинули сети, а потом развели огонь и подвесили над ним кумган, с трудом собрав для костра хворост. Расположи-лись за высокой стеной прибрежного камыша, — там поч-ва была плотней и суше.

— Гиблое место, — шепнул Жапаку Уббинияз. — Не дай бог сильного ветра.

— Задует ветер, поднимем парус, — ответил Жапак и показал взглядом в сторону джигитов.



Те бродили по кустам, отыскивая сушняк, и недружелюбно покрикивали друг на друга:

— Эй, ахай! Эй, абыз...

Когда они подошли к костру, Уббинияз сказал:

— Вот что, Жуманазар. Вот что, Матнияз. Вы новички у нас, недавно в артели. Однако пора привыкать к нашим порядкам. Не нравится мне, как вы держитесь. У нас в артели так не полагается...

Жуманазар, черный, как уголь, юноша с рябоватым лицом, обиженно склонил голову.

— Разве мы не стараемся, отец?

— Не прикидывайся дурачком! У вас у обоих красивые имена, данные вам родителями, а вы окликаете друг дружку по имени рода... Чтоб я этого больше не слышал!

Джигиты насупились. Настроение у всех четверых было неважное, смутное. Жапак сорвал болотный цветок, и капля росы слезой скатилась с изумительно белого лепестка. Далеко вдаль неясно голубел муйнакский берег — старческие глаза Уббинияза его не различали.

Но к вечеру, когда стали выбирать из воды сеть, повесели все. Такого улова и во сне не снилось рыбакам на озерах! Небольшой невод набит рыбой битком, каменно тяжел, и его непросто вытащить на неверный топкий берег.

Ай да остров Кочующий! Вот тебе и гиблое место... Находка! Золотое дно.

Жапак послал Жуманазара отвести лодку подальше вдоль берега, чтоб она не мешалась. Расстелили брезент. И потянули невод с песней.

В сумерках осмотрелись. На брезенте копошилась гора рыбы! В одной лодке ее, пожалуй, и не вывезешь. Море поблескивало, точно чистое стекло. Ни морщинки. Решили заночевать на Кочующем. Попробовать, каков будет лов перед рассветом.

Подсушились у костра, за плотной стеной камыша, раздевшись чуть ли не догола.

— А комаров тут нет,— сказал Матнияз.

Жуманазар кольнул его острым сучком в голую спину, и меж ними завязалась веселая потасовка.

Нарубили камыша и улеглись на нем рядком. Костер чадил горьким черным дымом. Сыровато, конечно! Но на море смешно жаловаться на сырость.

К брезенту с рыбой слетались чайки. Пусть. Не жалко...

Ночью Жапак проснулся от странного чувства непопнятой, беспричинной тревоги. Он сел, оглядываясь, словно не узнавая места, где находился.

Костер погас. А моря было не слышно. Небо в звездах. Над камышами висел тонкий серп ущербной луны.

Жапак прилег опять, но уснуть не мог. Внезапно проснулся Уббинияз, вскрикнул со сна испуганно:

— Что? Что такое?

Они поднялись вместе и молча пошли в глубь острова. Пролезли сквозь одну полосу камыша, сквозь другую и... уперлись в воду. Море!

Впереди простирался широкий, в полверсты, пролив, а за ним вдали смутно угадывалась в слабом лунном свете черная узкая береговая лента острова Кочующего и ее отражение в тихой воде.

— Оторвало нас... Уносит! — проговорил Уббинияз, опасливо отступая подалее от воды по шаткому, хлюпающему берегу.— Правду, стало быть, рассказывали...

— Доберемся. Еще невод закинем,— ответил Жапак.

Они вернулись к костру, подняли джигитов и пошли к старому берегу, к которому пристали вчера. Рыба на брезенте была цела. Чайки улетели на ночлег. А лодки не было. Она исчезла.

Бросились вчетвером вдоль берега, обежали кругом несколько раз весь островок, обыскали, ощупали каждый прибрежный куст — и не нашли лодки. Не видно было ее и на воде.

Обманчива тишина в море. Жапак вспомнил, с каким трудом они выгребали у самого берега, подплывая к острову. Течение! Оно помогало им выбирать сеть, прибывая ее к берегу! Оно же увело лодку.

— Ты ее привязывал, ахай! — набросился Матнияз на Жуманазара.— Как ты ее привязывал?

— Обыкновенно. Замотал чалку за куст... Выволок ее на берег почти всю, до кормы!

— Эх ты, ахай, ахай... сопливый! — выругался Матнияз и сплюнул в воду.

Уббинияз сердито оттолкнул парня от берега.

— Ты что вытворяешь, малый! Плюнешь в море — оно тебе плюнет в глупое твое лицо! Башку расплющит одним плевком...—И старик суеверно зашептал:—Аллах, аллах!..

Жапак бросился бегом опять к тому берегу, с которого был виден Кочующий. А Матнияз с ходу принялся разуваться, собираясь пуститься на остров вплавь.

— Недалеко, братцы, рукой подать! Видно...

— Назад, дурень! — оборвал его Жапак. — Успеешь утонуть!

И в самом деле, ночью не разберешь, — может, до острова и полверсты, а может, полторы... А главное — течение. В десяти шагах от берега пронесет мимо.

— Ну, ничего, ничего, и похуже случалось, — проговорил Уббинияз, бодро покашливая, решив, что, поскольку он стар, его долг подбодрить молодых. — Нос повесишь — сморкаться неудобно! Есть под ногами земля — и ладно. Муйнак на виду. Глядишь, подобьет нас к Муйнаку. Подъедем, как на пароходе, сдадим рыбу Ивану-хромому с рук на руки.

— Брат председатель, — неуверенно начал Жуманазар, — а вы говорили, придет другая лодка за уловом...

Жапак коротко, с досадой качнул головой. Он наказал в правлении, если они задержатся на острове, выслать вторую лодку на рассвете. Куда их отнесет к тому времени?

— Брат председатель, надо бы разжечь побольше костер... — предложил Матнияз. — Тут день и ночь ходят лодки. Ни мы их не увидим, ни нас не заметят. А огонь — как далеко видно!

Жапак не ответил и ему. Разве на этом клочке зыбкой земли, на трясине разведешь большой костер? За дымом огня не заметишь.

— Идите за мной, — приказал Жапак. — И не соваться никуда без спросу!

Пошли за ним. На месте ночлега Матнияз поднял с земли кумган и с жадностью припал к нему губами. Но не успел сделать и глотка. Жапак вырвал кумган из его рук, крикнул яростно:

— Я что сказал?! Оглох?

И Матнияз, и Жуманазар, и старый Уббинияз с ужасом посмотрели на Жапака, думая о том, что им всем угрожало. Вода! Море воды кругом — и нечего пить. Каждая капля из кумгана теперь стоит, может быть, дня жизни.

— Беритесь за камыш, плетите корзины, — сказал Жапак спокойно, словно не замечая, как на него смотрели. — Окунем их в глазки, напустим туда живой рыбы. — И умолк, не договаривая.

Он думал в ту минуту не о еде, а о том, что придется, быть может, пить сок свежей рыбы. Он слышал от Аджинияза-старшего, что так спасались в море от жажды.

Стали плести корзины, и Жапак слышал, как Жуманазар пугающим шепотком рассказывал Матниязу, как один раз унесло в открытое море старуху с козой на утлой лодочке и как эту старуху не потопило в бурю, а выбросило, протухшую, вместе с козой, на пески острова Барса-Кельмес, что значит: пойдешь — не вернешься...

— Отец Уббинияз, — спросил Матнияз, — так было?

— Мало ли, что бывало.

— И мы протухнем, как та старуха?

— А ты засмердел, парень, не доплыв до Барса-Кельмеса!

— Что ж, и слова сказать нельзя?

— Слово, сынок, любит свое место...

— А вот ты говорил, отец: «Чтоб я не слышал!» — вдруг с запалом вмешался Жуманазар. — А почему же тогда брат председатель Жапак покалечил Эльгельды-кыята?.. — Уббинияз опешил от неожиданности. — Что вы на него оглядываетесь? Я правду говорю! Может, за эту вину мы и гибнем сейчас, как слепые кутята, жизни не повидавши!

— Да я тебе уши сейчас натреплю, щенок, — без гнева, а скорее с удивленным проговорил старый Уббинияз.

И эта нелепая угроза возымела странное действие — Жуманазар умолк, схватился за голову и заплакал.

Утром люди на маленьком островке-пльвуне поняли, что его незаметно, но быстро уносит сильное течение прочь от берегов. Ни берега Кочующего, ни муйнакского берега уже не было видно даже в низком, прямом свете восходящего солнца. Тщетно Матнияз, Жуманазар и Жапак напрягали зрение, подсаживали друг друга на плечи.

— Ну что? — спрашивал Уббинияз то одного, то другого.

— Вода.

Кругом, на все стороны света, простиралось море, зелено-серое, неласковое. И казалось, что островок лежал на дне глубокого котла, одинокий, жалкий, а морские горизонты круто вздымались к небу, подобно сизым горным пещам.

В полдень с запада настойчиво задул свежий, ровный ветерок, как раз под лодочный парус. Сперва обрадовались ветру — он гнал волну против течения. Но островок задергался, закачался, как ковер, подчиняясь волне. Она стала слизывать с брезента рыбу. Вскоре рыбаки сами

свалили свой улов в воду, чтобы избавиться от лишнего груза, — волна топила под ними берег. И товарищи Жапака поняли, почему он опустил корзины с рыбой не у берега, а в глазки. Брезент оттащили за камышовую стенку, завернули в него сушняк и заодно угли и золу от вчерашнего костра.

К ночи ветер спал, небо затянуло облаками и заморосил благодатный дождь. Подставили ведро, развернули брезент. Закричали, запрыгали от радости, стали слизывать дождевую влагу с губ и рук, а когда дождь иссяк — с листьев и травы. Собрали все, что накопилось на брезенте, — лишь несколько глотков. К сожалению, немногим больше налилось и в ведро. Дождь прошел слабенький и недолгий. О, если бы ливень с грозой!..

И все-таки напились, освежились. Захотели есть. Уббинияз принялся жарить рыбу. Раздал то, что приготовил, и погрозил пальцем:

— Не ешьте много, дети... Не ешьте много... Не теряйте рассудка...

Следующий день выдался жарким и душным. На море парило. Нечем было дышать.

Жапак не выпускал кумгана из рук, опасаясь, что джигиты не выдержат, выпьют все, что в нем оставалось.

Матнияз посматривал на кумган сумасшедшими глазами. Он первый обессилел и слег. Его стало лихорадить.

С рассвета до заката люди не спускали глаз с моря. Оно было тихо и пустынно и по-прежнему громоздило над головами людей свои сизые, синие и голубые горизонты.

Матниязу постоянно мерещилась земля — то здесь, то там...

А ночью он вскочил и молча, с безумной стремительностью побежал к берегу, открыв сухой, пышущий болезненным жаром рот; парня пришлось силой оттащить от соленой воды. Она была горька и возбуждала судорожные позывы тошноты. Ее уже перепробовали все, тайком друг от друга.

Ослабел и свалился с пог Уббинияз. Он не жаловался, но в его глазах, когда он открывал их, светилась смертная мука. Старик задыхался.

На третий день, после того как их оторвало от Кочующего, на рассвете раздался дикий вопль Жумапазара. Парень смеялся и плакал, показывая в море. Вдали клубился легкий дымок. Шел буксирный катер. Шел прямо на их островок.

— Слава богу, слава богу... — беззвучно выговорил Уббинияз.

А Жуманазар принялся лихорадочно объяснять:

— Нашли нашу лодку... Узнали, догадались. Вышли за нами! Пока догнали... Не сразу отыщешь! Это ж не лужа, море...

Катер замедлил ход, приближаясь. На островок накатила поднятая им волна.

— Люди! Родные мои! Милые, спасители! — хрипло кричал Матнияз, поддерживаемый за плечи Жапаком. — Будь я навеки проклят, если теперь выйду в море... И будь она проклята — артель...

— Братцы... товарищи... — прошептал и Жапак затвердевшими, потрескавшимися губами и осекся.

Колючий озноб прокатился по его спине. Жапак увидел на носу катера знакомую долговязую фигуру, которую не сразу узнал издали. Прежде этот человек носил халат, теперь френч, и был перепоясан пулеметными лентами. На голове у него была черная фуражка с высокой тульей и белыми кантами.

А катер у самого берега снова стал набирать ход. Из его трубы повалил дым и окутал людей, стоявших на островке.

— Он не заметил! Не видит! — захрипел Матнияз. Жапак выпустил его из рук, и он, упав, забился в конвульсиях.

Катер удалялся, высоко подняв нос, — длинная волна от него еще раз накатила на берег островка, заплескав водой сапоги Жуманазара.

Жапак подошел к Уббиниязу и повалился на сырую траву рядом.

— Видели, отец? Это Эримбет...

— Разбойник... разбойник... — шептал Уббинияз.

## ОН БЫЛ ДРУГОМ...

Пятые сутки женщины и дети урочища Чигиркудук выходили то группами, то в одиночку к берегу и с тоской смотрели в море. Пятые сутки нет в Чигиркудуке покоя и сна. Пятые сутки лодки возвращались из поисков ни с чем.

Ни днем, ни ночью не отходила от берега Гульзира, подобно верной рыбацкой жене. Все ее ласкали, носили ей

на берег еду. А она стояла у самой воды, под ветром, солнцем и дождем, и на щеках не просыхали слезы.

Сулув увела ее к себе в юрту, покормила ее, прижала к груди.

— Не плачь, Гульзира, ты уже большая. Вернется Жапак, повезет тебя в Муйнак, купит красивое платье с цветами миндаля...

— Тетя Сулув, вы сами сказали, что я уж не маленькая.

— Да.

— Зачем же вы меня обманываете?

Они вместе возвратились к морю, встали на берегу. Вечерело. Подошел Эльгельды, и Сулув сказала, не стеснясь девочки:

— Отец, жена Уббинияза надела траур.

— От того, что баба на себя наденет, земля не развернется.

— Ты думаешь, они живы?

— Раз ты ждешь, значит он живой!

Эльгельды шагнул к воде, беспокойно выпрямился и слегка повел головой, точно почувствовав в воздухе какой-то запах. Душный ветер с моря неслышно толкнул в грудь, крутнул пыль под ногами, завивая ее волчком. Эльгельды настороженно присмотрелся к тому, как полукружьями, серпами ложилась пыль, и обернулся в тревожном сомнении.

Верблюды столпились за юртами, под холмом, топтались и крутились на одном месте, толкая один другого. Они вытягивали к небу длинные шеи, скалили зубы. Эльгельды почесал бороду, зацокал языком.

— Что ты, отец? — спросила Сулув, касаясь его локтя. Он посмотрел с осуждением.

— А ты не чувствуешь, что ли? Эх, дочка! Голову потеряла, видеть-слышать разучилась? Глянь, что творится...

И, не дожидаясь ответа, быстро пошел прочь.

Прибежал к правлению артели, растолкал людей, теснившихся у входа, отыскал Степана. Тот сидел у стола, устало глядя перед собой. Лицо было серо, как земля, глаза ввалились от бессонных ночей.

— Сынок, очнись, — проговорил Эльгельды, не здороваясь. — Буря идет. Завтра на море быть буре!

— Может, и буря, — вяло ответил Степан. — Может, и завтра... — И застонал сквозь стиснутые зубы: — Штормяга катит крепкий!

— Что же ты сидишь сложа руки?  
— Были бы крылья, полетел бы...  
— Но ведь огненная лодка Ивана-хромого здесь, у нашего берега!

— Я только что вернулся на ней. Полтора суток гоняли. Только что вернулся...

— Сколько вы гоняли, мы знаем, — сердито перебил Эльгельды. — И когда ты вернулся, знаем. Надо опять выходить. Скорей выходить! Не мешкая!..

Степан вздохнул изнеможенно.

— Ночь на дворе, отец, ни черта не видно. И мотор перегрелся, едва тянет. Дай дух перевести огненной-то лодке... Из Муйнака вышли два катера. Перед рассветом и мы пойдем...

— Ну, тогда я сейчас выйду в море! — медленно и зло выговорил Эльгельды и вышел, хлопнув дверью.

Степан догнал его на берегу, обнял за плечи, с улыбкой заглядывая в лицо.

— Вы... Пойдете с нами, отец?

— Нечего тебе скалиться! Смешного мало... У меня с ним старые счеты, тебе известно. Бог должен навести меня на его след! Я давно бреду по его следу. Мне еще нужно с ним свидеться, сынок, пока я жив, пока кровь в жилах не остыла.

— Если так... с богом, отец! — сказал Степан.

«Огненная» лодка Ивана-хромого качалась на приборной волне. Это была добрая, крутобокая шлюпка со стареньким, выдавшим виды, но мощным мотором.

В предвиденье шторма пожилой русский моторист, не сходя с лодки ни на минуту, копался в моторе, ползал по ней, как муравей. Услышав, что придется отшвартовываться немедленно, он сказал спокойно:

— Так я и знал. Как в воду глядел... Бегите покличьте Каипназара!

— Каипназар едва дышит, друг. Бери свежих людей, — каждый пойдет, — сказал Степан.

— Товарищ Силаев, я с Каипназаром шесть лет кряду протрубил у Ивана-хромого. Мне лучше знать, как и чем он дышит. А с чужими людьми я в море, на ночь глядя, перед штормом не выйду.

Прибежал, прихрамывая, коренастый, плечистый Каипназар и замахал руками на Степана.

— Вам нельзя, братец Степан. Вы на ногах не стоите, на обе хромаете...



— Что ты, что ты, браток?! Подумай, что говоришь! — рассмеялся Степан.

Сбежался народ к лодке, но моторист уже крутил рукоятку мотора. Чихнув разок-другой для порядка, мотор застучал трудолюбиво, преданно, точно живое существо. Лодка пошла, плюясь из трубки с левого борта, вспенивая за кормой по-вечернему черную воду. Пошла, сердечная! Люди на берегу провожали ее молча, не шевелясь.

Мотор стучал ровно. Эльгельды зажег фонарь, сел на опалубленный нос шлюпки и сказал:

— На большой фарватер! По течению... к Алтыкудуку...

— Слушай его, — шепнул Степан мотористу.

— Кто он такой?

— Он знает... нашел дорогу...

— Как — нашел?

— Сердцем.

Моторист хмыкнул, косясь на Эльгельды.

— Колдун, что ли? У вас, товарищ Силаев, пока мы плавали, ум за разум забежал.

— Может, и забежал. Стало быть, там ему и место! Этому... колдуну... верю. Он ведет прямо на них.

Моторист поежился, с подозрением присматриваясь к Степану: шутит или всерьез? А тот сказал, загадочно подмигивая:

— Бога нет, браток. А человек есть! Вот и все наше с тобой колдовство... И что такое море, что такое шторм, коли есть человек!

Всю ночь шли напрямик, как заказал Эльгельды. Ветер свежел, но море лежало покойно. Лишь под утро внезапно ударил тяжелый шквал с проливным дождем и чуть не потопил лодку. С трудом отчерпались в восемь рук. И снова утихло, и мотор застучал привычно, надежно.

Когда рассвело, моторист спросил, глядя то на Степана, то на Эльгельды:

— Ну, дальше куда?

Эльгельды, не отвечая, неотрывно смотрел прямо, по острому носу шлюпки, бойко разрезавшему мелкую волну, и Степан ответил за него:

— Вперед, вперед, не сворачивай! Мы там не были...

Солнце стало припекать, когда спереди бесшумно накатила высокая, гладкая волна длиной от горизонта до горизонта и медленно, как бы нехотя, подняла шлюпку к

небу. Все, кроме Эльгельды, молча оглянулись на нее, когда она прошла, мягко опустив шлюпку, и покатила дальше, заслоняя собой дали.

Минуту спустя Каипназар сказал негромко:

— Если они там, куда мы идем, верно, вздыхают, бедняги, последние разочки... захлебываются...

Но никто не подумал в ту минуту: а мы не захлебнемся? Ни один в шлюпке не обмолвился благоразумно: пора назад, покуда не поздно!

И вот поднялась и закачалась, под ровный звонкий свист ветра, мертвая зыбь, крупная, крутая, черно-зеленая, с редкими седыми гребнями, бухающими, как пушки. Вот он, штормяга! Встретились!

Минул еще час, долгий, как день. Лодку швыряло, точно пробку, но мотор стучал, упрямо выгребая против ветра, и ни разу лодку не захлестнуло.

Держась за борт, Степан думал с отчаянным чувством, кусая посолоневшие от брызг губы: «В такую погоду ничего не увидишь. За валами — как за стеной».

И тут Эльгельды закричал с носа шлюпки:

— Дым! Гарью пахнет!

Все вскочили на ноги, держась друг за друга, но ни Степан, ни моторист, ни Каипназар не увидели дыма, не почувствовали запаха.

Эльгельды рассмеялся им в лицо. Он только начал ходить, а уж был пастухом, и нюх у него собачий!

— Смотрите, сыночки! Лучше смотрите! — с ликованием прокричал он сквозь шум бури. — Я не увижу, но чую — камыш горелый... чад от него... чад!

Степан, моторист и Каипназар осмотрелись раз, другой, третий... и вдруг вскрикнули все разом. Они искали слишком далеко, а между тем совсем рядом с ними прыгал вверх и вниз, с волны на волну, подобно их шлюпке, крошечный растрепанный островок-пльвун, и из него в нескольких местах фонтанчиками взметалась вода, сверкая на солнце.

Островок казался пустынным, людей на нем не было видно, но моторист уже разворачивал лодку, нацеливаясь подойти к нему с подветренной стороны.

— Ах, старик... Ну, колдун... — шептал моторист со счастливой улыбкой.

— Людей ищите, людей, — твердил Эльгельды.

— Вон они! Вижу... — радостно сказал Каипназар.

Все четверо лежали на расстеленном брезенте, не под-

нимая голов. Увидел и Степан и заорал благим матом, не помня себя:

— Жа-пак, чертушка, держись!

Однако причалить к островку оказалось непросто. Волной далеко отшвыривало лодку прочь, как только она приближалась к его мягкому хлипкому берегу. И моторист бранил ее в голос, наваливаясь на руль.

Люди на островке не двигались. Живы ли они?

— Веревку! — скомандовал моторист и кивнул Степану: — Вы как рыба... Давайте туда! Привяжите,— по ней перетащим...

Степан схватил конец веревки и прыгнул в воду. Каипназар принялся было привязывать другой конец к носу шлюпки,— моторист закричал на него, неистово ругаясь:

— Что делаешь! Хромой бугай! Захлестнет, всех утопишь! Держи обеими руками да потравливай!

Степану повезло. С первой попытки он зацепился за островок, прикрутил веревку к стволу раскидистого куста.

Качаясь, размахивая руками, точно шел по канату, Степан направился к людям, минуя провалы в размытом бурей грунте. Подхватил бесчувственного Уббинияза и поволок его, падая с ним и вновь поднимаясь.

Держась за веревку, Степан переправил старика в лодку. В воде Уббинияз очнулся и, когда его уложили на дно лодки, немо зашевелил губами. Эльгельды догадался, поднес к его рту горлышко бутылки с пресной водой.

— Кто это? — прохрипел Уббинияз, напившись.— Ты... брат? — И опять потерял сознание.

Степан вернулся по веревке назад и одного за другим перенес в лодку джигитов — Матнияза и Жуманазара. В них тоже еле теплилась жизнь.

Жапак был крепче других; он пришел в себя еще на острове и лежа следил за работой Степана, дожидаясь своей очереди. Но Степан выбился из сил. Как ни ловко он плавал, а нахлебался по уши...

Каипназар натер себе ладони до крови, то и дело травя веревку, сообразуясь с волной. Но делать было нечего, приходилось ждать, пока отдышится Степан.

Приняв новый груз, лодка стала лучше слушаться руля. Моторист выравнивал лодку, форсируя мотор, когда на островок накатил огромный вал, и пенный гребень его, словно споткнувшись, с гулом обрушился на жидкий клочок земли и захлестнул Жапака.

Чудом его не смыло! Шторм усиливался, на счету была

каждая минута. Степан поднялся на ноги, по-рыбьи от-  
крывая рот. Но Эльгельды опередил его. Неожиданно для  
всех старый пастух, не сказав ни слова, бесстрашно пере-  
шагнул низкий борт лодки.

Обхватив ногами веревку, он поплыл на бок, гребя  
единственной рукой. С него не спускали глаз. Он благопо-  
лучно добрался до островка и поднялся на берег. Жапак  
медленно полз ему навстречу.

Больно и весело было смотреть, как они поползли вме-  
сте, а потом поплыли к шлюпке, окунаясь и отфыркива-  
ясь, и Жапак держался рукой за шею Эльгельды. Степан  
и Каипназар вдвоем взялись за веревку, подтягивая их  
к лодке.

Все бы обошлось хорошо, если бы не поднялся над ост-  
ровком новый вал. Его гребень с гулом пронесся по ост-  
ровку, подминая его под себя. Островок прикрыл собой  
лодку от удара волны, но когда люди в шлюпке отплева-  
лись от тяжелых брызг, они не увидели около веревки ни  
Жапака, ни Эльгельды.

Жапак висел, уцепившись скрюченными судорогой  
пальцами, за борт лодки. Его вытащили. А Эльгельды, ви-  
димо, не хватило второй руки, чтобы ухватиться за лодку.  
Его унесло.

— Отдай канат! Скорей! — приказал моторист и перес-  
крестился.

Каипназар отпустил веревку. Островок тотчас исчез за  
штормовой зыбью. Эльгельды искали долго — у островка  
и по ветру.

— Где он? Где он? — хрипел Жапак, лежа на дно  
лодки. — Не видят мои глаза...

«И мои не видят, — с содроганием думал Степан. — А  
он, может быть, еще жив...»

Грозовая туча занавесила солнце. Сразу стало темно,  
как поздним вечером. А потом дождь закрыл море белесой  
стеной.

Матнияз бредил, метался в бреду. И моторист свирепо  
кричал:

— Держи его! Черпанем бортом! Идолы безрукие.

Плыли остаток дня и всю ночь. Теперь ветер подгонял  
их к берегу.

Уже на виду у Чигиркудука остановился мотор.

— Каюк, — сказал моторист. — Доконали.

Навстречу им вышли на веслах. Привели огненную  
лодку на буксире.

На берегу ее ждали, стоя по колено в воде. Вынесли спасителей и спасенных на руках. Ни один из них не держался на ногах. Всех уложили рядом на прибрежном песке.

Сняв шапки по русскому обычаю, стояли вокруг рыбаки и думали горькую думу.

Гульзира сидела у изголовья Жапака, гладила его голову. Сулув опустилась перед ним на колени и прижалась к нему. И никто не считал, что это грешно.

Жапак, с натугой приподняв голову, сказал Сулув и всем остальным муйтенкульцам:

— Он был другом.

И тогда моторист, чужой человек, ругатель и грубиян, обычно ссорившийся с рыбаками из-за того, что они перегружали его лодку, выговорил с великой болью:

— Пропал колдун... Нету колдуна...— И уткнулся лицом в песок.

Женщины постарше, рыбацкие жены, незаметно подули и поплевали себе за ворот, отгоняя беса. Степан попросил закурить. Его табак вымок.

Ему свернули махорочную самокрутку, вложили в рот, поднесли огня. Он затынулся с хрипом и откинулся на спину, кусая губы.

Шумело море, грозное, недоброе, маслено-черное, как глаза у верблюда.





АДЫЛ ЯКУБОВ



Нелегко  
стать мужчиной



*Перевод Бориса Балтера*



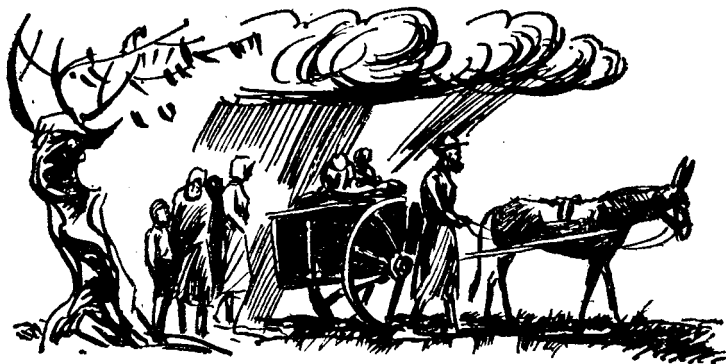


## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Крупные неприятности начинаются с мелких...

— Вставай, хандаляк проспишь,— сказак Кучкар.

Машраб с минуту лежал, ничего не соображая. «Ой, подружка, хандаляк поспел»,— сказала утром Муяссар. Ее голос был похож на голос Кучкара, как пение соловья на уханье удода. Но почему-то именно ее голос стоял в



ушах, и Машраб не мог понять, спит он или уже проснулся.

Кучкар тормозил его, приговаривал:

— Вставай, хандаляк проспишь...

Машраб открыл глаза. В черном провале неба мерцали яркие звезды, в арыке журчала вода. Машраб вспомнил: вечером договаривались, когда созвездие Плеяды достигнет зенита, пойти за хандаляшками. Что такое хандаляк? Круглая дынька-скороспелка. Говоря по совести, хандаляк никто за дыню не считает: так, хандаляшка.

Машраб отбросил теплый тулуп и сел, потирая поясницу. Акмаль-толстяк, которого в другое время пушкой не прошибешь, на этот раз умудрился проснуться раньше Машраба и, сидя у арыка, пыхтя натягивал сапоги.

— Воду проверяли? — спросил Машраб.

— Не думай о воде. Поток совсем слабый. Не размост.

Машраб молча побежал вдоль главного арыка: беда, если по недосмотру поливальщика вода размочит борозды и зальет хлопчатник. До войны поливальщиками работали самые опытные дехкане, но теперь все взрослые и сильные мужчины ушли на фронт и хлопковые поля поливали мальчишки. Ноги после сна были как ватные, спотыкались на неровностях. Машраб низко нагибался, слышал пресный запах воды и влажной земли. Вода тускло поблескивала в бороздах, отражая звезды. Кучкар оказался прав: запруды из дерна и борозды были целы.

Акмаль-толстяк еще обувался: он все делал обстоятельно, неторопливо.

— Скоро ты? — спросил Машраб.

Акмаль ничего не ответил. Его не видно было в темпоте, только слышно было, как он пыхтел.

— Не трогай его, а то до утра будет обуваться. Третий раз переодевает сапог, — сказал Кучкар.

Машраб дрожал не то от знобкого холодка, не то от возбуждения. Он пытался представить, как Муяссар найдет утром у калитки мешок хандаляков...

...Когда Машраб шел на работу, он еще не знал, что хандаляк поспел. Он шел мимо сада Муяссар с надеждой ее увидеть, и кетмень на его по-детски худом плече казался непомерно большим.

— Ой, знаешь, подружка, хандаляк поспел, — сказала Муяссар.

Машраб, вытянув шею, заглянул через дувал. Он думал, что оглохнет — так сильно стучало сердце. Муяссар сидела на дереве и рвала персики, а под деревом бегала Гульчехра и ловила персики в подол платья. Она была очень проворной, несмотря на полноту, невысокого роста и миловидной.

— Подумаешь, хандаляшки, — сказала она. — Подмигни Машрабу Диване, он тебе притащит целый мешок.

— Не говори ерунды... Молчи!.. — крикнула Муяссар.

Гульчехра не собиралась молчать, для нее молчать было самым тяжким наказанием.

— Притворяешься? Сразу видно, что притворяешься, — тараторила она. — Мальчишки для того и нужны, чтобы исполнять наши желания. Влюбился бы твой цөэт в меня... я бы знала, что с ним делать.

Машраб слушал, и его бросало то в жар, то в холод.

Муяссар кинула в Гульчехру персик, но промахнулась. Она затрясла ветку, приговаривая:

— Глупости!.. Глупости!..

Персики градом посыпались на землю. Гульчехра, смеясь, убегала между деревьями. Персик, брошенный Мунсар, попал в ствол черного тутовника над головой Машраба, он вытер с лица липкий сок. Каждое утро он видел, как из-за гор поднималось солнце. Сегодня было как бы два солнца — одно в нем самом, другое появилось над горами, и все сразу преобразилось: воздух вздрогнул, по земле побежали и замерли тени, над большим кишлаком, утонувшим в садах, внизу над долиной за главным арыком, в шеренге белых тополей на берегу с гнездами аистов на вершинах, над зеркальной гладью воды за плотиной — над всем миром пролилось сверкающее тепло. А начало этого тепла было у него в груди. Он прикрыл глаза, и ему показалось, что он парит высоко над садами, — так бывало в детстве, когда он летал во сне... Ощущение полета, как навязчивая мелодия, не покидало его весь день.

Акмаль наконец обулся. Слышно было, как он притопнул ногой, потом сказал:

— Пошли, что ли?

Из глубокого оврага, заросшего ивами, тянуло сыростью. Овраг, расширяясь, переходил в долину, по обеим сторонам которой раскинулся кишлак. Посередине кишлака лежало поле. Его обычно засевали хлопком, но в этом году почему-то посадили на нем дыни, а по краям хандаляк.

Набег на бахчу предложил Машраб. Кучкара не пришлось уговаривать: он сам всегда придумывал, что бы такое выкинуть. А вот Акмаль-толстяк, Акмаль-рохля, Акмаль-недотепа заявил, что не любит ходить по ночам, что по ночам он любит спать. Можно было подумать, что поспать днем он не любит. Машрабу пришлось объяснить ему наедине, почему надо пойти за хандаляком. Акмаль засопел и согласился. Когда он слышал имя Гульчехры или видел девушку, он начинал сопеть. У молчаливого Акмаля сопение было высшим проявлением чувства. Кучкару не стоило объяснять подробностей: он бы не понял. Кучкар не признавал высокой самоотверженной любви, ему обнять девушку было все равно что чихнуть.

Поход за хандаляком придумал Машраб, но возглавил его Кучкар. Машраб не возражал: такое у Кучкара лучше получалось. Босой, в распахнутом на груди халате, Кучкар шел впереди, и на фоне звездного неба время от времени возникали его широкие плечи. Машраба знобило. Он

не знал, что такое воровство. Даже такие обычные удовольствия, как детские набеги на сады соседей, были ему недоступны. Он шел, и ему казалось — каждая тень, каждое дерево готовы его изобличить. Попросту говоря, Машраб боялся, но продолжал шагать во имя любви, во имя Муяссар, которая, ничего не подозревая, в это время мирно спала. Как относился ко всему Акмаль — неизвестно. Он шел где-то сзади, и под его грузным телом трещали ветки и осыпалась под ногами земля.

В долине было светлее. По сторонам темнели бесформенные купы кишлачных садов, острые вершины тополей отделялись от звездного неба, то тут, то там видны были темные силуэты пасущихся лошадей. Где-то за плотинной кричали лягушки, воображая, что поют. Подошли к переулку: он угадывался по теплу, которое исходило от нагретых за день дувалов. Машраб скорее почувствовал, чем увидел, что Кучкар остановился под раздвоенным орешником. Он не успел предупредить недотепу Акмалья, и тот чуть не сбил Кучкара с ног.

— Спишь на ходу? — спросил Кучкар.

— Что я тебе, верблюд, чтобы на ходу спать? — огрызнулся Акмаль.

— Тебе лучше знать, кто ты, — сказал Кучкар. — Учитите, хандаляк сразу за арыком. На берегу растут колючки. Сначала пойдем по арыку, а потом пролезем между колючками. Бахчу охраняет Кур-Шермат... Понял, толстяк?

— О себе думай, — снова огрызнулся Акмаль. — Стоишь здесь, а видать тебя в Мекке. — Акмаль-толстяк имел в виду рост Кучкара. Обычно Акмаль довольно безропотно сносил шутки, но сегодня он был явно не в духе.

— У меня ноги по росту, — сказал Кучкар. — А тебе не советую ложиться на живот — покатишься, как шар... В общем, пошли...

Тополя по обе стороны переулка сливались с дувалами и казались сплошным высоким забором. Кучкар по-прежнему шел впереди. Время от времени он трогал калитку в дувале, и тогда во дворах сонно рычали собаки, а в курятниках тревожно вскрикивали куры. Кучкар это делал просто так, из озорства.

Проулок кончился, и неожиданно открылись бахча и черные вершины гор. Кучкар прыгнул в заросший травой сухой арык и пошел по нему пригнувшись, и между берегами в посветлевшем воздухе двигалась его голова. Потом

все трое легли на берегу и, раздвинув колючки, оглядели поле.

— Дождались, луна взошла, — сказал Кучкар.

— В глазах у тебя луна, от страха, — ответил Акмаль.

Луна действительно взошла. Она еще скрывалась за вершинами гор, но ее рассеянный свет уже пронизывал воздух, и на землю легли мглистые очертания теней. В мертвенно-бледном, голубоватом свете поле лежало покойно и тихо. По краю проходила темная линия садов, а неподалеку от нее стоял одинокий шалаш. Совсем близко прятались в листве хандаляшки. Машраб не помнил, как выполз на поле. Он согрелся во время ходьбы, но сейчас его снова знобило, саднили свежие царапины на лице. Под руку попался хандаляк. Машраб сорвал его. Оторванный кончик треснул, кожу покрывал сетчатый узор — признак спелости. Машраб рвал хандаляки и клал их за пазуху. Они грелись под халатом у голого тела и пахли терпко и сладко. Неподалеку Акмаль и Кучкар расхаживали между грядок, как по бахче своих тетушек. Машраб оглянулся, чтобы предупредить их, но вместо них шагах в двадцати от себя увидел неподвижную фигуру мужчины в вывернутой меховой шапке, с палкой в руке. Мужчина казался особенно огромным, потому что Машраб смотрел на него снизу. Машраб сразу узнал Кур-Шермата. Как только Машраб оглянулся, Кур-Шермат поднял палку, заорал:

— Держи вора!

Все, что произошло потом, Машраб не очень хорошо помнил. Он отбежал к арыку и оглянулся: Кучкар и Акмаль стояли между грядок, а Кур-Шермат, пробежав мимо них, гнался за Машрабом. Машраб рванулся сквозь заросли колючек, упал в арык, и тут же на него навалилось грузное тело.

— Затравил бахчу и бежать? — приговаривал Кур-Шермат. — У меня не убежишь. — Он заломил за спину руки Машраба и одним рывком поставил его на ноги. — Ах, это ты, подлец? — сказал он, только теперь узнав Машраба. — Хандаляшек захотел? Твои сверстники по колено в крови бьют фашистов, а ты колхоз обкрадываешь?

От этих слов белое от лунного света поле показалось черным, глаз Кур-Шермата сверкал от ненависти, и Машрабу страшно было на него смотреть. Второй глаз выбили Кур-Шермату в детстве, во время игры в альчики. С тех пор его прозвали Кур-Шерматом — Одноглазым. Он стоял

над Машрабом в вывернутой шапке, в распахнутом халате и с палкой, похожий на басмача из кинофильма.

— Отвечай, с кем был? Кто твои приятели?! — допрашивал Кур-Шермат.

Может быть, по наивности и потому что не умел врать, Машраб выдал бы Акмаля и Кучкара, но только вчера он написал стихи о шестнадцатилетней девочке-партизанке (он прочел о ней в газете). Девочке отрезали язык за то, что она не выдала фашистам партизан.

— Какие приятели? Нет у меня приятелей... Я был один... — сказал Машраб, и губы его тряслись от озноба.

— Я говорю про тех двух, на поле... Молчишь?! — Кур-Шермат толкнул Машраба в спину, и он побежал по арыку, чтобы не упасть.

Машрабу очень хотелось думать, что допрашивает его не колхозный бригадир бахчи, а офицер-гестаповец. Машраб со связанными руками бежал рысцой по арыку, а Кур-Шермат шел сзади и время от времени подталкивал его в спину.

Машраб попытался взглянуть на себя со стороны. Лучше бы не пытался! Что теперь будет? Бабушка, мать, сестра, жена брата Барно — свои люди: поругают и простят. А что скажет Муяссар? Что скажет ее отец Курбан-ата? Курбан-ата полагал, что победу революции обеспечили два человека: Чапаев на Урале и он, Курбан-ата, в Туркестане. На этом основании он очень придирчиво относился к молодежи и любил повторять: «Я и Чапаев свое сделали, посмотрим, что теперь сделаете вы».

Хуже всего было то, что Машраб сам не мог простить себе своего поступка и теперь просто не понимал, как мог на него решиться. Он шел и думал, что никогда из него не получится настоящего коммуниста.

То ли вышли за хандаляшками слишком рано, то ли в правлении колхоза была срочная работа, но, когда подошли к огромным двустворчатым воротам, в окнах конторы горел свет. Кур-Шермат постучал. Со двора не сразу откликнулся сонный голос:

— Кто там? Чего надо?

В левой половине ворот приоткрылась калитка, показался старик в ватном халате с тусклым фонарем в руке. Он сладко зевнул, распахивая калитку пошире и пропуская во двор сначала Машраба, потом Кур-Шермата.

— Кто в конторе, отец? — спросил Кур-Шермат.

— Не знаю. Наверно, начальство.

— Покарауль его.

— Иди, иди! — Старик поднял фонарь, вглядываясь в Машраба. — Э-э-э... Не сын ли ты Агзама Ячейки? — спросил он. — За что тебя так разделал этот дурень?

Губы Машраба вздрагивали. Он молчал, чтобы не зареветь. Сторож развязал поясной платок, которым были стянуты руки Машраба.

— На, вытрись, — сказал он.

В той стороне, где было правление, кто-то сказал:

— Ладно, ладно... Запри его в амбар. Завтра дожишь Инобатхон. Сейчас некогда.

В говорившем Машраб узнал председателя кишлачно-го Совета Халмата Чавандаза. Председатель спешил; его торопливые шаги замерли в глубине сада.

Кур-Шермат вернулся еще более обозленный. На слова старика:

— Зачем отсекать человеку голову, когда всего-навсего нужно снять тубетейку? — Кур-Шермат ответил:

— Каждый делает свое дело, отец: ты — свое, я — свое...

Кур-Шермат толкнул Машраба в спину, и тот отлетел к стене амбара. Потом Кур-Шермат распахнул низенькую дверь и, пригнув Машраба, ударил его коленом ниже спины. Машраб, спотыкаясь о конскую сбрую, упал на снопы клевера, сложенные в углу амбара. Над его головой под потолком отпечатался черный переплет оконной решетки.

Час назад Машраб был свободным и счастливым, а теперь его заперли в темном амбаре за воровство колхозных хандаляшек. Он сидел удрученный, обхватив руками колени и положив на них голову.

Машраб не помнил, сколько просидел так, когда под окном амбара услышал шаги: тяжелые мужские и легкие женские. Почти одновременно с шагами Машраб услышал голос Барно — жены брата. Ничего особенного: Барно работала бухгалтером колхоза и могла задержаться по работе — война, мало ли что нужно срочно сделать. Машраб не знал, часто ли приходилось Барно оставаться в конторе допоздна, потому что жена брата жила на другом конце кишлака, у своих дальних родственников. Машраба поразило другое: интонация ее голоса, когда она разговаривала со своим спутником. Так Барно разговаривала только с братом то недолгое время, что Машраб видел их вместе, перед тем как Ашраф ушел на фронт.

— Что вы, Халмат-ака, не надо! Что мне там делать в полночь! — певуче растягивала слова Барно. Называя председателя кишлачного Совета Халмат-ака, а не Халмат Чавандаз, она тем самым подчеркивала интимный характер разговора.

— Не откажите, Барнохон! — возразил Халмат Чавандаз. — Очень просил товарищ Эртаев!..

— Ах, вот что... Ну, какое же у него дело ко мне?

Машраб подумал, что Барно заранее знала, от имени кого ее приглашал председатель кишлачного Совета.

— Э, какое может быть дело, Барнохон! Просто посидим, выпьем мусалласа, отведем душу! — сказал Халмат Чавандаз, подчеркивая интимный характер приглашения.

Они вышли на вымощенную кирпичом дорожку, и дробный стук женских каблучков слился, удаляясь, с постукиванием кованых сапог. Машраб вскочил и рванул на себя решетку окна. Но амбар, как и весь дом, где размещалось правление, в прошлом принадлежал крупному баю, и все в нем было сделано прочно, на века.

— Сюда, Барнохон! Пройдем здесь. Не надо, чтобы нас видел сторож, — сказал Халмат Чавандаз, и это было последнее, что расслышал Машраб.

Он повалился ничком на клевер. Горьковато-сладкий запах горчака и мяты напомнил ему другую ночь...

За старым деревянным мостом Машраб, тогда еще совсем мальчишка, поставил с братом в тихой воде сплетенные из тальника ловушки для рыб.

Ашраф сказал:

— Запомни, братишка: мы дети Агзама Ячейки. Я отказался от брони и через два дня уеду на фронт... Я сказал в военкомате, что хочу кровью искупить вину отца... — Ашраф помолчал, потом добавил: — Если он виноват... Понимаешь, братишка, я не могу иначе. Я хочу, чтобы ты, мама, бабушка, сестра, ее дети, моя жена имели право ходить с высоко поднятой головой и быть счастливыми.

Они лежали на плотине, подостлав сено, пахнувшее мятой и горчаком. В камышах плескалась рыба. В гнездах на белых тополях сонно ворочались аисты.

В тот вечер Машраб узнал, что брат сомневается в виновности отца...

Перед тем, как вытащить ловушки и уйти домой, Ашраф сказал:



— Сколько будет продолжаться эта война — пять дней или пять лет?.. По правде говоря, за мать, за вас я спокоен, а за Барно немного боюсь. Не дай бог, если что-нибудь случится. Не могу себе представить жизнь без нее...

Ашраф выронил ловушку, и два сазана, отливая медью, ушли под воду.

Барно была дочерью их дальнего родственника и жила с родителями в Ташкенте. Там Ашраф с ней познакомился. Первый раз Машраб увидел Барно за год до начала войны, когда она приезжала в кишлак к своему дяде. В тот год Ашрафджан окончил Ташкентский транспортный институт и приехал в отпуск.

По совести говоря, Машраб был потрясен красотой Барно и гордился братом. Когда Барно, слегка прищурив большие темные глаза, проходила по улицам кишлака в платье из хан-атласа, в черных туфлях на высоком каблуке, с толстой косой темно-русых волос, над глинобитными дувалами, словно по команде, показывались головы парней, приехавших на каникулы...

Как-то Ашраф дал Машрабу книгу и попросил отнести Барно. Тетушка сказала, что Барно в саду. Она сидела под высоким виноградником с подружками и красила усьмой брови. У каждой девушки было свое зеркальце. Девушки, поглядывая в зеркальце, улыбались, а две наиболее дотошные не торопясь расспрашивали Машраба:

— Кто тебе разрешил зайти в сад?

— Ну-ка, признайся, кто тебя подослал?

Машраб стоял, словно язык проглотил, и не знал, куда спрятать книгу. Выручила его Барно.

— Ты принес книгу, которую я просила, Машрабджан? — сказала она и отчаянно покраснела.

Она взяла книгу, из которой на глазах у всех выпала записка. Барно подхватила ее и под смех девушек убежала. Машраб не очень хорошо помнил, как вернулся домой. На другой день Барно пришла к ним в гости. Когда приятели Ашрафа, собравшиеся в саду, начали петь, Барно потихоньку попросила Машраба:

— Покажи-ка мне ваш сад, Машрабджан!

Она тут же забыла про сад и, притаясь в вишеннике, слушала шуточные песни парней. Она не отпускала от себя Машраба, гладила его волосы, а когда голос Ашрафджана вырывался из общего хора и начинал дрожать, словно Ашраф знал, что его слушает Барно, — начинали дрожать и пальцы девушки...

И еще одним запомнился тот приезд Барно в кишлак...

Барно часто бывала в доме у Муяссар, приходила с другими девушками к ее старшей сестре Зебахон, студентке ТашМИ<sup>1</sup>. В такие дни протекающий через сад Муяссар арык наполнялся яблоками с вырезанными на них инициалами парней. Самые крупные и красивые яблоки были всегда украшены буквой «А». Их пускал в воду Ашраф. Но прежде чем яблоки парней доходили до адресатов, их вылавливали Машраб и Муяссар. Всех «зятьев», которые им были не по душе, они съедали сами, а яблоки полюбившихся им парней передавали девушкам. Каждый раз, когда Барно видела яблоко с вырезанной буквой «А», ее большие ласковые глаза начинали влажно блестя.

Ашрафджан и Барнохон поженились за несколько недель до войны. Перед отъездом Ашрафа на фронт Барно переехала в кишлак.

Где сейчас брат? Жив ли? Последнее письмо получили от него месяцев пять назад. Он был десантником и намекал в письме, что уйдет на задание. Брат воюет с фашистами, а он, Машраб, обворовал колхозную бахчу... Барно пьет мусаллас с чужими мужчинами, а что скажет Муяссар? Завтра утром Кур-Шермат доложит председателю колхоза Инобат о преступлении Машраба. О нем узнает весь кишлак, и кто помешает людям вспомнить, что Машраб — сын исключенного из партии Агзама Ячейки? Инобатхон умная и добрая женщина, подруга матери, она не подумает о Машрабе плохо, она просто спросит: «Зачем ты это сделал?» А что можно на это ответить?..

Плечи Машраба тряслись, и он прятал лицо в клевер, чтобы не слышно было рыданий.

Однажды уже случилось, что брат долго не писал. А потом пришло письмо: Ашрафджан сообщил, что был ранен в тылу у немцев, попал к партизанам и после выздоровления перешел линию фронта. Может быть, и на этот раз случилось такое? Махира-буви говорила: «Без надежды — один шайтан». Неужели потому, что от брата снова нет письма, Барно потеряла надежду? А может быть, между братом и Барно произошла размолвка, о которой Машраб не знал? Нет, такого не могло быть. Когда домой прихо-

---

<sup>1</sup> Т а ш М И — Ташкентский медицинский институт.

дило одно письмо Ашрафа, — Барно получала три. Она расцветала, прибегала к свекрови, дурачилась с Машрабом и вообще как-то по-особому добрела. Наверно, все дело в Эртаеве. Здоровый, красивый, работавший заместителем председателя райисполкома, Эртаев, как уполномоченный района, руководил кустовыми колхозами и с весны жил в небольшой комнатке при кишлачном Совете. В городе у Эртаева была семья, но он ездил домой очень редко. Молодые женщины-солдатки терялись в догадках: с кем Эркин Эртаев делит свой ночной досуг? Машраб слышал, как они говорили: не может быть, чтобы такой мужчина обходился без женщины. Выходит, они были правы.

Машраб застонал и перевернулся на спину. Где Кучкар и Акмаль? Он не предал их, а они, наверно, спят сейчас по домам и думать о нем забыли. А как там хлопчатник? Может быть, его уже залило водой? Машраб лежал на спине, и мягкий клевер казался ему хуже колючки.

Он лежал и прислушивался к ночным шорохам в саду. Показалось, что кто-то постучал в окно. Машраб тихонько встал и осторожно приблизил лицо к решетке.

— Дивана, где ты? — шептал Кучкар.

— Я здесь!

— Так я и знал! Мы тебя везде искали... Не знаю, что делать: на двери замок больше лошадиной головы. Как быть, Дивана?

— Проверьте хлопчатник, как бы его не залило. Обо мне не беспокойтесь. До утра посижу, а утром выпустят.

— Ты в своем уме — сидеть до утра? Утром тебя потащат в правление, и мы все пропали, — забывая об осторожности, сказал Кучкар.

— Испугался? Боишься, что выдам? — сказал Машраб. Он хотел добавить: иди к своему отцу и поучись у него, как сводничать, но горло перехватило от обиды, и Машраб умолк, к тому же он вспомнил, что Чавандаз не родной отец приятеля и Кучкар сам его не любит.

Рядом с Кучкаром молча сонел Акмаль. Они о чем-то посоветовались вполголоса, потом Кучкар сказал:

— Смотри не засни. Мы сходим поищем топор. Вообще не волнуйся: вырчим...

Кучкар исчез так же внезапно, как и появился. Даже неуклюжий Акмаль на этот раз действовал без всякого шума. Во всяком случае, сколько Машраб ни напрягал слух, он ничего не слышал, кроме заливистого, с придыханием храпа сторожа.

Машраб раскаивался в том, что заподозрил друзей в неверности. Правда, Машраб и Кучкар уже давно недолюбливали друг друга. Эта неприязнь обострилась в прошлом году, когда не был открыт десятый класс и Кучкар с Акмалем стали работать в колхозе, а Машраб учился в девятом классе. Этой весной Машраб тоже начал работать в колхозе в новой бригаде, которую организовали учителя. Кучкар, всегда высмеивавший пристрастие Машраба к книгам, после этого стал лучше относиться к Машрабу, хотя по-прежнему не без ехидства называл его Машраб Дивана. При всей горечи, которую испытывал Машраб, он не без гордости подумал о том, что утер нос самому Кучкару, проявив волю и мужество. Ничего не значит, что он не такой сильный, как Кучкар и Акмаль: в человеке главное не физическая сила, а сила духа. После того, что сегодня произошло, даже Кучкар не посмеет думать о нем, как о хлюпике, умеющем только стихи сочинять. Как ни тяжело было Машрабу, но после разговора с Кучкаром он проникся к себе особым уважением.

Машраб лежал на клевере, прислушивался, стараясь из всех сил не заснуть.

На этот раз Машраба разбудил Кур-Шермат:

— Хорошо устроился! Как на курорте! А ну, вставай, ворюшка!

Солнце только что взошло, и из-за дувалов слышалось бляенье баранов, кудахтанье кур, брань женщин. Какают женщины кричала:

— Держи теленка, чтоб тебя земля проглотила!..

Машраб шел далеко впереди Кур-Шермата, будто не имел к сторожу бахчи никакого отношения: просто идут себе в одном направлении два совершенно посторонних человека, — это на случай встречи со знакомыми. К счастью, улица кишлака была пустынной.

Бахча зеленым ковром поблескивала под лучами солнца. Солнце уже пригревало, и сладковатый аромат дынь пронизывал воздух. В листьях скопилась роса, каждый из них словно изумрудная чаша, полная хрустальной воды, — возьми и пей. Между листьями проступали, греясь на солнце, сетчатые бока дынь: знаменитые басвалды, америйские, кукча с надтреснутыми плетями. Они прошли мимо грядки с дынями и вышли к сухому арыку, где росли хандаляшкки. В зелени зияли развороченные грядки, разо-

рванные плети путались под ногами, сорванные хандалаяшки валялись тут же, в междурядье. Машраб смотрел и не верил, что он успел ночью за какие-то полчаса так разворошить бахчу. Сорваны были не только хандалаяшки — зияли пустотой близкие к арыку гряды дынь. Но ни Акмаль, ни Кучкар дынь не рвали — это Машраб очень хорошо помнил. Он видел их в последний раз совсем в другом месте. Неужели они вернулись на бахчу уже после того, как его поймал Кур-Шермат? Машраб был так расстроен видом развороченной бахчи, что не обратил внимания на следы ишака между гряд.

— Видишь, что наделал, подлец! — Кур-Шермат схватил Машраба за подбородок. — Теперь скажешь, кто твои приятели? Молчишь? Значит, ты один все это натворил? Один и ответишь, раз молчишь. — Кур-Шермат бросил под ноги Машраба черный шерстяной мешок. — Собирай хандалаяк! Клади вместе с плетями, ворюга несчастный!

Машраб собрал почти полный мешок.

— Давай поднимай и неси! — сказал Кур-Шермат и помог Машрабу взвалить мешок на плечи.

Больше не было смысла делать вид, что он не имел никакого отношения к Кур-Шермату, все равно никто бы не поверил. Машраб сгибался под тяжестью мешка — с такой поклажей далеко не убежишь, — а Кур-Шермат шел след в след за его спиной да еще покрикивал:

— Умел воровать, умей и ответ держать!

Машраб шел, стиснув зубы, и зло думал: «Сам ты вор и басмач!» Машраб даже не подозревал, как близок он был к истине: пока Машраб, обливаясь потом и спотыкаясь, шел по пыльной улице кишлака, по дороге в город шагал ишак Кур-Шермата, нагруженный дынями.

В этот час люди спешили на работу. Навстречу то и дело попадались старики верхом на ишаках, покрикивая «хык, хык», и ноги стариков почти касались земли. В тени дувалов шли женщины и девушки с кетменями на плечах, и Машраб слышал их колкие реплики:

— Мальчишку вместо ишака приспособил.

— Совсем замучил бедняжку, дурак одноглазый.

Одна женщина перешла дорогу и заглянула Машрабу в лицо.

— Смотрите, это же сын Ячейки...

Машраб шел, не поднимая головы, думая об одном: скорей бы дойти до правления колхоза. Правление уже

было совсем близко, подняв глаза, можно было увидеть массивные ворота, но дойти до них Машрабу не довелось: справа в урюковой роще он услышал веселый и звонкий смех Гульчехры.

— Ой, Муяс, смотри — Дивана!

Пальцы Машраба разжались, и мешок с глухим стуком ударился о землю. Машраб вскинул голову. За арыком, чуть впереди Гульчехры, стояла Муяссар. Ее брови дрогнули и поползли вверх от изумления.

Гульчехра хохотала, а хандаляшки из лопнувшего мешка покатились к арыку.

— Смотри, хандаляки... Бедняжка ходил за хандаляшками, — говорила Гульчехра и, чуть не падая от смеха, обвиняла Муяссар.

Машраб озирался по сторонам, словно попавший в петлю необъезженный жеребенок. Он снова украдкой посмотрел на Муяссар, ища у нее сочувствия. Но в широко раскрытых глазах девушки, в выражении ее лица Машраб уловил оттенок брезгливости. А может быть, ему так показалось, потому что он сам себе был противен в эту минуту.

— Полюбуйтесь, товарищ комсорг, вот они, хандаляки, которые комсомольцы растили для госпиталя!

Это сказал Кур-Шермат. Муяссар мельком взглянула на него и тут же снова повернулась к Машрабу.

— Ты, ты... ты знаешь, что натворил? — Она задыхнулась и, не договорив, побежала в урюковую рощу, и ее яркое платье мелькало между деревьями.

Гульчехра бежала за ней, и на дороге звенел ее веселый голос:

— Подруженька, куда бежишь? Где горит?

Кур-Шермат перестал улыбаться.

— А ну, подбери! — сказал он и ткнул пальцем на хандаляки. — Это тебе не урожай с бабушкиной бахчи. Они выращены в поте лица, негодяй!

— Не буду, хоть застрели на месте — не соберу!

— Соберешь!

Кур-Шермат схватил Машраба за шиворот и стал клонить к земле. Машраб изо всех сил цеплялся за его халат. Сзади послышался глуховатый, мягкий, такой знакомый и такой ненавистный сейчас голос:

— Машрабджан?

Кур-Шермат отпустил его. Барно, в платье из черного атласа, которое очень шло к ее полноватой фигуре, с бе-

лым, почти без загара лицом, с выражением тревоги в темных глазах, подбежала к ним.

— Что случилось, Машрабджан? — Ноздри у нее расширились; тяжело дыша, она смотрела то на Кур-Шермат, то на Машраба.

Кур-Шермат неловко прокашлялся, сказал:

— Видите, что наделал, глупыш! Ночью полез на бахчу и все там перевернул...

Барно сжала губы, красивые глаза ее сверкнули гневом.

— Неужели... из-за каких-то недозревших хандаляшек можно так оскорблять?! — резко спросила она.

— Но как же быть, ападжан? Сами понимаете, добро не мое...

— Все понимаю. Немедленно отпустите его!

— Что же будет, ападжан?

— Ничего! Я сама за все отвечу. Если нужно будет, поговорю с товарищем Эртаевым...

Машраб, потрясенный неожиданным появлением Барно, молчал, но теперь сжал кулаки и выкрикнул:

— Не нужно мне ваше заступничество! — Он запнулся. Барно с недоумением смотрела на него. — Не хочу, чтобы вы просили за меня Эртаева! Он негодяй и распутник! Сами пользуйтесь его помощью! — выкрикнул Машраб, и оттого, что эти беспощадные слова он выкрикнул в лицо любимой невестке, его горло перехватила спазма. Машраб перепрыгнул через арык и побежал в рощу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Гульсум-апа ждала Машраба. В это время он уже приходил с ночного полива. Но вместо сына пришел сторож правления и сказал, что ее вызывает Эртаев.

Сторож ушел, а Гульсум-апа с минуту стояла в раздумье. Она снова вспомнила слова мужа: «Не верь Эртаеву». К сожалению, сам он до последних дней верил молодому красноречивому пареньку с черными горячими глазами.

Месяц назад Эртаев уже вызывал ее и от имени районо поручил выполнять обязанности директора школы, которого призвали в армию. Зачем она понадобилась теперь? В тот раз Эртаев был с ней предельно вежлив и предупредителен, как бы стараясь подчеркнуть, что переменившие-

ся обстоятельства не повлияли на его отношение к ее покойному мужу и к ней самой.

После того как долгое время Эртаев избегал семью своего бывшего начальника, его обращение показалось Гульсум-апа странным, и она до сих пор думала: с чего бы это?

Гульсум-апа достала из сундука цветастое платье, не очень новое, но лучше того, в котором она была. Голову повязала косынкой дочери Мастуры и мельком, но внимательно оглядела себя в зеркале, поправила выбившиеся из-под косынки волосы, заметила, но без всякой горечи, что за последний год стала быстро стареть. Она прикрыла на подносе завтрак Машрабу и вышла из дому. Шла по улице и продолжала думать о том, зачем ее вызывает Эртаев. Возле сросшейся орешины из переулка вышли Кучкар и Акмаль. Рубашка у Кучкара вылезла из-под ремня, его густые курчавые волосы растрепались, а в странных желтовато-голубых глазах была какая-то тревога. Акмаль-толстяк, которому обычно бывало море по колено, тоже был встревожен, хмурился и все время отводил глаза.

— Здравствуйте! Куда путь держите, молодые люди, и что у вас случилось? — спросила Гульсум-апа. Она смотрела то на одного, то на другого, и ее наметанный глаз учителя уловил что-то неладное. — Где Машраб?

— Машраб? — Кучкар почесал голову, кашлянул. — Он не пришел домой?

— Нет. Откуда вы идете? С поля?

— Идем-то мы с поля... — начал было Кучкар, пряча глаза.

— Э, брось молоть чепуху, — решительно заговорил Акмаль. — Ходили в правление, там сказали, что Машраб сбежал...

— Куда сбежал? Зачем ему бежать?

— Ну, ночью мы ходили за хандаляками. Ну, словом, Машраб попался.

— А потом? Его арестовали?

— Да, было так, но сейчас мы узнали, что он удрал, — сказал Кучкар и торопливо добавил: — Мы еще ночью хотели его освободить — не вышло!

Больше не надо было ломать голову, зачем вызывает Эртаев. Конечно, попался ее витающий в облаках Машраб, а не этот сорвиголова Кучкар. Кто станет связываться с пасынком председателя кишлачного Совета Халмата Ча-



вапдаза? Гульсум-апа смотрела на Кучкара, и горькая улыбка застыла в уголках ее губ.

— Нет, будь я проклят! — неожиданно выкрикнул Кучкар.

— Все будет хорошо, — сказала Гульсум-апа. — Идите и занимайтесь своими делами. Помните, за полив хлопчатника отвечает школа, а это дело доверено вам.

Гульсум-апа свернула в проулок, а Кучкар и Акмаль смотрели ей вслед. Она шла, сосредоточенно хмуря брови, с высоко поднятой головой.

Гульсум-апа не боялась предстоящего разговора с Эр-таевым: ну, сколько хандаляков могли сорвать мальчишки? Ее беспокоило отсутствие Машраба. Она хорошо знала болезненную стыдливость сына и его самолюбие. Она всегда со страхом думала: как мальчик будет жить со своей прямолинейной честностью и обостренной совестью? Она гордилась сыном, так непохожим на остальных ее детей, и одновременно боялась за него.

— Э, салам, ападжан!

У двустворчатых ворот правления стоял Камил Джалалов, в линялой гимнастерке и в больших стоптанных сапогах с потертыми кирзовыми голенищами. Правая рука его, с подвязанным деревянным лубком, висела на груди на поясном платке. На правой стороне гимнастерки алел орден Красной Звезды, на левой — искрились на солнце две медали. Когда Гульсум-апа встречала Камилу, у нее всегда теплело на сердце. Камил был первым вернувшимся с фронта живым и с орденом, как бы напоминая малове-рам, что на войне не всех убивают.

— Салам, Камилджан, салам!

— Здравствуйте, ападжан. — Камил улыбался, и на его скуластом веснушчатом лице бросались в глаза совсем мальчишеские ямочки.

— Как рука? Заживает рана?

Камил потрогал пальцы, видневшиеся из-под повязки, слегка пошевелил ими, сказал:

— Кто знает, что будет с рукой. Разрывная пуля. Доктора хотели отрезать, но я не дал... Пойдемте, а то без нас собрание начнут. Между прочим, можете меня поздравить — выбрали парторгом.

— Поздравляю, дорогой! Поздравляю!

Камил неловко протянул ей левую руку.

— Извините, — сказал он и покраснел. Как будто был виноват в том, что правую руку ему искалечили.

— Не гневи судьбу. Единственная мечта матерей — чтобы их сыновья вернулись живыми.

— Так это же матерей, ападжан, — грустно сказал Камил и снова пошевелил высохшими пальцами.

— О каком собрании ты сказал? — спросила Гульсум, проходя в ворота правления. Она шла по мощенной кирпичом дорожке чуть впереди Камила.

— Товарищ Эртаев решил провести собрание кишлачного актива.

Кабинет председателя кишлачного Совета был полон народа. Вряд ли эти люди собрались здесь из-за того, что Машраб воровал ночью хандаляки. После пережитого напряжения у Гульсум разболелась голова. Как только Гульсум и Камил вошли, Эртаев встал, опершись о стол крупными руками с холеными белыми пальцами.

— Пожалуйста, проходите сюда, — сказал он Гульсум, указывая на единственный свободный стул рядом с Барно.

Камил прошел к столу и сел на оставленное ему место.

— Если не возражаете, начнем, — сказал Эртаев. Он смотрел на Гульсум, и получилось так, как будто он спрашивает у нее разрешения начать собрание.

Эта подчеркнутая любезность вновь насторожила Гульсум. Усаживаясь рядом с Барно, Гульсум наклонилась к ней:

— Здравствуй, милая!

— Спасибо, и вам многих лет здоровья...

Барно посмотрела на нее, и Гульсум увидела в слегка прищуренных глазах невестки, в ее круглом и белом лице с плотно сжатыми припухлыми губами отчужденность и неприязнь. «Что с ней?» — подумала Гульсум и сама себе ответила: «Мало ли что может быть у молодой женщины, от чего портится настроение?» Гульсум успокоилась и огляделась.

За столом рядом с Эртаевым сидели председатель колхоза Инобат и Камил, а на диване у окна с независимым видом расположился Халмат Чавандаз и рядом с ним, ближе к столу, — Курбан-ата. Всегда, на всех собраниях, сколько помнит Гульсум, он сидел рядом с начальством. Старый Курбан-ата уже давно утратил свое былое значение, но своим привычкам не изменил и по-прежнему на любых собраниях садился на почетное место. Курбан-ата сидел строго и прямо, в большой милицейской фуражке на голове и с плотно набитой полевой сумкой на коленях,

Эту полевую командирскую сумку Гульсум помнила столько же, сколько помнила Курбана-ата.

Потом Гульсум принялась разглядывать Эртаева. Когда-то тонкий и стройный, он пополнил, раздался в плечах. Под столом видны были до блеска начищенные хромовые сапоги, белая шелковая рубашка с нагрудными карманами ладно облегал его широкую грудь и красиво сочеталась с синими шевиотовыми бриджами с красным кантом, широкий командирский пояс из желтой кожи плотно стягивал полнеющую талию. Рядом с ним особенно убого выглядели вылинявшая гимнастерка и стоптанные кирзовые сапоги Камила. Гульсум стала внимательно прислушиваться к словам Эртаева. Он упрекал председателя колхоза Инобатхон в том, что та превысила план, посеяв шестьсот гектаров зерновых. С этого момента Гульсум слушала все особенно внимательно. Сначала получалось так, будто Эртаев корит Инобатхон за превышение плана и увеличение фронта работы. Но когда Инобатхон спросила:

— Разве плохо, что мы хотели дать стране, кроме хлопка, еще и побольше хлеба? — Эртаев ответил:

— Кто вам говорит, что плохо? Умели брать обязательства — умеете их выполнять. Я говорю о том, что мы многое на словах готовы сделать для фронта. А на деле? На деле не убрано еще и одной трети зерна, а с вывозкой его на заготпункты обстоит еще хуже...

— Весной, когда мы брали обязательства, в колхозе еще были мужчины. — Инобат развязала цветастый платок и нервным движением провела по горлу рукой, словно ей не хватало воздуха. — Когда брали людей в трудовой батальон, я просила оставить хоть таких тружеников, как Эшмат-ака...

Халмат Чавандаз с места оборвал ее:

— Эшмат-ака да Ташмат-ака... Сколько можно об этом помнить? Обязательства выполнять надо? Надо! Об этом и говорит товарищ Эртаев... С людьми у ваших соседей не лучше, а план они выполняют.

— И мы выполним! — Курбан-ата вскочил со своего места и поправил на голове фуражку. — Товарищ Чапаев никогда не спрашивал, сколько беляков... Товарищ Чапаев спрашивал: где белые? Не надо считать трудности. Чем их больше, тем лучше.

— Молодец, ата, — сказал Эртаев и зааплодировал.

Другие тоже хлопали в ладоши и улыбались. Курбан-ата снова поправил фуражку, готовясь произнести речь,

по Эртаев попросил его сесть, ласково положив руку на его плечо.

— Будет Инобатхон обижаться за то, что советская власть призвала на фронт нужных колхозу людей, или не будет — положение не изменится. Хлеб убирать и сдавать государству надо. К тому же из колхоза не только уходят... Наш новый парторг, замечательный сын нашего народа, герой Великой Отечественной войны Камил Джалалов... — Эртаев увидел, как Камил опустил голову и как у него покраснели уши, но продолжал: — Вам нечего стыдиться, Камилджап, моих высоких слов. Я говорю то, что мы все думаем. Вы настоящий герой, и мы гордимся вами. Мы надеемся, что вы внесете в работу боевой дух наших славных фронтовиков и обеспечите решение стоящих перед нами задач. — Эртаев уловил нетерпеливое движение присутствующих, сказал: — Минуточку, еще один вопрос.

Он взял из рук Барно какую-то бумажку, пробежал ее глазами.

— Дело вот в чем, — сказал Эртаев. — Руководители района, учитывая нехватку людей в колхозе, решили направить в наш кишлак четырнадцать эвакуированных семей. Всего тридцать два человека.

— Целый взвод! Когда к Чапаеву приходило пополнение... — Курбан-ата поучительно размахивал указательным пальцем, но Эртаев снова, на этот раз нетерпеливо, прервал его.

— Однако есть одно но... — сказал он. — Среди гостей имеются эвакуированные из Ленинграда... Попросту говоря, больные женщины и дети, которые перенесли двухлетнюю блокаду. Почему их направили к нам? Сейчас нет ни курортов, ни санаториев. У нас как-никак горный воздух, фрукты, овощи. Правильно я говорю, Гульсум-апа?

От этого прямого и неожиданного обращения к ней Гульсум немного растерялась.

— Правильно... Только почему вы это говорите мне? — сказала она.

— Гостям надо будет отдать лучшие комнаты, если возможно, и свои гостиные... Среди несознательных, возможно, будет недовольство. Вы, Гульсум-апа, пользуетесь авторитетом и должны заранее провести работу среди населения...

— Вы о нас думаете хуже, чем мы того заслуживаем. Мы можем себе представить, что значит перенести блокаду. У меня нет хороших комнат, но они есть у моей мамы,

и она их уступит приезжим. Я думаю, так поступит каждый.— Гульсум покраснела, пытаясь улыбкой смягчить резкость слов.

Присутствующие сочувственно молчали, а Эртаев сказал:

— На этот раз меня меньше всего интересует, что вы думаете. Надо, чтобы приезжих встретили и чтобы от них не поступало жалоб. Поработать с населением мы поручаем вам. Кроме того, необходимо создать комиссию по встрече гостей.

По его словам, по взгляду Гульсум поняла, что вежливая любезность Эртаева — сплошное притворство.

Она вспомнила о Машрабе, когда увидела, как Барно пошла к выходу. Гульсум вышла за ней. Невестка работала в правлении и могла знать подробности того, что произошло. Гульсум решила не обращать внимания на неприязнь невестки, ни разу не взглянувшей на нее во время собрания. Сейчас Барно тоже старательно отводила глаза.

— Что с тобой, милая?

— А что? Ничего особенного!

— Слышала, что натворил Машраб?

— Не только слышала, даже видела. Я поражена, апа. Я видела, как его тащил сторож, подошла, чтобы заступиться, а он нагрубил мне и убежал. Я хочу предупредить: пусть никто не чувствует себя моим хозяином. Я никому не позволю за мной следить и указывать, как мне жить...

— Не знаю... Возможно, Машраб поступил, как мальчишка. Я поговорю с ним. Пожалуйста, не думай, что кто-то из нас будет тебя притеснять.

Гульсум увидела выходящую из кабинета Инобат и подошла к ней.

В больших, неуклюжих сапогах, с почерневшим от загара обветренным лицом, Инобат выглядела постаревшей и очень усталой.

— Инобат, милая, как дела?

— Спасибо, сами слышали...

— Не обижайтесь, большой человек!

— Да, я понимаю. Он ведь тоже заботится не о себе, а о фронте,— сказала Инобат.— Как у вас дела? Давно уже не была в вашей бригаде.

Гульсум-апа засмеялась:

— А у нас то же самое — не хватает людей.

— Знаю. Иначе давно бы забрала трех соколов в степь.

— Что же я тогда буду делать? Они одни справляются с поливом.

— Справляются с поливом или... — Инобат весело рассмеялась, ее белые красивые зубы молодили усталое лицо. — Вы уже, наверно, слышали, что натворил Машраб?

— Да, мне только что сказали...

— Пока я пришла, успели доложить Эртаеву. Я как следует отругала бригадира бахчи.

— Не знаю, что и сказать.

— Э, бросьте, апа! Разве мы не были девчонками? — Карие глаза Инобат заискрились. Она пошла к воротам, посмеиваясь и громко похлопывая плетью по голенищам сапог.

Хорошо поговорили подружки. Вроде бы ничего и не сказали друг другу, а на душе Гульсум стало хорошо и покойно, как давно уже не было. За последние годы пришлось пережить столько невзгод, что Гульсум-апа порой не верила, что когда-то и она была девчонкой. Успокоенная, она пошла к Камилу, которого назначили председателем комиссии по встрече гостей.

Машраб лежал на балахане — двухэтажном навесе с плоской земляной крышей — и вот уже пять часов изучал потолок. Он залез сюда ранним утром, а сейчас полдень, и на сухом зеленом клевере лучи солнца рассыпаны, как золотистая солома. На потолке, среди засохших, сморщенных шкур, висели мешочки с куртом, нанпзанные на штку, словно бусы, стручки красного перца, гирлянды сушеных персиков, несколько пучков базилика и еще что-то. Все это «большое хозяйство» бабушки Машраб успел хорошо изучить. Милая Махира-буви, за свой век ей не раз пришлось голодать, и она собирала каждую косточку, каждую сухую урючину, чтобы не знали голода ее дети и внуки. Среди этого съестного царства Машраб вспомнил, что не ел со вчерашнего вечера. Но он так устал и так был расстроен, что не хотелось ни есть, ни шевелиться. Даже услышав голос матери, которая пришла к бабушке, наверно разыскивая его, Машраб еле заставил себя выглянуть в окошечко, настолько все было ему безразлично.

Бабушка сидела на корточках на берегу арыка и умывалась, а Гульсум-апа стояла возле нее. Прежде чем ответить на вопрос дочери, где может быть Машраб, Махира-

буви провела мокрыми руками по белоснежным волосам, вытерла лицо кончиком платка и встала.

— Что ты, доченька, так беспокоишься? Может быть, что-то случилось? — спросила она.

— Нет, мама, просто он сегодня домой не приходил.

— Если не приходил, значит, где-то ходит. До чего ты, доченька, беспокойная, до чего беспокойная... — Слово «доченька» она произносила недовольно, с упреком. Потом они — мать и дочь — взяли за руки Фатиму и Зухру, прибежавших из сада, и, перейдя улицу, прошли во двор.

Теперь, чтобы их видеть, Машрабу надо было перейти к окошку на другой стороне балаханы. Машраб помедлил, с минуту смотрел вдаль. Из окошка были видны не только ближние сады, но и дома, расположенные по ту сторону долины, склоненные над плотиной ивы, две сросшиеся орешины и белые тополя с гнездами аистов, похожими на перевернутые тандыры. А за долиной, за садом Муяссар, начинались ровные хлопковые поля. Машраб почему-то вспомнил раннюю весну, когда старые учителя во главе с Азизом-домуллой на волах пахали землю, а мать варила на всю бригаду похлебку. В это время старшеклассники бороновали на ишаках, запряженных в деревянные бороны.

Машраб снова услышал голоса матери и бабушки. Теперь женщины разговаривали во дворе.

— Неужели я пожалею угол для этих бедных вдов? — недовольно говорила буви. — Только бы сыновья и внуки вернулись живыми, а комнаты найдутся для всех.

Машраб заинтересовался: какие бедные вдовы? Кто должен приехать и почему о них беспокоится его мать? Он перешел к окну на улицу.

— Вы возьмите в комнате дяди сюзане. А я пришло с ребятами кое-какие вещи, — выходя на улицу, говорила Гульсум-апа, а Махира-буви провожала ее до калитки.

Все, что услышал Машраб, было настолько неожиданно, что он на время забыл о собственных делах, теряясь в догадках: кто бы это мог приехать?

Вскоре с поля вернулась жена дяди с кетменем на плече. А вслед за ней во двор ввалились Кучкар и Акмаль-толстяк. Кучкар нес на спине платяной шкаф, подложив на плечи курпачу.

— Посторонись, посторонись! — покрикивал Кучкар, неуклюже поворачиваясь, чтобы пройти в дом. За ним шел Акмаль, на его спине лежал стол Машраба.

Машраб с беспокойством подумал: где книги, которые

лежали в шкафу, и тетради с дневниковыми записями, которые были в ящиках стола? Эти тетради Машраб прятал от всех. Неужели их нашли? А может, их взял Кучкар? При этой мысли Машраб покрылся потом и у него шевельнулись волосы на голове. Он уже готов был кинуться с балаханы во двор, но в калитку вошли Муяссар и Гульчехра. Муяссар несла два стула, а Гульчехра — постель.

Кучкар и Акмаль, мешая друг другу, втаскивали в комнату шкаф и стол, Муяссар то появлялась на пороге, то снова уходила в комнату. Гульчехра с женой дяди подметала двор, а бабушка то приносила из арыка воду, то возилась подле очага, от которого тянуло дымком и пахло похлебкой.

На улице поднялся какой-то шум. Машраб снова подошел к окну. В конце переулка показались в сопровождении толпы Камил и Азиз-домулла. Они раздвигали толпу, указывая дорогу арбе на высоких, выше человеческого роста, колесах. Первая арба, с молодыми женщинами, проехала мимо бабушкиного дома. Парнишка-арбакеш, сверстник Машраба, сидел между двумя женщинами, которые чему-то смеялись, а лицо арбакеша расплывалось в улыбке. Вторая арба, на которой ехали женщины с детьми, тоже не остановилась. Женщина с худым лицом, прижимая к себе мальчика, громко сказала:

— Посмотри, Володя, сколько яблок!

Другая женщина поправила:

— Это не яблоки, а персики.

Какой-то мальчик настойчиво повторял, удивляясь, что никто не разделяет его изумленного восторга:

— Мам, смотри! Да смотри же — аисты! Видишь, гнездо аиста. Да смотри же!

Машраб провожал глазами арбу, пока она не скрылась за поворотом. Он уже догадался по истощенным лицам детей и женщин, что за гостей ожидала мать. В переулке возле калиток стояли старики, старухи, дети. Слышались ренлики:

— Сразу видно — голодные...

— Лица совсем желтые.

— Пожелтеешь. Два года голодали и мерзли.

— Бедные наши дети, когда все это кончится?

Машраб прозевал, когда в переулок въехала третья арба. Он увидел ее уже возле дома. Гульсум-апа впереди лошади подошла к калитке. На арбе лежала изможденная женщина и возле нее, держа женщину за руку, сидела



девочка. Машрабу показалось, что ей лет десять, но потом он узнал, что девочка была ровесницей Муяссар, просто от истощения она казалась моложе. На арбе сидели еще женщины и дети, но Машраб никого, кроме этих двух, не замечал. Девочка смотрела по сторонам огромными встревоженными глазами, как будто искала у людей сочувствия. Восковое лицо матери казалось мертвым, и голова ее моталась от толчков. Девочка придерживала ее свободной рукой. Арба остановилась возле калитки. Гульсум-ана встала ногой на колесо и наклонилась к женщине.

— Серафима Федоровна, приехали! — сказала она.

Женщина открыла и снова закрыла глаза.

— Сейчас, сейчас, — засуетилась девочка. — Мама, мы уже приехали. Слышишь? Приехали. — Девочка посмотрела вокруг запавшими глазами, сказала: — Она сама не встанет, если ей не помочь.

Возле арбы суетились Кучкар и Акмаль. Они сгружали узлы, а девочка, просунув под плечи и голову матери тонкую, как плеть, руку, приподняла ее. Женщина закашляла. Она кашляла долго и надсадно, а девочка все выше поднимала ее голову и плечи, пока женщина не села. Бабушка протянула ей пиалу с чаем. Женщина отпила глоток, кашель утих, и, опираясь на протянутые руки, она тяжело спустилась на землю. Арба тронулась, и женщины с детьми, оставшиеся на арбе, прощались, будто уезжали на другой конец земли:

— До свидания, Серафима Федоровна.

— Прощайте.

— Выздоровливайте!

На лицах приезжих была встревоженность и грусть. Причину этого Машраб понял много лет спустя. Людей, выросших под другим солнцем, среди другой природы, эти домики с плоскими крышами, укрытые в садах, узкие кривые переулки с глухими дувалами, смуглолицые люди, говорящие и кричащие что-то на непонятном гортанном языке, ошеломляли, вызвали тревогу.

Машраб бросился к окошечку, выходящему во двор. Женщину уже увели под руки в дом. Кучкар прислонился к столбу айвана.

— Так. Одно дело сделано, — сказал он. — Куда все же девался Машраб?

Акмаль пожал плечами. Из дома вышли Муяссар и Гульчехра, и тотчас за ними появилась Гульсум-ана с приезжей девочкой. Русые, почти белые волосы девочки,

распущенные по плечам, скрадывали худобу. Таких волос Машраб сроду не видел.

— Мама ее заснула, а вы покажите Ларисе сад,— сказала Гульсум-апа.

— Пойдемте в наш сад,— сказала Муяссар.

На террасу вышла Махира-буви, сказала:

— Эй, сынок Кучкарджан, залезь-ка на балахану, доставай одну касу курта. Приготовлю-ка я большой куртава, пока она спит.

Все, что произошло потом, произошло так стремительно, что никто и опомниться не успел. Во дворе услышали вопль Кучкара:

— Нашел вора! — и вслед за этим из окна балаханы вылетела шиала и, долетев до земли, разлетелась вдребезги. Бабушка успела сказать:

— Это к счастью!

Тут появилась спина Кучкара. Он пятился задом и за ноги тащил с балаханы Машраба. Затем подхватил Машраба в охапку и скинул вниз.

Машраб стоял посредине двора и затравленно озирался, белый от пыли, с сухими листьями клевера в волосах. Стоял, оглохнув от смеха. Смеялись все, указывая на него пальцем. Машраб готов был кинуться на Кучкара с кулаками, но встретил взгляд Муяссар, услышал ее смех и неожиданно для себя расхохотался сам. Как насадка, нашедшая пропавшего цыпленка, Махира-буви, обняв внука, целовала его то в одну, то в другую щеку. Машраб с трудом вырвался из ее рук и увидел мать.

— Извините, мама... я... так вот случилось.

— Идите с Ларисой, покажите ей сад,— сказала Гульсум-апа.— Не забудьте про полив,— добавила она.

Машраб нерешительно стоял посреди двора.

— Ты тоже иди!

Взрослые ушли, и ребята остались одни. Они изучали русский язык в школе, но стеснялись говорить, боясь показаться Ларисе смешными. А она улыбалась и смотрела на всех огромными глазами, окруженными тенями и от этого казавшимися еще больше. Вдруг Кучкар решительно махнул рукой:

— А, Ларисахон! Свои люди. Плохо сказал, хорошо сказал! Свой огород, персик много. Хорошай девушка персик не жалка!

Все захохотали, а Кучкар громче всех.

Лариса шла в середине, а по бокам Муяссар и Гульчехра. Проулок был узким, и ребята шагали сзади. Кучкар вспоминал подробности ночного приключения. Особенно когда Кур-Шермат пинками подгонял Мапраба по арыку. Оказывается, Кучкар и Акмаль это видели.

— Мы думали, ты убежишь. Почему не убежал?

— Попробовал бы ты убежать со связанными руками.

Муяссар делала вид, что занята Ларисой, но на самом деле прислушивалась к тому, что говорили за ее спиной. Вчера утром она сказала, что поспели хандаляшки, не потому, что ей захотелось сладкого, — это Гульчехра за нее придумала, — Муяссар заговорила о хандаляках, потому что накануне вечером ее вызвал Камил.

— Бригадир бахчи говорит, что хандаляк поспел, — сказал Камил, когда Муяссар вошла в его кабинет, маленькую комнатку в правлении колхоза.

— Поспел, парторг-ака, — подтвердил Кур-Шермат. — Наберется полмешка, мешок...

Камил поручил Муяссар как комсоргу школы взять хандаляки, несколько ящиков яблок и других фруктов и отвезти в подарок раненым в госпиталь.

— Дорогу в госпиталь, я слышал, вы уже знаете? — Камил рассмеялся, а Муяссар покраснела. — От матери не попало? — спросил он.

Отец Муяссар Курбан-ата считал невозможным везти на базар для продажи вишни. Сколько мать Муяссар ни умоляла его, доказывая, что нет ни копейки денег, а детишкам к зиме необходимо купить обувь, Курбан-ата твердил одно:

— Понимаешь, что говоришь, женщина?! Ты можешь себе представить Чапаева на базаре?!

Жена не могла такого представить и снова начинала говорить, что детишкам нужна обувь. Тогда Курбан-ата надевал милицейскую фуражку, брал туго набитую газетами и журналами полевую сумку и уходил в поле или уезжал в степь подальше от докучливых разговоров. Кончилось тем, что мать Муяссар попросила разрешения Гульсум-апа и отправила с вишнями дочь. Муяссар по неопытности выехала из кишлака поздно, и когда приехала в город, солнце уже стояло в зените. Муяссар не знала дорогу и вместо базара оказалась возле городской больницы. За оградой под тутовником сидели раненые. Муяссар слышала, что в город эвакуировали госпиталь и многие из кишлака приезжали сюда узнать, не слышали ли раненые

что-нибудь об их близких. Муяссар увидела возле раненых девушку в белом халате и остановила ишака: ей очень хотелось спросить о сестре Зебе, которая уехала на фронт с четвертого курса ТашМИ. Но вместо этого она спросила:

— Как мне на базар проехать, ападжан?

— Поверни ишака обратно, доедешь до угла и поверни налево. А ты случайно не урюк ли везешь, сестричка?

— Нет. Вишни.

— Продай стакан. Заплатим по базарной цене.

— Что вы говорите? — Муяссар спрыгнула с ишака. — Разве я вишню купила за деньги, чтобы продавать? — Она торопливо развязывала корзины и сыпала вишню пригоршнями в протянутые ладони, в пилотки, в котелки, в носовые платки, а сама все разговаривала и разговаривала, и, хотя девушка в белом халате ничего не слышала о ее сестре, Муяссар показалось, что она получила о Зебе добрую весточку. Раненые пробовали вложить в ее щедрые руки деньги, но Муяссар то и дело повторяла:

— Нет, нет. Зачем деньги? Не надо денег. Вишня своя!..

Она вернулась в кишлак полная любви и доброты к страдающим людям, для которых она смогла сделать что-то приятное. Это светлое чувство несколько тускнело, когда она вспоминала о матери. Мать долго смотрела на дочь, пытаясь понять, что та ей говорила, но, видимо, так ничего и не поняла и только сказала:

— Конечно, разве девичье дело ездить продавать вишню?

Зато Курбан-ата был в восторге от дочери. Он заставил ее подробно повторить весь рассказ, как она, спрыгнув с ишака, предложила девушке вишню, как из ворот вышло несколько раненых с алюминиевыми мисками и котелками, как потом вокруг Муяссар собрались все, кто мог ходить, а тем, кто не мог, отнесли вишню товарищи. Муяссар рассказывала и сама вспоминала подробности. Потом отец заявил, что ему надо срочно в правление, и ушел сияющий и воодушевленный. Муяссар только сейчас догадалась, что Камилу о вишнях рассказал отец.

Несколько дней Муяссар жила ожиданием встречи со своими знакомыми в госпитале. Ей очень хотелось снова испытать приятное чувство собственной щедрости. По вине Машраба все было испорчено. Муяссар подчеркнуто не замечала его.

Муяссар пропустила вперед Ларису и вслед за ней перешла дощатый помост над арыком. Сад Муяссар был небольшим, но молодые деревья хорошо плодоносили и давали много тени. Персиков и урюка почти не осталось, если не считать редких, случайно забытых плодов, поклеванных воробьями. Зато поздние яблоки и сливы густо усеяли деревья. Лариса была поражена. Она подолгу останавливалась под каждым деревом, осторожно прикасалась к бархатистой шкурке персиков, чуть поглаживая их кончиками пальцев, словно боясь сорвать невзначай, ощупывала сливы и яблоки, будто не веря, что они настоящие. Ребята настаивали на том, чтобы она ела все, что ей хочется, не стеснялась и ни на кого не обращала внимания, выясняли, как сказать по-русски то или иное слово, перебивая друг друга. Оглушенная потоком ломаных русских слов, Лариса смущенно улыбалась. Кучкар, справедливо решив, что дело понятнее слов, не ленился из-за одного-двух плодов залезать на вершину дерева. Он требовал, чтобы Лариса подставляла подол, и ловко бросал сорванные плоды. Лариса вначале смущалась, каждый раз говорила: «Хватит, спасибо». Но ребятам нравилось угощать ее, и каждый заставлял съесть плод, который нашел он. А потом произошло что-то странное. Лариса, оглядываясь по сторонам, вдруг стала подбирать и складывать в ведерко, которое ей дала Муяссар, косточки урюка и абрикосов, подгнившую падалицу — все, что отыскивали в траве под деревьями ее глаза. Она больше не замечала протянутых ей плодов и все собирала, собирала, быстро перебегая под деревьями и ни на кого не обращая внимания.

Вначале ребята растерянно поглядывали на нее, пробовали объяснить, что все собранное ею несъедобно, что косточки персиков и вишен вообще вредные — ими можно отравиться, Лариса, как автомат, продолжала собирать все, что ей удавалось найти.

Кучкар вырвал у нее ведро и перевернул, растоптав все ногами.

— Нельзя! Мозги яман — плохо мозги... — сказал он. — Понимаешь! Ум, ум плохо, — и для большей убедительности постучал пальцем по лбу. — Горько, совсем горько! Плохо!

Лариса некоторое время испуганно смотрела на него и вдруг заплакала.

— Ты забыл, откуда она приехала? Косточек не ел, а ум совсем потерял, — сказала Муяссар.

Машраб никогда не видел Кучкара таким растерянным.

— Я о тебе, не о себе думал,— сказал он по-узбекски, забыв, что Лариса не может понять его.

Она сидела, сжавшись в комок, и плакала, уткнувшись в колени.

Акмаль-толстяк сопел и исподлобья поглядывал на Кучкара.

Муяссар сказала:

— Идите на хлопчатник.

Кучкар прошел несколько шагов, сказал:

— Муяссархон, приходите все трое к нам: посидим, поговорим.

Машраб все еще стоял, желая что-то сказать Муяссар, но в это время Гульчехра выпалила вслед Кучкару:

— А что у вас есть на хлопчатнике? Хандаляшки?

Машраб встретился глазами с Муяссар и побежал догонять товарищей.

Они проработали часа два. Засучив штанины выше колен, они закладывали дерном гряды, направляя воду на участки. Когда пришли девушки, на поле никого, кроме ребят, уже не было. Только вдали, у подножья холмов, белели платки женщин. Побросав кетмени, ребята присели на берегу арыка. Грязь на ногах подсыхала, приятно стягивая кожу. Солнце зашло, но еще было светло. От земли поднималось дневное тепло. Долина, улочки кишлака за оврагом, злосчастная бахча, кирпичная мечеть на холме, белая стена школы в потемневшей зелени садов,— все, даже аист в гнезде на плотине, было видно так отчетливо, будто после того, как скрылось солнце, снялась какая-то пелена и все обрело особую прозрачность.

— Я на вас вовсе не обиделась. Мне было просто стыдно за свою жадность. Сама не знаю, что со мной творится. Просто не могу видеть, чтобы на земле валялось съестное,— сказала Лариса.

— Э, о чем вы говорите, Ларисахон! Я просто ишак! У меня вместо головы курдюк. Я не должен был забывать, что вы из Ленинграда,— отвечал Кучкар.

Потом Муяссар пересказала то, что Лариса рассказывала ей и Гульчехре.

Лариса с матерью могла еще год назад эвакуироваться из Ленинграда, но заболела бабушка, и мать ни за что не хотела ее оставить. Бабушка умерла. Во всем многоэтажном доме, во всем квартале не нашлось людей, у которых

бы хватило сил помочь ее похоронить. Мать и Лариса сами вырыли яму во дворе и закопали ее. Потом заболела мать. Отец Ларисы, Владислав Мефодьевич Гордый, был известным хирургом, о нем до войны писали в газетах. В прошлом году прямо от операционного стола его отправили к партизанам в леса Белоруссии. Муяссар рассказывала так, будто отвечала в классе хорошо подготовленный урок. Она нет-нет да поглядывала на Машраба, и он по мягкому блеску ее глаз понял, что она его простила. Машраб чувствовал тепло ее плеча и боялся пошевелиться, чтобы ее не спугнуть. Лариса молчала, вслушиваясь в быструю и взволнованную речь, зная, что Муяссар говорит о ней, и не понимая ни единого слова. Акмаль-толстяк слушал и сопел, но ведь он всегда сопел, когда рядом была Гульчехра.

В небе мерцали первые звезды. Потом будто кто-то стал рассыпать их пригоршнями. В кишлаке то там, то здесь загорались огоньки. От политого поля повеяло прохладой, а нагретая за день земля исходила теплом, и Ларисе хотелось прижаться к ней, как к печке.

— Слышите, лает собака, блеет овца... Я забыла, что так бывает, — сказала Лариса. — Вы не знаете, что значит огромный город, в котором ни разу не мигнет огонек. Огромный город с пустынными улицами и мертвыми домами. — Лариса замолчала, потрясенная своими воспоминаниями. Она приложила к щекам ладони и сидела не шевелясь.

Машраб сам не помнил, как заговорил. Он всегда боялся говорить в минуты душевной взволнованности, потому что сами собой вылетали высокопарные слова, над которыми смеялись.

— Друзья! — сказал Машраб, и голос его дрожал. — Давайте поклянемся памятью людей, которые погибли, защищая Ленинград. Не пожалеем сил, а если нужно, и жизни, чтобы разгромить врага. Нас шестеро! Будем бороться рука об руку, в едином порыве!..

Машраб не сразу поверил, почувствовав в своей руке руку Кучкара. Вместо того чтобы смеяться, Кучкар, который терпеть не мог высокопарных слов, сказал:

— Клянусь!

Машраб чувствовал на своей щеке взволнованное дыхание Муяссар и был счастлив.

Потом ребята проводили девушек в кишлак.

Машраб лежал на берегу арыка под тулузом. Все бы

хорошо, если бы не хандаляшки. Конечно, хандаляшки — пустяки в общих событиях дня. Но такие истории не для того начинаются, чтобы так просто кончиться.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Эртаев не выспался, а поговорить с Барно с глазу на глаз не пришлось. Рано утром его вызвали в райисполком. Областной уполномоченный, с дергающимся после контузии лицом, сказал, что если здоровые мужчины не справляются с порученной им работой, то есть ли смысл держать их в тылу? Он вряд ли имел в виду Эртаева, но после этих слов у Эртаева испортилось настроение. Чего-чего, а работать Эртаев умел. Вернее, умел заставить работать других. Он не боялся смерти, но мысль, что его могут призвать в армию, а на фронте легко стать калекой, потрясала его. Новый военком с цифрами в руках доказал, что в районе много людей призывного возраста, годных для службы в армии, а между тем район не выполняет разнарядки. Областной уполномоченный поддержал военкома. Секретарь райкома Умаров доказывал, что если мобилизовать последних людей, то хозяйство остановится. Эртаев сделал то, на что второй раз он бы никогда не решился. Он встал и, глядя на военкома, сказал:

— Я тоже значусь в списках годных на фронт. Готов немедленно поменять бронь на призывную повестку...

Военком что-то проговорил о крайностях, но Умаров тут же перешел в наступление.

— Поставьте вместо цифр живых людей, и вы поймете, что все они незаменимы, — сказал он.

Военком ответил, что незаменимых людей нет. Начался спор, но Эртаев в него не ввязывался.

Среди всех забот дня Эртаев помнил о вечере. Он отпустил вчера Барно, взяв с нее слово, что они сегодня встретятся. Вчера Эртаев совершил ошибку, приняв Барно в гостиной Чавандаза. Такие свидания не следовало устраивать в доме.

Эртаев сидел у окна своей комнаты и смотрел, как Чавандаз поставил над арыком, в глухом углу большого сада тахту и постелил атласные одеяла, разбросав по ним подушки.

Эртаев накинул на плечи шелковый халат и вышел в сад. Он присел у арыка. Умывая руки, он увидел в зелено-



ватой воде глиняный кувшин. Эртаев повернулся к Чавандазу, сказал:

— Я вижу, сам царь рыб сидит в этом кувшине.

— Какой там царь рыб, Эртаев-ака! В кувшинчике сидит такой волшебник, что стоит открыть горлышко, как вся горечь души улетит прочь и вы вознесетесь в небеса!

— Посмотрим, посмотрим, какова сила твоего волшебника. Я ведь тяжелый...— Эртаев, посмеиваясь, забрался на тахту и боком прилег на подушку.

Чавандаз нетерпеливо хлопнул в ладоши.

— Иду, иду, — ответил из сада сын Чавандаза Ядгарбек. Он нес поднос с персиками. Ядгарбек был такой же, как Чавандаз, черноглазый и широкоплечий. За его спиной пряталась круглолицая девушка-пышка с медным блюдом, полным тонких лепешек из теста, замешенного на сале и молоке.

Ядгарбек остановился, девушка от неожиданности толкнула его блюдом и засмеялась, сверкнув ровными белыми зубами.

На лбу Чавандаза появились и тут же исчезли морщинки.

— Почему не здороваешься, сынок, с Эртаевым-ака?

— Э, извините... Ассалам алейкум! — Ядгарбек отдал поднос отцу и неуклюже поклонился, прижимая к груди огромные руки. Девушка поставила блюдо на тахту, засмеялась и бросилась бежать между деревьями. За ней, неуклюже раскачиваясь, побежал Ядгарбек. Между деревьями мелькали крепкие ноги девушки в ярких шальварах. Эртаев прикрыл глаза: у него было правило иметь дело только с замужними женщинами — проще и безопасней.

— Что это за птичка? — спросил он.

— Гульчехра. Дочь соседа. Немножко того: винтика не хватает.

— Я думаю, она просто любит, чтобы ее щекотали...

— Если любит, есть кому пощекотать...

Эртаев усмехнулся, сказал:

— Не сомневаюсь... Жеребчик входит в силу! — Помолчал и добавил: — Его ровесники уже год как воюют...

Чавандаз промолчал. В прошлую осень он на два года «омолодил» сына, пользуясь тем, что в его руках находилась печать кишлачного Совета. Догадывался ли об этом Эртаев или просто так сказал о возрасте сына? Чавандаз наклонился над арыком, доставая кувшин. «Омолодить»

сына больше, чем на два года, Чавандаз не решился — нельзя же его делать ровесником пасынка Кучкара, когда все в кишлаке знают, что Ядгарбек старше. Когда Чавандаз увел у отца Кучкара, знаменитого Клыча, красавицу Фатиму, Кучкару было пять лет, а Ядгарбек, сын от первой жены, уже пошел в школу. Женидьба на Фатиме была слишком громким событием в жизни тихого кишлака, чтобы о нем забыли. Чавандаз был не из робкого десятка. Он просто знал, что можно и чего нельзя. Зимой, когда по разнарядке военкомата надо было послать в трудовой батальон двадцать человек, должен был ехать Эшмат, сын Мумина, закадычный друг Эртаева. Эшмат Мумин жил в городе, работая от колхоза экспедитором, но в кишлаке был другой Эшмат, сын Мумина, отец Акмаля-толстяка и еще пятерых детей мал мала меньше. За день до отправки Эртаев прислал Чавандазу записку с дружеским саламом и тайной просьбой. Чавандаз «омолодил» на пять лет не подлежащего призыву Эшмата, отца Акмаля, и отправил его взамен Эшмата-экспедитора. Записка Эртаева до сих пор хранилась у Чавандаза, и поэтому он не очень беспокоился о том, что думал Эртаев, говоря о возрасте Ядгарбека. Наоборот, Чавандаз намеревался поговорить с Эртаевым, чтобы тот добился отсрочки для Ядгарбека, которого должны были призвать в этом году. Чавандаз обер полый халата влажный кувшин и придвинул к Эртаеву блюдо с лепешками и самсой.

— Как быть с волшебником, Эртаев-ака, может, выустим его из кувшинчика? А?

— Чем давать, спрашивая, лучше дай, ударив...

— Надо запомнить. Очень мудрая пословица, Эртаев-ака.

Эртаев пил из пиалы маленькими глотками зеленоватое, удивительно ароматное, чуть терпкое на вкус вино, и на лбу его выступили крупные капли пота.

— Вы очень правильно сказали о возрасте Ядгарбека, Эртаев-ака. Со дня на день он может получить повестку...

— А вам бы этого очень не хотелось? — Эртаев допил вино и вытер платком потный лоб.

Чавандаз промолчал. Зачем говорить вслух то, что и так ясно?

— Не скрою, трудное это дело! Пришел новый военком Абубакиров...

— Знаю, поэтому к вам и обращаюсь, Эртаев-ака.

— Это человек, с которым надо быть осторожным. Фронтовик, без ноги, но подойди сзади — лягнет, сунься спереди — укусит. Такие думают, что если он остался калекой, — значит, все должны быть калеками.

Чавандаз разлил вино. Эртаев отпил глоток, сказал:

— Не надо хмуриться, Чавандаз! Что-нибудь придумаем. Только пусть молодец не болтается в кишлаке у всех на виду. Надо его отправить подальше в степь.

Эртаев отставил пиалу. Вино было слишком хмельным. Он решил не пить до прихода Барно и все чаще поглядывал в сад. Из-за почерневших по-ночному деревьев выдвинулась фигура Кур-Шермата. За ним с фонарем стоял Ядгарбек. Он повесил фонарь на черешню и ушел. Кур-Шермат по знаку Эртаева осторожно присел на край тахты.

— Что случилось? — спросил Эртаев.

— Не придет она... Младший брат ее муженька что-то пронюхал...

— Дурной парень, — сказал Чавандаз. — Моего пасынка сбил с пути. Вылитый Агзам Ячейка, подлец!

У Чавандаза были причины не любить отца Машраба. Давно было дело. В тот год в районе открыли МТС. Чавандаз привез Агзаму Ячейке арбу фруктов — тогда Агзам с семьей жил в городе. Только остановил арбу у ворот дома, откуда-то верхом на эмтээсовском жеребце прибикал Ячейка. Чавандаз с шутливой фамильярностью сказал:

— Прими салам от колхозников! — и почтительно придержал жеребца за повод.

Агзам Ячейка спешился, сказал:

— От колхозников, говоришь?! Запомни: еще раз попытаешься дарить колхозное добро — под суд отдам, — и вошел во двор, ведя жеребца в поводу.

Эртаев молчал, а Чавандаз подытожил вслух свои воспоминания:

— Гордецом был. Бывало, с коня слезет, но не с седла.

— Говоришь, мальчишка помешал? — спросил Эртаев Кур-Шермата.

— Помешал, Эртаев-ака. Только какой он мальчишка? Его сверстники воюют...

Эртаев мелкими глотками пил вино. Что мог знать мальчишка, если до сих пор между Эртаевым и Барно ничего не было? Так думал Эртаев, а со стороны казалось, что он пристально смотрит в темный сад, что-то увидев ме-

жду деревьями. С тех пор как не стало Ячейки, Эртаев делал все, чтобы люди забыли, какую роль он сыграл в его смерти. Особенно было важно, чтобы теперь люди этого не вспомнили. На фронте сын и зять Агзама, два брата Гульсум-апа. Эртаев знал, что если они вернуться, то непременно с орденами,— такие это были люди.

— Вчера оборвали на колхозной бахче хандаляки и две грядки дынь,— сказал Кур-Шермат.

Чавандаз подозрительно посмотрел на бригадира бахчи.

— Каких дынь? — спросил он.

— Две грядки америйских дынь — они с краю.

— Насколько мне известно — дынь не было. Во всяком случае, ты мне про дыни ничего не сказал.

— В темноте не заметил. Две грядки америйских дынь обобрали...

— Хороший наследник у Ячейки — запускает руку в колхозное добро... Почему мне сразу не доложили? — спросил Эртаев.

— Инобатхон сказала: пустяки... отработают.

— Правильно сказала,— подтвердил Чавандаз. Он пристально смотрел на Кур-Шермата.

— С каких пор председатель кишлачного Совета покрывает расхитителей колхозного добра? — спросил Эртаев.

— Я же говорил, сын Агзама моего младшего дурня сбил с толку.

— Кроме сына Агзама, были еще двое, но я их в темноте не узнал, а он их не выдает,— сказал Кур-Шермат.

Эртаев допил вино и оставил пиалу.

— Очень хорошо, что не выдает. Так должен поступать каждый настоящий мужчина. Через день-два, когда все уляжется, приведи ко мне сына Ячейки. Постарайся поднять его с постели.

На свет фонаря вышли из сада Ядгарбек и Гульчехра с блюдами в руках. Эртаев щурил захмелевшие глаза, ершил пышные волосы, разглядывал Гульчехру.

— Говорят, не откажешься от благ — не достигнешь красавицы... Что скажете, пыпечка?

Гульчехра хихикнула и шагнула за спину Ядгарбека. Она передала ему блюдо и убежала в темноту.

Чавандаз забрал у сына блюдо и жестом велел уходить. Кур-Шермат торопливо проглотил несколько пельменей и, пятясь задом, ушел вслед за Ядгарбеком.

Эртаев переложил подушку под голову и лег на спину,

Над ним было усеянное звездами небо. Под деревянной тахтой протекал арык. Легко, по-почному шуршали деревья.

Кучкар не мог заснуть. Ворочался на постели с одного бока на другой — никогда раньше постель не бывала такой жаркой.

Очень красивые глаза у Ларисы. И не поймешь, какого они цвета: то голубые, а бывают — черные. Хорошо было смеяться над Машрабом и Акмалем, над их влюбленностью. А над собой не посмеешься. Пробовал Кучкар посмеяться — ничего не вышло. Второй день только и думает о Ларисе. Ему очень нравилась эта тонкая, худенькая девочка, похожая на ребенка, с русыми волосами, как пенистый водопад. «Пенистый водопад» придумал не Кучкар — это было написано в стихах Машраба, которые Кучкар нашел в его тетрадке. Слова эти относились не к Ларисе. Ларисы тогда еще и в помине не было, но они очень понравились Кучкару. Он так и сказал Ларисе: ваши волосы как пенистый водопад... Потом обнял ее за талию и очень удивился, когда Лариса резко освободилась от его рук. Он шел рядом с ней, провожая ее домой. До калитки Махирь-буви они дошли молча. Правда, Кучкар пытался что-то объяснить, но с его запасом русских слов ничего не получилось. Лариса, не подав ему руки, ушла за калитку. Кучкар лежал и соображал: что же такое произошло?

В гостиной отчим Чавандаз разговаривал с матерью. Поначалу Кучкар думал, что это обычная перебранка между ними, и, поскольку было упомянуто его имя, он решил, что и на этот раз является причиной семейного раздора. Кучкар давно к этому привык и потому не обращал внимания. Громкие голоса через комнату от него не мешали Кучкару думать о Ларисе.

При всей своей грубоватой беспечности, Кучкар любил и жалел мать, понимая, как трудно ей с отчимом. Но стоило ему вспомнить о родном отце — Клыче, как чувство жалости к матери мгновенно исчезало. Чем больше выросл Кучкар, тем яснее понимал, что в разрыве с матерью виновен не отец. Слава отца ничуть не уступала славе Агзама Ячейки. Клыч и Агзам были друзьями с детства. Они вместе служили в Киеве в армии белого царя и вернулись в кишлак убежденными большевиками. Они организовали в кишлаке партийную ячейку, дрались с басмачами, про-

водили коллективизацию, вместе учились в САГУ<sup>1</sup>. Пока отец учился, мать попала в руки Чавандаза. О том, что она могла полюбить этого человека, Кучкару и в голову не приходило. Все говорили, что Фатима в молодости была очень красива, а Чавандаз, овдовев, не давал ей прохода, пользуясь продолжительным отсутствием Клыча. Отец после учебы не вернулся в кишлак. Только в позапрошлом году, через восемь лет, он заехал посмотреть на сына. Когда Кучкар увидел человека в форме пограничника, который сказал: «Давай, сынок, поздороваемся», у него сжалось сердце. Но Кучкар тут же вспомнил сказанные накануне слова Чавандаза: «Наконец вспомнил о сыне, а где же он до сих пор был?» Кучкар небрежно ткнул отцу руку и тут же убежал, сославшись на дела. А на следующий день он узнал, что отец прямо из кишлака уехал на фронт. Кучкар готов был разбить себе голову об стену за то, что так встретил отца.

Кучкар уже минуты две прислушивался к тому, о чем говорил Чавандаз матери. Он стал прислушиваться, как только услышал имя Машраба. Не было никаких сомнений: речь шла о неудачной попытке утащить хандаляки. Кучкар услышал, как всхлипывает, удерживая рыдания, мать, а Чавандаз, повысив голос, сказал:

— Сына Ячейки сейчас допрашивает Эртаев-ака. Будь мне благодарна, что я спас от позора твоего сына, но предупреди его — это в последний раз...

Когда Фатима вошла в комнату Кучкара, он уже торопливо натягивал рубашку.

— Куда ты, сынок? — испуганно сказала она.

Кучкар молча взглянул на мать, и она замолчала. Она присела на постель, и холодная льдинка полумесяца осветила ее худощавое, безвременно постаревшее лицо. Она сидела так, пока Кучкар одевался. Он запомнил ее испуганный взгляд, когда она посмотрела на него, а потом, отвернувшись, стала смотреть в темный сад, и на щеках ее поблескивали слезы.

Он помнил взгляд матери, пока бежал через сад в правление. Кучкар с грохотом открыл дверь кабинета. Посредине комнаты стояли Машраб и Акмаль, а около стола сидели Эртаев и Чавандаз. Эртаев, склонив над столом черноволосую с пышной шевелюрой голову, исподлобья смотрел на Кучкара.

---

<sup>1</sup> САГУ — Среднеазиатский государственный университет.

— Дела-то натворил я, а вы издеваетесь над ними! — крикнул Кучкар.

— Вот и третий расхититель колхозного добра явился с повинной, — сказал Эртаев.

— Дурак ты, дурак! — Чавандаз придавил пружины дивана так, что они заскрипели.

Акмаль засопел, сказал:

— Не верьте им. Я же вам говорю, я придумал нарвать хандаляки.

— Круговая порука, — сказал Эртаев и усмехнулся. Потом, уставившись на Машраба, спросил: — Скажи откровенно — за отца мстишь?

Машраб не ожидал этого вопроса. Он затравленно оглянулся на друзей, потом посмотрел на Эртаева.

— Что вам сделал мой отец?

Чавандаз вскочил с дивана, сказал:

— Ты делаешь то же, что и твой отец: разрушаешь колхозный строй...

— Не трогайте его отца!.. Нельзя плохо говорить об умершем. Весь кишлак знает, кем был Ячейка! — крикнул Кучкар.

Эртаев ударил кулаком по столу:

— Круговая порука! Чавандаз, сегодня же, сейчас же отправь их в степь! Они тут с жиру бесятся! Их сверстники на фронте, а они запускают руку в колхозное добро. Пусть в степи покосят пшеницу. Пусть попотеют на заготовке. Может быть, тогда поймут, в какое время живут... Гони их, сегодня же гони в степь!..

Гнать их не пришлось: все трое пулей вылетели в коридор. Кучкар, потирая руки, сказал:

— Напугал! Я бы на край света убежал, лишь бы его не видеть!

В темном коридоре стояла Гульсум-апа, парни не сразу ее увидели. А когда увидели, смутились.

— Идите, идите, — сказала она и, открыв дверь, вошла в кабинет.

— Извините, товарищ Эртаев, я пришла к вам с вопросом, — закрывая за собой дверь, сказала Гульсум-апа.

— Оставь нас одних, — обратился Эртаев к Чавандазу.

Он зачем-то переставил на столе чернильный прибор.

— Я вас слушаю, Гульсум-апа, — сказал он, когда Чавандаз вышел.

— Почему вы вспомнили моего мужа? Зачем говорить мальчику об его отце?

— Вы, директор школы, оправдываете воровство только потому, что это воровство совершил ваш сын?

— Нет, не оправдываю. Но при чем тут отец моего сына? Или вы разделяете точку зрения Чавандаза?

— Раз вы слышали наш разговор, значит, вы знаете, что я не поддерживал Чавандаза. Я считаю, что проступок парней нельзя оставлять безнаказанным. В их возрасте пора становиться мужчинами...

— Но мы должны помочь им стать мужчинами...

— Жизнь поможет. В их возрасте нам никто не помогал, мы сами разбирались, что к чему. Словом, пусть едут в степь и поработают.

— Они и здесь не бездельничали. Их руками бригада справлялась с поливом хлопка, а хлопка не так мало — сто гектаров!

— Опять сто гектаров! Интеллигенция всего кишлага! Школа! Амбулатория! Сельпо! Посеяли сто гектаров, а шуму на весь мир. Да и полив уже кончается, а хлеб надо убирать...

— Я бы никогда не позволила себе говорить о хлопке, если бы те, кто посеял его, были здесь... Может быть, их уже нет в живых, и в память о них мы должны довести до конца начатое ими...

— Если я буду входить в положение каждого и идти на уступки, то зачем государству держать меня здесь? Извините, но я не могу потворствовать воровству: парни поедут в степь, а за хлопок отвечаете вы!

— Я не боюсь ответственности. И я пришла не защищать сына. Я просто беспокоилась, что его так долго нет. И я бы никогда не вмешалась в ваш разговор, если бы случайно не слышала, что поступок сына связывают с именем его отца, — сказала Гульсум-апа, уже стоя в дверях.

Гульсум-апа возвращалась домой не очень собой довольная. Ей бы хотелось прямо сказать Эртаеву, что отец Машраба сражался за советскую власть, когда он, Эртаев, еще поса не мог себе вытереть. Возможно, Агзам допускал ошибки, но не такие, за которые можно исключить из партии такого человека, как он. Единственную ошибку Гульсум-апа не могла простить мужу — эта ошибка заключалась в том, что он приблизил к себе Эртаева, карьериста и подхалима.

Машраб еще не вернулся. В комнате было темно.



Гульсум-апа зажгла лампу и долго стояла посреди комнаты, не зная, что делать. Свет падал на книжную полку, на фотографию в рамке, на которой стояли первые выпускники САГУ, — единственная память о муже. Фотография начала тридцатых годов! В одежде людей, даже в том, как они стоят, — печать того времени. На всех гимнастерки и брюки-галифе, широкие кожаные ремни, на головах фуражки с красной звездой. Стоят они по команде «смирно», смотрят перед собой, словно прислушиваясь, готовые немедленно исполнить команду невидимого командира. По одну сторону Агзама стоит Клыч, по другую — Курбаната. Удивительные были времена. Гульсум-апа была уверена, что, если бы ей довелось прожить тысячу лет, она сможет многое забыть, но тех лет она никогда не забудет. Жили в кишлаке три друга: Агзам, Клыч, Палван, и все трое ушли на службу к белому царю. В Киеве возили на верблюдах дрова и воду в казармы и вместе с верблюдами были помещиком для городских мальчишек, и вот эти трое друзей, вернувшись в кишлак, стали грозой врагов советской власти. Они сами устанавливали «революционные законы», потому что в первые годы революции законы из центра шли очень медленно, сами конфисковывали землю и воду. А Гульсум-апа, прижав к сердцу трехлетнюю дочурку Мастуру, коротала ночи без сна. Всю ночь не умолкал топот конских копыт вокруг их дома, кто-то грозил, стрелял, и каждое утро они находили у калитки записку: «За сколько денег ты продал душу большевикам, Ячейка?! За твою голову мы назначили тысячу таньга! Берегись, боготступник!..»

Но друзей трудно было запугать. Именно в те годы Клыч влюбился в Фатиму. Прежде чем идти к ней на свидание, он надевал большие сапоги, заходил в амбар отца и насыпал в голенища зерно. На вырученные за зерно деньги Клыч покупал сладости и прибегал к Гульсум-апа. «Милая Гульсумхон, отнесите Фатиме и скажите, пусть выйдет на плотину — есть разговор!»

На другой день после свадьбы на холме возле мечети собрался весь кишлак. По обе стороны плачущей Фатимы стояли Гульсум и жена Курбана. Агзам сказал, стараясь казаться спокойным:

— Начинай, Гульсум, не бойся. Другого выхода нет! — Он не спускал глаз с толпы, вороша палкой костер.

— Да, да!.. Начинайте вы, а потом Фатима, — шептал побелевшими губами Клыч, не выпуская из рук нагана,

переводя взгляд с орущей толпы на свою насмерть перепуганную Фатиму.

В пылающий костер полетела паранджа Гульсум, за ней бросила паранджу Инобат, потом жена Курбана и последней Фатима... Они с открытыми лицами, прижимаясь друг к другу, под охраной мужей прошли сквозь толпу и, лишь свернув в проулок, облегченно вздохнули... А дальше? Дальше земельная реформа, ликбез, САГУ, коллективизация, райком, МТС...

Кто-то очень внимательно наблюдал за жизнью Агзама Ячейки. Подмечал самые незначительные промахи и в подходящий момент, когда неурожай в колхозах свел на нет работу МТС, Агзама обвинили в извращении линии партии в период гражданской войны, коллективизации, развернутого строительства социализма. Тот, кому надо было свалить Агзама, стоял за спиной таких людей, как Эртаев, и дирижировал ими. По письменному заявлению Эртаева было начато персональное дело коммуниста Агзама, а на бюро райкома Эртаев выступал как близкий Агзаму человек и каялся в этой близости...

Только вот эта карточка осталась на память о тех трудных, но светлых до слез годах. А из старых друзей многих уже нет в живых. Курбан-ата совсем состарился. Клыч после истории с Фатимой уехал куда-то далеко, на службу в погранвойска, и оттуда ушел на фронт, заехав в кишлак на два дня повидать сына. А Палван лежал раненый в госпитале.

Гульсум-апа быстро оглянулась. Посреди комнаты стоял Машраб, как он вошел, она не слышала. Машраб тоже смотрел на фотокарточку. У него были свои воспоминания об отце...

...В тот день он вернулся из школы с видом победителя: он получил пятерку, было это не то в первом, не то во втором классе. Он ворвался в комнату — они жили тогда в городе — и бросился к матери. Гульсум-апа сидела на курпаче, обхватив колени, и резко оттолкнула сына, даже не выслушав его:

— Возьми лепешку и отправляйся играть. Не до тебя мне!

Такого никогда раньше не было. Машраб ушел обиженный, едва сдерживая слезы. Он влез на соседний дувал, равнодушно жевал лепешку и поглядывал вдоль пустынной, белой от солнца и пыли улицы. Из-за угла выехали два всадника. Один, в военной фуражке и с огромной ко-

жаной сумкой на боку, сидел в седле спокойно, с достоинством главнокомандующего. Второй, с огромными усами, горячил красивого скакуна, тот заносил немного вбок, резво перебирая точеными ногами. Всадники были Курбан-ата и Хашим Палван — муж Инобатхон. Но Машраб их тогда не знал. Они подъехали к дувалу, Хашим Палван спросил:

— Где дом Агзама Ячейки, джигит?

Машраб спрыгнул с высокого забора.

— Вот это и есть наш дом! — крикнул он и бросился во двор, чтобы предупредить мать.

Гульсум-апа просияла.

— Беги к отцу. Скажи, приехали друзья, с которыми он бил басмачей и всех других врагов советской власти, — сказала она, и глаза ее так сверкнули, что Машраб, готовый пулей вылететь на улицу, даже приостановился.

— Скажи Ячейке: если нужна помощь, Курбан приведет эскадрон! — крикнул тот, что был в фуражке.

Оба всадника и Гульсум засмеялись, а Машраб, выскочив за ворота, помчался по улице.

В МТС отца не было, сказали, что он в райкоме. Когда Машраб выходил из конторы, кто-то сказал:

— Сын Ячейки. Мальчик еще ничего не знает...

В райкоме шло заседание, на которое Машраба не пустили. Он попросил технического секретаря передать отцу, что его ждут дома, и побежал к сестре Масгуре, чтобы позвать ее мужа. На обратном пути Машраб снова забежал в райком. Он увидел отца на улице с поникшей головой, окруженным людьми.

— Не они мне давали партбилет, не они его от меня получат, — сказал отец.

— Правильно говоришь, Агзам!

Выслушав Машраба, отец грустно усмехнулся:

— Говоришь, эскадрон приведет, сынок? К сожалению, эскадрон в этом деле не поможет...

— Это который с сумкой сказал, а у другого усы — во! — Машраб показал руками, какие у другого усы, и все рассмеялись.

Со двора райкома выехал на эмтээсовском жеребце какой-то человек. Машраб даже рот открыл от возмущения, потому что на этом жеребце ездил отец. Кто-то сказал:

— Эртаев! Сразу хозяином себя почувствовал!

— Эртаев! Потерпел бы. Ты еще меня не похоронил! —

крикнул отец, но человек на жеребце поскакал по улице, не оглянувшись.

Машраб почувствовал ненависть к этому человеку. Он был оскорблен за отца, еще ничего не зная о том, что произошло.

— Идем, сынок, — сказал отец.

Машраб не помнил, чтобы отец когда-нибудь его приласкал.

— Куплю-ка я тебе мороженое. Ты любишь мороженое? — спросил отец и внимательно посмотрел на Машраба, так внимательно, как будто впервые его видел.

Машраб кивнул головой и облизнул губы. Но когда они подошли к ларьку, оказалось, что мороженое уже кончилось. Отец очень огорчился, сказал:

— На нет и суда нет. — Он достал из кармана мелочь и отдал ее Машрабу. — Завтра сам себе купишь. — Больше отец ничего не говорил до самого дома, но потной ручонки сына не выпускал из своей большой и горячей руки.

В доме царил оживление, как будто готовился той. Гульсум хлопотала у очага, обжаривала в котле морковь, лук. Расседланные лошади жевали свежий клевер в кормушках. Машрабу особенно понравился скакун, на котором приехал Хашим Палван. Мальчик попросил у матери лепешку и кормил скакуна из рук. К скакуну подошел Хашим Палван. Улыбаясь во весь белозубый рот, он вывел коня из-под навеса.

— Полюбуйтесь красавцем, Ячейка-ака! Помните, у хребта Рустам-даван он бегал жеребенком за кобылой курбаши?

— Помню, браток, все помню. Из-за этого жеребенка ты чуть не потерял головы, налетев на засаду басмачей. — Агзам-ака говорил, поглаживая ладонью грудь. — Принеси-ка мне пиалу воды, сынок, — сказал он Машрабу.

Машраб принес из колодца ведро с водой, и отец медленно выпил две пиалы.

Курбан-ата смотрел на него, потом сказал:

— Не нравишься ты мне, Ячейка! Разве можно так раскисать! Чапаев и не в таких бывал переделках, а духом не падал!

Отец молча ушел в дом. На террасе он неожиданно схватился за грудь и начал клониться в одну сторону, вытягивая шею, словно ему не хватало воздуха.

На следующий день отца похоронили.

...Гульсум-апа распахнула окно в сад. За садом на плотине квакали лягушки. Мягкий и тихий вечер вливался в комнату. Гульсум-апа давно хотела поговорить с сыном об отце. Она подумала, что сейчас самый подходящий момент для такого разговора.

— Почему ты становишься таким беззащитным, как только тебе напоминают об отце? — спросила она.

Машраб молчал.

— Ты должен знать: твой отец невиновен, его оклеветали.

— А разве у нас могут наказать невиновного? — спросил Машраб.

— Ты должен знать: среди нас есть люди, которые ради своей карьеры, ради своего благополучия готовы оклеветать честного человека. Твоего отца погубили такие, как Эртаев. Эртаев был его врагом, но отец этого не понимал. Подхалимство Эртаева он принимал за преданность делу, а его услужливость казалась ему бескорыстной деловитостью. Ты должен это понимать и бороться с Эртаевым!

— Как? — спросил Машраб.

— Будь честным, справедливым. Помни: интересы родины всегда должны быть выше твоих. Ты уходишь в степь. Не воспринимай это как наказание. Работай с душой. Не отставай от других. Заслужи уважение людей своим трудом, тогда Эртаев окажется перед тобой бессильным!..

Нечто похожее Машраб уже слышал от брата, когда прощался с ним в ту последнюю ночь на плотине. Гульсум оглянулась на сына и увидела у него в глазах слезы. Она обняла его за плечи, сказав:

— Трудно стать мужчиной, сынок. Но надо! Такое время, война!

Машраб уснул под впечатлением этих слов, положив голову, как бывало в детстве, на материнские колени.

Еще один человек этой ночью думал об Агзаме Ячейке. Этим человеком был Эртаев. Прошли годы, а спокойствие не приходило. Было похоже, что Эртаев до сих пор боится мертвого. Он сидел за столом и писал в райком о проделанной работе. История с хандаляшками выглядела в его отчете как хулиганский поступок великовозрастных бездельников, которых он вынужден был призвать к порядку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Инобат и Камил спешили и привязали коней к чинаре. Когда они вошли в райком, стенные часы в приемной еще не пробили девяти. Технический секретарь встала при их появлении — сразу было видно, что она была предупреждена и ждала их. Почти тотчас открылась тяжелая, обитая кожей дверь кабинета, на пороге стоял Эртаев.

— Э, уже приехали? Отлично! — сказал он. Эртаев вел себя уверенно, как хозяин. Он сделал приглашающий жест большими белыми руками: — Прошу!

Большой кабинет выходил окнами в сад. В глубине сидел секретарь райкома, сдержанный, молчаливый человек лет шестидесяти. Полузакрыв глаза, он тихо говорил, прикрыв телефонную трубку рукой. Он поздоровался с Камиллом и Инобатом кивком головы, показал рукой на стулья, приглашая садиться. Камилл присел, теряясь в догадках. Он был в этом кабинете неделю назад, и, как ему казалось, тогда не осталось ни одного нерешенного вопроса. Умаров положил трубку и некоторое время молчал, поглаживая полуприкрытые веки.

— Колхоз «Путь Ленина» — самое крупное хозяйство в районе. Вы не находите? — спросил он.

Инобат и Камил молчали. Вряд ли их вызвали, чтобы сообщить эту всем известную истину.

— Трудно, наверно, за всем усмотреть: хлопок, хлеб, бахча... Я так думаю, за неделю всех полей не объедешь? — Этот вопрос секретарь задал, обращаясь к Инобату, и не ответить на него она не могла.

— Трудно, Умаров-ака, но я не жалуясь. Кому сейчас легко?

— Товарищ Эртаев советует разделить функции. Я с ним согласен. Вы, Инобатхон, возьмете хлопок, а Камилджан зерно... Как думаете, разумное предложение?

— Вы так осторожно говорите, Умаров-ака, точно боитесь меня обидеть, — сказала Инобат. — Я не обидчивая, лишь бы дело хорошо шло. Я только хочу сказать...

— Говорите, говорите...

— Товарищу Эртаеву следовало бы считаться с людьми. Хороший я руководитель или плохой, но пока я председатель колхоза!

— Разве кто-нибудь с этим спорит? — спросил Эртаев.

— Еще спрашивает! За моей спиной трех парней угна-

ли в степь, а они несли всю тяжесть работы на ста гектарах хлопчатника.

— Я сделал то, что должны были сделать вы сами. Но я понимаю — узы дружбы, личных отношений, их трудно бывает преодолеть даже нам, мужчинам... Товарищ Умаров знает о моем распоряжении.

— А о вашей грубости с людьми, с женщинами Умаров-ака тоже знает?

— Извините.— Эртаев побледнел.— Если я кого-то обидел, то сделал это неумышленно. Все, что я делаю, я делаю ради фронта, ради нашей победы!..

— Тогда зачем же оскорблять людей? Здесь, в тылу, они несут на своих плечах всю тяжесть войны!..— Инобат отошла к окну и прижалась к холодному стеклу горячим лбом.

Умаров встал, посмотрел на Камила, словно хотел понять, какое впечатление произвела на него, фронтовика, эта сцена.

— В словах Инобатхон чувствуется обида... Но упреки в ваш адрес, товарищ Эртаев, серьезные. Я бы советовал вам подумать... Что же касается парней, Инобатхон, решайте сами, где им работать. Это ваше право председателя, и райком не позволит никому его нарушать. Я слышал, вы уже приняли эвакуированных. Привлекайте их к работе... Пойдет? — спросил Умаров и улыбнулся.

— Ладно, как-нибудь обойдется, Умаров-ака. Извините за резкие слова.— Инобат попрощалась и вышла, оставив Камила в кабинете.

Когда Камил вышел, Инобат стояла, прислонившись к чинаре.

— Не понимаю, кажется, даже Умаров-ака тяготится тем, что колхоз посеял лишние шестьсот гектаров зерна... Я понимаю, область требует хлеба, а убрать эти дополнительные гектары нелегко. Но все равно лучше, что они есть, чем если бы их не было,— сказал Камил.

Городские сады давно остались сзади. Впереди лежала голая, выжженная степь, такая же, как та, на которой весной колхозники посеяли хлеб. Лишь по горизонту тянулись черные, похожие на опаленные овечьи головы холмы. Инобат ехала чуть впереди, покачиваясь в такт ровному ходу иноходца. Камил видел профиль ее широкого скуластого лица. Она сидела в седле грузная, широкоплечая. В глазах ее с выгоревшими от палящего солнца ресницами была грусть, особая задумчивость — такое Камил

видел только у женщин, умеющих скрывать от людей свои личные горести и заботы. Камил помнил ее другой, когда она — молодая женщина, сбросившая паранджу, — первой села на трактор. Она была тогда черной и худющей, как девочка, такой худющей, что подруги не давали проходу ее мужу Хашиму Палвану. Палван — значит силач, богатырь. Таким и был Хашим, и подружки Инобат кричали, увидя его: «Палван-ака, нельзя все жирное кушать самому — подумайте о жене!» Хашим хохотал и отвечал, что хорошая жена должна лучшие куски отдавать мужу. Помнил Камил и младшую сестру Инобат, похожую на нее как две капли воды, такую же тоненькую, черноглазую и чернобровую. Они вместе учились в школе, и Камил был по уши в нее влюблен. Уже студентом техникума, приезжая на каникулы, Камил посылал ей книги с вложенными в них записками. Она не отвечала на письма, но, возвращая книгу, всегда вкладывала в нее цветок. Сестра Инобатхон давно вышла замуж, а Камил до сих пор хранит кипу книг с сухими лепестками красной розы и пахучими кустиками райхона...

Дернув поводья лошади, Камил поравнялся с буланым ипоходцем.

— Вы расстроились, Инобатхон... Не надо... В работе всякое бывает...

— Да, бывает...

— Что пишет Хашим-ака? Когда выпишется из госпиталя?

— Откуда он может знать? Бесхитростный человек, когда выпишут, тогда и выйдет. — Инобат вытерла узорчатым платочком потный подбородок, сказала: — Не обращайтесь на меня внимания, Камилджан, у женщин бывают такие минуты...

— Еще одно слово, Инобатхон. Если нужно, пусть парни остаются на хлопке.

— Нет. Не надо гонять их с места на место... Они умеют работать. Если им поручить, караван ишаков будет успевать делать две ходки. — Выгоревшие на солище ресницы Инобат странно дрогнули, и она, зашпешив, ударила ипоходца камчой.

Инобат понимала — лишние шестьсот гектаров зерна вызовут увеличение плана всему району. Ей бы самой было спокойнее без этих гектаров. Как любил говорить Эртаев: на нет и суда нет. Но что делать, если женщины, желая помочь мужьям, братьям, возлюбленным, решили



вырастить хлеб? Разве можно винить их за то, что они пахали целину, запрягая коров в соху и плуги, потому что не хватало лошадей? Разве можно винить за то, что вырастили хлеб?!

Впереди показался Караул-тепа — последний холм, за которым лежала катра-абадская степь. Холм можно было объехать, но Инобат намеренно пустила буланого напрямик и остановилась, только поднявшись на вершину.

От подножия холма и до самого горизонта волнами ходила пшеница. Ее сладковатый запах напоминал запах только что испеченных лепешек. Хлеб был таким высоким, что выравнивал степь, скрывая под собой холмики и ложбины. Это золотистое море, сливающееся с небом, было похоже на муравейник с рядами шалашей, камышовых лачуг, юрт, с буртами пшеницы на токах, с группами людей, волов, ишаками. Все это непрерывно двигалось, перемещалось, жило... «Ничего не поделаешь, товарищ Эртаев, хлеб есть, и надо его убрать», — думала Инобат.

Шалаш громко именовался штабом. Камил привел сюда троих парней.

— Вы все комсомольцы? — спросил он, и на его скуластом лице появились ямочки от улыбки.

— Мы? — удивился Кучкар. — Вот Дивана — комсомолец! А мы беспартийные большевики.

Машраб прозевал этот момент разговора: он засмотрелся на орден Красной Звезды на выцветшей гимнастерке Камилы. Ему даже казалось, что и раненая рука, подвязанная на груди, очень шла парторгу. Машраб просто не знал, чего бы он хотел больше — орден или раненую руку. Конечно, лучше всего иметь и то и другое, как Камил.

— Отлично, — говорил Камил. — Беспартийные большевики нам тоже нужны. Мы вручаем вам караван ишаков. Если перевести на военный язык, вы оба командиры, а Машраб — комиссар. Правда, караванщиком считается Ядгарбек, но он так и останется караванщиком, а руководить работой будете вы. Что вы на это скажете, джигиты?

— Что тут скажешь! — отвечал Кучкар. — Если при этом будут еще и кормить, то считайте дело сделанным: бедняку лишь бы сытно поесть...

Камил рассмеялся.

— Вот это по существу, — сказал он и повел парней в лог, густо заросший камышом. По краю камыша женщины

с пылающими от жара лицами пекли в земляных тандырах лепешки, в закопченных казанах кипела ячменная похлебка.

— Повар-апа! — сказал Камил. — К нашему каравану прибились еще трое джигитов. Они обещают удивить нас работой, если мы сумеем их накормить.

Повар-апа, женщина огромного роста с меченым оспой лицом, складывала выпеченные лепешки. Она критически оглядела парней, словно прикидывала, что стоит их обещание.

— Похоже, и правда будут работать, — сказала она. — Надо накормить! — Женщина неожиданно улыбнулась. — Эй, не сын ли ты Гульсум? Твоя сестра Мастура тоже здесь. Ее бригада на жатве. Ну-ка, стреножьте своих ишаков, милые мои, и подсаживайтесь поближе.

Машраб связывал передние ноги ишака, пряча от друзей лицо. Он очень серьезно принял слова Камила о назначении комиссаром. Машраб только боялся, что Кучкар все испортит. Тот сидел на корточках над родником и пил, доставая тюбетейкой воду. Что может быть прекрасней родниковой воды после утомительного пути через знойную степь? Кучкар выпил одну за другой две тюбетейки и стал кувыркаться от восторга по траве.

— Молодец, Эртаев-ака! всю жизнь мечтал о такой ссылке!..

Машраб косился на Кучкара. Он полагал, что тот ведет себя легкомысленно для командира. Подошла повар-апа, неся три касы похлебки и три лепешки.

— Кушайте, милые, — сказала она. — Бедняк поест досыта и уже богат.

Лепешки, хоть и с примесью ячменя, сами проскакивали в горло. А охлажденная похлебка из очищенного ячменя! От нее так вкусно пахнет айраном.

— Ох-хо-хо! — вздыхал Кучкар. — Дай бог побольше таких трудностей. Ну-ка, преодолеем эту первую трудность, а там будет видно...

Постепенно Машраб заразился беспечно-веселым настроением Кучкара. Он бросился на душистую траву, довольный, поглаживая живот. Было очень приятно валяться в траве и чувствовать себя комиссаром. Только Акмаль, отломив и съев кусочек лепешки, остальную завернул в поясной платок и спрятал в хурджун, а теперь молча сидел, прикрыв глаза. С тех пор как отец уехал в трудовой батальон, забота о многодетной семье легла на его плечи.

Акмаль решил, что должен сэкономить хурджуи лепешек, чтобы обрадовать ораву братьев и сестер. Машраб, занятый собой, ничего не заметил. Он лежал на спине, глядя в светло-голубое жаркое небо. Кучкар толкнул его в бок, сказал:

— Спокойно, Дивана. Тесть едет!

Машраб резко оттолкнул руку Кучкара и приподнялся. Курбан-ата ехал по большой дороге на сером ишаке. Он сидел в седле так, будто под ним был не ишак с обрезанными ушами, а чистокровный иноходец. Ишак свернул в лощину, и над камышом поплыла огромная синяя фуражка.

Курбан-ата остановил своего «иноходца». Тот оскалил огромные желтые зубы и заревел неизвестно по какой причине. Переметные сумки на седле были набиты газетами. Густые брови старика стали белесыми от пыли, а кончики редковатых усов, лихо закрученные, торчком стояли по обеим сторонам носа. Парни вскочили, хором поздоровались:

— Салам вам, отец!

— Харманглар! — ответил тот, что означает по-русски: будьте неутомимы, не уставайте...

Старику, похоже, понравился бравый вид парней, их дружное приветствие. Он, сощурясь, оглядел их, сказал:

— Так. Значит, и вы приехали на трудовой фронт?

— Приехали, отец! Приехали!..

— Правильно сделали. Мы в ваши годы гоняли по горам басмачей, Чапаев бил белоказачков в России, а мы здесь, в Средней Азии. Ваши отцы, Ячейка и Клыч, были славными джигитами...

Машраб стоял, старательно выпячивая грудь, и боялся одного, чтобы Кучкар не расхохотался или не выкинул чего-нибудь еще. Курбан-ата деловито раскрыл переметную сумку, достал кипу газет и протянул Машрабу — он ближе всех стоял к нему, — но Машраб решил, что Камил уже успел сказать старику о том, что сын Агзама назначен комиссаром.

— Читай вслух, чтобы все слышали. Как говорил товарищ Ленин: человек, не читающий газет и журналов, — это политический слепец.

— А товарищ Чапаев читал газеты, отец?

Так и есть, Кучкар уже что-то затеял.

— Обязательно!

— «Правду Востока» тоже читал?

Курбан-ата смотрел куда-то в степь, задумчиво жевал губами. Он заподозрил что-то неладное в вопросе Кучкара, но не мог понять — что? Поэтому, помолчав, неопределенно ответил:

— Товарищ Чапаев был за Интернационал, — после чего сел на ишака, прямой и важный, и ноги его в стремених почти касались дорожной пыли.

— Вот это тестя выбрал себе Дивана! — смеясь, сказал Кучкар, когда старик отъехал. Он просто катался по траве от хохота.

— Не приставай к человеку! — сказал Акмаль.

Машраб лежал на траве и просматривал газету, потом брошюры. Сначала он только делал вид, что не обращает внимания на Кучкара, а потом действительно увлекся чтением. Вести были перадастные. На Орловско-Курском направлении начались тяжелые бои. В передовой статье было сказано: «Враг перешел в наступление. Положение вновь стало тяжелым». Машраб полистал брошюру в бледно-желтой обложке. Мелькали знакомые имена Хамида Алимджана, Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара и среди них имя Бориса Горбатова. Некоторые статьи и очерки Машраб читал раньше в газетах и журналах, а вот очерк Горбатова «Пядь родной земли» Машраб не читал. Он только помнил имя Бориса Горбатова по книге «Рядовой Иван Куликов».

За холмом раздалась рев ослов и крики мальчишек:

— Давай, давай!..

— Шевелись!..

Заколыхались камыши, и широкая низина заполнилась ишаками и их погонщиками, мальчишками тринадцати — четырнадцати лет. Лица мальчишек почернели от зноя, губы пересохли, потрескались, пыльные ноги кровоточили свежими царапинами. Но мальчишки были веселы, словно вернулись после шумной игры, а не прошли десятки верст до города и обратно.

— Обед готов, повар-апа?

— А лепешки? Как лепешки?

— Э, Кучкар-ака, какими судьбами?

— Смотрите, Акмаль-толстяк и Машраб Дивана тоже здесь...

— Вся троица в сборе...

Мальчишки орали, пили воду, хохотали, толкались.

— Чем попусту горло драть, лучше послушайте, что Борис Горбатов пишет, — громко сказал Машраб и, не до-

жидаясь тишины, начал читать вслух очерк Горбатова. — «Товарищ! — читал Машраб. — Забыл ли ты виселицы в Ростове и над тротуаром синие ноги повешенных... — Машраб почувствовал, что голос его задрожал от волнения. — Товарищ! Мы деремся с тобой на родной земле, и донские степи — друзья нашей юности, и Северный Донец — река нашего детства...»

Мальчишки слушали. На тех, кто еще не угомонился, покрикивали:

— Будет вам!..

— Тихо!..

Машраб чувствовал себя настоящим политическим комиссаром. Он уже не боялся насмешек Кучкара.

— «...И не было на всем нашем фронте воина более славного, более любимого, чем разведчик Сираджитдин Валиев, узбек из Ферганы, — с пафосом читал Машраб, и голос его звенел от волнения. — На его родине, в золотой Фергане, вода журчит в прохладных арыках, а драться Валиев пришел за мой пыльный и дымный Донбасс. На его родине, под кипарисами, мирно спят его предки, а умер Сираджитдин Валиев, — голос Машраба перехватила спазма, — в бою подле шахты и там похоронен. Вся дивизия плакала, когда хоронили Валиева. Таманцы, железные воины, не скрывали своих слез...»

— Товарищи! Встать!.. Прошу почтить память верного сына чапаевского племени, мужественного борца за мировую революцию товарища Сираджитдина Валиева! — командовал за спиной Машраба Курбан-ата. Машраб не видел, как он подошел вместе с Камиллом. Старый вояка стоял смиренно, поднеся ладонь к козырьку огромной фуражки. — Вольно, — сказал он и снял фуражку. Его выпуклый лоб — в росинках пота, лысая голова блестела, как медный поднос. Мальчишки смотрели на него, будто видели впервые, и глаза их поблескивали.

К Машрабу подошел Камил, сказал:

— Молодец, Машрабджан. Я рад, что не ошибся в тебе. Ты настоящий комиссар!

Курбан-ата тоже подошел к Машрабу и пожал ему руку. Машраб чувствовал себя на седьмом небе. «Держись, Эртаев-ака», — подумал он, понимая, что еще два-три таких поступка, и все Эртаевы будут бессильны испортить его судьбу.

— Вы устали, ребята, я знаю, — сказал Камил мальчишкам. — Но вы слышали, как поступают бойцы на фрон-

те... Мы можем помочь им даже здесь, в тылу! В такое время и фунт зерна — огромная помощь армии. А на току у нас набралось много зерна. Если выйти немедленно, мы успеем сделать еще один ход.

Кучкар, сидевший понурился, вскочил:

— Мы готовы! Скажите: везти надо днем и ночью — будем возить.

— Спасибо, друзья мои! — сказал Камил. — Напоите своих ишаков — и в путь!..

Это был очень долгий и трудный путь.

Сначала пошли на ток. Белую, льющуюся сквозь пальцы пшеницу ссыпали в большие мешки, сотканые из грубошерстных ниток. Потом подогнали ишаков и стали грузить на них мешки. Ишаки были разные: одни крупные и сильные, как жеребцы, другие мелкие, с провисшими животами и стертymi шеями. Но мешки были одинаковые, и разбираться, у кого какой ишак, не имело смысла. Мальчишки грузили мешки и между делом успевали побороться тут же на сыпучих буртах пшеницы или хлестнуть чужих ишаков, а те взбрыкивали и по-змеиному водили головами на длинных шеях, пытаясь прихватить зубами обидчиков. Наконец караван нагрузили, и Камил дал команду трогаться, проводив ребят до холма.

От Катра-абада до города было километров пятнадцать — шестнадцать. Дорога шла по ровной, как стол, степи. Местами степь пересекали русла высушенных знамен рек. Солнце клонилось к западу, и по степи вытянулись длинные тени шагающих ишаков. Зной, казалось, не только не убавился, а стал еще более сухим и жгучим, и степь была похожа на раскаленный тандыр. Все живое куда-то попряталось. Даже беркуты, обычно парящие в воздухе, исчезли, словно растаяли в глубине неба. Только иногда в зарослях выжженной травы высывалась мордочка суслика, словно живое золото, исчезал в поре скорпион, из-под копыт ишака выпрыгивала и терялась в траве змейка-пулька. На дороге, разбитой арбами, пыль была по колено, поэтому караван ишаков шел по широким обочинам. Погонщики путались босыми ногами в жесткой сухой траве.

Странные животные ишаки: чем больше они устают, тем стремительней становится их шаг. Они быстрее переставляют ноги, чтобы не упасть. Мальчишки давно уже

бежали рядом с ишаками, с надеждой поглядывая вперед воспаленными от солнца глазами, туда, где появлялись и снова исчезали из вида пригородные сады. Иногда то один, то другой приседал у обочины, вытаскивая из пятки колючку или потирая ушибленный о булыжник палец, а потом снова бежал, догоняя своего ишака. Машраб тоже бежал, хватая открытым ртом сухой пыльный воздух, обжигающий горло. Ноги стали плохо слушаться, он отставал, и, чтобы вновь догнать ишака, ему приходилось делать над собой усилие. «Вот так комиссар!» — говорил он себе. Впереди него бежал Акмаль-толстяк. Полный и к тому же косолапый, он бежал, тяжело дыша, и пот на его лице, мешаясь с пылью, стекал грязными потеками.

Когда до города оставалось шесть-семь километров, споткнулся и упал, подняв облако пыли, передний ишак. На него натыкались и тоже падали другие ишаки. Поднялся шум, крики. Когда пыль осела, стал виден виновник переполоха. Это был шуленький мальчик, которому на вид можно было дать не больше одиннадцати — двенадцати лет. Кто-то крикнул:

— Э, это же «Информбюро»!

Мальчик стоял, обхватив за шею своего ишака, словно что-то нашептывал ему на ухо.

— Что с тобой, Информбюро? — спросил, подбегая, Машраб.

Мальчик молчал, виновато улыбался, сквозь пот и пыль на его лице проступала бледность.

Прискакал на своем иноходце Ядгарбек. Он далеко обогнал караван, и ему пришлось возвращаться. Ядгарбек был зол оттого, что Камил снял его со спокойной работы весовщика и сделал караванщиком, но еще больше злило то, что погонщики ишаков не обращали на него никакого внимания.

— Возьми глаза в руки, растяпа! — заорал он, осаживая коня.

— Чего орешь! Не видишь?! — спросил его Кучкар. Кучкар стоял, обхватив маленького погонщика за худенькие плечи, и уже в который раз переспрашивал: — Скажи, что ушиб?

Мальчишка улыбнулся жалко и в то же время озорно.

— Что пристали?.. Поговорить с собственным ишаком не дадут. Просто держу совет с моим черным Дул-Дулом.

Кругом засмеялись. Кучкар спросил:

— Что же говорят твой Дул-Дул?

Мальчик, видимо, пересилил боль, развеселился.

— Извините, говорит мой Дул-Дул, задремал чуточку, не заметил, как упал... Скажите всем остальным, что я не советую им клевать носом.

— Пошли, пошли! — торопил Ядгарбек.

Караван тронулся, обходя мешок с пшеницей, валявшийся в пыли. Кучкар схватил его в охапку и бросил на ишака. Мальчик попробовал пойти, держась за холку, и, охнув, присел.

Кучкар подогнал своего ишака и усадил на него мальчишку.

Появились и росли на глазах сады пригорода. Оттуда донесло гудок паровоза, и через какое-то время в степь выкатился товарный состав. Рядом с вагонами скользили длинные, скошенные тени. Паровоз дымил далеко в степи, а из-за деревьев выскакивали вагоны, цистерны, крытые брезентом платформы.

— Пятнадцать... двадцать... тридцать пять... сорок!..

Мальчишки сбились со счета. Одни насчитали шестьдесят, другие шестьдесят пять вагонов. Давно промелькнул последний вагон и весь состав скрылся за холмами, а мальчишки продолжали спорить, сколько вагонов, что и куда везут.

Не заметили, как подошли к станционной площади.

За высоким забором, по верху которого была натянута колючая проволока, торчали красные кирпичные стены складов. Огромные ворота закрывали железнодорожные пути.

Площадь перед воротами была уставлена подводами, арбами. Кричали ишаки, поворачивали головы верблюды, лошади жевали клевер. В тени под арбами сидели и стояли люди.

Караван мгновенно затерялся в этом таборе. Откуда-то из-за арбы выкатился полный, кругленький человечек в ватном халате с тугим, лоснящимся от пота лицом.

— А я думал, где вас искать, Эшмат-ака? — сказал Ядгарбек.

— Зачем меня искать? Камил-ака предупредил, что будет еще одна ходка, и я жду вас, — ответил Эшмат-экспедитор, тот самый, что давно должен был находиться в армии, в трудовом батальоне, но вместо которого Чавандаз отправил в армию отца Акмаля.

Эшмат повел караван вдоль забора. За углом оказались еще одни ворота. Здесь тоже было много людей и



арб. Эшмат с Ядгарбеком прошли в ворота, а мальчишки, не чуя ног от усталости, повалились на землю, вытаскивая занозы и рассматривая сбитые пальцы.

Прибежал, прихрамывая, Информбюро, сообщил:

— Сдадим без очереди! Эшмат-ака договорился.

Почти тотчас появились Эшмат с Ядгарбеком.

— За мной, мальчики, за мной,— заторопил Эшмат.

Всем, кто пытался преградить дорогу каравану, Эшмат кричал:

— Пшеница сверх плана в фонд Красной Армии! Сначала выполнен план, а потом будешь требовать очереди! Посторонись, посторонись! — покрикивал Эшмат.— Сюда, соколы! Сюда, джигиты, ставьте ишаков на весы...

Машраб никогда не видел весы, на которые можно загнуть ишака. Он вместе со всеми вошел на деревянный, пружинящий и колыхающийся под ногами настил. Весовщики ходили по настилу и пересчитывали ишаков.

— Сорок восемь?

— Как сорок восемь? Сорок девять! — крикнул Кучкар.

— Проходите! Проходите: одним ишаком больше, одним меньше, какая разница, — торопил Эшмат-экспедитор, посмеиваясь.

Караван остановился возле створчатых ворот в стене высокого здания из красного кирпича.

— Ну, соколы! Ну, джигиты! Взялись!.. — Эшмат-ака обхватил воображаемый мешок короткими полными руками и присел, как будто поднял огромную тяжесть. Заплывшие глазки сияли, и сам он исходил дружелюбием.— Хорошо, что вы здесь, соколы! Помогите этим цыплятам! — говорил он.

Дорога в город по знойной степи показалась легкой прогулкой сравнительно с тем, что началось, когда стали разгружать ишаков. Машраб это понял, когда взвалил на спину четырехпудовый мешок и по узкой, прогибающейся доске пошел на гору пшеницы. С мешком на спине пришлось взбираться на высоту двухэтажного дома, а доски были приставлены так круто, что уже на половине дороги у Машраба стали дрожать колени. Он с трудом прошел до конца, останавливаясь через каждые пять-шесть шагов, чтобы перевести дух, сбросил с плеч мешок и, теряя равновесие, сел. По доске, как муравьи, подымались мальчишки, вцепившись по три-четыре человека в мешок. Говорят, стыд тяжелее смерти. Машраб поднялся и, сторо-

нясь мальчишек, спустился вниз. Он поднял на гору пшеницы еще четыре мешка, после чего свалился в тени под воротами. «Молодец, товарищ комиссар», — издевался он над собой, но все равно не мог заставить себя взяться за новый мешок. Да и смысла не было: он бы все равно не сдвинул мешка с места. По доске вверх и вниз пробегали Кучкар с Акмалем. Они вдвоем остались на разгрузке зерна. Мальчишки внизу помогали им взвалить на спину мешки. Кучкар подставлял плечо под мешок, приговаривая:

— Ну-ка, наваливай, твоя очередь!.. — потом, твердо ступая, шел вверх, и доска пружинила под его сильными погами.

Акмаль таскал мешки молча, косолапо переставляя ноги. Со стороны казалось, что таскать мешки не представляет для него никакого труда. Он не обращал внимания ни на похвалы, ни на пот, который ручьями стекал по лицу и спине. Лишь время от времени Акмаль коротко приказывал:

— Воды! — Выпивал не отрываясь колодезной воды и снова брался за очередной мешок.

На земле оставалось десять — двенадцать мешков. Машраб встал, и мышцы заныли в ожидании тяжести. Ему помогли взвалить на спину мешок, и он пошел вверх, стараясь ступать след в след за Акмалем. Высыпал пшеницу, и захотелось посидеть, не спешить, подождать, чтобы Акмаль и Кучкар успели отнести по два-три мешка. Он сознавал, что желание это подлое, и надо было совершить усилие, чтобы заставить себя спуститься вниз.

Когда на Машраба взвалили мешок, он понял — не пойдет, но пошел, пригибаясь все ниже и ниже, пока не ткнулся головой вперед. Тяжесть мешка вдавила его в сухое сыпучее зерно, расслабили мышцы, и наступила блаженная легкость.

Машраб и Мастура сидели в шалаше, не зажигая огня. Это напоминало Машрабу далекое детство, когда Мастура, спасая брата от гнева родителей, пряталась вместе с ним где-нибудь в укромном уголке. Сколько Машраб себя помнил, Мастура всегда была его надежной защитой. Так было до замужества, так осталось после замужества, так продолжалось и теперь, когда Мастура стала матерью двух дочерей-близнецов — Фатимы и Зухры.

Машраб, который был на десять лет моложе сестры, навсегда остался для нее маленьким братишкой, нуждавшимся в ее помощи и защите.

— От твоего зятя, конечно, писем нет? — с надеждой, что письмо от мужа каким-то чудом пришло, спросила Мастура и опустила глаза.

— Нет... — Первое время Машраб очень ревновал сестру к Расулджану, но потом полюбил зятя почти так же, как брата. И теперь любовь и верность Мастуры мужу вызывала у Машраба нежность к сестре.

— А от Ашрафджана? — спрашивала Мастура.

— Тоже нет...

Мастура отвернулась, глядя в светлый треугольник входа, в котором догорал этот длинный летний день. Машрабу захотелось взять огрубевшую руку сестры и поцеловать, но в это время Мастура спросила:

— Как Фатима, здорова?

— Да...

— А Зухра? — Мастура улыбалась. Она никогда не произносила имена дочерей вместе: девочки, как две капли воды похожие друг на друга, жили в ее сознании отдельно, каждая представляла свой собственный мир.

— Тоже здорова... Бабушка на них не нарадуется.

— Дорогая моя буви, — сказала Мастура. — Сначала вынянчила детей. Потом нас — внуков. Теперь нянчит правнуков. Она, наверно, совсем старенькая?

— Что ты? Бабушка помолодела!

— Не смейся, — сказала Мастура и сама засмеялась. — Иногда кажется, что с тех пор, как мы уехали из кишлака, прошел не месяц, а целый год. — А как Барно? — Мастура дотронулась до руки брата. — Ты видел ее?

— Видел... Ничего, бегаёт! Ты лучше расскажи, как сама живешь. Совсем похудела. Наверно, очень устаешь?

— Ничего, привыкла. — Мастура заметила, что брат смотрит на ее руки, и, как маленькая, спрятала их за спину. — В первые дни по неопытности поцарапала. Теперь ничего. За день жну четверть гектара...

— Ну да!

— Не веришь? Наш бригадир, Курбан-ата, тоже не верил... Он говорил, что нам, интеллигентам, никогда не угнаться за колхозниками. А вот угнались. Мне еще приходится, как фельдшеру амбулатории, врачевать. Может, зажечь свет?

Машраб промолчал. Он пришел к сестре, как только

вернулись из города, а она по этому случаю пораньше ушла с поля. Мастура тоже молчала, подрезая фитиль коптилки.

— Говорят, ты сегодня прочел стихи и потряс всех мальчишек? — спросила она.

— Не стихи, — Машраб покраснел, — статью одного писателя. Если бы я умел так писать!

— Курбан-ата очень тебя расхваливал. Я думала, ты сам написал.

К шалашу шли женщины и пели. Грустная песня неожиданно оборвалась. Кто-то повел веселую частушку:

Разрушу запруду, открою арык,  
веселую воду пуцу на цветник.  
Пускай я девчонка, себе на беду,  
а все же я тоже в солдаты пойду<sup>1</sup>.

У входа в шалаш женщина сказала:

— Говорят: страшно, как на фронте, а я бы на крыльях полетела к моему Мурадджану!

— Не гневи бога. Скажи спасибо...

— Это за что же говорить спасибо? Чем жить здесь в разлуке, лучше умереть с милым...

Женщины засмеялись. Мастура быстро глянула на Машраба, сдерживая улыбку. В шалаш заглянула девушка, крикнула:

— Ой, погибель моя, совсем взрослый джигит!

В шалаше сразу стало шумно и тесно. Машраб почти оглох.

— Мы слышали, ты написал стихи? Читай!

— Если не прочтет, не выпустим...

— Много требуем! Какое дело до нас, грешных, поэту-ака!

Мастура обняла Машраба за плечи, как бы защищая его от подруг.

— От вашей красоты ослепнуть можно, — сказала она. — Пойдем, братишка!

Выйдя из шалаша, Мастура сказала:

— Что делать! Молодые, красивые — томятся в разлуке, бедняжки.

В степи было темно. Лишь на хирмане — на току — горели фонари. Слышались голоса людей, обмолачивающих пшеницу, резкое хлопанье плети, хруст и треск ломающихся палок и истошный крик кого-то из погонщиков:

<sup>1</sup> Здесь и далее перевод стихов А. Наумова.

— Еще ишак называется! Захромал, подлец! И-их!..

Мастура остановилась возле высокого стога, похожего в темноте на черный силуэт горы, и нежно поцеловала Машраба в лоб.

— Скоро рассвет, отдохни,— сказала она.

— И ты отдохни...

Обогнув стог, Машраб, еле-еле передвигая ноги от усталости, то и дело спотыкаясь, доплелся до родника. Мальчишки спали вповалку, свернувшись клубком, подложив под головы потники и укрывшись мешками. Машраб отыскал Кучкара и Акмаля и улегся рядом. Уже засыпая, вспомнил разговор с Эртаевым, подумал: «Нашел кого пугать степью! Мы еще не то выдержим, Эртаев-ака!»

## ГЛАВА ПЯТАЯ

У вершины холма, на кладбище, кричала сова. Муяссар проснулась от ее крика и больше не могла заснуть. Кладбище спускалось по склону холма к хлопковому полю бригады «интеллигентов». Вот уже несколько ночей залетевшая на кладбище сова не давала Муяссар спать.

Взрослые последнее время жили как-то напряженно, нервно. Вчера на производственном совещании Инобат заставляла бригадиров хлопководческих бригад вставать и стоя выслушивать замечания. Она обрывала выступавших, лишая их слова. Такого с вежливой и всегда выдержанной Инобат пикогда не было. Инобат пощадила только Гульсум-апа, хотя в бригаде «интеллигентов» вновь назначенные поливальщики — пожилые женщины из сельпо и школьный счетовод — затопили хлопчатник. Гульсум-апа недоумею и явно неодобрительно поглядывала на председателя колхоза. Инобат поняла ее взгляд, после совещания подошла к подруге и сказала:

— Что же можно сделать, ападжан?!

Гульсум-апа тотчас смягчилась. Обе женщины стали думать, что делать, забыв про Муяссар. Казалось, они заходили в тысячу и одну улицу, но в какую бы улицу ни заходили — все равно попадали в тупик. Муяссар слушала их и молчала. Все дело упиралось в недостаток рабочих рук.

— Надо обратиться к гостям,— сказала Гульсум-апа.— Среди них много молодых и здоровых.

— Захотят ли они? — усомнилась Ипобат. — К нашей работе нужна привычка...

— Привыкнут. Я поговорю с Серафимой Федоровной.

Муяссар знала, что мать Ларисы немного поправилась. По вечерам, когда спадал зной, она выходила на айван и, опираясь на подушки, сидела на кровати.

На кладбище по-прежнему зловеще ухала сова. Казалось, она вступила в перебранку со всеми покойниками. У Муяссар сжималось сердце от этих криков. Она вообще боялась темноты, а тут еще эти раздирающие душу крики. Из-за них она и промолчала вчера на совещании. А ведь самое простое было попросить доверить полив девушкам-комсомолкам, самой взяться за это трудное дело, — ведь она видела, как поливал Машраб, и кое-чему научилась. Но поле было по соседству с кладбищем, и Муяссар ничего не сказала Гульсум-апа.

Она свернулась клубочком под одеялом, презирая себя за трусость, а когда стало светать и сова наконец угомнилась, Муяссар быстро оделась. Не дожидаясь утра, Муяссар прибежала к Гульсум-апа.

— Что случилось? Ты откуда в такую рань?! — Гульсум-апа села, отбросив одеяло, и в полумраке тревожно всматривалась в девушку.

— Не волнуйтесь. Ничего не случилось. Просто я решила, что смогу поливать сама. А чтобы днем не передумать, прибежала к вам.

Гульсум-апа засмеялась, прилегла, отодвигаясь к стене, сказала:

— В такую рань единственно разумное дело — еще поспать. Ложись-ка и ты. Места хватит.

Утром в саду у Махиры-буви собралось человек двадцать эвакуированных. Гульсум-апа рассказала о бригаде «интеллигентов» и о том, какое трудное положение сложилось в колхозе. Одна из сестер Святковских, сидевшая под яблоней, луца семечки, перебила:

— Вы газеты читаете? Вы слышали, что надо проявлять заботу о нас?

— Слышала, — сказала Гульсум-апа.

— Большинство из нас больные, — продолжала младшая Святковская.

— И об этом знаю...

— Если знаете, тогда о чем разговор? На худой конец, найдите нам работу полегче.

— А если полегче работы нет?

— А вы обязаны найти,— сказала старшая, а младшая тут же добавила:— Говорят, красавица в правлении — ваша сноха. Поставьте меня на ее место...

Гульсум-апа не была готова к такому разговору, да и запаса русских слов для того, чтобы полемизировать с сестрами, у нее не хватало. Она растерянно посмотрела на Серафиму Федоровну.

— Какая забота может быть больше той, которая проявлена к нам, товарищ Святковская? — спросила Серафима Федоровна.— Вот приютили нас. Делятся всем, что сами имеют...

— Вы просто попали в хороший дом. Посмотрите, в какой грязи и сырости живем мы. Да еще и хозяйка, у которой среди зимы снега не выпросишь...

— Мы сегодня же проверим и переселим вас в другой дом,— сказала Гульсум-апа.

Старшая сестра запротестовала:

— Старуха действительно жадная, зато ее сын Кур-Шермат — чудесный человек, и мы никуда оттуда не пойдем,— заявила она.

— Ленинградцы, прошу вас, поднимите руки,— сказала Серафима Федоровна.

Поднялось десять рук.

— Дорогие мои земляки, если бы я была здорова, я бы знала, что мне сейчас сказать. Пусть сестры Святковские поступают так, как им угодно. Но мы — ленинградцы. Если не могу я, то сможет моя дочь. Лариса! Ты пойдешь в колхоз и будешь делать все, что тебе скажут...

Серафима Федоровна закашлялась. Пожилая женщина рядом с ней сказала:

— Стыдно в такое время требовать работу полегче.

Лариса подошла к Муяссар и сказала очень громко, чтобы слышали сестры Святковские:

— Я буду делать то, что будешь делать ты, Муяссар!

Так три девушки — третьей была Гульчехра — стали в поле поливальщицами вместо трех парней. Самой храброй из них оказалась Лариса. Когда ночью на кладбище начала кричать сова, Лариса стала рассказывать все, что знала по зоологии об этой птице. Оказалось, что ничего страшного в сове нет, что птица эта очень полезная, потому что уничтожает грызунов. Лариса так хорошо об этом рассказывала, что обе ее подруги, успокоенные, уснули.

Но в это время всплеснулась вода в большом арыке, словно в нее обвалилась земляная глыба. Муяссар открыла глаза, вскрикнула:

— Ой!

— Мамочка! — испуганно воскликнула и Гульчехра. Лариса встала и, шагнув в темноту, крикнула:

— Кто там?

Кто-то выругался:

— Чтоб тебя! Спотыкаешься на ровном месте...

Послышался топот копыт, и наконец мужской голос спросил:

— Напугал вас, милые девушки?

— Э, ведь это Ядгарбек, — сказала Гульчехра.

Муяссар крикнула:

— Что вы тут делаете в полночь?!

Ядгарбек по ту сторону арыка метался огромной черной тенью на гарцующем коне.

— Во-первых, уже не полночь, а рассвет, Муяссархон, — сказал он. — Кроме того, прежде чем вернуться в степь, решил сделать маленький подарок. — Ядгарбек перегнулся с седла и протянул над арыком небольшой узел. — Немножко винограда... Возьмите, Гульчехра.

Гульчехра взяла узел и хихикнула. Ядгарбек выпрямился в седле, сказал:

— Не сердитесь, Муяссархон, это от чистого сердца, и притом из собственного сада...

Он ударил камчой лошадь и поскакал к черной волнистой линии горизонта.

— Что-то часто он стал тебя навещать... Зачем взяла виноград? — спросила Муяссар.

— Ой, что мне делать, если дарит? — притворно вздохнув, сказала Гульчехра, растягивая слова.

— Давайте посмотрим, что за виноград. Может быть, и говорить не о чем, — пошутила Лариса. — А может, завтрака не надо будет... Смотрите, светает...

В долине ревел ишак, в дальнем конце кишлака запел петух, другой петух пропел ближе и потому громче, подул ветерок, и жесткие листья хлопчатника упруго закачались, постукивая друг о друга.

Виноград оказался сочным и сладким.

— Парень, наверно, весь виноградник обшарил, пока выбрал эти кисти, — сказала Лариса.

Гульчехра, очень довольная, хихикала. Муяссар назидательно сказала:



— Виноград действительно сладкий — потом бы не было горько...

Девушки пошли вдоль борозд, осматривая поле и проверяя запруды. Тем временем небо из зеленого стало голубовато-серым. Одна за другой гасли звезды, запели птицы. Где-то на кладбище тосковала горлянка. Даже не верилось, что совсем недавно была ночь с ее страхами.

Пришла Гульсум-апа. Муяссар рассказывала о почных страхах и смеялась.

— Сейчас смешно, — сказала она. — А если бы не Ларисахон, я бы, наверно, убежала, когда на кладбище закричала сова...

Гульсум-апа окинула глазами поле, похвалила подружек. Она взяла у Ларисы кетмень и подправила запруду.

— Завтра выйдут в поле эвакуированные. Не знаю, так ли быстро, как ты, освоятся они с работой?

— Не беспокойтесь, освоятся, — сказала Лариса.

...Эвакуированные действительно освоились быстрее, чем предполагала Гульсум-апа. Она прикрепилась к каждой узбечке по одной русской женщине, но уже через день эвакуированные справлялись с работой самостоятельно и даже лица укутывали платком, а поясицы обвязывали скатертями, как узбечки. Лица, в первые дни опаленные солнцем, постепенно смуглели. Русские и узбечки научились понимать друг друга, мешая русские и узбекские слова в особый, им одним понятный жаргон. Когда старшая Святковская говорила:

— Паранджу сняли, а большой-большой кетмень дали, — ее очень хорошо понимали, и все весело смеялись.

Кто-то сказал:

— Вот и мы стали узбечками...

Младшая Святковская, Марина, тут же заметила:

— Узбечками-то мы стали, а вот признают ли нас узбекские парни?..

Гульчехра и Лариса смеялись, а Муяссар почему-то сердилась. Марина это заметила и постоянно ее поддразнивала.

— Свои не признают, ваши не примут — куда денешься? Муяссар, найди мне хорошенького паренька, — говорила Марина и подмигивала подругам.

Муяссар краснела от негодования:

— Вы, наверно, забыли, что идет война?!

— Живой думает о живом... Тебе хорошо, я слышала, твой парень рядом с тобой. Уступила бы его мне, а? Во имя дружбы народов...

Женщины смеялись. Муяссар понимала, что ее разыгрывают, и сердилась еще больше. Она поднимала платок до самых глаз и полола, повернувшись к Марине спиной. Но стоило смолкнуть шуткам, как начинались невеселые разговоры, от которых горечью закипало сердце. Кто-нибудь говорил:

— Скоро ли эта проклятая война кончится?!

— Увидим ли родных, близких?

— Ни жёны, ни вдовы — одно слово, солдатки...

От таких разговоров злее работали, с остервенением выдирая сорняки, окучивая кетменями кусты хлопчатника.

Так или иначе, сто гектаров хлопка, посеянного и выращенного бригадой «интеллигентов», полили и пропололи вовремя, и Гульсум-апа, свободно вздохнув, переключила свое внимание на школьные дела.

Кончилось лето, а до сих пор не было ясности: откроется школа или нет? А если откроется, то как быть с ремонтом, где взять дров, кто заменит ушедших на фронт учителей?

С тех пор как в конце прошлого учебного года Эртаев назначил Гульсум-апа временно исполняющей обязанности директора, с ней никто о школе не говорил. «Может быть, к началу учебного года пришлют другого директора?» — думала она. Но время шло, и она решила, что ждать больше нельзя. Не важно, кто будет директором, важно подготовить школу. Перед тем как пойти к председателю кишлачного Совета Чавапдазу, Гульсум-апа решила осмотреть школу.

В довоенные годы к этому времени просторный двор школы становился тесным от ремонтных рабочих, строительных материалов, вынесенных из классов парт, еще не убранного в сарай саксаула. Сейчас двор был пустым. Кое-где пробилась и пожухла на солнце трава. Два больших корпуса друг против друга с облупившимися стенами и размокшими от зимних дождей углами выглядели заброшенными. Гульсум-апа прошла по пустынным классам, подсчитала разбитые окна, сломанные парты, разваленные печи: школа не ремонтировалась с начала войны. Она

все тщательно записала в тетрадь, потратив на это полдня, и, не теряя времени, прямо из школы пошла к Чавандазу. Гульсум-апа перешла базарную площадь и вошла в ворота, почему-то настежь открытые. Чавандаз стоял под навесом и что-то говорил старику сторожу. Председатель увидел Гульсум-апа, улыбнулся, сдвинул на лоб новую узорчатую тибетейку и, похлопывая камчой по голенищу саного, пошел навстречу.

— Э, салам, Гульсумхон! Как жизнь? Как дела?

Было похоже, что Чавандаз поджидал ее, — так радушно он ее встретил. Это удивляло и настораживало.

— Благодарю вас. Вот пришла по делам, о которых надо поговорить, посоветоваться, — осторожно сказала Гульсум-апа.

Кажется, она не ошиблась.

— Очень хорошо, что зашли, — сказал Чавандаз. Он погладил пышные, очень красивые усы, которые украшали его лицо, сделал широкий жест рукой: — Прошу, Гульсумхон...

Они вошли в большую комнату с двумя окнами, выкрашенную блестящей масляной краской, с множеством полок и ниш в стенах, — когда-то здесь была байская гостиная, а сейчас стоял огромный письменный стол с телефоном, похожим на графин. Чавандаз прошел к столу, сел в кожаное кресло, положив на край стола камчу.

— Хоп, Гульсумхон, чем могу служить?

Гульсум-апа решила не спешить.

— Вы мне тоже что-то хотели сказать? — спросила она.

— Да так, пустяки... Хотел с вами породниться, с вашего разрешения, — сказал он и поправил на голове тибетейку, очень довольный впечатлением, которое произвели на Гульсум-апа его слова.

— Как породниться? У меня, кажется, нет незамужней дочери. — Гульсум-апа улыбалась.

Чавандаз захохотал.

— У вас нет, а в школе полно девушек... Вы все еще очень наивны, Гульсумхон. Если бросить яблоко, обязательно попадешь в девушку. В одну из них влюбился мой сын Ядгарбек.

— Кто же эта девушка?

— Дочь Фазлиддина-аксакала... Кажется, ее зовут Гульчехра...

— Но она еще ребенок. Ей нет шестнадцати лет. И потом, ваш сын тоже еще мальчик. Ведь ему едва исполнилось семнадцать.

Чавандаз больше не улыбался. Он исподлобья разглядывал Гульсум-апа. Она-то очень хорошо знала, сколько лет Ядгарбеку.

— Сколько лет было вам, когда вы вышли замуж? — спросил он. — Наши предки женили своих сыновей в шестнадцать лет на двенадцатилетних девочках, и ничего, справлялись — рожали детей.

— Но Гульчехра только в этом году окончила восьмой класс. Захотят ли родители забрать ее из школы?

— Зачем забирать? Пусть учится на здоровье. С ее отцом я договорился. А моему сыну стоит ее кликнуть — и ваша шестнадцатилетняя прилетит и сядет к нему на руки. Не упрямитесь, Гульсумхон.

— Мы не можем учить замужних...

— Ну, тогда она не будет учиться. Пусть поживут, насладятся жизнью. Сами знаете: сегодня парень жив, завтра нет!

— Что я могу сказать? Я все сказала...

— Хоп! Я вам так сообщил, для порядка. Теперь давайте говорить о ваших делах!

Гульсум-апа достала тетрадь. Чавандаз слушал, хмурясь, но не перебивал.

— Ладно, подумаем, — сказал он.

— Подумать, конечно, надо. Но время не ждет...

— Знаю, что не ждет. Очень хорошо знаю. Сейчас надо думать не об учебе, а о фронте. Это значит — думать о зерне, о хлопке, о картошке, о мясе, о яйцах. — Чавандаз, перечисляя, загибал сильные пальцы...

— Правильно, но...

— Без всяких но, Гульсумхон. — Чавандаз встал и взял со стола камчу.

— Что же мне делать? Откроем школу или нет? Если нет, то заявляю: с сегодняшнего дня слагаю с себя обязанности директора!..

Чавандаз молча смотрел на нее. Он-то думал, что эти годы поубавили у нее спеси, но, оказывается, она осталась такой, какой ее помнил Чавандаз еще девушкой: гордой и непреклонной.

— Освободят вас от директорства или нет — пусть решает тот, кто вас назначал. Мое дело думать о фронте. Я призван служить фронту...

— А мы не думаем о фронте? С весны вся школа в поле...

— Вот и хорошо. Продолжайте заниматься тем же.— Чавандаз вышел, скрипя сапогами, оставив Гульсум-апа одну в комнате.

Гульсум-апа подумывала совсем отказаться от директорства. Зачем лишние хлопоты, когда можно работать, как все? Но тут же думалось и другое: разве можно жечь одеяло, разозлившись на блоху? Она понимала, что не бросит школу, что будет добиваться дров и ремонта, не щадя ни своих сил, ни времени. Следующей инстанцией, которую надо пройти, был Эртаев. Он уезжал то в степь, то в соседние колхозы, то в город. Только на третий день к вечеру Гульсум-апа застала его в конторе. Эртаев сидел в кабинете Инобат и с кем-то разговаривал по телефону.

— Ладно, ладно, сейчас же приду...

Гульсум-апа не знала, сесть ли ей, остаться ли стоять или незаметно уйти. Эртаев положил трубку, улыбнулся:

— Салам, апа. Вы к Инобатхон?

— Нет, я к вам. Но вы, кажется, торопитесь?

— Откровенно говоря, очень тороплюсь. А что вы хотели?

— Школьные дела. Нужен ремонт, нужен керосин, а главное — нужны дрова.

— Поговорите с Чавандазом.

— Он и слышать о школе не хочет.

Эртаев некоторое время пристально разглядывал Гульсум-апа. Что она о нем думает? Почему пришла именно к нему?

— Но-о! И слышать не хочет? — сказал Эртаев и улыбнулся. Когда он улыбался, то на правой щеке его появлялась ямочка, придавая лицу по-детски наивное выражение. Эртаев вышел на середину комнаты, оправляя большими пальцами шелковую рубашку, как всегда белоснежную.— Что, если мы отложим этот разговор на день-другой, аладжан?

— Раз вы торопитесь! Просто время не ждет...

— Тогда сделаем так.— Эртаев вернулся к столу и написал записку.— Передайте это Чавандазу,— сказал он и быстро вышел.

Гульсум-апа против воли почувствовала, как на душе у нее потеплело от приветливости Эртаева. «Ув. раис-ака.

Помогите нашему дорогому директору. Понимаю, у вас и без того много забот. Но школа — вопрос политический. Устройте! С ув. Эртаев», — читала она, и где-то в глубине души шевельнулась мысль: может, она несправедлива к нему? Может, он и сам мучается от того, что совершил? Гульсум-апа зашла в бухгалтерию, чтобы повидать Барно, но новости не было. Она подождала немного и вышла из конторы.

После светлой комнаты двор, едва освещенный трехдневной луной, показался совсем темным. А на улице, стиснутой высокими дувалами, было темно, как в горном ущелье. Гульсум-апа дошла до плакучих ив над арыком недалеко от плотины. Луна, как ночник, висела над белой от пыли дорогой. Гульсум-апа услышала топот копыт и, посторонившись, остановилась в тени на обочине дороги. Мимо нее проехал фаэтон и в нем двое в белом. Если Гульсум-апа и сомневалась, то не больше мгновенья.

— Вы очень нетерпеливы! Обижусь! — сказала Барно.  
— Боюсь остаться с пустыми...

Конец фразы, сказанной Эртаевым, Гульсум не слышала. Фаэтон въехал на плотину, и лошадь перешла на шаг, а еще мгновенье — и Гульсум уже ничего не видела и не слышала, все было поглощено тенью тополей и шумом текущей воды.

Гульсум-апа стояла, словно оглушенная ударом дубинки. Не очень сознавая, что делает, она медленно, на мелкие клочки рвала записку Эртаева. Она вернулась домой в полночь и ничком, не раздеваясь, повалилась на постель. И лишь под утро немного успокоилась. Она решила, что отойдет от всех дел, не связанных непосредственно с благополучием семьи, поговорит с Барно, чтобы отвести непоправимое несчастье от сына и от нее.

Но на другой день случилось такое, что надолго выбило из головы все другие заботы.

Утром Гульсум разбудил посыльный из кишлачного Совета. На этот раз не она искала разговора с Чавандавом, а Чавандаз хотел говорить с ней. Он встретил Гульсум-апа с благородно-печальным выражением лица.

— Оказывается, вы пожаловались товарищу Эртаеву, — тихо и с обидой в голосе сказал он.

— Можете считать, что ничего не было. Теперь это не имеет никакого значения...

— Ладно! Не в этом дело! Никуда не уйдут дела этой бременной жизни. — Чавандаз глубоко вздохнул, не спеша

открыл стол и, достав желтоватую бумагу, сложенную вдвое, подвинул ее по столу к Гульсум-апа.— Ничего не поделаешь, война,— сказал он.

Гульсум, как замороженная, смотрела на бумагу, не имея сил шевельнуться. Только когда до ее сознания дошел адрес, написанный синими чернилами: «С/с Кара-Булак... Мастуре Рустамовой»,— в голове молнией блеснула мысль: «Расулджан!»

— Что делать? Человек смертен! Крепитесь, Гульсум-хон... Как только успокоитесь, приходите, поговорим о школе...

Гульсум будто только и ждала этих слов. Она торопливо вытерла глаза, осторожно, точно боясь взрыва, взяла бумажку и, не взглянув на Чавандаза, вышла.

Гульсум не знала, куда идти. Бумажка жгла ей руку, и не было сил заставить себя прочесть ее. Если навстречу кто-нибудь шел, Гульсум поспешно сворачивала в проулок, шла садами, через проломы в дувалах. Сад, в который она вошла, был очень знаком. Гульсум остановилась и стояла, пока не сообразила, что это сад матери. Она даже услышала голос Махиры-буви, зовущий Фатиму и Зухру. Гульсум побежала на улицу, чтобы не встречаться с матерью: она не в силах была сказать ей, что две эти крошки — сироты, и сама не в силах была видеть сейчас внучек. В полдень Гульсум забрела на полевой стан. К счастью, люди еще не подошли на обед и на стане была одна Серафима Федоровна.

— Что с вами, Гульсум-апа? — спросила она.

Гульсум молча передала ей бумажку, бессильно прильнула к стволу ивы и закрыла глаза. Она не помнила, сколько простояла так. Когда она открыла глаза, Серафима Федоровна сидела, опустив руки на колени, и смотрела куда-то перед собой.

— Что делать, ападжан? — спросила Гульсум.— Как сказать об этом дочери?

— Зачем говорить? Ничего не надо говорить!

— Вы думаете, будет лучше?

— Да, будет лучше! Может быть, что-то напутали. Может, он не убит... Чего не бывает на фронте! Просто не найдут человека и рассылают такое. А он ранец, и его подобрал санитары из другой части...

Странно, Гульсум-апа готова была поверить, что так могло быть и что действительно необходимо скрыть извещение от дочери.

— Правда, правда! Я тоже слышала... Так бывает,— сказала она.— Только как быть с Чавандазом? Он может кому-нибудь сказать или уже сказал...

— Идите предупредите его! А если кому-то сказал, то предупредите и того...

— Правда, правда, так и сделаю.— Гульсум поправила на голове платок.— Я сейчас... Я быстро... Если надо будет, обегу всех! Спасибо вам, надоумили.— Она торопливо побежала в кишлак.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Акмаль вытер потный лоб и оглянулся.

Солнце садилось. Тень от холма Караул-тепа накрыла степь. Только шалаши на стане и несжатое еще пшеничное поле поблескивали в закатных лучах.

Кучкар куда-то исчез, а Машраб все еще жал совсем близко от Акмаля. Машраб хотел помочь девушкам и захватил себе большой участок — среди несжатой полосы пшеницы виднелась его согнутая спина. Было похоже, что до вечера Машраб решил сжать всю полосу. «Раз решил, значит, сделает»,— подумал Акмаль. Он вспомнил, как Машраб таскал мешки, и улыбнулся, сдувая с губы пот. Акмаль захватил пучок стеблей и подрезал их ораком — изогнутым ножом, похожим на серп. Он захватывал стебли и подрезал их, не глядя и не разгибая спины. Лишь изредка, вот как теперь, кончая полосу, Акмаль позволял себе распрямиться и посмотреть вокруг, подставляя голую потную грудь предвечернему ветерку. И так вот уже несколько дней, с тех пор как Камил-ака поставил мальчишек на жатву.

Хлеб вырос высокий и густой, как никогда. Чем больше жнешь, тем больше хочется жать, вдыхая запах налитых и прогретых солнцем колосьев. Иногда нога спотыкается об огромный арбуз или орак прикоснется к дыне кукча, и они трескаются от спелости. В таких случаях счастливцев кричит о паходке, и жнецы сбегаются со всех сторон и, захлебываясь соком, едят рассеченные серпом ломти арбузов и дынь, и крик при этом стоит такой, что можно оглохнуть.

Жали с утра до вечера. Курбан-ата привозил обед на своем ишаке прямо в поле и оделял жнецов из ведер холодной похлебкой из очищенной джугары, заправлен-



ной айраном. Курбан-ата подъезжал к каждому жнецу, наливал ему касу похлебки и терпеливо ждал, пока тот поест. А вечером, после сухого горячего зноя, легкая прохлада, прилетающая с гор, была как награда за труд. Шли с поля на стан, и вдруг девушки начинали петь, и в сумерках они казались такими красивыми, что от радости сжималось сердце... Хорошо было Кучкару. Он не терялся, подхватывал песню даже тогда, когда не знал слов, или обнимал сразу двух-трех девушек, и тогда на всю степь поднимался крик и хохот. Кучкар словно и не махал целый день серпом. На помощь подругам прибегали другие девушки, и кончалось тем, что Кучкар спасался бегством. Машраб тоже не скучал. Он читал вечерами стихи — свои и чужие, и уставшие от работы жницы приходили послушать.

Акмаль стеснялся девушек и обливался потом, когда они с ним заговаривали. По ночам ему снилась Гульчехра, и он даже во сне начинал громко сопеть. Во всем кишлаке одна Гульчехра не смеялась над ним — так, по крайней мере, думал Акмаль. Он мог точно назвать день и час, когда полюбил Гульчехру, и надеялся, что и она его полюбила.

Их странная, с точки зрения других, любовь началась прошлым летом, когда они везли урюк на базар. На окраине города упал ишак Гульчехры. Поднять его ничего не стоило Акмалю. Он подошел и рванул ишака за хвост, пнув его при этом под бок ногой. Ишак вскочил, но Акмаль не мог ступить на ногу — вывихнул палец. Весь день Гульчехра суетилась вокруг Акмаля, а вечером, когда возвращались с базара, купила яицек. Они остановились за городом, она положила его ногу к себе на колени и принялась массировать больной палец яичным желтком. Сердце Акмаля растаяло от такого внимания. Машраб называл Гульчехру легкомысленной, Кучкар отзывался о девушке более определенно, конечно, когда его Акмаль не слышал. Они могли говорить о Гульчехре что угодно. Один Акмаль знал истинную цену верности и преданности ее благородного сердца — так, по крайней мере, он сам думал. Провожая его в степь, Гульчехра сунула ему за пазуху две загары — лепешки из кукурузной муки, завернутые в платочек. Не каждая девушка сделает такое. Лепешки Акмаль давно съел, а платочек до сих пор лежал под халатом на сердце,

Акмаль захватывал рукой стебли пшеницы и подрывал их серпом. Его движения были ритмичны, как у машины. Широкий взмах руки, блеск серпа, сухой треск — и колосья покорно ложились на сухую, пахнущую пылью и печеным хлебом землю. Акмаль, не разгибаясь, шел и шел вперед, оставляя за собой ровно подстриженное жнивье.

— Э, харманглар, джигиты!

Акмаль выпрямился. В пяти-шести шагах на жнивье стояли Эртаев и Камил, за ними Курбан-ата и Кучкар. Кучкар явно дурачился, передразнивая старика и копируя все его движения. По другую сторону несжатой полосы стоял Машраб, и серп в его руке свисал чуть не до самой земли; опустив голову, он не смотрел на Эртаева, как будто в чем-то провинился.

— Молодцы, джигиты,— говорил Эртаев.— Слух о вас идет по всему району.

— Правильный слух,— сказал Курбан-ата.— Когда Чапаев громил на Урале белоказаков, я гоноял по горам Энвер-пашу. Когда Красная Армия громит под Курском фашистов, наши дети проявляют трудовой героизм.

Эртаев терпеливо ждал, пока старик коптит говорить. Курбан-ата снял фуражку и вытер голую, без единого волоска, голову.

— Чапаевское племя,— сказал он и надел фуражку.

— Молодцы, джигиты,— повторил Эртаев.— Да и старшие товарищи не подвели... Я очень рад, Камилджан, что райком партии в вас не ошибся!

— Если кто-то из руководителей заслуживает благодарности, так это Инобат. Без ее энергии не было бы этих тысяч пудов дополнительного хлеба...

— Скромность украшает большевика,— сказал Эртаев и засмеялся.— А вам, ребята, спасибо от имени доблестных бойцов, громящих врага в эти дни под Белгородом и Курском.— Эртаев обошел ребят, пожимая руку каждому в отдельности. На Машраба он взглянул искоса и тут же отвернулся, а возле Акмаля задержался.

— Как отец? Пишет?

— Письма иногда приходят...

— Говорят, ты остался один кормилец? Я этого раньше не знал. Можно было бы не призывать твоего отца в трудовой батальон. Почему он сам о себе не похлопотал? Как мать, братишки? Все ли здоровы?

— Спасибо, здоровы.

— Простой, хороший человек Эшмат-ака, бесхитростная душа. Я думаю, надо помочь семье. Что скажете, отец?

Курбан-ата не ожидал такого вопроса. Он снова спял фуражку, сказал:

— Когда Чапаев громил на Урале белоказаков, а я гонял по горам басмачей, Эшмат был отважным краснопалочником...<sup>1</sup>

— Я думаю, колхоз сможет дать семье Эшмата полтора-два пуда зерна,— быстро сказал Камил.

— Так будет правильно,— подтвердил Курбан-ата и надел фуражку.

Эртаев пошел к стану. Курбан-ата и Камил, чуть отстав, шли за ним, и жнивье потрескивало под их ногами, а из-под сапог поднималась пыль.

Кучкар сказал:

— Неужели у него совесть заговорила?

Никто не спросил, у кого это «у него». И Машраб и Акмаль понимали, что речь идет об Эртаеве.

— Зачем плохо думать о человеке, если даже он тебя один раз обидел? — сказал Акмаль.

— Продажная душа. Вернее, брюхо,— сказал Кучкар.

Машрабу была неприятна похвала Эртаева, лучше бы он его обругал, а так в душе появилась какая-то признательность к этому человеку. Но Машрабу не хотелось ему верить, и он терялся в догадках: зачем понадобилось Эртаеву приезжать в степь и хвалить их?

Акмаль вернулся к своей полосе. Он жал и про себя подсчитывал: за время работы в степи, экономя в еде, он уже собрал полмешка лепешек. Если прибавить к ним еще полтора пуда зерна, то можно будет что-то выгадать на подарок Гульчехре. Акмаль широко захватывал стебли пшеницы и громко сопел.

Машраб и Кучкар тоже вернулись на свои полосы. Они думали, что до темноты сумеют их дожать. Но дожать не пришлось.

Кто-то закричал возле стана:

— Девушки, Барно приехала!

У Машраба остановилось сердце: понятно, почему в степь приехал Эртаев. Из-за соседнего стога выбежала гурьба девушек, окружила Машраба.

---

<sup>1</sup> Краснопалочники — отряды самообороны, которые действовали в Средней Азии во время борьбы с басмачеством.

— Голубчик, Машрабджан! Пусть встретится тебе красавица прекрасней месяца, приятнее прохладного ручейка...

— Хватит на сегодня работать!

Машраб, захваченный врасплох, оглянулся на Кучкара, но тот, уперев руки в бока, орал:

— Эй, поэт! Раз ты Машраб Дивана — читай стихи!..

Девушки стали дружно подсаживать Машраба на прошлогоднюю скирду. Чтобы избавиться от них, Машраб, цепляясь руками, проворно полез на вершину. По ту сторону скирды стояла бричка, и в ней на поперечных досках сидели Муяссар, Барно, Лариса и Гульчехра. Они раздавали персики окружившим бричку женщинам. Муяссар увидела Машраба и радостно замахала рукой. Машраб засмеялся, сам того не замечая, и тут же в голову ему пришло стихотворение. Он стоял на скирде, по пояс в соломе, рот до ушей, белые зубы поблескивали, а с губ срывались знакомые слова поэта Уйгуна из стихотворения о думах бойцов, которые сражались на фронте:

Смотри, не теряй своей веры  
и чести не ввергни в беду.  
Хоть ложные чувства мгновенны,  
измена весь век на виду.  
Не спутай любовь с увлечением,  
не спутай, не сбейся с пути:  
где ищут одно наслаждение,  
рискуют лишь горечь найти.

Барно уже давно сошла с брички и стояла, прислонясь к подножию скирды, снизу вверх пристально глядя на Машраба. Стихотворение было очень длинное, все в одном духе: поэт обличал неверность и восхвалял красоту подлиной любви и преданности. Машраб читал с уношением, не спуская глаз с Барно.

На бричку уже влез Кучкар, говорил Акмалю:

— Что стоишь, словно я съел, а тебе не досталось. Лезь!

Машрабу долго и дружно аплодировали. Кучкар, стоя в бричке, махал ему рукой. Машраб съехал по крутому склону скирды. Он хотел побежать к бричке, чувствуя, что Барно стоит рядом и смотрит на него.

— Чего ты от меня хочешь? — тихо спросила она.

В это время бричка тронулась. Машраб оглянулся: бричка покатила по жнивью, поднимая пыль.

— Столько девушек слушали это стихотворение, и никто не обиделся. Почему бы? — спросил Машраб.

— Мне нет до других никакого дела... В тот раз ты задел меня так, а сегодня этак... Кто тебе дал право вмешиваться в мою жизнь?

— Я думаю о своем брате...

— Хорош у тебя брат, если приставил ко мне шпиона...

Машраб задохнулся от возмущения, но ничего не успел ответить. Барно резко повернулась и пошла к стану, на котором уже зажглись огоньки.

— Машраб!

К нему бежала Муяссар. Над степью стояли рассеянные сумерки, но в небе уже мерцали первые звезды. Казалось, кто-то чистил и ставил их в вышине по одной. Машраб пошел навстречу Муяссар, и они повернули к стану.

— Я думал, ты уехала, — сказал Машраб.

— Что ты! Я от них убежала. Спрыгнула с брички и убежала.

Машраб косился на смуглое, почти коричневое в сумерках лицо Муяссар, и она, точно чувствуя его взгляд, смотрела прямо перед собой. Так они и шли по степи.

Все, что делалось в кишлаке, казалось Муяссар ничтожным по сравнению с тем, что совершалось на фронте. Но эта широкая степь, шалаши из камыша, хирмапы, на которых молотили хлеб, крики мальчишек-погонщиков, скрип арб, запряженных волами, вереница шагающих ишаков с мешками зерна, грустные песни девушек — все это было так величественно, что у Муяссар дух захватило.

— О вас говорят, как о героях, — сказала она.

— О вас тоже ходят слухи. Почему вы приехали и по какому случаю так разоделись?

— Были в городе, в госпитале. Возили раненым дыни... Правда, не хандаляшки... А почему ты тогда полез на бахчу?

Машраб остановился.

— Ты не знаешь? — спросил он.

Муяссар смотрела на него, и в темноте глаза ее казались огромными.

— Ты же хотела хандаляшек. В то утро я шел мимо твоего сада и сам слышал...

— Не падо... Не говори! — сказала Муяссар.

Машраб обнял ее и притянул к себе, сам дивясь своей смелости.

Где-то очень близко за темнеющей справа скирдой слышался голос Кучкара:

— Ну как, поговорил с Гульчехрой?

— Поговоришь, когда вокруг нее вертится твой брат Ядгарбек!

— Э-э, тряпка... Пойдем!

Машраб выпустил Муяссар, и она побежала к стану.

Из степи свозили и домолачивали на хирманах последние снопы. Каждый день на рассвете со стана уходили в город караваны ишаков. Спать ложились пораньше, едва зажигались звезды. Только теперь, когда вся тяжелая работа была сделана, сказывалась многодневная усталость. Обычно перед сном, где-нибудь в укромном уголке, Кучкар перечитывал какое-то письмо. Это письмо он уже знал наизусть. Оно было написано простым карандашом на листке бумаги, вырванном из полевой книжки.

«Дорогой мой Кучкар!

Получил твое письмо. Этот день для меня стал праздником. Спасибо, сынок.

На днях уезжаю надолго по одному делу. Когда вернусь, трудно сказать.

Дорогой сынок! Я должен был просить у тебя прощения. Но не сделал этого потому, что признавать свою вину или, наоборот, перекладывать вину на другого — ни к чему. Думаю, сам все поймешь... Фатима по молодости оступилась. А я — я очень любил ее. В общем, случилось то, что случилось.

В письме ты пишешь: «Я горжусь вами, папа!» Не знаю, достоин ли отец, который, рассердившись на женщину, забыл о сыне, того, чтобы сын им гордился? Решай сам, сынок. Если останусь жив, мы с тобой заживем по-иному. Единственное мое желание — чтобы ты жил во имя нашего многострадального народа, ради его счастья. Лучшие сыны человечества жили ради этой цели, за это они сейчас кладут свои головы.

До свидания, будь здоров, сынок.

С надеждой на встречу, твой отец *Клыч*.

10 августа, полевая почта 92625 Р».

За ужином, как обычно, Машраб прочел сводку Информбюро.

— Каждый мешок зерна — это гвоздь в гроб фашистов, — сказал он.

Машраб уже привык чувствовать себя комиссаром. Он давно перестал бояться, что Кучкар подымет его на смех. Машраб только не знал, почему так переменился Кучкар.

Кучкар сосредоточенно доедал гуджу, старательно вытирая степки касы куском лепешки. Кто-то прокричал в темноте:

— Машраб, Кучкар, Акмаль — к Камилу-ака, быстро!

В знакомом шалаше, который все на стане называли «штабом», Камил разговаривал с Информбюро.

— Э, наконец-то, — сказал Камил-ака, потирая раненую руку. — Что скажете, джигиты, если я пошлю вас в разведку? — спросил он, когда ребята присели на соломенные циновки.

— Если вы нас пошлете, как же мы сможем не пойти, Камил-ака? — ответил Машраб.

Кучкар подозрительно уставился на Информбюро, спросил:

— Что за разведка?

— В караване ишаков — хищения. Каждый день исчезает мешок зерна.

— Каждый день мешок зерна? Не может быть, — сказал Машраб, чувствуя в словах Камилла упрек себе.

— Кто этим занимается? — настороженно спросил Кучкар.

— Кто же еще? Наш старший Ядгарбек и Эшмат-экспедитор. Они сбили с пути Дадабая-простака. — Информбюро даже вскочил — так он был возбужден.

— Почему сразу нам не сказал? — грозно спросил Кучкар.

— Боялся. Они мне сказали: «Знай свое дело, а в чужие не лезь».

— Подлецы! — выкрикнул Машраб.

— Эх, если бы не мать, я бы знал, что делать, — произнес Кучкар.

— А теперь не знаешь, — удивился Камил. — Впрочем, может быть, ты прав и лучше тебе не вмешиваться в это дело, — задумчиво проговорил он.

— Как это не надо?.. Да разве они справятся без меня?! — закричал Кучкар. — Если я не пойду, то каки-

ми глазами посмотрю на своего тезку, первого Героя Советского Союза Кучкара Турдыева?!

— Резонно, ничего не скажешь. Придется идти,— с улыбкой согласился Камил.

В путь отправились прямо от Камила, чтобы задолго до каравана прийти на место. Когда показались расплывчатые очертания городских садов, небо еще было усыпано звездами и степь дышала предутренней прохладой. Ишаков оставили в урочище на краю города и дальше отправились пешком.

Дом, в котором прятали хлеб, должен был показать Информбюро.

— Это в третьем дворе первого переулка,— говорил он.— Перед двором протекает арык, а на берегу арыка растет большая чинара...

— Не найдешь — голову оторву,— коротко сказал Кучкар, выслушав объяснения мальчишки.

Арык вытекал из-под дувала, и в том месте, покрывая своей тенью двор и улицу, раскинула ветви чинара.

Само собой разумеется, что всем в этой операции распорядился Кучкар. Он пролез по арыку в пролом под дувалом и минут через десять вернулся.

— Смотрите,— сказал он и стал чертить в пыли план двора.— Половина двора занята двумя стогами люцерны — вот здесь. Перед террасой на берегу арыка — пашахана. Там кто-то спит — храпит на весь двор. Действуем так: я спрячусь в стоге возле полога. Кто-то, Машраб или ты, Акмаль, залезет на чинару, а кто-то пойдет со мной. Информбюро будет дежурить в конце переулка и предупредит, как только появятся воров...

— Давайте я залезу на чинару,— сказал Машраб.

— Хоп! Залезай. Когда Информбюро заметит воров, два раза сними и надень тубетейку.

Хлюпая по воде, Кучкар полез под дувал. Акмаль чуть не застрял в проломе. Машрабу пришлось его проталкивать. При этом обвалилась глыба глины.

Машраб влез на чинару и сел в развилке между ветвей над самым двором. Взошло солнце, отражаясь в воде арыка малиновыми бликами. Слышно было, как под навесом корова жевала жвачку и вздыхала. Из-под полога доносился храп. Потом полог приподнялся, и из-под него на четвереньках выползла полуобнаженная женщина. Она тут же накинула на себя атласное платье, сунула ноги в лакированные кавуши и стала умываться. Умы-



пнсь, она подошла корову, зажав ведро между коленями. Потом поставила самовар, навела красоту, стоя у зеркала на айване, а под пологом кто-то все еще продолжал храпеть. Женщина спустилась с айвана и откинула полог. На ворохе одеял лежал на спине мужчина.

— Вставай, мой толстячок, — сказала женщина.

Мужчина ловко повернулся на бок и обхватил женщину за ноги.

— Иди на минутку ко мне, душенька, — сказал он.

Женщина села и, освободив ноги, проворно отодвинулась в сторону.

— Хватит, дорогой, — сказала она. — Пора вставать, скоро караван придет.

Толстяк встал, натянул штаны на короткие, очень толстые ноги. Машраб узнал Эшмата-экспедитора. Пока все, что говорил Информбюро, подтверждалось. Единственное, что смущало Машраба, — это дом. Машраб знал, что Эшмат жил совсем на другой улице, у своих дальних родственников, а семья его жила в кишлаке. Но раздумывать над этим было некогда: по дороге к городу катились клубы пыли, поднятой ишаками.

Караван ишаков приближался к садам. В переднем всаднике Машраб узнал Ядгарбека — он один ехал на коне. Когда караван втянулся в городскую улицу, Ядгарбек поскакал вперед, поднимая пыль. Караван пришел неожиданно рано — Эшмат его не ждал. Когда Ядгарбек остановил копя под чинарой и постучал в калитку, Эшмат не сразу ему открыл, стоя посредине двора и прислушиваясь.

— Что случилось? Почему у тебя глаза беспокойные? — спросил он, приоткрыв калитку.

— Все хорошо, ака. Партком отправил нас пораньше, будем сегодня делать две ходки.

— Хоп! Две ходки — два мешка. Хорошую свадьбу тебе справим.

Ядгарбек, не дожидаясь каравана, поехал вперед. Пыль, поднятая ишаками, докатилась до чинары и заполнила всю улицу. Когда пыль рассеялась, улица оказалась пустой, только у калитки стоял ишак и мальчишка-погонщик осторожно отодвигал засов, поминутно оглядываясь по сторонам.

Все остальное произошло так быстро, что Машраб не успел опомниться.

Как только ишак вошел во двор, Эшмат рывком сдернул четырехпудовый мешок зерна и побежал с мешком

на плече, широко расставляя короткие ноги. Женщина торопливо разрывала стог клевера. В это время с другой стороны стога вышли Кучкар и Акмаль. Эшмат, сразу обессилев, сел, опираясь спиной о мешок, а женщина закричала и побежала в дом. Мальчишка-погонщик пулей вылетел на улицу и, не оглядываясь, промчался под чинарой.

Пока собрали соседей и составили акт, Информбюро пригнал из урочища ишаков. В хлеву нашли яму, полную зерна. Сколько его было, никто не мерил, просто насыпали зерно в мешки, погрузили на ишаков и повезли в Заготзерно. В милицию не сообщили, а связали Эшмату руки и погнали в Катра-абад. Машраб удивлялся, что Эшмат, не сопротивляясь, делал все, что ему приказывали. Эшмат очень хорошо видел неопытность ребят и, после того как были сданы на элеватор вещественные доказательства — мешки с зерном, совсем успокоился.

В Катра-абад пришли в полдень. Камил был в степи, и мальчишки, оставив Эшмата-экспедитора в штабе, сели под стогом завтракать. Весть о том, что Машраб Дивана и его компания привезли связанного Эшмата, облетела стан. В штабной шалааш заглядывали любопытные, и Эшмат начинал поносить мальчишек, грозить им.

Пришла Мастура с аптечной сумкой на плече.

— Что тут случилось? — спросила она.

— Ничего особенного. Жуликов поймали. Ты откуда идешь? — спросил Машраб.

— Из третьей бригады. Женщина серпом порезала руку. Ночью видела сон, — сказала Мастура. Помолчала, поглядывая на брата. — Приснилось мне, что Расулджан вернулся без ноги и очень рассердился, что меня нет дома. — Несмело спросила: — Может, от него пришло письмо?..

Она умолкла, потому что прибежал Кучкар, ходивший за добавочной порцией гуджи.

— Пошли, Дивана, идут! — сказал он.

Еще издали возле хирмана Машраб увидел Камилу, Курбана-ата и Чавандаза. Чавандаз сидел на знаменитом сельсоветовском жеребце вороной масти и, слегка наклонившись с седла, что-то говорил «Чапаю».

Машраб сразу понял, как только взглянул в лицо Камилу: что-то случилось...

— Почему не оставили Эшмата в милиции? — спросил Камил.

— При чем тут милиция? — ответил Кучкар.

Камил быстро взглянул на Чавандаза, но тот сделал вид, будто занят разговором.

— Где акт о задержании? — спросил Камил.

Он долго просматривал самодеятельный акт, потом сказал:

— Второго вора тоже задержали?

— Другого отпустили в Заготзерно. Но мы его видели, — сказал Машраб.

Чавандаз больше не притворялся, что занят разговором. Когда Машраб сказал:

— Второй вор Ядгарбек! — Чавандаз крикнул:

— Что ты сказал? Повтори!

— Ваш сын Ядгарбек был задержан при хищении пшеницы...

— Задержан?! Кто его задержал? Где он? Ты, сын Агзама, обвиняешь моего сына?!

На голову жеребца обрушились удары рукояткой камчи. Жеребец подскочил и встал на дыбы.

— Стой!

Машраб не понял, кто это крикнул — Кучкар или Камил. Но он увидел, как за узду взвившегося на дыбы жеребца ухватился здоровой рукой Камил. Жеребец от нового удара рванулся, и Камил упал, а на узде повис Кучкар.

— Стойте, отец! Если будете бить, бейте меня!

— Прочь, байстрюк! Я проклял тебя...

Удар камчи упал на спину Кучкара, и рубашка на его плечах с треском лопнула. Удары градом обрушились на жеребца. Тот прыгнул в сторону, оставив в руке Кучкара обрывок повода. Но Халмата не зря прозвали Чавандазом. Он сумел овладеть жеребцом с порванной уздечкой и, обогнув шалаш, примчался обратно. Упершись ногами в стремена, заиграл в воздухе плетью.

— Меченое племя! Знайте: неделю назад пришла похоронная на Расулджана!

— Молчать!

Машраб оглянулся. Курбан-ата, в своей огромной фуражке, нелепо выглядевшей на маленькой голове, весь дрожа, шел прямо на жеребца. Машраб бросился к лошади наперерез старику, но тут же остановился от отчаянного крика у себя за спиной:

— Машраб! Машраб!.. Родной!

Мастура, с закрытыми глазами, с белым, будто изваянным из гипса лицом, лежала у очага на руках поварихи.

Машраб подбежал к ней, мгновенно забыв о Чавандазе.  
— Мастура-апа!

Он тряс ее за плечи. Кто-то закричал:

— Воды! Дайте воды!..

Машрабу показалось, что всю степь вмиг охватило огнем.

— Воды! Воды! — кричал он.

Народу собралось много. Всех вызванных на бюро невозможно было разместить в кабинете секретаря, и заседание бюро райкома проводили в летнем клубе. На повестке был один вопрос: дополнительные обязательства по государственным поставкам зерна. Такие дополнительные обязательства колхозы района брали на себя трижды.

До начала бюро между первым секретарем райкома и Эртаевым состоялся разговор.

— Товарищ Эртаев, я тут советовался с товарищами, решили поручить вам выступить инициаторами нового обязательства. Колхозы вашего куста самые крепкие, да и народ у вас активный. Можно надеяться?

— Что значит можно? Раз надо — сделаем! — сказал Эртаев.

— Хоп! Очевь хорошо. Я вам дам первому слово. — Секретарь был явно доволен ответом Эртаева. Он вообще был доволен этим исполнительным, безотказным работником. Правда, до райкома доходили разные слухи, но о ком из ответственных работников теперь не говорят? Не время сейчас заниматься проверками, сейчас главное — победа над врагом.

Эртаев собрал председателей колхозов и партторгов в кабинете заведующего клубом.

Он сделал краткую информацию, во время которой Камил сосредоточенно думал: кому доложить о факте хищения зерна? Первому секретарю или Эртаеву? Неудобно было обходить уполномоченного района, а с другой стороны, Камил испытывал к Эртаеву все большее недоверие. Занятый этими мыслями, Камил не сразу понял, куда клонит Эртаев, а когда понял, спросил:

— А как будет с семенами, если мы отдадим сейчас последнее зерно?

Камил посмотрел на Инобат. Она поблагодарила его глазами за этот вопрос. Эртаев слушал, недовольно морщась.

— Нелепый вопрос, — сказал он. — Мы кому сдаем зерно? Государству. Так неужели государство не позаботится о семенах? Мне неловко за вас, Камилджан.

На этом узкое совещание закончилось, и все перешли в зал, где заседало бюро. Первый секретарь объявил повестку дня и тут же предоставил слово Эртаеву.

Эртаев говорил долго и горячо. Он скавал, что Узбекистан не испытывает непосредственных ударов войны, находясь в глубоком тылу, и что поэтому долг тружеников Узбекистана отдать все для победы над врагом. После этого Эртаев назвал цифру, которую колхозы вверенного ему куста (он так и сказал: «вверенного мне куста») сдадут государству. Едва он кончил, как кто-то задал ему вопрос, откуда в его колхозах столько зерна и не берет ли он дополнительное обязательство за счет семенного фонда.

В зале наступила гнетущая тишина. Эртаев с улыбкой оглянулся на секретаря райкома, спросил:

— Можно ответить товарищу?

Но секретарь райкома встал, сказал:

— Товарищи поднимают очень серьезный вопрос, заботясь о семенном фонде. Мы об этом тоже думали. У нас много загорных колхозов, которые из-за расстояния и трудных горных дорог не сумели вывезти зерно. Это зерно мы оставляем у них как семенной фонд района, а пока взаимобразно возьмем с вашего согласия зерно в ближних колхозах. Те, кто сейчас сдаст дополнительное зерно, получат семена из казахских колхозов.

Камил смотрел на усталое, с мешками под глазами; лицо секретаря райкома и решил, что не имеет права взваливать на плечи Умарова свои заботы. Тем более что Камил уже был в милиции и в прокуратуре и там обещали заняться хищением, хотя и сказали, что мальчишки много напортили своей горячностью и неопытностью. Камил думал, что он и сам не очень-то опытен. Да и где ему, как и мальчишкам, было набираться опыта в борьбе с жуликами?

Мимо Камила, пробираясь к выходу, прошел Эртаев, и Камил решил, что поговорит о хищении с ним. К Эртаеву можно относиться как угодно, но не было никаких оснований сомневаться в его честности.

Эртаева ждала в приемной райкома Барно. Он не хотел приводить молодую женщину в райком, но дом, который указал ему Эшмат, почему-то был на замке. Эртаев пробирался к выходу и думал, какую взбучку он задаст Эшма-

ту-экспедитору. «Если Камил и Инобат поедут в кишлак, можно будет остаться в городе; если же останутся в городе, можно будет сказать, что мне и Барно нужно в кишлак», — думал Эртаев.

Все оказалось проще. Второй секретарь задержал парт-оргов, и, когда Эртаев подошел к райкому, он увидел только Барно и Инобат. Барно сидела в фэатоне, а Инобат отвязывала своего коня. Эртаев сделал вид, что не замечает хмурого лица Барно.

— Надеюсь, вы нас извините, Барнохон, за то, что заставили вас ждать? Это не по нашей вине... Что будем делать дальше, Инобатхон?

Инобат пожала плечами:

— Не знаю. Я приглашаю Барнохон к моей сестре. Три месяца не видела сестру. Останусь у нее до утра.

— Спасибо, апа. Я поеду в кишлак! — сказала Барно.

— На чем же ты поедешь? Товарищ Эртаев, наверно, тоже заночует дома, в семье...

— Товарищ Эртаев поедет в кишлак, Инобатхон. Есть срочные дела.— Эртаев отвязал от коновязи лошадь, сел в фэатон и разобрал вожжи.— До завтра, Инобатхон,— сказал он и тронул лошадь.

Эртаев по непроницаемому лицу Инобат не мог понять, догадывается она о чем-то или предложила Барно переночевать в городе просто так, как невестке своей подруги. Но, в общем, это не имело большого значения: главное — держаться уверенно и спокойно. Инобат ехала рысью рядом с фэатоном до улицы, которая вела к Заготзерну.

— До завтра,— сказала она и повернула коня.

— Кажется, вы обиделись, Барнохон? — вкрадчиво и чуть-чуть насмешливо спросил Эртаев. Он по опыту знал, что такой тон неотразимо действует на женщин.

Барно сидела отчужденно и гордо, укутав плечи в белый шелковый платок, переброшенный концом через плечо на грудь. Она угрюмо вглядывалась в густеющие сумерки улицы.

— Нет, я просто в восторге от вашего внимания,— сказала она, не меняя позы.

Эртаев подавил улыбку. Он привык к покорности женщин. Но Барно правилась ему именно тем, что знала себе цену. Победа над такой женщиной льстила самолюбию. «Ничего, теленок бежит только до кормушки», — подумал Эртаев и остановил лошадь у калитки под развесистой чинарой.

— В чем дело? — спросила Барно, когда Эртаев слез с фэтона и постучал в калитку. — Мы, кажется, едем в кишлак.

— Может быть, посидим, поговорим перед дальней дорогой?

— Зачем? Пока не поздно, поезжайте к своей семье. Узнает обо всем ваша жена — не оберетесь беды.

Эртаев рассмеялся весело и откровенно. Барно ему очень нравилась в своей запальчивой ревности. Интересно, как она поведет себя, когда проснется утром рядом с ним?

— Послушайте, Барнохон! Как только мы переступаем порог этого дома, у меня нет никакой жены. Есть только вы и ваша красота.

«Пошло, грязно», — подумала Барно, но не могла остановиться и вошла вслед за Эртаевым в открывающуюся калитку.

— Эркин-ака, это вы? — говорила идущая впереди женщина. — Аллах мой, совсем вас не узнала.

Вошли на террасу, и женщина зажгла свет. Барно передернуло, когда она разглядела при свете молодящуюся полную женщину с подведенными сурьмой ресницами и широко накрашенными на выпуклом лбу бровями.

— Где Эшмат? Пусть примет лошадь, — сказал Эртаев. Женщина потянулась к нему и что-то сказала.

— Новости! — сказал Эртаев и вернулся к калитке. Женщина взглянула на Барно.

— Добро пожаловать, дорогая гостья. Пусть ничто в этом доме не бросит тень на вашу красоту, — льстиво сказала она, но ее зоркий, оценивающий взгляд не соответствовал слащаво-фальшивому голосу.

Эртаев поставил под навес лошадь, распряг ее и бросил в кормушку охапку сухого клевера. Он не торопился, ожидая, пока опытная хозяйка обхаживала Барно, уведя ее с террасы в гостиную. Эртаев присел на подножку фэтона, закурил. Дождался, когда хозяйка вышла из гостиной, и нарочно громко, чтобы слышала Барно, спросил:

— Ну, невестушка, чем помочь вам? Давайте-ка ведро, принесу вам воды из колодца, пока вернется хозяин.

Женщина, шаркая кавушами, вплотную подошла к нему.

— Говорите скорее, что случилось с Эшматом? — спросил Эртаев, опуская в колодец ведро.

— Плохи его дела, Эркин-ака... Попался Эшмат!

— Об этом и спрашиваю. Что значит попался?

Эртаев неторопливо вытаскивал из колодца ведро, пока женщина рассказывала все, что произошло в этом доме утром. Эртаев слушал и припоминал, не осталось ли каких-либо следов, которые могли бросить тень на него. Как будто не осталось. Разве что сам Эшмат расскажет, кому и когда возил колхозные продукты. Но, судя по тому, что говорила женщина, мальчишки действовали не лучшим образом. Ничего не поделаешь, надо будет просто отправить Эшмата на фронт. Эртаев глянул в сторону дома. Барно, сложив ладони козырьком, сквозь оконное стекло смотрела во двор, и тень ее падала на террасу.

— Ладно,— сказал Эртаев.— Что-нибудь придумаем. Полейте-ка мне на голову...

Он вошел в гостиную с расстегнутым воротом рубашки, с мокрыми волосами, вытирая полотенцем крепкую шею и грудь. Барно перед зеркалом переплетала косу.

— Барно! Барнохон! — позвал Эртаев.

Барно не оглянувшись, отчужденно спросила:

— Где вы были, товарищ Эртаев?

Эртаев смотрел на нее и думал, что сейчас самый удобный повод обидеться,— вряд ли стоило оставаться в доме, с которым так тесно был связан Эшмат.

— Готовил для вас чай, Барнохон,— сказал он.

— А я просила у вас чаю? — Барно, слегка повернув голову, взглянула на него, усмехнулась.— Спасибо за гостеприимство. Поедем.

— Поедем? Куда? — спросил Эртаев и подумал, что если сейчас выпустит ее, то уже никогда не добьется своего.

— Куда же еще? Домой, в кишлак. Вы же сказали Инобат, что у вас в кишлаке срочное дело.

Эртаев стоял и взвешивал все «за» и «против», а тем временем все решилось само собой.

— Никуда мы не поедем. Не можем ехать. Лошадь устала...

— Нет, я уеду...

— Никуда вы одна не усидите. Не на чем вам ехать...

Эртаев увидел в дверях хозяйку с бутылкой вина в руках. Он сделал ей знак уйти и потушил свет. В темноте подошел к Барно, взял ее за руку:

— Неможко отдохнем, душенька!

Барно видела в зеркале, как Эртаев знаком удалил хозяйку, и, когда он потушил свет, у Барно упало сердце.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В Катра-абад Эртаев приехал через два дня. Он подо-звал мальчишку-погонщика и попросил его подержать вороного жеребца с белой отметинкой на лбу. Потом подошел к Камилу, сидевшему со стариками в тени огромного бурта зерна.

— Позовите, Камилджан, ребят, которые задержали мошенника Эшмата. Надо объявить им благодарность от имени райисполкома. Правильно, аксакалы? — спросил Эртаев стариков.

— Очень правильно, товарищ Эртаев, — ответил за всех подошедший Курбан-ата. Он был строг и серьезен. — Зачем называть Агзама Ячейку врагом народа, товарищ Эртаев? — спросил Курбан-ата.

— Кто его так называл, ата? — Эртаев насторожился.

— Чавандаз!

— А-а, погорячился раис-ака. Обиделся, что его сына назвали вором.

— А разве он не вор?! — спросил Камил.

— Зачем же сгущать краски, Камилджан? Ошибка молодости. Вы же не назовете ворами тех, кто рвал ханда-ляк на бахче?

Камил промолчал. Послать за мальчишками было неко-го, и он пошел сам, а Эртаев остался со стариками. На другой день после бюро райкома, когда Камил специально поехал в кишлак и рассказал Эртаеву о хищении зерна, Эртаев выслушал его со сдержанной насторожен-ностью и ничего определенного не сказал. «Что же произо-шло теперь? — подумал Камил. — А, что бы ни произо-шло, важно, что Эртаев понял: Эшмат преступник».

Камил увидел Информбюро возле столовой, велел найти и привести на ток Машраба и его приятелей и вер-нулся к Эртаеву.

Эртаев улыбался, идя навстречу Камилу:

— Ну и ну, Камилджан! Дополнительных обяза-тельств еще не выполнили, а колосья собирать колхозни-кам разрешили.

— Если не разрешить, то кому будет от этого польза? Колосья все равно останутся на земле.

— Не будем этого касаться! Сначала надо выполнить обязательства, а потом можно поговорить о колосьях... Как, аксакалы, правильно я говорю?

Старики молчали, а потом под разными предлогами ста-

ли расходиться. С Камиллом и Эртаевым остался только Курбап-ата.

— Что это сидим на солнце? Войдем в шалаш.

В шалаше стоял прохладный полумрак. Эртаев сел на помост, устроенный на деревянных козлах, сказал:

— Мне бы хотелось предупредить вас, Камилджан. В вас много мальчишества: обещали колхозникам колосья, не согласовав с райкомом.

— Я обещал им то, что все равно пропадет.

— Что значит пропадет? Разве у государства излишек хлеба? Весь хлеб принадлежит государству. Правильно, ата?

Курбап-ата пожевал губами, сказал:

— Камилджан поступает правильно. Камилджан был хорошим комиссаром даже у Чапаева.

Эртаев смотрел то на старика, то на Камилла. Последнее время у него появилась манера смотреть на людей исподлобья, тяжелым, немигающим взглядом. И этот выживший из ума старик, и этот молодой бессребреник — оба думают только о деле, только о благе людей, и потому они так уверены в себе, потому никого и ничего не боятся. Таким же помнил Эртаев Агзама Ячейку. Чужие, непонятные люди. К ним можно относиться снисходительно, пока они не мешают. Эти начинают мешать. Ничего не поделаешь, придется их усмирить, обвинив в заигрывании с колхозниками за счет государства. Эртаев чувствовал свое превосходство. Смысл жизни в том, чтобы жить приятно. Тот, кому есть что терять, боится терять...

В шалаш, загораживая свет, вошли Кучкар и Акмаль. Складки на лбу Эртаева разгладились.

— Старые знакомые! Ну как, больше не лазили на бахчу? — спросил он.

Он вдруг так расхохотался, что, глядя на него, засмеялись Кучкар и Акмаль. Даже Камил улыбнулся.

Эртаев сквозь смех проговорил:

— Исползуя собственный опыт, накопленный в краже хандаляка, поймали еще одного вора?

— Сравнили, нечего сказать! То были хандаляки, а это пшеница. Белая, сухая пшеница, — сказал Кучкар.

— Конечно, хандаляки растут на бахче, а пшеница в поле. В этом вся разница... В общем, молодцы! Дали по рукам мошеннику. Пусть теперь понюхает порошу, услышит, как свистят на фронте пули.

— При чем тут фронт? — спросил Камил.

— Как при чем? Эшмат подал заявление с просьбой послать его добровольцем на фронт, чтобы кровью испить вину...

— Разве на фронт посылают провинившихся? Разве быть на фронте не самая большая честь? Разве защищать родину должны преступники? — Кучкар смотрел по сторонам, и под его взглядом опустили голову сначала Курбан-ата, потом Камил.

— Объясните мальчику суть вопроса, — сказал Эртаев и вышел.

Но Камил не знал, что сказать. Он чувствовал: что-то нечисто в этой истории, но не мог понять что. Сидел и думал, что он плохой парторг, что для партийной работы ему не хватает ни опыта, ни знаний.

— Чапаев за это расстреливал, — сказал Курбан-ата, посмотрел на них строго, поправил на голове фуражку и вышел.

— Когда я лежал в стое клевера, я слышал, как Эшмат сказал женщине: «Сегодня вечером приедет Эртаев, надо приготовить хороший дастархан», — сказал Акмаль.

— Я тоже это слышал, — сказал Кучкар.

— Почему же не сказали мне? — спросил Камил.

Ребята молчали, потом Кучкар сказал:

— Жалко Машраба. Эртаев должен был приехать в Барно...

Камил поглаживал раненую руку. Значит, слухи, которые поползли по кишлаку, — правда. Ребята из деликатности не хотели говорить о том, что могло огорчить их друга. Должен ли он, Камил, предать гласности то, из-за чего его закадычный друг Ашраф, может быть, не захочет жить? Камил чувствовал, что у него в руках улики, достаточные для того, чтобы покончить с Эртаевым. Но он не знал, как пустить их в ход. Просто обнародовать? Сумел же он повернуть историю с хандаляшками так, что сейчас ничего нельзя предпринять против Ядгарбека. А Эшмат уже, наверно, едет на фронт, да и не захочет он портить отношения со своим покровителем. Остается Барно. Но если Барно что-то себе позволила, не будет же она об этом говорить... Круг замыкался, и Камил не видел из него выхода.

— Идите, джигиты. Обедайте, а я немного посижу, подумаю, — сказал Камил.

После полумрака шалаша день показался особенно ярким.

— Упустили гниду,— сказал Кучкар, со злостью пнул какую-то чурку и тут же схватился за большой палец, запрыгав на одной ноге.

С того дня как Чавандаз сказал о смерти мужа Мастуры, Машраб изменился, стал молчаливым, замкнутым, будто сразу повзрослел на несколько лет.

Вечером на коне Камила Машраб привез Мاستуру в кишлак. Он провел ночь в саду на ворохе клевера. До утра не умолкали плач и причитания собравшихся в махалле женщин. Утром из дома вышла соседка и сказала, что Мاستура зовет Машраба. Когда он вошел в комнату, соседок уже не было. Кроме Мастуры, лежащей на курпаче, в узенькой и низкой комнатке сидели бабушка, мать и Серафима Федоровна.

— Машрабджан! — сказала Мастура и тронула руку Машраба своей похудевшей за ночь горячей рукой. — Серафима Федоровна, бабушка, мама — все, кто были здесь ночью, говорят, что Расулджан, может быть, жив. Они говорят, что на фронте бывают ошибки... Ты умный, ты много читаешь. Скажи, может такое быть?

— Так бывает очень часто, Мастура. Я могу рассказать тебе десятки случаев, когда было именно так... Я читал об этом и в книгах и газетах.

Все облегченно вздохнули и как-то разом заговорили.

— Мастура, милая моя! Я сама была свидетелем таких случаев. Это вполне может быть! — сказала Серафима Федоровна.

Машраб, не в силах видеть жалкую улыбку сестры, торопливо вышел в сад и долго бродил там один.

Все дни Машраба не покидало ощущение опасности, нависшей над их домом, над семьей, над всем кишлаком. Он все время жил в какой-то настороженной тревоге. Как-то раз, встретив просозжавшего в фаэтоне Эртаева, он вдруг понял, что все время помнил об этом человеке, помнил бессознательно, как о своем личном враге, как о враге всего кишлака, с именем которого связаны все неприятности.

В один из особенно трудных для Машраба дней из кишлака вызвали на сбор колосьев всех трудоспособных. Машраб приехал в степь вместе с Муяссар и Ларисой.

В полдень он и Кучкар вышли к низине, поросшей ка-

мышом. Кучкар сбросил почти полный мешок на скошенный камыш и тут же растянулся рядом.

— Горло пересохло,— сказал он. Достал бутылку и, лежа на спине, ловил ртом струю воды.

— Где Акмаль? — спросил Машраб.

— Ходит и думает: почему Гульчехра не приехала на сбор колосьев? А тех двух не видно.

«Те двое» — Муяссар и Лариса. Они собирали колосья вокруг хирмана в ворохе обмолоченной соломы. Люди разбрелись по всей степи, и девушек не было видно.

Кучкар лег на живот, достал из-за пазухи завязанную в платок черствую лепешку. Он разломил ее на куски и положил поверх платка.

— Закусим,— сказал он.— Моя мама говорит, что красивый мужчина должен много есть.

Не успел Кучкар прожевать кусок, как из камышей выскочил Информбюро. На его худеньком плече болтался почти пустой мешок, лицо и руки были черными, как у негра, а зубы блестели в улыбке.

— Аппетита вам такого, как карнай,— сказал он, имея в виду огромную полутораметровую медную трубу с раструбом на конце, при помощи которой глашатаи собирают народ.

— И без твоего пожелания аппетит у нас больше карная,— сказал Кучкар, но тут же смилостивился: — Хоть мы тебя и не звали, но раз пришел — садись!

— Мы и глотка воды даром не пьем,— сказал Информбюро.— А за свой труд не постесняемся съесть кусок лепешки.

Когда Информбюро собирался сообщить какую-то новость, он всегда отзывался о себе во множественном числе. Схватив лепешку, он начал есть.

— Положи на место и сначала скажи, зачем пришел,— спокойно распорядился Кучкар.

— Может, слышали, а может, нет: птичка-спичка слетается с коршуном.

— Говори толком: какая птичка-спичка? — спросил Кучкар.

— Говорят, Гульчехра выходит замуж за твоего брата Ядгарбека... Что слышал, то говорю,— быстро сказал Информбюро, потому что ему показалось, будто Кучкар намеревался «погладить» его по голове.

— И за такую новость ты хочешь лепешку? — спросил Кучкар.

— А разве было бы лучше, если бы я пришел пригласить вас прямо на свадьбу?

— Иди! Иди! За такую новость не стыдится есть чужой хлеб!

Информбюро засмеялся и пошел, доедая кусок лепешки.

Машраб молчал и смотрел куда-то в степь.

— Я еще в тот раз, когда они приезжали, заметил, что он ее обхаживал, — сказал Кучкар. — Надо что-то сделать. Я бы на месте толстяка только обрадовался, что от такой птички избавился. Но он же с ума сойдет...

— Вон Лариса и Муяссар, — сказал Машраб. — Надо их спросить.

Он пошел наперерез девушкам, а Кучкар перевернулся на живот и стал смотреть, как муравей тащил волосок. Бедный толстяк! Надо же, чтобы именно с ним случилось несчастье.

Вернулся Машраб с Муяссар и Ларисой. Девушки недоумевали и были встревожены.

— Может быть, это неправда? — спрашивала Лариса и смотрела по очереди на всех. Степное солнце обожгло ее: продолговатое лицо, шея, руки стали красновато-коричневыми, и голубые глаза казались особенно чистыми, как весеннее небо. Кучкар старался не смотреть в ее глаза — так было спокойнее.

— Она ведь школу не кончила, — сказала Муяссар, как всегда взволнованно. — Как хотите, а я не верю.

— А жених? Если верить его папе, он еще призывного возраста не достиг. Совсем мальчик!.. Куда ему жениться, — сказал Машраб, насмешливо поглядывая на Кучкара.

— Что ты на меня смотришь? Я ему, что ли, года убавлял? Нет, как хотите, а я боюсь, что новость Информбюро соответствует действительности... Я кое-что припоминаю, чему раньше не придавал значения.

— А что, если ее насильно заставляют выйти замуж? Говорят, у вас и не такое еще случается? — вдруг спросила Лариса и испугалась, что, может быть, обидела своих друзей.

— Бывает, всякое бывает, — сказал Кучкар. — Вы ее подруги и должны с ней поговорить без свидетелей, а потом решим, что делать.

— Надо сказать Акмалю, — сказала Муяссар.

— Зачем? Толку от этого никакого не будет. Не зря

его называют Акмаль-рохля.— Кучкар безнадежно махнул рукой.

— Кучкар сказал правильно: сначала надо поговорить с Гульчехрой. Это вы возьмете на себя. А мы пока подготовим Акмаля, чтобы эта новость не была ему как снег на голову...

Так и порешили, вторую половину дня собирали колосья вчетвером, и Кучкар подумывал, что не так уж было бы ему безразлично, если бы он услышал, что Лариса выходит за кого-то замуж.

После ручной жатвы колосьев оставалось мало. Только там, где росла трава, их было больше. Но, как говорится, капля по капле образует озеро. В первый же день многие собрали по мешку.

К вечеру, когда на степь напоздали сумерки, неожиданно появились Ядгарбек и Кур-Шермат. На ладных иноходцах, поигрывая камчани, они объезжали скошенные поля и стогняли людей к хирману. Кур-Шермат искал Камилу, но парторга нигде не было.

У весов стоял Курбан-ата. Он уже забыл, что вместе с Камилом отстаивал право колхозников собрать колосья, а теперь по личному приказу Эртаева организовал контрольный пункт. Довольный данным ему поручением, с огромным красным карандашом за ухом, с перекинутой через плечо кожаной сумкой, он каждый мешок заставлял перевешивать по нескольку раз и отсыпал половину на ток. Люди волновались, спрашивали, где Камилджан.

Мальчишкам Курбан-ата сказал:

— Молодцы, джигиты! Половина вам, половина нам!

— Кому вам? — спросил Машраб.

— Государству, фронту, — ответил Курбан-ата.

— Тогда это нам, — возразил Машраб, и многие у весов засмеялись.

Старик не понял, сказал:

— Отсыпьте на хирман еще по пять килограммов.

— Это почему, отец? — спросил Кучкар.

— Потому что вы комсомольцы! Когда мы были такими, как вы, то не только колосья — последний кусок хлеба клали на общий дастархан!

К весам подошла Муяссар. Курбан-ата рассматривал ее слезящимися глазами, словно не узнавал.

— А ты, доченька, сбрось на хирман не пять, а семь килограммов.

Муяссар, мигуя весы, высыпала в общую кучу весь свой мешок и убежала. К весам подошел Камил.

— Товарищи колхозники! Коммунисты колхоза призывают вас сдать половину собранных колосьев в фонд Красной Армии,— сказал он.

Курбан-ата, высоко подняв фонарь, чтобы взглянуть, кто это говорит, узнал Камилу и, довольный, сообщил:

— Правильно говоришь, Камилджан. Я получил записку товарища Эртаева: у всех добровольно беру половину...

Камил молча пошел к стану. Проходя мимо Ядгарбека и Кур-Шермата, Камил сказал:

— Чтобы я завтра здесь вас не видел!

— Мы здесь по личному распоряжению товарища Эртаева. Товарищ Эртаев передал вам, чтобы вы приехали в райком!

— Я уже был в райкоме. Повторяю: чтобы вас завтра не было в степи. В колхозе некому работать, а вы на конях разъезжаете!

Камил пошел от них, устало сутуля плечи. Машраб с друзьями поняли, что-то случилось, и шли за Камилем в отдалении. Они видели, как он отвязал от коновязи своего коня, сказал поварихе:

— Я поеду в кишлак: давно белья не менял. Утром вернусь.

Ребята не хотели подходить к Камилу на людях.

— Перехватим его на холме,— предложил Кучкар, и все трое побежали к чернеющему склону Караул-тепа. Они не добежали до вершины, когда услышали топот копыт. Кучкар выбежал на дорогу и расставил руки:

— Стойте, Камил-ака! Это мы.

Камил слез с лошади и, держа ее в поводу, обеспокоенно спросил:

— Э, все ли в порядке, друзья?

— Еще спрашиваете! Какой может быть порядок, если на вас лица нет?

Камил засмеялся.

— Вы правы,— сказал он.— Между друзьями не должно быть секретов. Посидим, поговорим.

Они присели на выжженный, пахнущий мятой склон. Внизу, под ногами, мерцала огнями степь, слышались приглушенные голоса. В отдалении грустно пели девушки.



— Меня сегодня вызывали в райком, — сказал Камил. — Секретарь предложил провести в жизнь предложение Эртаева — собрать в фонд Красной Армии колосья на половинных началах. Понимаете, предложение Эртаева, почин Эртаева! А ведь Эртаев был против, когда я говорил, что разрешил собирать колоски. Надо нам с вами, друзья, еще многому учиться!..

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кончили уборку хлеба в степи, начали уборку хлопка в кишлаке. На полевом стане бригады «интеллигентов» появились лозунги:

«Хлопок — это боеприпасы!»

«Хлопок — это обмундирование для бойцов!»

«Дорогой товарищ! Сколько хлопка ты сдал в фонд обороны?»

В день начала уборки Гульсум-апа вывела в поле всю интеллигенцию кишлака — работников правления, сельпо, амбулаторию, учителей и старшеклассников, которые очень гордились тем, что и их причислили к интеллигенции. Поздравить людей с началом работ приехали Камил и Ипобатхон, а немного спустя прискакал и Халмат Чавандаз. Все выглядело так, будто сделанное до сих пор — тысячи тонн зерна, овощей, фруктов, сданных государству, ничего не значили, будто только теперь началась главная работа, без которой не может обойтись фронт.

К вечеру первого дня был снаряжен «красный караван» из десяти арб. Его возглавил сам Курбан-ата на своем ишаке. Три головных арбы вели трое друзей, ставшие с этого дня грузчиками и арбакешами бригады. Работа была тяжелой. Рано утром выезжали в дорогу, возвращались вечером. Распрягали лошадей и, стреножив, пускали пастись, а сами принимались набивать хлопком мешки и грузить их на арбы. Только после этого спускались в долину.

Ребята ложились на высохшую траву, доставали завернутые в поясной платок самсу с тыквой, кукурузу в початках, испеченную в горячей золе. Ели с наслаждением, запивая ключевой водой, которая казалась слаще мусалласа. Иногда ночью к ребятам приходили Муяссар и Лариса. Тогда Машраб и Кучкар бывали по-настоящему счастливы.

Все неприятности этого лета меркли по сравнению с будущим, которое открывалось перед ними. Вражда с Эр-таевым казалась незначительной по сравнению с тем счастьем, которое они переживали. И лишь одно не давало покоя Машрабу и Кучкару — Гульчехра. Они чувствовали себя виноватыми перед Акмалем из-за того, что не вняли, как ему помочь. Как-то Кучкар не выдержал, сказал:

— Сам виноват. Если бы не был такой тряпкой, прочил бы ее разок!

Акмаль молчал и только сопел.

Машраб сказал:

— Ядгар окружил ее вниманием. Всякой девушке лестно внимание. Он ей то и дело преподносит подарки. Неужели ты хуже его?

Акмаль сделал вид, что заснул. Но на другой день, сдав хлопок, он, оставив друзей в чайхане, побежал на базар. Три кукурузных лепешки, которые он сэкономил, оказались не таким уж большим богатством. Ему едва удалось выменять на них пару поношенных шелковых чулок. По дороге из города он лежал навзничь на арбе, смотрел в звездное небо и думал, как преподнесет чулки Гульчехре. Пусть потом Ядгарбек почешется. На передней арбе беспечно распевал Кучкар:

Меня не оценит красавица та,  
покуда ее не настанут года...

Странная песня и, как казалось Акмалю, глупая. При чем здесь совершеннолетие?

Акмаль задремал и проснулся от сильного толчка. Толкал его Кучкар.

— Вставай! Подходящий момент проснишь! — шипел Кучкар над его ухом.

Акмаль ошалело вскочил. Арбы стояли в долине, и Машраб уже успел выпрячь лошадей — свою и Акмаля.

— Ну что рот раскрыл?! — Кучкар стащил Акмаля с арбы и указал рукой на заросли камыша: — Беги в эту сторону!

Акмаль побежал, неуклюже переваливаясь на косолапых ногах, еще не очень хорошо понимая, чего от него хотят. Он продрался сквозь высокий, в рост человека, камыш и, когда выбежал на тропинку, увидел испуганно остановившуюся Гульчехру.

— Я думала, что в камышах кабан,— сказала она. На щеках ее заиграли ямочки.— Выходит, и вы научились перебегать девушкам дорогу, Акмаль-ака?

В прозрачном голубом платке, в ярком ситцевом платье и маленьких сапожках, она стояла на тропинке, освещенной луной, и покачивала головой.

Акмаль торопливо искал в поясном платке свой подарок и не смотрел на Гульчехру. Не хватало, чтобы он потерял чулки. Нет, нашел! Акмаль протянул девушке сверток, сказал:

— Возьмите! Этот скромный подарок я купил специально для вас.

— Подарок? Ой, зачем это?! — Гульчехра взяла сверток и, сияя от радости, стала рассматривать чулки, натягивая их на ладонь.— Ой, у них уже дырочки,— разочарованно сказала она.

Акмаль засопел, шевеля горбатым, мясистым носом.

— Что же делать? Я.. мы не в состоянии дарить шелковых платков!..

— Что, что?! Ах, платок! Значит, вы еще и ревнуете? — Гульчехра засмеялась.— Если мне дарят платок, не могу же я его не взять. Я ведь беру ваши чулки! Спасибо!..

Гульчехра побежала в долину, и Акмаль слышал, как она смеялась. Он рванулся было следом, очень довольный разговором, но сзади, со стороны хлопкового поля, его окликнул Ядгарбек, который теперь работал почтальоном.

— Эй, толстяк, не спеши!

Ядгарбек шел через поле, придерживая перекинутую через плечо сумку с обтрепанными краями. Он заранее достал из нее конверт и, не доходя шагов двух до Акмаля, бросил ему письмо.

— Чем приставать к чужим девушкам, думай лучше об отце,— сказал он.

Акмаль соображал, не стукнуть ли Ядгарбека и сразу от него избавиться, но вспомнил про письмо, а Ядгарбек тем временем побежал вслед за Гульчехрой.

Когда Машраб и Кучкар, удивленные долгим отсутствием Акмаля, нашли его, Акмаль сидел на тропинке, обхватив голову руками, и на вопрос Машраба, что с ним, молча передал ему письмо. Вернее, в конверте было два письма. Одно — официальное, за подписью главного врача госпиталя, а другое — написанное по просьбе Эшмата, отца Акмаля. Оказывается, Эшмат, работая на заводе, по-

пал под вагонетку и после операции находился в госпитале на излечении. Эшмат-ака писал: он случайно открыл, что его «омолодили» на шесть лет, и поэтому он думает, не спутали ли его по ошибке с Эшматом, сыном Мумина, — экспедитором, который как раз на шесть лет моложе. В официальном письме главный врач госпиталя просил председателя кишлачного Совета подтвердить год рождения Эшмата, который по возрасту не подлежит призыву в армию. Машраб прочитал письма вслух и переглянулся с Кучкаром.

— Все понял? — спросил Машраб.

Кучкар взял у него письмо, прочел.

— Конечно, понял, — сказал он. — Что я, дурак, потвоему?

Машраб, стиснув зубы, сказал:

— Больше терпеть нельзя. Напишем письмо в обком!

Акмаль по-прежнему молчал, но Кучкару предложение понравилось. Они писали письмо ночью, а чтобы оно скорее дошло, бросили его на другой день в городе в почтовый ящик проходившего поезда.

Дальнейшие события развернулись так, что ребята не знали, радоваться или плакать. И для того и для другого причин было больше чем достаточно. Когда показали полученные от Эшмата-отца письма девушкам, Лариса вдруг побледнела. Она схватила письмо главного врача и, ни слова не говоря, бросилась бежать. Кучкар догнал ее возле кишлака, потом подошли остальные. Лариса отдышалась, сказала:

— Я боюсь верить, но, кажется, мы нашли папу, вернее, он нас нашел. Неужели вы забыли мою фамилию?

Ребята переглянулись. В кишлаке не приняты были фамилии: просто говорили такой-то, сын или дочь такого-то. Поэтому они не обратили внимания, что фамилия главного врача была Гордый.

— Я только не знаю, как он расписывается, — говорила Лариса. — Не знаю, сразу показать письмо маме или сначала как-то ее подготовить.

Ребята, взволнованные не меньше Ларисы, шагали по улице, тесно окружив девушку.

— Давайте я буду разговаривать, — сказал Машраб. — Я плохо говорю по-русски. Пока буду говорить туда-сюда, Серафима Федоровна подготовится.

— Правда, так будет хорошо. Спасибо тебе.

Дома Серафимы Федоровны не оказалось, она с час назад ушла в поле. Выходит, зря бежали в кишлак.

— Куда вы? Что случилось? — спрашивала Махира-буви, выйдя вслед за ребятами на улицу. Но они уже были далеко...

Как только позволяло здоровье, Серафима Федоровна шла в поле. Впервые в жизни она видела, как раскрываются коробочки этого экзотического растения, названного «белым золотом». Она не могла оторвать глаз от поля, густо усыпанного белыми пушистыми коробочками, похожего на сад под мягким снегом или на сад во время весеннего цветения. Но не зря работа на хлопковом поле называлась фронтом. Те, кто занимался изучением труда хлопкоробов, говорили, что уборка хлопка приравнивается к работе в шахте.

Не верилось, что этот мягкий и легкий растительный пух на деле не легче антрацита. Серафима Федоровна приходила не просто любоваться хлопком. Когда позволяли силы, она приезжала в поле на ослике Махиры-буви и работала вместе со всеми, пока перед глазами не начинали плавать радужные, красно-зеленые круги. Тогда она выходила на край поля и отдыхала.

Ребята нашли Серафиму Федоровну в тени под пирамидальным топодем — тополя росли шеренгой по краю поля. Машраб, держа письмо из госпиталя в руке, принялся подробно рассказывать обстоятельства, при которых забрали на трудовой фронт отца Акмаля. Серафима Федоровна слушала очень внимательно, пытаясь понять суть, но потом стала пристально смотреть на письмо в руке Машраба. Все, как и Машраб, следили за выражением лица Серафимы Федоровны и не обращали внимания на письмо.

— Где ты взял это письмо? — неожиданно прервала Серафима Федоровна.

— Как где? Я вам доложил, Эшмат-ака прислал сыну письмо.

— Но где ты взял это письмо? Дай-ка его сюда!..

Только теперь все заметили, что Машраб держал письмо так, что видна была подпись главного врача. С него и не спускала глаз Серафима Федоровна. Потом Машраб утверждал, что он держал письмо так нарочно. Но Кучкар в этом сильно сомневался. Кучкар говорил, что, когда Серафима Федоровна забирала у Машраба письмо,

у того был вид, будто он вместе с тутовой ягодой проглотил осу.

— Мама! Мамочка, что с тобой?! — закричала Лариса.

Серафима Федоровна сидела бледная и не спускала глаз с подшиси.

— Где ты взял это письмо? — снова спросила она, не обращая внимания на дочь.

Машраб принялся вновь рассказывать, как Акмаль получил письмо, поминутно приговаривая:

— Вы не расстраивайтесь, все будет хорошо! Вы не расстраивайтесь!..

На другой день вместе с караваном Серафима Федоровна поехала в город. Она отправила сразу две телеграммы, и на вопрос телеграфистки, почему она посылает две одинаковые телеграммы по одному адресу, ответила:

— Одна не дойдет, так другая дойдет.

Кроме телеграмм, Серафима Федоровна отправила три письма: одно в отдел кадров военного округа, второе — в горздравотдел и третье — мужу.

Она просидела на почте полдня. Ей уже неудобно было беспокоить телеграфистку вопросом, ушли ли телеграммы, и она просто не спускала глаз с окошка. Следила она и за почтовым ящиком, ожидая часа выемки писем. Машраб, заехавший на почту на обратном пути, едва уговорил ее вернуться в кишлак.

Весь кишлак только и жил этим событием. Серафима Федоровна, помолодевшая, принимала поздравления. Вместе с ней радовалась Мастура: молодая женщина поверила в чудеса, и легкая улыбка не сходила с ее губ в течение дня. После этого события все жили ожиданием вестей.

Серафима Федоровна давно замечала взаимную приязнь между дочерью и Кучкаром. Замечала, но не придавала этому никакого значения. Теперь ее все стало интересовать, как будто только теперь стала она возвращаться к жизни после тяжелой болезни. Когда из города приходил караван, она старалась быть в поле. Она видела, как мальчики торопились управиться с лошадьми и бежали к девчонкам, о чем-то шушукались. Ее успокаивало то, что они все время держались вместе. Но все же она поговорила с Гульсум-апа, делиясь с ней своей тревогой.

— У нас не может быть ничего плохого, — сказала Гульсум-апа, и Серафиме Федоровне даже показалось, что она немного обиделась. Обе женщины решили поговорить

с ребятами и очень быстро выяснили, что причина их таинственных переговоров — письмо, которое они послали в обком. Была еще одна причина их частых уединений. Родители не выпускали Гульчехру из дома под видом болезни. Но когда Муяссар и Лариса пошли проведать подругу, их не пустили в дом. Они слышали, уходя, плач Гульчехры и сердитый окрик ее матери.

— В твои годы я уже сама была мамой! — кричала она.

Машраб и Кучкар не могли смотреть на Акмаля. Было непонятно, за что его в свое время прозвали толстяком. Он похудел, почернел лицом, стал раздражителем, в ответ на шутки лез в драку. Как-то днем, когда ребята работали в поле, потому что в тот день не было собранного хлопка, Акмаля вызвал в правление секретарь кишлачного Совета. Чавандаза в эти дни в кишлаке не было, он уехал с Камиллом на горные пастбища. Секретарь сельсовета попросил показать письмо Эшмата и главного врача, после чего обещал приготовить справку. Из этого факта ребята сделали вывод, что письмо в обком начало действовать, и приободрились. Во время обеда к ребятам подошел Информбюро.

— Советую вам вечером быть на дороге у кладбища, — сказал он и хотел уйти, но Кучкар поймал его за ногу.

— Я думал, что вы порядочные люди, — сказал Информбюро.

— Тебе не повезло: мы не порядочные. Выкладывай, в чем дело, — ответил ему Кучкар.

...Перед вечером Серафима Федоровна собирала хлопок над оврагом. Мимо нее прошли Машраб, Кучкар и Акмаль. Все трое с ней поздоровались. Кучкар старался быть с ней особенно приветливым и еще издала, блестя зубами и заранее снимая тубетейку, кричал:

— Здравсьте!

Они спустились в овраг и вскоре снова появились. На этот раз с ними была Муяссар.

К Серафиме Федоровне подошла Гульсум-апа с горстью хлопка в руке.

— Пойдемте выпьем по пиалушке чая, вы, наверно, устали? — сказала она.

На хирмане, кроме учетчицы Кати Святковской, которая сидела под тутовником и что-то записывала, никого не было. Собранный хлопок еще не был набит в мешки.

— Где ребята? — спросила Гульсум-апа.

— Где же им быть? Опять побежали к девчонкам,— сказала Катя.— Не успеют вернуться из города, сразу к ним бегут. А сегодня весь день ходят за их юбками.

— На то они и парни,— сказала Серафима Федоровна.

Прихлебывая горячий чай с легкой горчинкой, которая, став привычной, начинала казаться сладостью, Серафима Федоровна сказала:

— Только сейчас их встретила. Прошли, как заговорщики!

— Наверно, что-то узнали о Гульчехре. Ходят слухи, будто ее родители собираются тайком отпраздновать свадьбу.

— Как же так? Ей, кажется, нет шестнадцати лет?

— Какое им до этого дело? У нас без свадьбы нельзя поцеловать девушку, а после свадьбы все можно... Тут день и почь гнешь спину. Все для фронта. Только и думаешь, как там, на фронте...— Гульсум-апа неожиданно умолкла.

С хлопкового поля вышла Барно. Она была в поношенном атласном платье, в красивых сапожках и в шелковом платке, небрежно брошенном на голову. Со стороны Барно казалась по-прежнему красивой, но Гульсум-апа видела — в ней надломилось что-то...

— Здравствуйте,— сказала Барно.

— Здравствуй, милая! Как дела? Почему не приходишь?

— Спасибо. Как-нибудь зайду...

Барно, не ожидая остальных женщин бригады, ушла в кишлак. Она явно спешила.

— Ее тоже сбили с пути,— сказала Гульсум-апа, побледнев.— Правильно делают ребята. Пусть пишут в обком, в ЦК! Пусть борются. Посмотрим, до каких пор может твориться такое...

Гульсум-апа вскочила и пошла к хирману. Серафима Федоровна села на ишака Махиры-буви и поехала домой, удрученная тем, что впервые не знала, чем помочь женщине, принявшей участие в ее судьбе.

Ночью Серафиму Федоровну разбудила суматоха в доме, испуганный голос Махиры-буви. Во дворе кто-то ходил, тяжело топая сапогами, калитка то открывалась, то закрывалась, кто-то пробежал с лампой во двор и обратно, кто-то плакал.

— Ой, дети мои милые! Что же вы наделали! — причитала Махира-буви.



Серафима Федоровна испуганно коснулась рукой постели Ларисы — постель была пуста. На лбу Серафимы Федоровны выступил холодный пот. Она натянула на себя платье и выбежала во двор.

Ярко светила луна. На широченной деревянной кровати со спинками-перилами посредине двора сидели Машраб и Кучкар. Поодаль маячил Акмаль. Махира-буви с семимильной мигающей лампой в руке что-то говорила Машрабу.

— Что случилось, бабушка?! — спросила Серафима Федоровна.

— Ой, милая доченька Серафима, — Махира-буви тронула Серафиму Федоровну за плечо. — Они... наши дети, дочь Фазлетдина-аксакала Гульчехру похитили...

Машраб только рукой махнул:

— Что значит похитили? Просто другого места нет — привели сюда! — закричал он, видимо не в первый раз что-то объясняя перепуганной старухе.

Рука Махиры-буви, в которой она держала лампу, ходила ходуном. Старуха, обычно очень сообразительная, совершенно потерялась от испуга.

— Что же теперь будете делать с похищенной? Сыграете свадьбу? Кто же из вас жених? — спрашивала Серафима Федоровна, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

Услышав слово «жених», Акмаль решительно двинулся со двора, но Кучкар сорвался с кровати и, хохоча, побежал за ним.

— А что было делать? — запальчиво спросил Машраб. — Надо было молча смотреть, как Ядгарбек и Кур-Шермат увозят девушку?

— Почему же ваша девушка тогда плачет? Почему она не радуется, что вы ее спасли? — закричала Махира-буви.

Сквозь открытое, ярко освещенное окно большой комнаты слышался плач.

— Вот что, войдемте в дом и обо всем спокойно поговорим, — сказала Серафима Федоровна.

Собственно, говорить и рассказывать особенно было нечего. Ребята, ободренные удачами последних дней, решили действовать еще активней.

Они подолгу лежали на плотине, прислушиваясь к шелесту тополей, квакацию лягушек, шуму воды, вынашивая планы расправы с Эртаевым и его приближенны-

ми. Было очень приятно засыпать на мягком клевере, видя осуществленными самые дерзкие замыслы.

После сообщения Информбюро они решили действовать без промедления.

Ребята притаились в овраге, недалеко от раздвоенного орешника, памятного с той ночи, когда ходили за хандаляками. Ночь выдалась прохладной, а может быть, их просто пробирала нервная дрожь. Кутаясь в халаты и прижимаясь друг к другу, они старались не стучать зубами. Машраб, согреваясь, стал засыпать, и тут же Кучкар толкнул его в бок. Машраб вскочил, ничего не понимая, услышал топот копыт и увидел силуэты двух всадников. Они проехали мимо орешника и повернули к плотине.

— Кур-Шермат и Ядгарбек, — сказал Кучкар. — Теперь не зевать.

Всадники доехали до деревянного моста, повернули вправо и остановились на берегу плотины.

— Приехали за Гульчехрой, — пояснил Кучкар. — Побоялись подойти с улицы. Уже хорошо. Значит, не очень уверены. Стой! — Кучкар едва успел перехватить рванувшегося Акмаля. — Не спеши. Все дело испортишь, — зло шептал он, задыхаясь от усилий. — Пошли!

Они перелезли через дувал, прошли садом и вышли почти к самому дому Гульчехры у плотины. Остановились в тени деревянного моста и стали смотреть. Ядгарбек, держа в поводу лошадей, стоял под знакомым белым тополем, а Кур-Шермат по стволу краснотала перешел арык и скрылся в саду.

Через некоторое время из сада вышли две женщины и Кур-Шермат. Они перебрались через арык. Кур-Шермат поднял очень маленькую, закутанную в паранджу женщину (ребята по росту догадались, что это Гульчехра) и посадил ее на лошадь за спину Ядгарбека. Послышался плач, приглушенный паранджой, слова второй женщины:

— Счастливого пути! Не забудьте обещанное...

Всадники, торопливо подгоняя коней, проехали мимо ребят и повернули в сторону кладбища. Машраб чуть не упал, отброшенный в сторону: Акмаль, неуклюже покачиваясь, рванул мимо него и побежал наперерез лошади Ядгарбека.

— Стой, басмач! — заорал он.

Машраб подумал, что начнется драка, но все обошлось неожиданно мирно. Кучкар рывком за ногу стащил Кур-Шермата с лошади. Тот попробовал встать, но Кучкар продолжал держать его ногу, и Кур-Шермат, беспомощно попрыгав, упал. Ядгарбек вообще не сопротивлялся, когда Машраб снял Гульчехру. Он только выругался, хлестнул коня и ускакал.

Гульчехра сначала закричала, но, когда узнала ребят, принялась плакать. С тех пор никак не может успокоиться, плачет и плачет, уткнувшись лицом в подушку, в углу гостиной...

Машраб, поглядывая то на бабушку, то на Серафиму Федоровну, спросил:

— Что нам было делать? Оставить ее тем разбойникам?

Серафима Федоровна сказала:

— Об этом давайте спросим Гульчехру.

Все засмеялись. А Гульчехра глубже зарылась головой в подушку и умолкла. Все было серьезнее, чем они думали. Для Гульчехры давно не были тайной намерения Ядгарбека. Одно время она старалась не принимать его ухаживания, но потом не удержалась, стала принимать его подарки — куски душистого мыла, золотые сережки... Гульчехра с детства любила всякие побрякушки и украшения. Когда он, беспечно насвистывая, стал приходить в их вишневую рощу у дувала, Гульчехра выбегала к нему, чувствуя, как сильно колотится сердце. Дальше все сладилось без ее ведома. Вечером какие-то женщины принесли сундук всякой одежды, завалили Гульчехру атласными платьями, шелковыми платками, заставили надеть лакированные пчиги с кавушами. У нее голова пошла кругом, а в сердце пробудилась какая-то смутная тревога, и она расплакалась. На нее накричала мать. Мать ее и раньше говорила, чтобы она не прозевала своего счастья. А потом вмешался отец. Отец сказал, что женская непокорность никогда не доводила до добра. К тому времени, когда пришел Кур-Шермат, Гульчехра уже готова была согласиться на все и ее удерживал только страх перед неизвестным и то, что подумают о ней Муясар и школьные подруги.

Теперь она лежала, уткнувшись носом в подушки, не зная, что ей делать: радоваться или сожалеть о случившемся.

Кучкара обозлило ее молчание.

— Послушай, Гульчехра,— сказал он.— Если ты недовольна, скажи: сейчас же можем отвезти тебя к Ядгарбеку.

Лариса подумала, что он шутит, сказала:

— Смотри, Гульчехра! А то они возьмут и правда отвезут. Они такпе.

Гульчехра засмеялась, и все вздохнули с облегчением, а бабушка на радостях решила всех напоить чаем.

На рассвете ребята, как обычно, повезли в город хлопок, а когда вернулись вечером, узнали, что вскоре после их отъезда в доме Махиры-буви произошла большая неприятность. К ней с воплями и криком пришли мать, отец, родичи Гульчехры. Вместе с ними был секретарь и два депутата кишлачного Совета. Секретарь принялся составлять акт о похищении девушки и очень напугал Махиру-буви, обвинив ее в соучастии. Правда, когда депутаты узнали, в чем дело, они отказались подписывать акт. Но акт все равно был составлен и подписан родителями Гульчехры.

Все это прошло как-то мимо внимания Серафимы Федоровны, которая жила как во сне, ожидая письма или телеграммы от мужа. Только через два дня, когда к матери пришла Гульсум-апа и, дрожа от возмущения, рассказала, что в кишлак приехал следователь, чтобы начать дело по обвинению ребят в похищении несовершеннолетней девочки, Серафима Федоровна пришла в себя. Она решила, как человек совершенно посторонний, написать письмо в обком, предупредив, что, если понадобится, обратится в ЦК. Как могла, она успокоила Гульсум-апа:

— Вы же умная женщина,— сказала она.— Из этого обвинения ничего не получится. Они сами себя высекут. Просто товарищи распоясались и забыли, что у нас советская власть.

Слова эти, сказанные сочувственно, с возмущением, успокоили Гульсум-апа и придали ей уверенности.

Чавандаз и Камил ездили по горным частбицам, отбирая на продажу двадцать скакупов. На вырученные деньги колхозники решили построить танк имени колхоза «Путь Ленина». Вся слава от этого дела должна была прийти на долю Кампла и Инобатхон. Со стороны казалось, что Чавандаз поехал с Камплом совершенно бескорыстно — просто как знаток коней. На самом же деле у председателя кишлачного Совета был свой расчет. Он

уехал, чтобы свадьба сына состоялась в его отсутствие. С молодых взятки гладки, а после свадьбы никому не придет в голову их разводить. Была еще одна причина, побудившая Чавандаза уехать на время из дома. Фатима, после того как Кучкар перестал приходить домой, беспрерывно плакала, и ее слезы доводили Чавандаза до бешенства.

Чавандаз вернулся в кишлак отдохнувшим и повеселевшим. Оказалось, что Фатима плакала по-прежнему, а Ядгарбек, вместо того чтобы жить с молодой женой в горах у родственников, сидел дома. Чавандаз рассвирепел, особенно когда в Совете секретарь положил ему на подпись справку о действительном возрасте незаконно мобилизованного на трудовой фронт Эшмата. Чтобы оправдать свои действия, секретарь показал полученное из области письмо Машраба с резолюцией: разобраться и доложить первому секретарю обкома о принятых мерах. Чавандаз принялся ругаться, но секретарь его успокоил:

— Благодарите аллаха, что письмо вернули для проверки к нам.

...Чавандаз лежал дома, в ярко освещенной двадцатилинейной лампой гостиной, подложив под грудь подушку. Днем он позвонил Эртаеву и прочел ему по телефону то место, где Машраб писал, что Эртаев покрывает жуликов и развратничает с невестами и женами фронтовиков. Эртаев выслушал, выругался, потом, немного подумав, сказал:

— Вечером приеду. Ждите дома, — и повесил трубку.

На хан-тахте, на расстоянии руки, перед Чавандазом стояли блюда с очищенным орехом, кишмишом, сладостями. В синеватом кувшине, окруженном пиалами, просвечивал душистый мусаллас. Чавандаз, прищурясь, смотрел в черное стекло окна, в котором отражался свет лампы, прислушиваясь к тревожному гулу раскачиваемых ветром деревьев в саду. Ничего не поделаешь, кончилось лето, проходила осень, приближалась зима.

Кто-то, тяжело ступая, прошел через террасу. Чавандаз быстро вскочил. В комнату вошел Ядгарбек — он должен был встречать у ворот Эртаева.

— Чай подавать, отец? — спросил он.

— Чай? — переспросил Чавандаз. Его угнетал вид сына, выглядевшего, как побитая собачонка. — Объясни мне, сынок, ты почему раскис, точно ты не сын Чавандаза, а мокрая курица?

Ядгарбек молчал, не находя места своим длинным, нескладным рукам.

— Выше голову, сынок! Не надо умирать, раз ты еще жив. Гульчехра будет твоя, слышишь?

Ядгарбек улыбнулся, блеснув золотым зубом.

— Мне передавали люди: девушка не против. Жалеет, что так получилось... — сказал он.

— Хоп! Совсем хорошо. Возвращайся к воротам, нехорошо, если дорогого гостя никто не встретит.

Чавандаз проводил глазами сына, задумался. Устроить Ядгарбека на железную дорогу и тем самым обеспечить ему бронь пока не удалось. Наверно, придется парню идти на фронт. А до этого пусть станет мужчиной и, если не удастся спасти сына, пусть оставит внука... Больше нет никого. Кучкар не в счет. Не зря говорят: если у ишака вырастут рога, он обязательно боднет ими хозяина.

А вот это Эртаев... Чавандаз услышал на террасе шаги. Эртаев быстро вошел в комнату, в синем кителе, в слегка поскрипывающих хромовых сапогах. Он за руку поздоровался с Чавандазом и, не успев присесть на курпачу, сказал:

— Где жалоба, о которой вы говорили? Давайте сюда!

Его движения, каждое слово были полны такой решительности, что Чавандаз сразу приободрился.

Эртаев снял фуражку, бросил ее на подушку и, пробегая глазами поданное письмо, спросил:

— Выдали справку Эшмату-ака?

— Нет! Как можно выдавать? Это значит признать...

Эртаев неприязненно посмотрел на Чавандаза.

— Вы, оказывается, дурак, Халмат-ака... Простите мои слова. Выдать справку — значит исправить какую-то случайную ошибку. А не выдать справку — значит признать, что вы действовали с умыслом. Эшмат-экспедитор все равно уже на фронте — ему ничем не поможешь... А это что? Акт? — Эртаев не дочитал акта до конца, спросил: — Неужели девушки перевелись? Неужели, кроме этой, нет больше никого? Может, они из-за нее начнут стреляться?

— Молодость, Эртаев-ака! Единственный сын, влюбился... Долг отца — помогать.

— Вам виднее. Но одно запомните: больше ни одной жалобы из кишлака не должно быть!

— Эртаев-ака, сколько людей — столько недовольных. Самп знаете.

— Я ничего не хочу знать. Во всяком случае, сейчас, в эти дни. На днях меня вызовут в обком. В обкоме недовольны председателем райисполкома...

— Поздравляю! Поздравляю, Эртаев-ака! Наконец-то вас по-настоящему оценили. За такую вестъ надо выпить...

— Не будем преждевременно поднимать шум! Лучше молча выпьем. Ваш мусаллас стоит того, чтобы его пили безо всякого повода, просто чтобы выпить...

Эртаев шл маленькими глотками. Чавандаз понял, что мысли его сейчас далеко, что сейчас главное молчать, чтобы не мешать влиятельному гостю думать.

Эртаев выпил третью пшалу, но был совершенно трезв, только глаза его вдохновенно блестели.

— Теперь нельзя быть сердобольным, Чавандаз,— сказал он.— Теперь нужны руководители с железной волей. Тот, кто сумеет выжать из людей больше пота,— тот будет на коне. Запомните три вещи, Чавандаз: зерно, мясо, хлопок... Если мы сумеем дать их больше других, мы можем жить так, как хотим... Но пока ни одной жалобы! Поняли?

— Очень хорошо понял, Эртаев-ака. Но вы невнимательно прочли акт. Я думаю, что если умело повернуть дело, то можно эту лихую тройцу прибрать к рукам. Во всяком случае, какая будет вера тем, кто в наши дни похищает девушек?

— Хоп! Мысль неплохая, раис-ака. Кажется, один из этой тройцы — ваш пасынок?

— Что делать, Эртаев-ака? Вы сами сказали: руководитель должен быть твердым.

Так за мусалласом появился план, который привел в кишлак следователя.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Произошло такое, что хуже, пожалуй, и быть не может: Машраба, Кучкара и Акмаля арестовали. Посадили их, правда, не в настоящую тюрьму, а в амбар при кишлачном Совете, в котором Машраб уже побывал, но все равно арест есть арест! А между тем ни Машраб, ни Кучкар не считали свое положение серьезным. Все дело было в следователе. Обычно при словах «следователь», «прокурор» перед Машрабом вставал сильный, решительный человек с суровым лицом и орлиными глазами. А про этого

следователя даже думать не хотелось, такой же карапуз, как Эшмат-экспедитор, смотрит заплывшими глазками и все время хихикает, а брови, как усы,— торчат в обе стороны, словно приклеенные. Такое лицо нарочно не придумаешь!

Прежде чем посадить их в амбар, следователь придвинул им по листу бумаги, на котором было написано: «Протокол допроса свидетеля».

— Эта бумажка называется: «Если я скажу неправду, пусть покажут мне, где раки зимуют». Прошу для истории поставить здесь свои подписи! — сказал он, хихикая. Потом, разгладив брови так, как разглаживают усы, добавил: — Жаль, жаль! Если жениться захотели, лучше сказали бы мне, чем похищать девушек. Я нашел бы вам такую, которую и мама не целовала!

— И правда, обидно,— сказал Кучкар.— А может, еще не поздно? А то ведь мы раньше вас не знали.

— Зато теперь будете знать,— ответил следователь и снова захихикал.

В таком тоне продолжался весь первый допрос, который по сути дела и допросом трудно было назвать: следователь то подшучивал, вспомнив про хандаляшки, то говорил: «Жаль, жаль, не пришли к соглашению с девушкой...»

— Разве это допрос? — сказал Кучкар, когда их привели в амбар.— Верблюда видал?.. Нет!.. Кобылу видал?.. Нет!.. Смех один...

Но ничего смешного в их положении не было. Во-первых, ни одна живая душа не видела, как Ядгарбек и Кур-Шермат увозили Гульчехру, и следователь только хихикал, когда ребята говорили ему о Ядгарбеке. Во-вторых, было неизвестно, как поведет себя Гульчехра, но если бы даже она и сказала всю правду, то следователя эта правда все равно бы не устроила: следователь обвинял ребят не только в похищении, но и в возвращении несовершеннолетней девочки.

Парни попробовали перейти в паступление.

— Вы ничего не слышали про Эшмата-экспедитора? — спросил Машраб.— А про другого Эшмата, которого вместо экспедитора отправили в армию?

— Эшматов пока оставим и поговорим об Акмале,— отрезал следователь.— И вообще не советую вам заниматься кляузами.— Он вдруг рассердился и, размахивая короткой ручкой, стал говорить о том, что не допустит



такого безобразия, что они будут отвечать по всей строгости советского закона. Но это было уже на третьем допросе.

«Блюститель законности нашелся! — думал Машраб. — Белое называет черным, черное — белым, а говорит о законности».

— Как ты думаешь, почему он сказал, что не советует нам заниматься кляузами? Может, он знает про наше письмо в обком? — спросил Машраб Кучкара.

— Э, Дивана, я тоже об этом думал. Кто знает, может, наше письмо перехватил Эртаев!

Акмаль, который все время молчал, забившись в дальний угол, упал лицом на клевер и застонал, обхватив голову руками.

— Нет погнбелли на мою голову! Надо умереть. Нельзя жить без удачи... — причитал он.

Машраб хотел подойти к нему, но Кучкар не пустил.

— Утешать мужчину — все равно что лить масло в огонь, — сказал он.

Из них троих только Акмаль серьезно отнесся к их аресту.

Сначала он казнился из-за того, что по его вине ребята сидят в амбаре. Но когда Кучкар сказал, что, если Акмаль не замолчит, он ему голову оторвет, Акмаль начал причитать: мол, пока он сидит здесь, братишки и сестры умрут с голоду... Самой же главной причиной удрученности Акмаля было вероломство Гульчехры. Об этом он, конечно, молчал, но вероломство девушки не давало ему покоя.

То ли раздался стук в окно, то ли сначала послышался жалобный шепот женщины — Машраб не помнил. Явственно во второй раз услышал он сказанные шепотом слова:

— Сынок!.. Сыночек мой дорогой!..

«Мама или бабушка», — подумал Машраб и сорвал бумагу, которой было заклеено окно. Пристально глядя в темноту, он позвал:

— Мама!.. Бабушка!..

Он различил голову и плечи женщины, укутанные платком.

— Сынок мой, Кучкарджан! — сказала она.

— Тетушка Фатима! — громко сказал Машраб и толкнул ногой Кучкара.

— Мать?

Кучкар пробрался к окну. Он не ожидал, вернее, не желал прихода матери, поэтому ему стало не по себе.

— Мама,— сказал он,— зачем вы пришли ночью?

Женщина не ответила. Она прижалась головой к железной решетке и тихо заплакала.

Она что-то шептала, но всхлипывания мешали понять, о чем она говорит. Кажется, Фатима просто изливала душу, прося у сына прощения, сетуя на свою судьбу.

— Мама,— сказал Кучкар, и по его голосу Машраб понял, что он тоже расстроен,— ничего не случилось, отпустят завтра-послезавтра!

— Ой, ненаглядный ты мой! — зарыдала тетушка Фатима.— Лучше бы мне умереть, чем выйти за этого Чавандаза. Жеребеночек ты мой, почему я не умерла в тот день и час, когда вышла за Чавандаза!..

— Хватит, мама, иначе...— Что «иначе» — Кучкар сам не знал. Но его резко сказанные слова подействовали: тетушка Фатима перестала плакать и протянула в окно сверток.

— На, сынок, лепешки. А это немного плова. Вчера готовила для гостей по заказу отчима... Сама есть не могла...

— Спасибо, мама, а теперь идите. На днях отпустят...

— Если отпустят, домой придешь?

— Приду, мама, приду. Идите... идите!..

Кучкар отошел от окна, сказал:

— Живем, слюнтяи. Первым делом покушаем, а там видно будет!

Что значит каса плова на трех парней? Так, баловство. Каждый зачерпнул рукой по три-четыре раза — и нет ничего. Закусывали лепешками и кишмишом.

Кучкар погладил живот, сказал:

— Каждый день бы так — через неделю будем не хуже следователя.

— Конечно,— сказал Машраб.— Тебя для того сюда и посадили, чтобы откормить.

— К сожалению, меня откормить, наверно, не удастся, а вот Акмаль наверняка похудеет.

— Отстань от него. Он уже и так похудел.

Поговорили и задремали. На рассвете у дверей поднялся шум. Сердитый голос приказывал:

— Ну-ка! Открой дверь, аксакал!

— Не обижайся, парторг-ака, без разрешения следователя не могу.

— Я буду отвечать перед следователем!

— Камил-ака! — крикнул Машраб и стал будить Кучкара и Акмаля.

Все трое закерли, приложив уши к дверям.

На требования Камила открыть двери сторож отвечал одно:

— Никак не могу! — Потом, очевидно не желая портить отношения с парторгом, сказал: — Если хотите дать им передачу или поговорить — пожалуйста, парторг-ака, а открыть дверь никак не могу.

— Э, аксакал, тебе бы милиционером работать, а не сторожем в колхозе, — устало сказал Камил и, стуча сапогами, обошел амбар. Он загородил головой свет в окне, взгляделся внутрь амбара, спросил: — Как дела, джигиты? Чего это вы сюда забрались?

Его веснушчатое, скуластое лицо дочерна загорело, а может быть, так только казалось в полумраке, не узбекские синие глаза смотрели на ребят пытливо и грустно.

— Как чего? Надо же когда-нибудь отдохнуть, — сказал Кучкар.

— Неплохо придумали, — засмеялся Камил. — А я было расстроился. Приехал ночью с гор — слышу, такие дела. Насколько я понимаю, кто-то делает из мухи слона. А мы из слона снова сделаем муху. Держитесь! Поняли?!

Этот день стал вроде бы днем посещений. Не успел уйти Камил, как пришла Махира-буви. Обливаясь слезами, она передала узелок с едой и даже не захотела или не могла разговаривать. Едва отошла она от окна, как появилась мать Акмаля — тетушка Салия. Она ничего не принесла.

— Что же ты наделал, сынок? Хотя бы уже приехал твой отец! Что же с нами будет? — причитала она, прильнув к окошку.

Втроем ее еле успокоили. После ее ухода время потянулось медленно. То и дело подходили к окошечку — не идет ли Камил?

Камил не пришел ни в этот, ни на другой день. Следователь тоже не вызывал на допрос, и ребята терялись в догадках: что же такое происходит? А происходило следующее...

В день ареста ребят Инобат в кишлаке не было — она с бригадирами-полеводами была в степи: выбирали поля под озимую пшеницу. Стояли золотые дни ранней осени, мягкие, как шелк. Кончали уборку хлопка. Хотя колхоз и не вышел на первое место, но прочно стоял в числе передовых. После того как в республиканской газете напечатали заметку о том, что колхоз решил внести в фонд Красной Армии пятьсот тысяч рублей и заказать танк, названный по имени колхоза, — слава Инобат в районе и области утвердилась. Но на душе у нее все равно было грустно и беспокойно. Пора было начинать сеять озимые, а семян не хватало. Казахские колхозы, за которые сдали хлеб, не везли долг, и никто не знал, что делать.

Инобат возвращалась в кишлак верхом на лошади, окруженная, как военачальник, своими бригадирами. Она думала, что, если колхозы сами не везут долг, придется, видно, послать к ним караван и получить долг на месте, а пока вести пахоту и посеять те семена, которые есть в закромах. По дороге в кишлак встретили арбакешей, которые везли в город хлопок, и от них Инобат узнала об аресте парней. Это переполнило чашу ее терпения. Она рассчитывала послать их с караваном ишаков в казахские степи.

Инобат оставила ехавших на ишаках бригадиров и поскокала вперед. Она влетела в кишлак на вспененном пноходце, и когда ее увидели на хирмане девушки и женщины, набивавшие мешки хлопком, они обступили тяжело дышащую лошадь и, подливая масла в огонь, запричитали:

— Тут невинных парней арестовывают, а вы где-то пропадаете!

— Что же это такое, ранс-апа? Делают в кишлаке, что хотят!..

Инобат с хирмана примчалась в правление и увидела следователя на широкой деревянной кровати под тутовником. Обливаясь потом, следователь пил чай.

— Где вы пропадали, ападжан? Мы к вам, а вас нет, — приветливо спросил он.

Инобат, сдерживая гнев, осторожно присела на край кровати.

— Вы говорите так, словно по доброму делу приехали, — сказала она.

— Ничего не поделаешь, ападжан, такая у нас работа неприятная.

Инобат решила, что нечего играть с ним в прятки.

— Это дело вы всерьез затеяли? — спросила она.

— То есть?

— Без всяких то есть... Вы решили по-настоящему арестовать ребят или только припугнуть?

— Странные вещи говорите, ападжан, — сказал следователь.

— А мне странно, что вы, взрослый человек, можете серьезно заподозрить трех лучших ребят в похищении девушки.

— Я приехал, чтобы установить истину. — Улыбка исчезла с круглого, добродушного лица следователя. Брови, похожие на усы, сошлись над переносицей.

Инобат уже стояла, похлестывая камчой по голенищу сапога.

— Боюсь, что не ту истину ищите, мулла-ака.

Инобат не стала ждать возражений. Она поехала на квартиру к Камилу, но узнала, что он еще не возвращался с гор. Тогда она поскакала в город, забыв, что ночью в райкоме никого не бывает. Переночевав у сестры, утром она пришла в райком.

Умаров куда-то собирался. Стоя в зимней шапке-ушанке и в шинели без погон, он что-то складывал в толстую папку. Секретарь, всегда сдержанный, почти суровый, сегодня не скупился на теплые слова:

— О, Инобатхон! С тех пор как написали о вас в газете, вы совсем нас забыли...

Инобат покраснела, как девушка от похвалы учителя.

— Все время о вас помню, Умаров-ака... Потому и приехала.

— Что случилось? Все ли благополучно? — Умаров снял шапку и пригладил рукой седые волосы, готовясь выслушать Инобат.

— Если бы все было благополучно, зачем бы мне лететь к вам спозаранку, Умаров-ака? В то время, когда у нас каждый человек на вес золота, взяли да арестовали без всякой вины трех лучших работников колхоза.

— Говорите, без вины? А мне докладывали, что они похитили девушку!

— Кто похитил? Они или взбесившийся с жиру сын Чавандаза?

Инобат встала, но тут же снова села. Она видела, что ее слова, вернее, не столько слова, сколько горячность, поколебали, но не убедили секретаря райкома. Тогда она решила пойти напролом.

— Помните, летом нас заставили сдать семенной фонд, обещали, что семена привезут из казахских степей?

Умаров смущенно кашлянул, сказал:

— Да, помню...

— Так вот, зерно нам не привезли и не привезут... Для того, чтобы посеять озимые, надо самим ехать за зерном. Мне позарез нужны эти ребята, колхоз не может обойтись сейчас без них...

Инобат остановилась, не в силах совладать с собой. Умаров медленно прошелся по кабинету, возвратился к столу, взял трубку телефона и попросил прокурора, потом Эртаева, ни того, ни другого на месте не было.

— Хоп, Инобатхон! Я поручу это дело прокурору и Эртаеву. Вопрос решится в ближайшие день-два...

— Только не Эртаеву,— быстро сказала Инобат.

Секретарь посмотрел на нее, помолчал.

— Скажу вам под большим секретом: Эртаева рекомендуют председателем райисполкома. Что вы против него имеете? — спросил он.

Инобат смотрела на усталое лицо секретаря с болезненными мешками под глазами и подумала, что секретарь сейчас видит сильного, молодого, энергичного Эртаева, на которого можно опереться, возложить на него значительную часть работы. А все, что могла сказать Умарову Инобат, вряд ли покажется ему убедительным.

— Все мы люди, Инобатхон! У всех у нас есть недостатки,— как-то устало и грустно сказал секретарь.

Инобат вернулась в кпшлак и остаток дня просидела дома. В полдень зашли Гульсум-апа и Серафима Федоровна. Серафима Федоровна вернулась из областного центра. Она разговаривала с помощником секретаря обкома, и тот обещал проконтролировать дело.

— Я не могу себе представить что-либо подобное у нас, в Ленинграде,— возмущенно говорила она.— Я так и сказала в обкоме, что, если кому-нибудь рассказать об этом,— не поверят!

Гульсум-апа казалась печальной, молчаливой, бесконечно усталой. После их ухода Инобат прилегла, чувствуя ломоту во всем теле.

Инобат проснулась от конского топота. Во двор въехал обросший бородой Камил.

— Заходите, Камилджан, заходите. Вы даже не знаете, как вовремя приехали,— сказала в окно Инобат.

Поначалу Камил горячился и хотел поехать прямо в обком, но потом, поговорив с Инобат, решил, что правильное будет ехать к Умарову, как бы самому от себя, и тоже требовать немедленного освобождения ребят.

Камил жалел сейчас, что летом согласился замять дело с колосками. Камил решил, что даст бой Эртаеву, и с этим настроением приехал тогда в райком. Но за четверть часа до начала бюро Умаров вызвал Камилу и сказал, что вопрос о колосках будет рассматриваться несколько в иной форме, что Камилу не будет предъявлено никаких обвинений.

— А когда будут предъявлены? — спросил, не поняв, Камил.

Секретарь райкома мягко улыбнулся и, положив руку на плечо Камилу, сказал:

— Никогда... Вообще не будем об этом вспоминать. Конь о четырех ногах и тот спотыкается!..

— Значит, прав Эртаев? — спросил Камил.

Если бы секретарь сказал «да», Камил бы настоял, чтобы бюро обсуждало его персональное дело. Но Умаров ответил уклончиво:

— Я не сказал, что он прав... Не будем открывать здесь второй фронт. Идею с колосками можно повернуть на пользу государству — это же дополнительно сотни пудов зерна!

«Если бы я не смалодушничал тогда, возможно, сейчас не было бы нужды ехать в город», — думал Камил.

Он выехал на буланом иноходце Инобат. На холме Караул-тепа ему вспомнился теплый, звездный вечер, когда он усталый вернулся из города, а потом поехал в кишлак и здесь, не доезжая до вершины, встретил подростков, которые с ребяческой неуклюжестью выразили ему свою любовь и сочувствие. Камил, сам того не замечая, ударил камчой иноходца.

На фронте Камилу и в голову не приходило, что в тылу могут совершаться такие беззакония, как арест ни в чем не повинных ребят. Камилу казалось, что и на фронте и в тылу, стар и млад, мужчины и женщины живут одной мыслью — победить врага. Камил то мысленно доказывал преступность Эртаева всему бюро райкома, то ругал про себя Умарова, который замял назревавший летом скандал. Ветер обвевал разгоряченное скачкой лицо, ныла потревоженная толчками раненая рука.

Когда взмыленный конь влетел на пригородную ули-

цу, окутанную желтоватой осенней дымкой, кругом уже ложились вечерние тени. В здании райкома было безлюдно и тихо. Камил прошел по пустынным коридорам и вышел на крыльцо. Девушка-секретарша, сидевшая под тополями (когда Камил приехал, ее здесь не было), сказала, что все секретари уехали в область, а инструкторы еще не пришли с обеда.

— Можете денек-другой спокойно отдохнуть, Камилджан, — улыбувшись, сказала она.

Ну что же, сама собой отпала одна инстанция, и можно было ехать прямо в обком. Камил отвязал коня и, ведя его в поводу, пошел по улице. Из-за угла выехал фазтон Эртаева. Эртаев, как всегда, сам правил лошадьё с заднего сиденья. Он увидел Камила, остановился, даже вышел из фазтона, выбирая, куда бы ступить начищенным до блеска сапогом.

— Что невеселый, Камилджан? — спросил Эртаев, протягивая руку.

Камил машинально пожал ее и тут же выругал себя за малодушие.

— Веселого мало, если рядом с тобой подлецы ходят по земле, — сказал он.

— Ай, нехорошо! Подлецов надо разоблачать, — сказал Эртаев.

— Попробую. Жаль, секретарей нет...

— Да, с утра уехали в область... Если что срочное, скажите мне. Я завтра тоже еду в обком.

— Нет, Эртаев-ака. Вам я ничего не могу сказать. Вы как раз тот подлец, которого я решил разоблачить.

— Интересно, — сказал Эртаев. — Чем же я вызвал ваше неудовольствие, Камилджан? — Эртаев явно издевался.

Камил понимал, что лучше промолчать, не дать Эртаеву втянуть себя в спор, но молчать он не мог.

— Хотя бы тем, что покрываете воров, угодных вам, и арестовываете ни в чем не повинных ребят...

— При чем тут я, Камилджан? Их арестовали соответствующие органы. Или вы не доверяете нашим следственным органам?!

— Их арестовали не органы, а следовательно, по вашему настоянию.

— Но это надо доказать, Камилджан!.. Короче, где ваши факты? Что вы можете конкретно предъявить мне в качестве обвинения?!



— Я... я с вами рядом по земле не могу ходить!..

— Я не возражаю, Камилджан! Ходите по небу. А мне и на нашей советской земле хорошо. Но берегитесь переходить мне дорогу. Растопчу и не посмотрю, что вы фронтовик. — Эртаев уже сидел в фэатоне. Он подобрал вожжи, хлестнул коня.

Камил зажмурился от пыли. Здоровая рука его растегиwała и снова застегивала пуговицы гимнастерки на груди, точно Камилу не хватало воздуха. Никогда он не чувствовал себя таким беспомощным. «Но почему? Зачем мне какие-то особые доказательства? Я просто передам весь наш разговор. Кто посмеет мне не поверить? Разве я кого-нибудь когда-нибудь обманул?» — подумал он и решил немедленно ехать в область. Вдохнув полной грудью свежий вечерний воздух, Камил протянул руку к седлу. В это время кто-то тронул его за плечо. Камил оглянулся. Рядом с ним топтался, скрипя протезом, военный комиссар Абубакиров. Узкие глаза его еще больше сузились от улыбки, на широком лице остро выступали скулы.

— Я тебе все утро звоню, Джалалов, а ты, оказывается, здесь. Послезавтра в ваш кишлак приезжает призывная комиссия. Надо подготовить призывников. Сделаешь?

— Надо сделать. Только я сегодня собрался в область. Не знаю, как управлюсь.

— Что за срочные дела в области? Может, мы их здесь решим?

— Да вот какое дело, товарищ капитан! Обижают у нас семьи фронтовиков...

— Как же это так? Это же как раз по моей части. А ну, пойдем, расскажешь!

Рывками переставляя протез, военком пошел через дорогу к военкомату.

Еще один человек остро чувствовал в эти дни свою беспомощность — Муяссар. Как и Машраб, она жила книжными идеалами, с наивной восторженностью мечтала быть похожей на любимых героев, как и они, совершать большие дела, быть верной в любви, дружбе, бороться с несправедливостью. И вот когда такая несправедливость была совершена на ее глазах, она не знала, что делать. Как комсорг школы, она готова была ехать в райком комсомола, добиваться освобождения Машраба. Но

она видела, что взрослые, уважаемые ею люди стараются из всех сил помочь ребятам, но почему-то не могут. И Муяссар боялась что-нибудь предпринять, чтобы не ухудшить положение Машраба и его друзей. Все дни, пока Машраб сидел под арестом, она не могла пить, есть, спать... Только работа немного отвлекала ее, но уборка хлопка подходила к концу, в третий раз прочесывали поле, добывая остатки коробочек.

С тяжелым чувством в душе шла Муяссар на рассвете в поле. Постояла над арыком за дувалом сада. Сейчас в арыке не было воды, дно его устилало желто-зеленые листья. А она видела другое: серебристые ветви джиды, склоненные к воде, плывущие по воде яблоки с вырезанными на них буквами. Яблоки кружили в заводях, застревали в ветвях, а она и Машраб ловили их и яблоки с инициалами парней, которые были им не по душе, съедали, поглядывая друг на друга, и хохотали. А яблоки плыли и плыли по арыку...

В поле Муяссар шла в междурядье, обирая с кустов хлопчатника остатки белых волокон, а мысли ее были совсем не здесь и, конечно, снова с Машрабом... На дворе воеет буря, дико гудят на ветру деревья, на оконном стекле тают снежинки, будто слезы текут... А они сидят за теплым сандалом — низеньким столиком, под которым в яме тлеют угли. Ноги их под сандалом соприкасаются будто невзначай и тотчас отстраняются. Полутемная комната, освещенная чадающей лампой, кажется им роскошной и веселой. Машраб читает «Как закалялась сталь», и они вместе с Павкой борются за советскую власть и все, что происходит с Павкой, переживают так, будто это происходит с ними...

Все это было тогда, а сейчас идет война, Машраб арестован и заперт в амбаре, стоит осень, и приближается зима.

Муяссар шла в междурядье, и слезы падали на ее мокрые руки.

Барно сбоку поглядывала на девушку. Обычно Барно выходила в поле после обеда, вместе с работниками сельпо, но сегодня ей не спалось, и она, прежде чем идти в правление, вышла в поле. Нет, Эртаев не охладел к ней, не бросил ее, как надоевшую любовницу. Наоборот, он все чаще говорит о том, что близок день, когда он сможет развестись с женой... А пока он снял в городе комнату, и они часто встречаются там. Но в его обращении с ней

появилась какая-то успокоенность. Успокоенность хозяйна. Как это не похоже было на нежную деликатность Ашрафджана, который с благодарностью принимал каждую ее ласку. Барно с ужасом думала, как посмотрит ему в глаза, если им еще доведется встретиться. Барно смотрела на Муяссар. С какой радостью обменяла бы она сейчас свое горе на ее...

— Муяссархон! — позвала Барно.

С соседней грядки оглянулась Лариса.

— Муяссархон! — снова позвала Барно, понизив голос. — Вы говорили с Гульчехрой?

— Нет, — ответила Муяссар и торопливо вытерла слезы.

— Тогда обязательно поговорите. Знающие люди утверждают, что, если Гульчехра будет отрицать похищение и скажет, что ее никто из ребят не уговаривал уйти из дома, мальчиков отпустят. Пусть только не ждет, когда ее вызовет следователь, а сама пойдет к нему.

Барно выпрямилась, грустно посмотрела на Ларису, потом на Муяссар, сказала:

— Я понимаю, вы меня презираете! Это ваше дело. Но вы должны мне верить. Обязательно поговорите с Гульчехрой. — Барно торопливо пошла, то там, то здесь обирая с кустов хлопок.

Муяссар растерянно смотрела ей вслед. Она не знала — поблагодарить ли Барно или промолчать?

— Правда, Муяссар, надо поговорить с Гульчехрой, — сказала Лариса. — От того, что ты гордо от нее отвернулась, ребятам не легче. Если хочешь, я пойду с тобой.

— Конечно, хочу. Скорей бы обед! Сама не пойму, почему я до сих пор с ней не поговорила? Она же комсомолка!..

Калитку открыла мать Гульчехры, болезненно-бледная женщина лет пятидесяти. Она сразу изменилась в лице и хотела закрыть калитку, но Лариса удержала калитку плечом.

— Гульчехра дома? — спросила Муяссар.

— Дома, — сказала женщина и, отодвинув рукой Ларису, закрыла калитку. Во дворе слышался хриплый кашель.

— Кто там? — спросил за калиткой мужчина, откашлявшись.

— Соседская девушка, — сказала мать Гульчехры и, приоткрыв калитку, добавила: — Подождите, сейчас позову.

Сказала она это вовремя, потому что Лариса уже приготовилась барабанить в калитку кулаком.

Гульчехра пришла спустя некоторое время, но вышла не из калитки, а из проулка — наверно, пролезла в дувал.

— Ой, наконец-то дождалась вас, подруженьки мои! — обрадованно сказала она, обнимая сначала Муяссар, потом Ларису.

Она была в новой косынке, в цветастом ситцевом платье, радостно улыбалась, словно ничего не произошло. Она только говорила шепотом, помпунтно оглядываясь на калитку. Муяссар больше всего возмутила эта улыбка и вороватая манера оглядываться.

— Что ты скалишь зубы? Почему делаешь вид, что не знаешь, что происходит? Ты разве не знаешь, что из-за тебя арестовали ребят?! — спросила Муяссар.

— Знаю...

— Если знаешь, так чего отсиживаешься взаперти?

Гульчехра отвернулась, играя кончиком косынки. Она совсем запуталась. После ареста ребят к ней снова приходил Ядгарбек и сказал, что не может без нее жить. Они целовались в вишневой роще, против пролома в дувале. В подтверждение своих слов Ядгарбек прислал на другой день еще один сундук нарядов. Против такой щедрости Гульчехра не смогла устоять и дала согласие на свадьбу. При всем своем легкомыслии, Гульчехра понимала, что не должна говорить об этом Муяссар.

— Ну, что ты молчишь! Язык проглотила? — говорила Муяссар.

— Что я могу сказать? Я же не знаю, что мне делать!

— Еще говорит, что ей делать! Комсомолкой называется. Иди к следователю и расскажи, как все было... Ребята из-за тебя пострадали. — Муяссар вдруг всхлинула, не в силах удержать слез.

Гульчехра тоже заплакала:

— Легко тебе говорить! У тебя отец старый коммунист. Если бы он был такой же несознательный и такой больной, как мой, — посмотрела бы я, как бы ты поступила!

Муяссар растерялась, а Гульчехра еще больше расплакалась. Муяссар, сдерживая слезы, стояла, не зная, что делать. Зато Лариса знала.

— Вот что, — сказала она. — Москва слезам не верит. И отец твой здесь ни при чем. С собой распорядись как хочешь, а мальчиков надо выручать!

Гульчехра перестала плакать.

— Хорошо,— сказала она.— Я пойду к следователю. Только вы тоже пойдете со мной.

Они втроем пришли в правление, но сторож сказал, что следователь уехал в город. Муяссар снова загрустила, а Гульчехра, обрадованная, ушла домой.

— Имей в виду, завтра за тобой зайдем! — крикнула ей вслед Лариса.

Так прошли те два дня, которые казались ребятам такими томительными. Слово их все забыли и они уже никому не нужны.

На третий день их снова вызвал следователь.

Он сидел в кабинете Чавандаза. Несколько дней назад такой веселый и внешне приветливый, он сейчас выглядел строгим и недоступным. Даже брови его, похожие на усы, нависли над глазами сурово и неумолимо. Следователь переложил на столе папку с их делом, сказал:

— На фронте и в тылу не хватает людей, а вы, здоровые парни, прохлаждаетесь в амбаре. Я советовался с товарищем прокурором, и мы решили, учитывая вашу молодость, а также просьбу руководителей колхоза, освободить вас из-под стражи.— Следователь, через стол поглядывая на них, сказал после паузы: — Пока...

Машраб быстро переглянулся с Акмалем и Кучкаром. Кучкар с интересом смотрел на следователя.

— Пока или навсегда, следователь-ака?

— Это будет зависеть от вас, дорогой,— сказал следователь и погладил сизую от бритья голову.

— Что значит — от нас? — спросил Машраб.

— Это значит не развратничать — раз, не кляузничать на достойных людей — два, идти своей дорогой и не путаться под ногами — три.

Теперь Кучкар переглянулся с Акмалем и Машрабом.

— Короче говоря, увидишь вора — отойди в сторонку, не мешай человеку. Узнаешь о несправедливости большого человека — держи язык за зубами. Так, что ли, следователь-ака?!

— Мое дело посоветовать, ваше — послушаться или нет. У нашего русского брата есть пословица: много будешь знать — скоро состаришься. Зачем вам спешить?

Кучкар хотел еще что-то сказать, но следователь пальцем указал на дверь:

— Иди, дорогой, иди и много не мудрствуй!.. Скажите спасибо, что вас освободили.

Ребята и не думали говорить «спасибо». Когда они вышли, Кучкар сказал:

— Сам скажи спасибо, что цел остался.

— Я думаю, он просто не знал, как от нас избавиться,— добавил Машраб.

Они вышли за ворота правления, поглядели друг на друга и расхохотались. Ребята были очень довольны собой. Их переполняло чувство победы. Прежде всего они отправились к Махире-буви, досыта поели похлебки из очищенной джугары с кукурузными лепешками, снисходительно посмеиваясь над ее причитаниями и слезами радости. Потом посидели у Акмаля, пережидая, пока тетюшка Салия выплачется и придет в себя. По дороге в поле забежали к Фатиме. Пока Кучкар разговаривал с матерью, Машраб и Акмаль бесцеремонно разгуливали по двору.

Им доставило большое удовольствие пройти по улицам кишлака. На них глазели, как на выходцев с того света. Многие женщины даже вытирали слезы. Ларисы и Муяссар в поле уже не было. Гульсум-апа сказала:

— Бегите, бегите в кишлак... Они, наверно, там вас ищут...

Оказывается, весть о том, что их освободили, уже дошла до бригады в поле. Принес ее все тот же Информбюро, за что получил тюбетейку сушеного урюка.

— За приятную новость приятно получить благодарности,— сказал Информбюро и побежал разыскивать ребят.

Он нашел их в кишлаке у клуба.

— Ларисахов получила телеграмму от отца,— сказал он.

Но на этот раз вместо награды он получил щелчок по лбу от Кучкара. Потирая лоб, паренек смотрел, как ребята побежали по улице.

Остаток дня Машраб с приятелями и Лариса с Муяссар гонялись друг за другом. Это потому, что ни у кого не было терпения посидеть на одном месте и подождать. У дома Муяссар ребятам говорили, что она и Лариса побежали к Махире-буви. Мальчики бежали к Махире-буви и узнавали, что подружкам сказали, что видели Машраба возле клуба, и они бежали туда. Это была веселая суматоха, которая завершилась встречей в овраге. Муяссар и Лариса были в белых платьях. Машраб ломал голову, нытаясь понять, когда они успели их надеть. Лариса по-

казывала телеграмму от отца. Ребята никогда не видели ее такой возбужденной и веселой. Она то без всякой видимой причины начинала смеяться, то вдруг принялась выбивать чечетку на деревянном мосту. Муяссар смеялась. Она не стеснялась, когда Машраб брал ее руку и держал на виду у всех. Потом Лариса стала строить планы поездки к отцу в Магнитогорск и этим привела в уныние Кучкара. Об Акмале как-то забыли. Он или молчал, или понуро плелся сзади, пока они его совсем не потеряли. Первым спохватился Машраб.

— Акмаль! — позвал он.

Все притихли, а потом крикнули хором:

— Акмаль!

Слышно было, как шумела под плотинной вода, где-то залаяла собака.

— Нехорошо получилось, — сказал Машраб.

— Я где-то читала: все счастливые люди немного эгоисты. Значит, мы счастливые?! — спросила Лариса.

Все засмеялись. Но каково остаться одному, Машраб понял только на другой день.

Когда Кучкар и Машраб пришли домой (Кучкар пошел ночевать к Машрабу), Гульсум-апа сказала, что приходил Акмаль. Оказывается, ему и Кучкару пришли повестки явиться завтра в клуб на призывную комиссию. Фатима попросила Акмаля найти сына.

На другой день по улицам кишлака потянулись к клубу парни, которым в этом году исполнилось или исполнялось восемнадцать лет.

Машраб решил в этот день не выходить на улицу, но потом не выдержал и пошел в клуб.

На лужайке толпились группами те, кто уже прошел медицинскую комиссию и кто ждал очереди. Парни говорили о том, кого в какой род войск зачислят, когда возможна отправка. С Машрабом заговаривали, здоровались, но как-то мимоходом, как с человеком, не посвященным в таинства призыва. Машраб подошел к Кучкару и Акмалю. Те вроде бы обрадовались, увидев его, но тут же про него забыли. Какой-то парень доказывал Акмалю, что людей с его весом не берут в кавалерию. Машраб вдруг представил себя в кишлаке после того, как Акмаль и Кучкар уедут на фронт. Это уже было слишком. Машраб увидел военного комиссара Абубакирова. Тот шел через лужайку, толчками переставляя протез. Машраб не помнил, как очутился перед ним, как заговорил.

— Ну, джигит! О чем ты хочешь просить? — сказал капитан.

Кучкар потом рассказывал, как Машраб догнал его и закричал тонким голосом:

— Товарищ капитан, если можно, выслушайте меня!..

А может быть, Кучкар это придумал, и Машраб на самом деле заговорил с капитаном в обычном тоне — подтвердить или опровергнуть эту версию не мог никто, так как ребята обступили Машраба и капитана, когда те уже разговаривали.

— Хочу заявить, что я, в общем, одноклассник всем этим ребятам. Просто по книгам записали неправильно, на год омолодили. Можно мне пройти комиссию? — говорил Машраб.

— Но как можно установить, что ты им ровесник? — спросил капитан.

Машраб затравленно оглянулся, увидел ехидно улыбающегося Кучкара и выпалил:

— Пусть меня накажет аллах, если я вру.

Машраб чуть не оглох от взрыва хохота. Хохотали все, в том числе Абубакиров.

— Веское доказательство, придется поверить. Откуда ты такой взялся? Чей сын? Как имя, фамилия?

— Имя Машраб. Сын Агзама Ячейки, — сказал Машраб.

Кто-то тут же добавил:

— Машраб Дивана!

— Э-э, это тот Машраб Дивана, который ищет правды? Молодец, джигит! Иди на комиссию, врачи решат.

Машраб поднимался на крыльцо с замиранием сердца. Во время разговора с капитаном он вообразил, что все решит военком сам, единолично. А теперь все зависело от комиссии. Опасения оказались напрасными. Ни один врач даже не спросил, сколько ему лет. Один измерил рост, другой что-то послушал, приложив к груди трубку, третий заставил читать буквы на стене, закрывая Машрабу то один, то другой глаз. Вся процедура заняла пять-шесть минут. А потом началось такое, что Машрабу даже не снилось. Когда он вышел на крыльцо, Абубакиров скомандовал:

— Смирно!

На широкой площади перед крыльцом замерли в строю призывники.



— Машраб, сын Агзама, ко мне! — скомандовал капитан.

Машраб, ничего не понимая и на всякий случай улыбаясь во весь рот, подошел. Капитан вывел из строя Ядгарбека и поставил его рядом с Машрабом.

— Посмотрите на этих двух парней, — сказал капитан. — Один, вот этот, — искатель правды, гордо заявляет, что ему уже восемнадцать лет! А на этом жеребце пахать можно, а он льет слезы и говорит, что ему нет еще шестнадцати!

В строю засмеялись, кто-то крикнул:

— Он уже жениться собрался!

— Ему шестнадцать лет три года назад было!

Капитан повернулся к Ядгарбеку.

— Не стыдно? — спросил он. — Женись, как жене в глаза смотреть будешь, младенец?

В строю снова захохотали, а капитан вдруг крикнул на всю площадь:

— А ну, марш на комиссию!..

Ядгарбек побежал через лужайку к крыльцу, споткнулся о первую ступеньку и весь путь до дверей проделал при помощи рук, а парни в строю умирали от хохота.

После комиссии пошли грузить на арбы последние мешки хлопка. Машраб вернулся домой вечером, еще не утратив радостного возбуждения. На широкой тахте в первой комнате сидела Мастура, а на руках у нее пристроились Фатима и Зухра. Мастура встала, посадив детей на тахту. Глаза ее сверкнули. Машрабу стало страшно от ненависти, которая была в глазах сестры.

— Ты... в своем ли ты уме? Почему ты живешь на небе, а не на земле?! Мало в семье у нас горя?! Негодяй, дурак! — Губы Мастуры тряслись. — Иди, взгляни на маму!

Машраб открыл дверь в комнату матери. Гульсум-апа сидела на кровати против двери, положив руки на колени, и глядела так, словно ждала Машраба. Конечно, Мастура преувеличивала. Гульсум-апа была, как и всегда, задумчивая и сдержанная. Но неужели она и раньше была такой маленькой, сторбленной? Платок упал на ее узенькие, опущенные плечи, открыв седые волосы. Машраб не помнил, видел ли он раньше у матери так много морщин на лбу и в углах рта?..

— Мама, милая, — сказал Машраб, — прости меня, но я не мог!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Странно устроена жизнь: если человек раз споткнулся, то невезенье следует одно за другим, а если пришла удача, то обязательно ведет за собой другую... Отец Ларисы прислал письмо, что если им хорошо, то пусть пока не трогаются с места. Кучкар ног под собой не чувял от радости. О свадьбе Гульчехры тоже ничего не было слышно. После своего позора Ядгарбек нигде не показывался. Чавандаз при встречах косплся на ребят, но ничем иным не проявлял своей ненависти. А Гульчехра даже стала вновь появляться с Ларисой и Муяссар, когда те приходили в овраг.

Наступил конец октября. Казалось, ничто не омрачало жизнь кпшлака. Наоборот, стали поступать сообщения о том, что Красная Армия одна за другой освобождала города, одерживая победы над фашистами. Матери стали надеяться, что к тому времени, когда настанет очередь сыновей, война окончится. А на тех, кто воевал, вот уже месяц как не было ни одной похоронной.

На школьной сцене Машраб репетировал к Октябрьским праздникам третье действие пьесы «Смерть захватчикам».

На одну из репетиций пришел Камил. Он вошел в зал, с минуту постоял, глядя на сцену, пока его не заметили. Машраб подошел к нему со стулом, сказал:

— Садитесь, Камил-ака!

— Некогда сидеть, Машраб. Дело есть...

Оказывается, нечем было завершить сев озимых: кончились семена. Чтобы не сорвать сев, пришлось снова собрать караван ишаков и мобилизовать всех ребят.

На рассвете по-осеннему яркого дня караван вышел в далекий путь.

Кпшлак остался позади, и караван растянулся по дороге.

По сути, это был тот же караван, который летом перевозил зерно. Только на этот раз ишаки были отборные, примерно одинаковой силы. Камил и Курбан-ата сами отбирали их, безжалостно выбраковывая всех, кто, по их мнению, не мог пройти тяжелый путь.

Впереди каравана на буланом иноходце ехал Камил, и рядом с ним, в неизменной фуражке и с кожаной сумкой через плечо, гордо восседал на своем ишаке с обрезанным

ми ушами Курбан-ата. Замыкающими Камил назначил Машраба и Акмаля. Сотня ишаков растянулась по дороге чуть ли не на километр. Дорога шла вдоль горной цепи, по холмам, черным, как опаленные бараньи головы. Солнце только-только взошло, и над холмами до самого подножия гор дрожало теплое море.

Дорога волновала, как всегда волнует неведомое. Большинство ребят никогда не выезжало дальше районного центра, а были и такие, кто, кроме кишлака, вообще нигде не бывал. Они ехали, покачиваясь в седлах, с приятным сознанием, что в хурджунах у каждого по шесть лепешек, выданных колхозом, два фунта курта, не считая сушеного урюка, жареного ячменя, самсы с тыквой, уложенных заботливыми материнскими руками.

Камил объехал весь караван, оглядывая ребят и предупреждая, чтобы они бережно расходовали продукты. Напрасный труд. Большинство уже сейчас ехало, заложив за одну щеку сушеный урюк, за другую курт и при этом сияя от удовольствия.

Камил сказал Машрабу:

— Приглядывайте за этими цыплятам, особенно когда въедем в горы.

Он пришпорил иноходца и вернулся в голову каравана.

На заседании бюро райкома, на котором обсуждался сев озимых, Камил попробовал схватиться с Эртаевым и потерпел поражение.

Эртаев, как временно исполняющий обязанности председателя райисполкома (ходили слухи, что постоянным председателем его не утвердил обком), докладывал ход посевной по району. Оказалось, что колхоз «Путь Ленина» был на одном из последних мест. Эртаев не удержался, чтобы не сказать:

— Очевидно, после успешной сдачи хлеба государству у руководителей колхоза закружилась голова.

Камил видел, как сжала руки Инобат.

— Вы сорвали нам сев, и вы же нас упрекаете! — с места выкрикнул он.

Эртаев помолчал, сдерживаясь, потом сказал:

— Я не понимаю враждебного выкрика Джалалова. Я вообще вас не понимаю, Камил. Если вы имеете ко мне какие-то претензии, то выскажите их прямо...

Камил понимал, что Эртаев провоцирует его, что надо промолчать, но не смог.

— Да, я имею к вам претензии! Вы вынудили сдать нас семенное зерно в счет дополнительных поставок, а теперь хотите уйти от ответственности?! — Камил вскочил и стоял, пытаясь справиться с волнением.

Эртаев картинно развел руками, как бы призывая всех в свидетели.

— Моя озабоченность тем, чтобы государство получило больше хлеба, вменяется мне как преступление, — сказал он.

Камил хотел возразить, но Умаров нетерпеливо постукал ладонью о стол, сказал:

— Сейчас не время, товарищ Джалалов, искать виновников. Надо думать, как выйти из положения...

...Камилу было невесело. Пожалуй, он один хорошо понимал, как нелегко будет выполнить возложенную на караван задачу. Дорога давно повернула вправо, в горы. Голова каравана достигла высокого каменистого гребня. Внизу открылось желто-зеленое пастбище, белые юрты, похожие на пиалы, опрокинутые вверх дном. Камил остановил головных ишаков, чтобы подтянуть караван.

Курбан-ата, привстав на стременах, громко сказал:

— Вон в том ущелье был тяжелый бой с басмачами. Немало осталось там могил. Прошу снять шапки, товарищи!

Он стоял на стременах, держа руку под козырек.

— Вольно! — скомандовал он и сел в седло, но тут же снова привстал: — Между прочим, отцы этих джигитов, — он указал на Кучкара и подъехавшего Машраба, — тоже были в этих боях.

— Поэтому встать и снять шапки! — крикнул Кучкар.

Курбан-ата не услышал его, опустил голову, о чем-то задумавшись. Кучкар, посмеиваясь, тронул своего ишака.

Старикки из аула стояли, опираясь на длинные палки. Они поджидали караван на берегу горной реки, молчаливые и торжественные. Двое стариков, отделившись от остальных, пошли навстречу каравану.

— Салам, Курбан! Давно не виделись, да храпит тебя аллах! — сказал один.

— Пусть продлит аллах годы твои, — добавил другой.

Они помогли Курбану-ата спешиться, поддерживая его под руки.

Женщины из аула принесли в тыквах кислое молоко, курт.

Кучкар сказал:

— Похоже, нашего старика здесь хорошо знают...

Курбан-ата, прохаживаясь, разминая затекшие ноги, говорил:

— Не забывает казах тех, кто делал революцию. Помнит народ добро. А вы кушайте, кушайте — впереди трудный путь...

С привала Курбан-ата поехал вперед — приготовить ночлег. Ребята отяжелели после еды и дремали в седлах.

Солнце клонилось к вершине перевала Рустам-Давап, когда стали попадаться на пути стада баранов. Женщины-пастухи в высоких головных уборах неподвижно сидели на низкорослых лошадках, провожая глазами караван. Потом показались юрты, над которыми из отверстий валил дым, двory аула. Караван остановился, ишаки сблизь в кучу. Машраб и Акмаль выехали вперед. На дороге Курбан-ата и старик казах о чем-то говорили с Камилом. Курбан-ата привстал на стремянах, сказал:

— Заночуем в этом ауле, дети мои! Завтра нам предстоит пройти Яманташ — это значит плохой камень! Вы слышали, что такое Яманташ? — Курбан-ата выкрикивал слова так, как будто говорил речь.

Большинство не знало и никогда не слышало про это гибельное место, в котором нашло себе могилу немало путников, но на всякий случай хором ответили:

— Знаем, отец! Слышали!

— Если слышали, то накормите досыта своих ишаков и сами хорошенько отдохните.

Тем временем из аула набежали огромные волкодавы. Они ходили вокруг ишаков, скалили зубы, а те прижимали уши, лягались, к полному удовольствию прибежавших ребятшек, крикливых и назойливых. Потом пришли старухи с белыми высокими накидками на головах, молодые женщины и девушки с серебряными украшениями в косах. Старик, который молча стоял рядом с Курбаном-ата, пока тот произносил свою речь, что-то сказал женщинам, и те, подгоняя ребятшек, пошли по дороге в аул. Караван тронулся вслед за ними.

В ауле ребят развели по домам. Машрабу, Акмалю и Кучкару достался маленький домик на окраине. Они стреножили своих ишаков и пустили их пастись, а сами вошли во двор, за оградой которого слышался топот телят и голос молодой женщины:

— Перестать брыкаться, шайтан!

Кучкар подмигнул друзьям и первый вошел в калитку. У самого входа тоненькая молодая женщина, больше похожая на девочку-подростка, в красном платье с пуговицами из монет, сдерживала рвущегося к короле телянка. Второй телянок стоял привязанный под навесом и смотрел грустными, блестящими глазами на своего дружка, который то и дело вырывался из рук женщины. Она каждый раз бежала за ним, и тяжелая коса ее билась по спине, а чулпы нежно позванивали. Кучкар молча взял из ее рук аркан, поймал телянка и привязал под навесом рядом с другим.

Женщина, наверно, знала о появлении в ауле неожиданных гостей, потому что улыбнулась Кучкару без всякого удивления.

— Спасибо, добрый джигит, — сказала она.

Улыбка женщины, ее кругленькое личико, к которому очень подходили раскосые глаза и маленький нос, очаровали ребят. Женщина, очевидно, поняла, какое впечатление на них произвела. Она засмеялась, повела всех троих в дом. Посмеиваясь и поглядывая на троих друзей, словно изучая, она хлопотала вокруг очага: разожгла огонь, вскипятила молоко и пригласила пить чай.

Чай по-казахски оказался легкой закуской из свежего и кислого молока и курта. Кучкар блаженствовал. Машраб и Акмаль тоже чувствовали себя неплохо. То ли оттого, что ребята проголодались, а скорей всего потому, что нехитрая закуска была приготовлена маленькими проворными руками, все казалось очень вкусным.

— Даже в раю такого не бывает, — говорил Кучкар.

— Конечно, ты же только вчера там был, — сказал Машраб.

Женщина порозовела от удовольствия и еще больше хорошела.

Потом появились старуха с девочкой, наверно свекровь с дочкой женщины, потому что девочка тут же подошла к ней и уцепилась за подол платья, положив в рот пальчик. Старуха прицалась стелить постели, искоса ревниво поглядывая на невестку.

Машраб вышел во двор. Было уже темно, как в опрокинутом казане, в котором варят плов. Только в небе сверкали странно белые звезды, похожие на крупные яблоки, рассыпанные на черном бархате. Когда глаза немного привыкли к темноте, Машраб вышел за калитку. Со всем близко проступали черные очертания горных вершин.

Они стыли в безмолвии, как вечные стражи этих мест. Где-то близко шумела быстрая горная речка, слышно было, как ишаки с хрустом жевали полынь. «Кто только не проходил по этим дорогам, горам и долинам за все время, пока существует земля!» — подумал Машраб. Он нащупал в темноте камень и присел на берегу, пытаясь представить родной кишлак. Что сейчас делали Муяссар, мама, сестра, Махира-буви — все те близкие люди, без которых Машраб не мог жить? А как он будет без них и они без него, когда он уедет на фронт?

Ниже того места, на котором сидел Машраб, по берегу прошел Камил. Машраб услышал его голос.

— Загошите ишаков во дворы. Говорят, в горах появилось много волков. Предупредите всех, — кому-то говорил он.

Через некоторое время слышались топот ног, гиканье парней, загоняющих ишаков, лай потревоженных собак.

Машраб отыскал своих ишаков и повел во двор, обмотав за шею веревкой. За оградой Кучкар разговаривал с молодой хозяйкой:

— Эй, отпусти, узбек! Думаешь, только тебя тут и ждали...

Но Кучкар, наверно, не отпускал женщину.

— Послушай, Гульджамал! Какая разница — твое, мое? Дай поцелую разок! — говорил он.

Машраб парочно громко загремел калиткой, заводя ишаков. Он вошел в дом и ощупью добрался до своей постели: ориентиром ему служил могучий храп Акмаля. Машраб лег рядом. Почти тут же со двора вошел Кучкар.

— Зачем пригнал ишаков? — спросил он.

— Спасал их от волков. Оказывается, ты хуже волка!

— Э-э, Дивана, что ты понимаешь? Надо же кому-то проверить, хранят ли женщины-казашки верность своим мужьям?

— Проверил?

— В этом доме все в порядке! Если у меня ничего не получилось, ни у кого не получится. — Кучкар повернулся на бок, подвинул плечом Акмаля и тут же безмятежно заснул.

Затемно Камил и Курбан-ата обошли аул, подымая ребяты. В путь караван вышел на рассвете и к восходу солнца вошел в ущелье Яманташ. Даже в ясный солнечный день ущелье выглядело сырым и мрачным, как подземелье. Высоко, так высоко, что приходилось запрокидывать голову,

сияла полоска голубого неба. Где-то там наверху, за нависающей стеной скал, был теплый погожий день, а здесь, в ущелье, знобкий холод пробирался под халаты, студил промокшие ноги.

К полудню, одиннадцать раз перейдя вброд горную речку, караван вышел из ущелья и стал подниматься к перевалу. На солнце все быстро обсохли и обогрелись, поднялись на перевал Рустам-Даван и вместе с солнцем спустились в казахские степи. Быстро вечерело, но на этот раз все опасности были позади.

Выезжая из кишлака, рассчитывали через три-четыре дня вернуться. Но даже такой опытный караван-башки, как Курбан-ата, просчитался. Как говорится, домашние расчеты не подошли к базару. Это стало ясно, как только приехали в аул, где должны были получить зерно. Председатель колхоза опешил от неожиданности, когда Камил и Курбан-ата пришли к нему. Зерно в колхозе было, — куда его вывезешь? — но распоряжения отдать его у председателя не было.

На другой день он вместе с Камиллом и Курбаном-ата поехал в район. В районе выяснилось, что неправильно оформлены накладные на получение зерна: в накладных было сказано, что колхоз «Путь Ленина» должен получить семена, а казахский колхоз должен был сдавать госпоставки товарным хлебом. С этого дня председатель колхоза, Камил и Курбан-ата потеряли покой. Председатель колхоза готов был отдать зерно, чтобы не числиться в должниках, но отдать его без прямого приказа начальства не решался. Камил и Курбан-ата ездили то в район, то в область, давали телеграммы, звонили по телефонам, а время шло и зима приближалась. Правда, дни стояли такие жаркие, что просто не верилось в скорый приход зимы.

Гости в казахских аулах всегда желанны. Иначе ребятам пришлось бы туго. Давно было съедено все, что взяли из дома. Перешли на иждивение хозяев. Жили по двое, по трое в доме, питаясь вместе с приютившей их семьей. Днем пасли ишаков в зарослях камышей, рано ложились спать и уже опухли от безделья. Потом придумали состязаться в борьбе, устраивали на отъевшихся ишаках улаки. Но все равно было скучно.

Камил не хотел посвящать ребят в подробности бюрократической волокиты и на вопрос: «Когда поедем домой?» — отвечал:

— Не спешите, дорога трудная. Кормите ишаков!



И ребята кормили...

Как-то под вечер около Машраба остановился знакомый парень-казах. В руке — палка, на плече — домбра. Он сдвинул на затылок войлочную шляпу, с минуту смотрел, как Акмаль и Кучкар боролись на полынном лугу.

— Эй, узбеки! Не надоело безделье? — спросил Калбек и поправил на плече домбру.

Кучкар тотчас отпустил Акмаля, а тот, не поняв, в чем дело, положил его на лопатки и сам лег сверху.

— Какое ты можешь предложить дело, казах? — заинтересованно спросил Кучкар. — Да отпусти, толстяк, дай с человеком поговорить! — заорал он.

— Я слышал, у вас есть прославленный поэт. У нас тоже кое-кто слагает стихи. Посоревнуемся?

— Поэты есть, а кто их слушать будет? Стихи нашего поэта предназначены только для нежного слуха красавиц, — заявил Кучкар. Он уже отошел от Акмаля и сидел на полынной земле.

— Будут красавицы! — сказал Калбек.

— А где ты их возьмешь, если в вашем ауле ничего нет, кроме овец?

— Где твои глаза, узбек! Сколько дней живешь в ауле, а не видел красавиц? Принимайте вызов, мы вам их сегодня покажем.

Машраб стоял красный, не зная, куда деть руки от волнения. Вызов за него принял Кучкар.

— До вечера, — сказал Калбек и ушел.

Машраб накинулся на Кучкара:

— Ты с ума сошел! А если я провалюсь и стану посмешищем?

— Какой же ты поэт? Ради красавиц можно стать посмешищем, — авторитетно заявил Кучкар.

Машраб в ужасе провел остаток дня, ожидая вечера. Узбеки не знали, что председатель казахского колхоза надоумил свою молодежь развлечь гостей. На этот вечер из колхозной кладовой были выданы продукты для угощения. Если бы Машраб знал еще и это, он бы наверняка куда-нибудь сбежал.

В сумерках во двор пришел, наигрывая на домбре и тихо подпевая, Калбек. Он был в красных сапогах с высокими каблуками и в новом халате.

— Придумали хорошие песни, узбеки? — Он хитро прищурил глаза. — Если придумали, пошли. А там положишь, поэт, на свое счастье, — сказал он Машрабу.

В маленьких окошках приземистых домов мерцали огоньки коптилок. Во дворах давно умолк дневной шум. Дворы были раскинуты далеко друг от друга, и поэтому над аулом стояла степная тишина. Степь была рядом, по ночному таинственная и глухая. Стоило потерять тропку, и можно было идти и идти, и конца не будет этой степи. Но Калбек шел уверенно. Иногда взлапывал волкодав и тут же умолкал, узнав Калбека. Он остановился у калитки крайнего дома.

Во дворе пылал в очаге огонь, виднелась открытая дверь низенького домика. В дверь входили и выходили, бродили по двору какие-то женщины. Стояло несколько парней.

— Джигиты, узбеки пришли. Принимай гостей, Янгаджон, — сказал Калбек от калитки.

В колеблющемся свете очага к калитке подошла, звяпя чулпамп, рослая женщина с закрытым платком ртом.

— Добро пожаловать, джигиты, — сказала она, очень мило коверкая узбекские слова.

Машраб и все, кто пришел с ним, протиснулись в узенькую дверь. В темную переднюю открылась и тут же закрылась дверь, и из нее на мгновение выглянули чуть затемненные и от этого особенно красивые и таинственные лица девушек. За закрывшейся дверью послышался сдавленный смех.

— Э-э... не сюда, — сказал Калбек и открыл дверь в комнату направо.

— Жалко, что не туда, — сказал Кучкар.

— Потерпи, узбек! Всею свое время...

Комната была низенькая, но широкая, в трех местах горели светильники. Не только сюзане и ковры, развешанные на стенах, но и тюфяки в тахмане — иппе в стене — и разостланные на полу кошмы и паласы — все было ярко-красного цвета. Поэтому комната, освещенная колеблющимся светом, полыхала красными отблесками.

Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге остановился худющий одноногий парень на костылях, в военной гимнастерке.

— Ассалам алейкум, гости! — Парень переставил вперед костыли и одним рывком оказался на середине комнаты. — Как дела? — спросил он, присаживаясь боком на курпачу. Он взял у Калбека домбру, не дожидаясь ответа, стал ее тихонько пастраивать. — Скажи-ка Янге, джигит,

пусть ведет своих красавиц, узбеки соскучились в ожидании,— сказал одноногий Калбеку.

В это время снова раскрылась дверь. Янга, а за ней девушки внесли подносы, уставленные угощениями. Они расстелили дастарханы перед гостями и, совсем как узбечки, стояли, посмеиваясь и смущаясь, подталкивая друг друга. Почти все были одинаково одеты: на ногах красные сапожки на высоком каблуке, на голове красный цветастый платок, поверх красного шелкового платья бархатный жилет, суженный в талии, а на жилете в два ряда серебряные монеты, наполнявшие комнату звоном при каждом движении девушек.

— Эй, подружки! Можно подумать, что не вы так нетерпеливо ждали встречи с парнями... А вы, пареньки? Если у вас сердца джигитов, докажите это своей любезностью, выбирайте себе подруг! — сказала Янга.

Кучкар тут же схватил ее за руку.

— Я уже выбрал,— сказал он.

Все засмеялись, расселись на одеялах, потянулись за угощениями. Рядом с Машрабом оказалась тоненькая девушка с такой узенькой, обтянутой жилетом талией, что казалось, ее можно обхватить пальцами одной руки. Девушку звали Сулусач. Она сама назвала свое имя и тут же спросила, как зовут Машраба.

Выпили по пиале чая. Одноногий сказал:

— Убирай дастархан, сестра! Все равно барашка не подашь.

— Если бы он был! — сказала Янга и засмеялась.— Потерпи. Когда вернется твой деверь, я, так и быть, дам тебе баранью голову, братишка.

— Не горюй, вернется! Тогда я тебе напомним твоё обещание, сестра. Ну-ка, запоем для начала «Кара-тургай».

— Опять «Кара-тургай»? — недовольно сказала Сулусач.— Не надоела вам эта песня?

Одноногий прижал ладонью струны домбры, сказал:

— Милая моя красавица! Побывала бы вдали от родных мест, знала бы цену этой песне. На войне, в окопах, мы мечтали вернуться домой живыми и хоть разок послушать «Кара-тургай», а там и умереть не страшно. Если бы ты знала, сколько парней погибло, мечтая перед смертью увидеть красавицу вроде тебя и услышать «Кара-тургай», курносая моя Сулусач!

Одноногий громко заиграл на домбре. У него были тонкие, словно у девушки, пальцы.

— Садись рядом, Калбек! Начинай...

Машраб полулежал возле Сулусач. Ему казалось, что он попал в какой-то печальный и светлый мир. Но когда он вспомнил, зачем сюда пришел, он сразу приходил в себя, и его обдавало жаром. От этого и потому еще, что понимал не все слова, Машраб уловил только общий смысл песни. Когда он потом пытался припомнить песню, он видел одноногого парня, лежащего ничком, в темной осенней степи, гладившего тонкими, как у девушки, пальцами полынь и жесткую траву, целующего горько-солонатовую землю, выбитую копытами и исхоженную ногами предков. В тот вечер Машраб понял: каждая земля имеет свою прелесть, свои песни, своих красавиц для тех, кто учился по ней ходить...

Одноногий прикрыл струны рукой.

— Хватит! Давайте начинать «айтыс»,— сказала Сулусач.

— Ну что же, давайте,— согласился одноногий.— Может быть, гости начнут первыми?

Кучкар толкнул в бок Машраба. Но тот сидел красный и пришибленный, в ужасе от того, что не может придумать ни одного слова.

— Почему гости? — спросила Янга.— Мы пригласили, мы начнем.

Молоденький парень, точь-в-точь стригунок,  
и весел, и строен, а все однок.  
Хоть песен не знает, не носит домбры,  
ему улыбнитесь, уж будьте добры!

Янга замолчала, улыбнулась Машрабу. Он лихорадочно припоминал хоть какие-нибудь стихи. Но его опередила Сулусач:

Каких, не краснея, похвал наплела!  
За что это парню такая хвала?  
Уж лучше Калбек паш, хотя и курнос!  
А парень без песни — арба без колес...

— Зульфья. «Разлука»,— сказал Машраб и сам не узнал собственного голоса.

Кусты и деревья с пожухлой листвой  
глядели, и ветви — как руки.  
Мой милый, любимый отправился в бой,  
и на сердце — холод разлуки.  
Но в бой призывает Отчизна сама!  
Отложим все пежные речи...  
Ведь так же, как сменится летом зима,  
придут за разлукою встречи.

— Молодец, Машраб Дивана! — закричал Кучкар. Но восхищался он один, остальные молчали.

Было так тихо, что все услышали шаги в коридоре. Дверь открылась. На пороге стоял Камил. Он, очевидно, решил, что тишина вызвана его появлением, сказал:

— Прошу прощения, но вынужден вам помешать. На рассвете выступаем, а сейчас надо срочно получать и грузить зерно.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

При свете факелов проработали почти всю ночь. Зерно — всего семь тонн — насыпали в мешки и складывали их у дороги. Тот, кто насыпал свой мешок, уходил, чтобы успеть собраться в дорогу и хоть немного поспать. Последние мешки досыпали в полночь. Пошел дождь, и сразу резко похолодало. Камил ушел с зерносклада последним, бережно поддерживая ноющую руку. Он пожалел сейчас, что не послушал врачей и не согласился на ампутацию. Рука только мешала, напоминая о себе тупой, ноющей болью. Когда Камил добрался до двора, в котором остановился с Курбаном-ата, дождь перешел в снег и стало морозить.

Камилу казалось, что он только задремал, когда его разбудил Курбан-ата, но за окном уже стоял ясный морозный рассвет. Курбан-ата в толстом халате, с кожаной сумкой на боку, в фуражке, надвинутой до бровей, уже совсем был готов в дорогу.

— Разбудил трех джигитов, велел собирать караван. Надо до полудня успеть добраться до Яманташа, — сказал он.

— Как будто прояснилось? — спросил Камил.

— Проясниться прояснилось, но мороз как кинжал. Береги руку, сынок!

Невыспавшиеся ребята подводили к дороге ишаков, седлали, грузили мешки. Камил нервничал, торопил. Ему казалось, что сонные погонщики очень долго возьмется с седлами. От резкого ветра слезились глаза, под ногами поскрипывал снег. Ему жаль было до боли в сердце этих легко одетых пареньков, в тибетейках, с ушами, обвязанными поясным платком, в рваных, латаных-перелатаных сапогах и старых ичигах с калошами, в ботинках с рваными носками. Хорошо еще, что на большинстве была обувь,

оставшаяся от отцов, и можно было навернуть на ноги все тряпки, что были под рукой и какие дали гостеприимные хозяева. Как ни медленно, по мнению Курбана-ата и Камилла, грузился караван, из аула выехали, когда на небе еще видны были побледневшие звезды.

Во главе каравана ехал Курбан-ата, посредине — Машраб и Акмаль, в конце — Камил и Кучкар. У каждого под командой было по двадцать погонщиков.

Дорога под снегом странно преобразилась. Пушистый снег висел на ветках чинар, бурные ручьи покрылись у берегов льдом, и над темной полоской чистой воды поднимался пар. На белых скалах стояли зеленые ели в снегу, как в хлопьях ваты. От быстрой ходьбы согрелись. Кто-то даже снял с головы платок, распахнулся.

Дорога поднималась к перевалу. Камил, объезжая караван, с тревогой поглядывал на ноги погонщиков, на их промокшие штанины.

— Быстрее, друзья! Поторапливайтесь, джигиты! — крикивал он.

На выступе скалы, пропуская караван, стоял Курбан-ата. Он подъехал к Камилу, сказал:

— Взгляни на ишаков, Камилджан, как бы не залегли в Яманташе.

— Что же делать, отец? Нельзя же останавливаться, замерзнем.

— Надо дать ишакам по тибетейке зерна.

Камил поглаживал ноющую руку.

— Обвинят в разбазаривании зерна, — сказал он.

— Кто думает о волосах, когда опасность угрожает голове?

— Вы правы, отец.

Решили подкормить ишаков на перевале. Животные шли, оскользкаясь заледеневшими копытами. Курбан-ата, проезжая в голову каравана, крикивал:

— Вперед, джигиты! Чапаев говорил: пока джигит идет вперед, он джигит!

Верхом на ишаке, в своей неуклюжей фуражке, с покрасневшим от холода мокрым носом, сам Курбан-ата меньше всего был похож сейчас на джигита. Но никому и в голову не пришло посмеяться над этим многое повидавшим на своем веку стариком.

На этот раз Яманташ доказал, что не зря носит такое название. Узкое извилистое ущелье насквозь продувало холодным ветром. После короткой остановки на перевале

подкормили ишаков и сами съели по мерзлой лепешке; погонщики немного приободрились. Надолго ли?

Вот и первый брод, о котором со страхом думал Камил. Из-за подтаявшего днем снега вода в речке прибыла и широко разлилась по ущелью. Тонкий лед легко дробился под копытами, и речку удалось перейти, не снимая с ишаков поклажи. Только погонщики, идя по колена в воде и придерживая мешки, так промокли, что у них не попадал зуб на зуб.

Так перешли четыре брода, а дальше пошло еще хуже.

Ущелье сузилось. Стиснутая заледеневшими берегами вода рвалась и редела. Брошенные с размаха камни не разбивали лед — он только трескался. Едва ступив на лед, ишаки падали и дальше ни за что не хотели идти. Нечего было и думать перевести их на ту сторону с грузом. Никто не заметил, что Кучкар оказался в голове каравана. Во всяком случае, Машраб не помнил, чтобы Кучкар его обогнал. Молча сняв мешок с упавшего ишака, Кучкар, оскальзываясь на льду, мокрыми ногами, вошел в воду. Он шел с мешком на плече, крича и поджимая то одну, то другую ногу.

— Ай, ай, ай! Вот это речка — кипит, как самовар! Кто замерз — давай греться...

— Молодец, Кучкар! Молодец! — крикнул Камил.

А когда за Кучкаром в речку полез Акмаль, слегка согнувшись под тяжестью мешка, Машраб тоже не выдержал, взвалив на плечо мешок, пошел к броду.

Какой-то мальчишка перевязал потуже большую руку Камила. Камил здоровой рукой ухватился за мешок с одной стороны, мальчик с другой, и они пошли к воде.

Никто не приказывал, никто никому не давал распоряжений. Самы собой образовывались пары и переносили мешки. Курбан-ата с Информбюро набрали сушияку и разожгли костер. Мокрые погонщики, стуча зубами, бежали к огню. Старик смотрел на них слезящимися глазами, потом сказал:

— Идем, сынок, к следующему броду. Разложим джигитам костер.

Но когда подошли к броду и снова увидели прибрежный лед, всем стало ясно, что его не преодолеть. Бодрости и силы не придавал и костер, который уже горел на другой стороне. Кучкар, стуча зубами от холода и отчаянья, неожиданно поднял над головой огромный осколок глыбы.

— Или ты расколешься, или я,— крикнул он и грохнул камень на лед.

Лед треснул. Это был выход. Ишаков перегоняли через брод, поддерживая мешки с двух сторон, а потом бежали, чтобы согреться, до следующего брода. Чем ближе был выход из ущелья, тем мельче становились броды.

При выходе из ущелья горели костры. Их разжег Курбан-ата. Было похоже, что старик просто железный. В фуражке, падвинутой на уши, с покрасневшим от холода носом, он один оставался невозмутимо-спокойным. Неторопливо перешагивал от костра к костру, подбрасывая в них ветки. Ему помогал Кучкар. Даже Камил захромал и шел через силу, прижав к груди большую руку и покачиваясь. На своего инокходца он давно посадил Информбюро.

Пламя костров металось на ветру так, что к ним невозможно было подойти. Костры были маленькими, и не было смысла ждать, пока они прогорят, чтобы воспользоваться жаром углей: какие могли быть угли от этих жалких костров? До горного аула, в котором останавливались на ночлег, оставался час хода. Мальчишки беззвучно плакали, даже не пытаясь скрыть слезы, и бежали за ишаками. Ишаки шли и шли, размеренно переставляя ноги и покачивая в такт головами, точно заведенные. И от этой размеренности казалось: не будет конца дороге.

Машраб совершенно выбился из сил. Он то и дело отставал от ишака и тогда бежал, боясь, что не догонит и останется один на дороге. Его качало из стороны в сторону, он падал и с трудом поднимался. Ему не было холодно. Наоборот, жар заливал голову, слепил глаза. Ему начали мерещиться в темноте огоньки аула. Он рвался к ним, но они стояли на месте. Поэтому, когда на дороге появились люди с фонарями, он отнесся к ним совершенно безразлично, как к призракам.

Ноги ишаков по ступицы грузли в морозном месиве. Тополя на плотине, улицы кишлака, плоские крыши домов были присыпаны снегом. Сверху, с дороги, кишлак казался пустынным, словно вымершим. Только от плотины к кладбищу поднималась какая-то процессия — черная на белом снегу. Голова процессии уже приближалась к кладбищу, конец ее был еще на плотине.

— Кто бы это умер? Очень много идет народу,— сказал Курбан-ата.



На таком расстоянии ничего нельзя было разглядеть, кроме арбы в голове процессии.

— Хоронят не узбека, — снова сказал Курбан-ата. Казалось, его одного заинтересовали похороны. Но это только казалось.

Ишаки, почувствовав близость дома, и без того прибавили шаг, а теперь, понукаемые погонщиками, почти бежали. Машраб с Акмалем и Кучкаром, которые шли по бокам, готовые ему помочь, вышли к обочине, повернув на дорогу к кладбищу. Для узбекских похорон процессия шла слишком тихо, и покойника несли не в саване, а везли в гробу, на арбе. Ребята подошли к процессии, когда она уже вошла на кладбище.

— Кого хоронят? — спросил Кучкар.

Люди молча проходили мимо, и Кучкар снова спросил пожилого узбека:

— Кого хоронят, ата?

— Русскую учительницу...

Кучкар и Машраб в это время увидели впереди девочку из девятого класса и побежали на кладбище. Машраб сразу же запыхался, и его обогнал Акмаль.

— Посиди, Дивана, сейчас вернусь! — крикнул он.

Рядом с Машрабом на камне сидела старуха, она, очевидно, тоже устала и не могла дальше идти.

— Почему же она к мужу не уехала? — спрашивала старуха молодую женщину. Машраб очень хорошо ее знал. Женщина работала в сельпо и была в бригаде «интеллигентов».

— Не успела, — сказала она.

— Не успела! Муж ждет, а она не успела!.. Как болезнь называется? — Старуха говорила так, словно была недовольна поведением умершей.

— Двустороннее крупозное воспаление легких. Организм сильно ослаб от недоедания, она же блокаду перенесла в Ленинграде, — ответила женщина.

Старуха сказала:

— Не слышала такой болезни.

Мимо на кладбище проходили люди. Кто-то сказал:

— Ишак-караван вернулся.

— Когда?

— Сейчас встретил на плотине...

Старуха тяжело поднялась, опираясь на руку молодой, шаркая кавушами, пошла на кладбище.

Машраб окликнул женщину, спросил:

— Кто умер? — ожидая и боясь услышать ответ.

— А, Машрабджан! Вернулись? Гостья вашей бабушки умерла. Серафима Федоровна...

Машраб почувствовал, как у него задрожали ноги, и он как стоял, так и сел на обочине. Ничего неожиданнее и нелепее этой смерти невозможно было придумать. Сидел и подсчитывал, сколько дней они не были в кишлаке. То выходило, неделю, то полторы. Резало глаза, мысли путались, он чувствовал, что возвращается жар. Про себя он твердил одну и ту же фразу: «Вчера была жива, а сегодня умерла». Каким образом неделя в его сознании превратилась в один день, было непонятно.

Машраба нашла Мастура, потом Акмаль привел Муяссар.

Мастура спросила:

— Где Кучкар? Одни мы его не доведем...

— Кучкар остался с Ларисой,— сказала Муяссар.

— Правильно! Нельзя оставлять Ларису одну,— сказал Машраб.— Я тоже пойду к Ларисе.

Он попробовал встать. Его поддержали Мастура и Акмаль.

— Ты пойдешь домой,— сказала Мастура.

Пальцы Муяссар были горячие и чуть влажные, когда она взяла его за руку. Во всем теле была необыкновенная легкость, и ноги были легкие, и Машрабу казалось, что он куда-то летит. А со стороны было похоже, что он пьяный и его ведут по дороге Мастура и Акмаль.

— Не может быть, чтобы вчера человек был живой, а сегодня умер,— сказал Машраб.

— Он бредит,— сказала Муяссар.— Что же будет?

Машраб хотел сказать, что совсем не бредит, но ему лень было ворочать языком. Время от времени Машраб останавливался и делал попытку вернуться на кладбище.

— Зачем было в снег, в слякоть ездить в город? Столько горя, столько горя,— говорила Мастура.

— Она хотела быстрее отправить посылку,— сказала Муяссар.

— Не может быть, чтобы вчера человек был живой, а сегодня умер. Я должен взглянуть.— Машраб хотел повернуть к кладбищу, но Акмаль силой увлек его по дороге в кишлак.

Дома его уложили в постель, и Мастура поила его чаем, обняв одной рукой за плечи.

— Какую посылку отправляла Серафима Федоровна? — спросил Машраб.

Мастура и Муяссар переглянулись.

— В Ленинграде открылся после блокады институт, в котором работала Серафима Федоровна. В кишлаке собирали продуктовую посылку для преподавателей, — сказала Муяссар.

— А что было дальше? — спросил Машраб.

— Дальше? Серафима Федоровна повезла на арбе груз в город. Пока проверяли и оформляли посылку, пока вернулась в кишлак, мокрая и продрогшая, простудилась... А сейчас спи! С тобой посидит Муяссар!

После похорон дом Махир-буви притих. Лариса почти не выходила из комнаты. От отца пришла телеграмма. Он не мог приехать, выслал Ларисе документы и деньги на дорогу. Но ехать у Ларисы не было сил.

Машраб тоже лежал в постели, хотя на другой день после похорон жар спал и он чувствовал себя неплохо, только оставалась слабость. Врач сказал, что ничего страшного, просто сказалось переутомление и сильное нервное напряжение.

Связными между двумя домами были Акмаль, Муяссар и Кучкар. Кучкар появлялся и молча садился у постели Машраба. Он сильно похудел, обветренное, почерневшее лицо его возмужало, и весь он как-то изменился, поузрюмел. Через два дня он собирался проводить Ларису до Ташкента и уже взял у военкома Абубакирова разрешение отлучиться на несколько дней. Акмаль тоже приходил унылый, как в воду опущенный, хотя все складывалось в его семье неплохо: от отца пришло письмо, что документы уже получены и Ларисин отец хлопочет о его демобилизации. Машраб приглядывался к своим друзьям, и ему все казалось, что от него что-то скрывают. Через два дня, выйдя под вечер во двор, он поджидал друзей. Скучая, выглянул за калитку. Где-то в кишлаке наигрывали на бубне: банг, банг, гуж-банг.

Не успел Машраб дойти до айвана, как во двор торопливо вошли Кучкар с Акмалем. Обычно сдержанный, молчаливый, Акмаль был возбужден.

— Где вы пропадали? Что за праздник в кишлаке? — спросил Машраб.

— Свадьба Гульчехры. Этой пустозвонки! — сказал Кучкар.

Акмаль сел, но тотчас вскочил.

— Чего ты мечешься, чего мечешься? — закричал Кучкар. — Или плюнь на нее, или пойдем и отколотим Ядгарбека, тебе же легче будет.

Акмаль схватился руками за голову.

— Глупости — бить Ядгарбека. Это не поможет, да и гости не допустят, — сказал Машраб. — Если уже идти на свадьбу, то с дутаром. Придем и споем вероломной «Обманула-ушла». Если она хоть немного любит Акмаля и у нее есть совесть, мы уведем ее со свадьбы...

Кучкар искоса следил за Акмалем. Тот по-прежнему сидел, обхватив руками голову, но, кажется, внимательно прислушивался к словам Машраба.

— Ты же больной? — не то сказал, не то спросил Акмаль.

— Чепуха, я уже здоров!

— Молодец, Дивана! Хорошо придумал. Сделаем это дело, и я со спокойной душой уеду завтра в Ташкент.

— Я не пойду, — сказал Акмаль и как-то странно пошевелил длинным носом.

— Почему? — крикнул Кучкар. Акмаль молчал. — Ты что, пшена в рот набрал? Боишься обидеть эту вертихвостку?

— Да, боюсь!

— Ну и черт с тобой! Я пошел к Ларисе.

В дом к Махира-буви пошли втроем.

Кучкар хотел пройти прямо к Ларисе, но из гостиной вышла Махира-буви.

— Не ходи, сынок, — сказала она. — Лариса собирала вещи, а сейчас уснула. Пусть отдохнет перед долгой дорогой. Как ты себя чувствуешь, сынок? Не рано ли начал выходить?

— Хорошо, бабушка. Я уже совсем здоров.

— Когда ты уехал, я поставила немного проса на бузу. Думала, приедешь усталый, а буза из проса — лучшее лекарство. Идите в комнату, я сейчас.

Все трое уселись вокруг сандала, грея под одеялом ноги. Махира-буви внесла чугунный котел с дымящейся похлебкой.

— Где же буза, Махира-буви? — разочарованно спросил Кучкар.

— Сначала поешьте, а буза будет. — Она разлила в касы похлебку, вышла и вернулась с кувшином, который тоже поставила на сандал, и подала пиалушки.

Похлебка была горячей, и пили ее, обжигаясь. Кучкар

все время косился на кувшин. До этого никому, кроме него, не приходилось пить бузу — этот легко пьянящий напиток. Машраб налил себе пиалу и выпил. Что-то горячее, горячее похлебки, разлилось по телу, согревая душу. Кучкар и Акмаль тоже выпили. После второй пиалушки Машраб слегка захмелел. Если бы не убитый вид Акмаля, ему было бы совсем весело.

Когда он еще не был уверен в любви Муяссар,— а это было совсем недавно,— он любил представлять, как он вернулся с фронта в день свадьбы Муяссар. С верными друзьями и с дутаром он пошел к ней на свадьбу и спел «Обманула-ушла», и зачарованные гости слушали, затаив дыхание, а для Муяссар раскрылась глубина его любви, и она, сбросив венчальную фату, на глазах у всех бросилась в его объятия. После третьей пиалы бузы эта картина показалась Машрабу особенно трогательной.

— Послушай, Акмаль! Пойдем на свадьбу,— сказал Машраб.

— Конечно, толстяк, пойдем! Узнаешь, по крайней мере, любит она тебя или нет, и перестанешь мучиться.

Акмаль молчал, но по его блестящим глазам Машраб и Кучкар поняли, что буза сделала свое дело.

Они открыли окно, выходящее в переулок, и тайком от бабушки выбрались на улицу.

Ясное небо усыпали звезды, но все равно было темно. Лишь на дувалах и на крышах белел еще не растаявший снег. Там, где был дом Чавандаза, слышался бубен и шум свадьбы, а весь остальной кишлак точно вымер, будто своей тишиной не одобрял веселья.

Чем ближе подходили к дому, тем слышнее были глуховатые удары бубна: гуж-банг, банг, гуж-банг!

По дороге зашли к Машрабу и взяли дутар. Потом поднялись в центр кишлака и внизу, в проулке, увидели горящий костер.

— Кажется, невесту привезли,— сказал Кучкар и прибавил шагу.

Сад Чавандаза был расположен у подножия холма, вблизи старой крепости. Освещенный фонарями, подвешенными на ветвях деревьев, он выделялся в черном провале ночи. Фонари раскачивались, по саду ходили люди, и тени их металась между деревьями. Машраб прыгнул в сад и стал настраивать дутар.

— Надо так спеть, чтобы у гостей зарыдала душа, а у Чавандаза пробудилась совесть,— сказал он.

Машраб запел, и голос его, приглушенный волнением, дрожал:

Меня не оценят красавица та,  
покуда ее не настанут года...

Кучкар прибавил грустным басом:

Поймет опа, что меня сводит с ума,  
не раньше, чем сможет влюбиться сама...

Но голос Машраба и Кучкара перекрыл Акмаль: у него неожиданно оказался пронзительный тенорок.

Еще молода, уже не верна,  
в отчаянье я — не видит опа.  
И что ей все стоны, печаль или боль,  
покуда не знает, что значит любовь?..

Они шли по саду: Машраб, Кучкар и Акмаль. Люди у котлов с пловом приняли их поначалу за приглашенных на свадьбу певцов. Но когда они вышли к свету, откуда-то появился подвыпивший Кур-Шермат и долго смотрел на них.

— Это вы, мошенники? — спросил он.

Друзья не обратили на него внимания. Машраб самозабвенно пел. Он увидел в огне гостиной Барно в атласном платье, с волосами, заплетенными в одну косу. У Машраба даже пальцы задрожали, когда он ее увидел. Ритмично, с вибрацией щелкали струны дутара.

Чуть глянет — душа моя тает, слаба,  
промолвит — мне кажутся песней слова,  
и взор ослепляет лица белизна,  
пока его в косах не спрячет она...—

изливался в песне Машраб.

Барно качнулась и отошла от окна. На айван вышел Чавандаз, подошел к перилам.

— Это что такое? Что за безобразие? — крикнул он.

На айване появился Эртаев, а за ним подвыпившие гости. Эртаев подошел к Чавандазу:

— Кто здесь? Что за шум?

— Полюбуйтесь на них... Хотят расстроить свадьбу!

Эртаев слегка поклонился и заглянул вниз. Машраб стоял чуть впереди, задрал голову, а рядом вытягивали шею, чтобы лучше видеть, Кучкар и Акмаль. Эртаев смотрел на них, они на него.

— А-а... Старые знакомые! Выгнать и составить акт. Привлечем за хулиганство!

— Кучкар! Сыночек! Берегись! — крикнула Фатима.

Со стороны сада во главе с Кур-Шерматом выбежало человек семь. Дутар полетел в сторону. Руки Мапраба оказались заломленными за спину. Кучкар кого-то боднул головой. Акмаль перекинул через себя верзилу так, что слышно было, как он плашмя ударился спиной о землю. Но все оказалось напрасным, и друзья опомнились, когда за ними захлопнулась калитка и они оказались в темном переулке между двух высоких дувалов. Каждый из них по очереди пнул калитку ногой.

— Выйдем — ноги переломаем! — пообещал с той стороны Кур-Шермат.

Хмель от бузы выветрился. Слышно было, как уходили от калитки, смеясь и разговаривая, гости во главе с Кур-Шерматом.

Камил и Инобат возвращались из города с заседания райисполкома. Временами срывался снег, засыпал дорогу и таял, перемешиваясь с грязью. За холмом Караул-тепа лежали голые, пустынные поля, белели островками пласты снега, сиротливо стояли в борозде брошенные сеялки, напоминающая, что сев озимых еще не окончен.

Об этом говорили и на исполкоме. В сообщении Эртаева это звучало так, что нерадивые, неоперативные руководители колхозов сорвали дело огромной государственной важности. Эртаев все свел к тому, что по вине Камилла и Инобата стране и армии грозил голод. Были колхозы, которые даже не начинали сев из-за того, что не было семян. Но, по словам Эртаева, выходило, что все зло в колхозе «Путь Ленина».

На заседании исполкома был Умаров.

— Мрачную картину нарисовал нам товарищ Эртаев, — сказал он. — Давайте думать, как выправить положение.

Слово попросил Камил.

— Эртаев, — он нарочно не произнес слова товарищ, — говорил о нерадивых, неоперативных руководителях. Но кто же он сам?

Камил удивлялся спокойствию, с которым произносил слова. Он смотрел прямо перед собой и говорил то, что хорошо продумал и взвесил в эти дни.

— В то время, как рядовые люди самоотверженно трудятся, Эртаев только и делает, что понукает их. Люди для него ишаки, которых сколько бьешь, столько едешь. Мне

говорят: нужны факты, доказательства. Все у нас в кишлаке знают, что Эртаев развратничает с женой фронтовика. Мне говорят: докажите! Назвать улицу и номер дома, где они встречаются?

— Та, о которой вы говорите, будет моей женой! — крикнул Эртаев.

Умаров бросил на него быстрый взгляд. Камил продолжал, будто ничего не слышал:

— Эртаев поддерживает воров, помогает укрывать от армии нужных ему людей, посылая взамен их других. Мне говорят: это случайная ошибка, к которой Эртаев не имеет прямого отношения. Почему так защищают Эртаева? Говорят, он умеет работать. Что значит работать? Погонять? Многие здесь сидящие помнят, как Эртаев настаивал на дополнительных поставках. Но что он сделал, чтобы вовремя был завезен семенной фонд?

— Надо было раньше поехать за семенами, и вы бы не сорвали посевной, товарищ Джалалов! — крикнул Эртаев.

Камил и Эртаева прервал Умаров:

— То, что вы говорите, очень серьезно, товарищ Джалалов. Бюро райкома обязательно этим займется. Но сейчас поставлен вопрос о срыве сева. Мы не имеем права уклоняться от его решения. В этом товарищ Эртаев прав. — Умаров говорил очень тихо и спокойно, тем самым подчеркивая категоричность сказанного и заранее предупреждая возможную перепалку.

Камил вытер мгновенно вспотевший лоб и сел.

Инобат повернула коня с дороги. Иноходец ступил передними ногами на набухшую влагой пахоту, рванулся и, не слушая повода, вынес Инобат на дорогу. Инобат и Камил спешили, прошли несколько шагов, увязая в пахоте.

— Что же делать, Камилджан? Сеять нельзя!..

Камил сжал горсть земли, выжимая влагу.

— Может быть, подсушит ветром... Но все равно, если земля не согреется, зерно сгниет...

— Когда всем плохо, сироте хуже всех, — сказала Инобат. — Обычно в это время еще бывает тепло.

Они пошли к дороге, тяжело переставляя ноги с налипшей на сапоги грязью.

Всю дорогу до кишлака ехали молча.



## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кучкар с Ларисой уехали. Акмаль после неудачной попытки расстроить свадьбу Гульчехры не выходил из дома. Машраб и Муяссар бродили вдвоем по улицам, и кишлак казался им пустым. Стояли ветреные холодные дни. Листья облетели, голые деревья стучались на ветру холодными, мокрыми ветвями. На плотине шумела вода, и в голых тополях чернели пустые гнезда аистов. Машраб и Муяссар чувствовали себя покинутыми.

— Чего мы повесили носы? Бывают же временные неудачи? Сколько месяцев Красная Армия отступала, а зато как теперь рванулась вперед! — говорил Машраб.

— Конечно, — соглашалась Муяссар. Но все равно обоим было грустно.

Когда они приходили к Акмалю, тетушка Салия встречала их слезами.

— Что она сделала с моим сыном, проклятая! — говорила она и поднимала к небу худые руки.

Акмаль отмалчивался и только уныло морщил длинный нос. Было непонятно, рад он или не рад приходу друзей. Машраб не выдержал, сказал:

— Что ты раскис? Кроме Гульчехры, девушек нет?

— Наверно, есть, — ответил Акмаль. — Кроме Муяссар, тоже есть девушки, но тебе же они не нужны!

Машраб быстро оглянулся: слышала Муяссар или нет? Она играла в другом конце комнаты с младшей сестренкой Акмаля.

— Пройдет год, и ты сам будешь удивляться, что горевал из-за этой пышки, — нарочно громко сказал Машраб.

— Наверное, так и будет, — покорно согласился Акмаль.

От покорности Акмаля Машраб совсем расстроился.

Вышли на улицу. Машраб сказал:

— Теперь я понимаю, почему Кучкар всегда не любил Гульчехру.

— Ты не ответил Акмалю на его вопрос, — сказала Муяссар.

— Ты же не Гульчехра!

— Дура я, совсем дура, — сказала Муяссар. — Упрекаем Акмаля, а сами раскисли...

Она робко притронулась к руке Машраба, и он сжал ее пальцы.

Всю неделю кишлак жил ожиданием: ждали повесток призывникам. Ждали, чем кончатся неприятности, нависшие над Инобат и Камплом.

Инобат каждое утро уезжала в степь. В степь она ехала рысью, камчой торопя ипоходца, а назад возвращалась шагом, и те, кто встречал ее, понимали: сеять нельзя! Прямо из степи она шла к Камплу и только потом приходила в правление.

Камил, с тех пор как вернулся из поездки за семенами, все время побаливал. На совещании в исполкоме он сидел с температурой, пересиливая недуг, но, когда вернулся домой, слег.

Машраб и Муяссар каждый день навещали его. Камил оживлялся, становился веселым.

— А-а, комсомол и поэзия! — говорил он. — Хорошее содружество!

Муяссар сначала смущалась, потом привыкла.

— Камилджан, что же это такое? Эртаев здоровый, а ты больной?! — говорил Машраб.

— Он как яблоко, снаружи здоровое, а внутри червивое. А я только снаружи больной, а внутри здоровый. Меня на трех Эртаевых хватит, — отшучивался Камил.

— Как же так получается? Почему процветают такие люди, как Чавандаз, Эртаев?

— Милые мои, когда народ занят тяжелой борьбой, где-то на задворках всегда появляется всякая нечисть: людям не до нее, — сказал Камил. — Погодите, кончится война, вернутся фронтовики, и от Эртаевых пух полетит.

— Когда вернутся и кто? На фронте гибнут лучшие люди! — сказал Машраб.

— Спасибо, Машрабджан. Значит, я — самый худший... — Камил засмеялся.

— Я не так сказал! — Машраб покраснел.

— Ничего, ничего, Машрабджан. Хороших людей больше, чем плохих. Всех не перебеешь!

Ночью Машраб проснулся оттого, что в соседней комнате с кем-то разговаривала Гульсум-апа.

Он лежал и никак не мог догадаться, кто этот человек, который так ласково говорит с матерью.

— Я понимаю, как вам нелегко, Гульсум-апа. Но я никогда не сомневался в вас, — говорил мужчина.

— Разве обо мне речь? Я боюсь за детей. В таком возрасте юноши чутки к малейшей несправедливости.

— Мы были неамного старше их, когда устанавли-

вали здесь советскую власть. А взрослеть всегда трудно. Зато в трудностях вырастают настоящие мужчины!

Машраб появился на пороге комнаты, щурясь от света. За сандалом сидел майор с двумя орденами и держал в руках пиалу с чаем. Из-под воротника гимнастерки выглядывал бинт. Машраб узнал отца Кучкара.

— А-а, джигит! Подойди-ка, подойди поближе к свету... Наша порода, Гульсум-апа. Вылитый Агзам! А вы боитесь!..

— Правда, похож на Агзама? Вы тоже это заметили? — спросила Гульсум-апа. Очень довольная, она посмотрела на Машраба.

— А моего, к сожалению, нет. Жаль, я не знал, что он в Ташкенте. Трудно сейчас оттуда выбраться...

— Не беспокойтесь, Клыч-ака. Кучкар не из тех, кто пропадет. Если бы он знал, что вы здесь! — сказал Машраб.

Клыч засмеялся.

— А вот Гульсум-апа за вас боится, — сказал он.

Клыч шел по улице, а у него за плечами, как верные телохранители, маячили Машраб и Акмаль. Весть о том, что с фронта вернулся отец Кучкара, облетела кишлак. Из калиток выглядывали и почтительно здоровались женщины. Старики выходили, чтобы пожать Клычу руку и обменяться словами приветствия. Над дувалами торчали головы ребятшек, они никогда еще не видели майора, самым крупным военным чином, преезжавшим в кишлак, был капитан Абубакиров.

К ночи повернул ветер, и казалось, в кишлак снова вернулось лето с его теплом и солнцем. Только пустые гнезда аистов в голых тополях напоминали о зиме.

Возле плотины Клыч сказал:

— Хоп! Вы, ребята, идите. Я хочу один побродить.

Машраб и Акмаль присели на плотине, греясь на солнце, и смотрели, как Клыч шел по улице в правление колхоза.

Он поравнялся с кладбищем, обогнул мечеть — места, памятные по годам гражданской войны. Вернулся к дому, где провел детство. Прав ли он был, покинув эти места? Сейчас это уже не имело значения. Надо было решать, как поступить теперь, принимать предложение обкома оставаться в районе или нет. Когда-то он уехал отсюда, потому что не мог пережить измену жены. Но то все личное, давно приглушенное временем...

Клыч снова вышел к плотине. Издалека увидел сидя-

щих на солнце Машраба и Акмаля, помахал им рукой, и они вскочили, готовые следовать за ним. Он засмеялся. Эта готовность ребят как-то сразу решила все его сомнения. Он свернул в проулок и вышел к правлению.

В правлении Инобат собрала стариков и советовалась, можно ли начинать сев. Одни старики, во главе с Курбаном-ата, считали, что, раз снег растаял и светит солнце, можно сеять, другие сомневались, говорили, что земля холодная и зерно погибнет.

Инобат обрадовалась приходу Клыча.

— Что вы посоветуете, Клыч-ака? — спросила она и лукаво прищурилась.

— Откуда мне знать такие тонкости, я человек военный, Инобатхон! Наверно, лучше запросить совет районного начальства...

— Вот я и спрашиваю вас, Клыч-ака...

Клыч засмеялся. Кажется, Инобат уже знала о предложении, которое ему сделали в обкоме.

— Я бы подождал пару деньков, пока согреется земля, — сказал он.

— Спасибо, Клыч-ака, так и сделаем. Хочу поделиться с вами радостью. Получила письмо. Через пару дней приезжает Палван.

— Э-э... Это не только ваша радость, Инобат! Слетаются соколы!..

В кабинет вошел Камил. Раненая рука его была туго забинтована, щеки ввалились, а глаза блестели, как бывает при высокой температуре. Увидев майора с золотыми погонами, он смутился.

— Не узнаете, Камилджан?

— Как же не узнаю, Клыч-ака? Здравствуйте. Очень хорошо, что приехали.

Он неловко протянул левую руку, и Клыч долго ее не отпуская.

— Опять ходишь с температурой, Камилджан? Что мне с тобой делать? — спросила Инобат.

Камил достал из кармана гимнастерки сложенное треугольником письмо.

— Как я мог не прийти? Вот, читайте, — сказал он.

Клыч сидел ближе всех к нему и взял письмо. Оно было написано простым карандашом, некоторые буквы стерлись. Клыч некоторое время читал про себя, с трудом разбирая слова, потом сказал:

— Э-э... Такое письмо надо читать вслух...

«Уважаемому и дорогому нашему брату Камилджану Джалалову. Пусть станет известным, что мы, Эшмат, сын Мумина, кушая здесь посланный богом хлеб насущный, вот наконец прибыли на фронт и просим аллаха, чтобы вы были живы-здоровы.

Дорогой брат мой, Камилджан!

Так уж, видно, на роду написано — сегодня ли, завтра мы идем в самое пекло. Сами вы знаете, что такое война. Вернусь ли живым, увидимся ли мы с вами — суждено знать одному аллаху. Но у меня на душе есть одна невысказанная исповедь.

Пусть простит меня всевышний, братец Камилджан, сделал я много недобрых дел, много натворил зла. Вместо меня отправили в трудовой батальон Эшмата-ака. А я нужен был здесь. Я занимался воровством колхозного добра, сводничал, жульничал, жил в свое удовольствие. Но сам аллах свидетель, дорогой братец, я делал все не столько для себя, сколько для Эртаева и Чавандаза. Что бы я ни добывал, все уходило в их ненасытную утробу. Мне они обещали: спасем тебя от фронта. А я, смертный, вскормленный на сыром молоке, поверил. Но когда случилась беда, во всем оказался виноват я, они остались беленькими, как хлопок. Вы можете спросить меня, братец Камилджан, какая моя цель? Почему я признаюсь в этом теперь? А вот какая. Если останусь жив, сам поговорю с этими подлецами, а если умру, пусть не останутся злодеи без наказания и пусть не уйдет вместе со мной в могилу моя боль...»

Старики переглядывались, качали головами. Курбан-ата вскочил и снова сел.

— Дальше идут душеспасительные излияния и просьба не оставлять без присмотра детишек,— сказал Клыч и сложил письмо.

— Когда грабили крестьян, Чапаев стрелял за мародерство.— Курбан-ата встал, надел фуражку.— Дай мне письмо, Клыч! Я пойду поговорю с Чавандазом,— сказал он.

Клыч положил письмо в карман гимнастерки.

— Нет, Курбан! С Чавандазом буду разговаривать я! И не только с ним...

Старики еще сидели у Инобат, молчаливые и растерянные, а сторож уже докладывал в кабинете Чавандаза:

— Пришел Клыч-ака! Велел доложить.

— Какой еще Клыч-ака?

— Тот самый... Майор, герой войны, о котором весь кишлак говорит...

— Зачем пришел? Что ему надо?

— Это вы у него спросите, раис-ака,— сказал сторож и пошел к двери.

Чавандазу показалось, что сторож усмехнулся. Не надо было, конечно, притворяться, что он не знает, кто такой Клыч, когда со вчерашнего дня только и думал о его приезде.

Чавандаз вышел на середину комнаты в шапке из коричневой смушки, с камчой в руке. Пусть видит, что для долгих разговоров нет времени.

Клыч вошел, поздоровался, но Чавандаз словно не слышал приветствия, смотрел на орден и нашивки о ранениях на гимнастерке гостя. «Если бы иметь хоть один орден, одну нашивку, я бы знал, как с тобой разговаривать»,— подумал он.

— Я пришел поговорить с тобой, Халмат-бай,— сказал Клыч.

Обращение «бай» немного успокоило. Во всяком случае, Клыч, видимо, понимает, что значит общественное положение председателя кишлачного Совета.

— Очень хорошо, Клыч... Я сам хотел зайти. Потом подумал: будет ли вам это приятно? И Гульсум-апа, у которой вы остановились, не очень меня любит...

— Прощлым делам прощение! — перебил Клыч.— Прочти-ка для начала это письмо...

Клыч бросил письмо Эшмата на стол.

Чавандаз с минуту смотрел на письмо, потом снял шапку, сел за стол. Клыч тоже присел к столу, не спуская с Чавандаза глаз. Чавандаз читал, а Клыч изучал его поплиевшее лицо с двойным подбородком, морщины на щеках с залысинами лбу. Лицо хмурилось, на мгновение Чавандаз поднял глаза, и Клыч уловил в них выражение затравленности. Чавандаз продолжал читать, и на губах его играла злобная улыбка.

— Ложь, клевета! — крикнул он и хотел разорвать письмо, но Клыч перехватил и сжал его руку.

Оба медленно поднялись, в упор глядя друг на друга. Чавандаз неожиданно усмехнулся.

— Послушай, Клыч-бай! Я не думал, что ты стал за эти годы провокатором. Собираешь мелкие факты? Лучше скажи прямо: мстишь за Фатиму?! — Чавандаз разжал кулак, и письмо упало на стол.— Этим письмом займется

прокуратура. Саморазоблачение вора. Он решил оклеветать Эртаева за то, что тот пресек его хищения. Неблаговидными делами занимаетесь, товарищ майор!

— Ловко! — Клыч засмеялся. — Понятно, почему ты столько лет процветаешь! Но теперь все, Халмат-ака, теперь твоя наглость тебя не спасет. В одном могу тебя утешить: отвечать будешь не один, вместе с твоим покровителем Эртаевым!

Когда Клыч вышел, в коридоре почему-то оказался сторож.

— Поговорили, Клыч-ака? — спросил он.

— Поговорили, отец!

— Вот и хорошо, а то они тут совсем распустились.

Из-за дувалов пахло пловом. Все кишлячные собаки бродили по улицам и облизывались. Накануне седьмого ноября кончили озимый сев, и колхозникам выдали по килограмму риса и по два килограмма бараннины. Призывники получили повестки, и к праздничному настроению прибавилась горечь расставания. Но всю полноту этой горечи испытывали только матери. Сами призывники после проводов, которые устроил колхоз, собрались на свою вечеринку и всю ночь веселой ватагой бродили по кишлаку, пугая собак. Давно уже кишлак не был таким шумным и оживленным.

Махира-буви с молодых лет славилась умением варить плов.

— Я уже забыла, когда в последний раз варила плов, — говорила Махира-буви, помешивая в казане баранину.

Гости собрались в гостиной. Пришли Клыч с Кучкаром: после возвращения Кучкар как тень ходил за отцом. Пришли Инобат с приехавшим Палваном. Когда она вошла в гостиную рядом со своим громадным мужем, видно стало, какая она маленькая и худенькая.

Впервые в жизни Машраб и Кучкар сидели вместе со взрослыми. Захмелевший Курбан-ата поманил пальцем Машраба и вышел с ним на айван.

— Ты молодец, — сказал Курбан-ата. — Ты пошел по дороге отца и напомнил мне мою молодость...

Машраб слушал и не мог понять: неужели только для того, чтобы сказать это, старик увел его сюда?

Сердце гулко билось от волнения.

Курбан-ата долго кашлял. На глазах у него выступили слезы. Он глубоко дышал, чтобы успокоиться.

— Ты, кажется, знаешь мою дочь, — сказал он. — Ме-

жду прочим, она неплохая девушка. Умница, комсорг. Ну и красивая. Так, по крайней мере, мне говорят... Одним словом, запомни: до твоего возвращения буду гнать к шайтану всех сватов.

Машраб не знал, что ответить, а Курбан-ата и не ждал его ответа. Старик повернулся и пошел к гостям.

Муяссар с женщинами обслуживала гостей. Пробегая с подносом мимо Машраба, она не подняла на него глаз.

Когда Машраб вернулся в гостиную, Гульсум-апа спросила:

— Где ты пропадал, сынок? Садись.

Кто-то сказал:

— Клыч-ака хочет говорить...

Клыч поднялся с пиалой мусалласа.

— Друзья мои, давно мы не собирались вместе... Мы уже выпили все, что положено, за наш светлый праздник. Теперь выпьем за здоровье и счастье наших сыновей. Им предстоит трудное испытание. Они будут добивать на фронте врага. Но и мы, их отцы, не будем сидеть здесь без дела. К их возвращению мы должны очистить наш воздух от карьеристов, стяжателей, которые присосались к советской власти, к партии... И мы это сделаем, обещаем это вам, сыновья!..

— Сделаем! — пробасил Палван.

Курбан-ата вскочил, расплескивая вино.

— Они доказали, что могут называться даже чапаевцами!

Инобат сказала:

— Спасибо вам, мальчики! Вы уже немало сделали. Теперь вам осталось самое трудное. Пусть вам будет удача...

— Э-э, какие же они мальчики! Они заслужили право называться мужчинами! — крикнул Камил.

Машраб и Кучкар только переглядывались: они никогда не слыхали столько похвал и не знали, как к ним относиться.

Машраб искал повод, чтобы заговорить с Муяссар, но она, появляясь в гостиной, даже на него не смотрела.

Когда внесли плов, пришел Акмаль. Камил увидел его, сказал:

— Вот еще один славный джигит. Иди садись.

Акмаль неуклюже присел, подбирая под себя ноги. Он был грустен, и его длинный нос уныло нависал над губой.

— Хорошо, что ты пришел, Акмальджан, — сказал Ка-



мил.— Произошли некоторые изменения. Ты не едешь в армию. Решено тебя послать на курсы механизаторов. Весной предстоит много работы...

— Эту новость надо было говорить не ему, а его матери — смотрите, он совсем пос повесил,— засмеялась Инобат.— Ничего, сынок, во время посевной у трактористов будет работы, как на фронте.

Машраб увидел на айване Муяссар. Она стояла и смотрела во двор, прижавшись лбом к резному столбу. Воспользовавшись тем, что гости отвлеклись разговором о будущем Акмаля, Машраб вышел.

— Муяс,— тихо позвал он и тронул девушку за плечо.

— Не подходи, ты пьяный!

— Кто пьяный?

— Ты пьяный со вчерашней вечеринки. У тебя не было времени поговорить со мной...

— Хорошо, я виноват, я очень виноват. Но разве время сейчас сердиться? Уйдем отсюда...

Но уйти им не дали. Мастура окликнула Муяссар, и та убежала.

Только на рассвете, когда гости стали расходиться, Машраб увел ее на плотину.

— Послушай, Муяссар, почему ты на меня не смотришь?

— Я вас боюсь...

— С каких это пор ты стала говорить мне «вы»?

— С тех пор, как вы стали на меня так смотреть...

— Как?

— После того как вас назвали мужчиной, вы стали на меня смотреть не так, как раньше...

По дороге проехала арба, вторая... Арбы выезжали из переулка и, скрипя высокими колесами, проезжали к правлению. На этих арбах через два часа должны были везти в город призывников. Машраб увидел испуганные глаза Муяссар. Запершило в горле. Неужели его убьют и он никогда больше не увидит кишлака, не будет стоять на этой плотине под тополями с опустевшими гнездами аистов, никогда больше не увидит Муяссар?.. Машраб вздохнул, будто глотнул воздуха. Нелегко быть мужчиной... Но почему-то все мальчики торопятся повзрослеть...



---

## ПРИМЕЧАНИЯ

**Абдурахман-парри** — повелитель мифических существ, обитающих на сказочной горе Каф.

**Айван** — терраса при доме, навес.

**Аконит** — ядовитое лекарственное растение.

**Аксакал** — букв.: седобородый; старейшина, пожилой уважаемый человек.

**Али** — зять пророка Мухаммеда и первый его преемник на халифском престоле.

**Алиф** — первая буква арабского алфавита, имеющая вид вертикальной черты; символ стройности.

**Алмазар** — улица в Ташкенте.

**Альер** — песенка, исполняемая с чашей в руке, в качестве тоста на свадьбах, пиршествах.

**Альчик** — косточка из коленного сустава барана или теленка; используется как игральная кость.

**Амиркан** — искаженное «Америка».

**Афанди** — букв.: господин; здесь имеется в виду Ходжа Насреддин, прославленный герой народных анекдотов.

**Ахмадий** — см. мухаммадий.

**Ашчки** — игра в кости.

**Балахона** — легкая надстройка над первым этажом.

**Батман** — мера веса, колебавшаяся в разных областях Средней Азии от двух до одиннадцати пудов.

**Батман-батман** — вид борьбы.

**Баурсак** — круглые кусочки теста, обжаренные в масле.

**Бува** — литературная форма «баба» или «бобо» — дед, бабушка.

**Буви** — бабушка; обращение к пожилой женщине.

**Буз** — грубая хлопчатобумажная ткань кустарного производства.

**Буза** — алкогольный напиток, изготавливаемый из проса, мелкого риса и т. п.

**Встретить мать в Учкургане.** — Выражение, соответствующее примерно русскому «узнать, где раки зимуют». В тексте — игра слов.

**Гассал** — человек, который занимается обмыванием покойников.

**Гог и Магог** — легендарные племена, которые, по представлениям древних и средневековых географов, обитали где-то далеко на Востоке.

**Гуза** — недозревшая хлопковая коробочка.

**Гузапая** — стебель или кусты хлопчатника, с которых спят хлопок. Используется как топливо.

**Дарбаза** — ворота.

**Дастархан** — букв.: скатерть. Переносное значение — само угощение, которое раскладывается на скатерти.

**Деванбеги** — квартал в старом Ташкенте.

**Дервиш** — мусульманский нищенствующий монах.

**Джабраил** — библейск. Гавриил; ангел, посланец бога.

**Джида** — лох восточный, узколистный, дерево со съедобными терпкими плодами.

**Джинн** — злой дух.

**Джинни** — сумасшедший, одержимый.

**Джугара** — сорго, злаковое растение, так называемое «африканское просо».

**Джума** — пятница, последний, праздничный день недели у мусульман.

**Дпвана** — юродивый, тронутый, одержимый, бесноватый.

**Домла** (лит. «домулла») — учитель, почтительное обращение к образованному человеку.

**Дувал** — забор, как правило, глинобитный.

**Дул-Дул** — знаменитый скакун из народных сказок.

**Дума** — видимо, от русского «дума», приставка к имени, означающая, что человек занимает выборную должность.

**Ёр-ёр** — название свадебной песни.

**Жулан** — певчая птица из семейства сорокопутов.

**Зомм** — мифический зверь.

**З у х р а** — название планеты Венера.

**И м а м** — настоятель мечети, руководящий молитвой.

**И м б и р ь** — тропическое травянистое растение, содержащее эфирные масла. Из его корневища добывается одноименная пряность.

**И р а н да Ту р а н.** — Устойчивое фольклорное словосочетание, употребляемое в тех случаях, когда хотят дать представление о больших пространствах. Используется в перечислении наряду с другими аналогичными словосочетаниями, например, Чин и Мачин, Маймона и Майсара и др. Такое перечисление обозначает как бы «весь свет» или «со всего света». Иран — государство в Азии. Туран — область в Средней Азии к востоку от Каспия, заселенная тюркоязычными народами.

**И р б и т** — город в Сибири, где, начиная с XVII в., проводились крупнейшие ежегодные ярмарки. Расцвет ирбитской ярмарки — конец XIX в.

**И с а б л а ж е н н ы й** — Иисус Христос; у мусульман почитается как пророк, обладавший даром воскрешения мертвых.

**И с к а н д е р З у л к а р н а й н** — букв.: Искандер Двурогий — Александр Македонский. По восточному преданию, построил громадную стену для защиты от вторжения варварских племен Гога и Магога. Иногда с этой мифической стеной путали Великую Китайскую стену.

**«И с т о р и я п р о р о к о в».** — Видимо, речь идет о книге житий мусульманских святых и пророков, принадлежащей перу Рабгузи (конец XIII — начало XIV в.).

**И ч и г и** — сапожки без твердого задника и каблука, с мягкой подошвой; носятся с кавушами или калошами.

**И ч к а р и** — внутренняя часть дома, где помещались женщины и дети.

**И ш а н** — духовный наставник мусульман, глава религиозной общины.

**К а а б а** — букв.: куб; мечеть в Мекке, кубической формы, где находится главная святыня мусульман — Черный камень, глыба метеоритного происхождения.

**К а в у ш и** — кожаные калоши.

**К а з и й** — судья, судивший по законам шархата.

**К а з ы** — колбаса из конины.

**К а л а н д а р** — странствующий дервиш.

**К а п п а н** — название квартала в старом Ташкенте.

**К а р а т а ш** — улица в Ташкенте.

**Карнай** — музыкальный инструмент, большая медная труба.

**Карнайчи** — музыкант, играющий на карнае.

**Касыда** — поэтическое произведение хвалебного жанра, ода.

**Каф** — сказочная гора на Кавказе.

**Кашгарское восстание** — восстание в Кашгарии в конце XIX века против китайского владычества.

**Кепчик** — обод, с одной стороны обтянутый кожей; служит для просеивания зерна.

**Контор** — искаженное от слова «конторщик».

**Крапивная лихорадка**. — Считалось, что заболевший крапивной лихорадкой, чтобы вылечиться, должен дать ишаку овса, стоя к животному спиной.

**Кураш** — национальный вид борьбы.

**Кургаптаги** — название квартала в старом Ташкенте.

**Курганча** — небольшая крепость или просто усадьба, обнесенная стеной.

**Курпача** — узкое ватное одеяло, подстилка.

**Курт** — высушенные шарпки из сюзумы.

**Кыбла** — сторона, где расположена Кааба, туда мусульмане поворачиваются лицом во время молитвы.

**Лагман** — лапша без бульона с мелко рубленными поджаренными мясом и овощами.

**Мадаха** — рассказчик священных историй, проповедник.

**Маджоми** — площадь для молитвенных собраний в старом Ташкенте.

**Мазандаран** — область в Северо-Восточном Иране, южный Прикаспий.

**Маймонада Майсора** — см. Иран да Туран. **Маймона** — город в Афганистане, **Майсора (Майсор)** — область в Индии.

**Маккатулла** — букв.: золотая Мекка.

**Малля-хач** — кокандский правитель.

**Манты** — крупные пельмени, приготовленные особым образом и сваренные на пару.

**Матрап** — сачок с длинной ручкой для ловли перепелок.

**Махалля** — городской квартал, одна из городских общин; микрорайон.

**Маш** — бобовое растение с мелкими круглыми зернами темпозеленого цвета.

**Машкичирри** — каша из маша и риса.

**Машраб (1657—1711)** — поэт-вольнодумец; за смелые обличения угнетателей народа повешен в Балхе. Позже стал символом духовной одержимости.

**Ма ш х у р да** — похлебка из маша и рисовой сечки.  
**Мед р е с е** — мусульманское духовное училище.  
**Мек ка и Ме ди на** — священные города мусульман; пахотятся в Саудовской Аравии.

**М и п ди - м и н ди** — детская игра в верблюдов.

**Му дар ри с** — преподаватель медресе.

**Му с ал л а с** — сорт крепленого вина.

**Му с та фа** — см. мухаммадий.

**Му х а м ма д и й** (см. также ахмадий, мустафа) — дервишеский орден. Калаидары из Ишанбазара были одеты в «сборную» одежду, какую носили дервиши разных орденов.

**М ю р и д** — последователь, ученик пшана, шейха, пира.

**На ма з** — обязательные мусульманские молитвы, совершаемые пять раз в день: бомдод (утром), пешин (в полдень), аср (перед заходом солнца), шам (после захода солнца), хуфтон (перед спом).

**На с, на с в а й** — способ приготовленная табачная смесь, закладываемая под язык.

**На у р у з** (Новруз) — мусульманский Новый год (совпадает с днем весеннего равноденствия, 21 марта).

**Н и ш а л да** — сладкое блюдо из взбитых яичных белков с сахаром и мыльным корнем.

**На к ы р** — мелкая медная монета; соответствовала двум копейкам.

**П ал в а н** — богатырь, борец, силач.

**П а ч ч а** — почтительное обращение к мужчине.

**П а ш а х а н а** — полог для защиты от мух и комаров.

**П и р** — духовный наставник, глава религиозной общины.

**Р а й х о н** — душистый базилик.

**Ра ма за н** — название девятого месяца мусульманского лунного календаря; в течение этого месяца мусульмане соблюдают пост (уразу).

**Са г ра** — шагреп, твердая кожа особой выделки.

**Са н л** — народное гуляние.

**С ай ра м с к а я о б л а с т ь** — пыне Сайрамский район Чимкентской области (Южный Казахстан).

**С а л о м, с а л а м а л е й к у м** — букв.: «да будет мир над вами»; распространенное на Востоке приветствие.

**С а м с а** — печеный пирожок с мясом или овощам.

**С а р а т а н** — четвертый месяц мусульманского солнечного

года; соответствует периоду от 22 июня до 21 июля — самое жаркое время лета.

**Сахарлик** — еда, которую принимают перед восходом солнца во время поста.

**Сират** — по мусульманским представлениям, тонкий, как волос, и острый, как бритва, мост через адскую бездну, ведущий в рай. Пройти по нему могут лишь праведники, не отягощенные грехами.

**Сулейман** — библейск. Соломон, почитаемый мусульманами в качестве пророка, повелевающего миром духов и миром животных; цирюльники считали его своим покровителем.

**Сунбула** — шестой месяц мусульманского солнечного года (от 22 августа по 21 сентября).

**Сундук-бахши** — граммофон.

**Супа́** — глиняное возвышение в саду или во дворе, устроенное для отдыха.

**Сурп** — деревянная кровать типа нар.

**Сурнай** — народный музыкальный инструмент типа флейты.

«**Суфи Аллаяр**» — книга стихов популярного религиозного поэта Суфи Аллаяра, служившая в мусульманской начальной школе книгой для чтения.

**Суфи** (или **муэдзин**) — служитель мечети, призывающий к молитве.

**Сюзане** — коврик типа гобелена из гладкой материи с вышивкой, который вешают на стену.

**Сюзьма** — отжатая простокваша.

**Табиб** — знахарь, лекарь.

**Таксыр** — господин.

**Танап** — здесь: мера площади. В разных районах Средней Азии была различной: от одной шестой до половины гектара.

**Тандыр** — глиняная печь для выпекания лепешек.

**Тандыр-кебаб** — рубленый шашлык, приготовленный в тандыре.

**Таньга** — серебряная монета достоинством в 15 копеек в Бухаре, 20 копеек — в Ташкенте и Фергане.

**Ташкари** — наружная, граничащая с улицей часть дома.

**Теша** — маленький топорик.

**Той** — пиршество по случаю обрезания, свадьбы и т. п.

**Улак** — козлодрание, конноспортивное состязание, участники которого вырывают друг у друга козлиную тушу. Выигрывает тот, кто сумеет привезти тушу к финишу.

**У л е м а** — верхушка мусульманского духовенства.

**У с м а** — растение, которое содержит красящее вещество, употребляемое для окраски бровей.

**«У с т о д и А в в а л»** — учебник для начальной мусульманской школы.

**Ф а т и м а** — дочь пророка Мухаммеда.

**Х а д ж** — паломничество в Мекку.

**Х а д ж и** — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

**Х а д ж и - Р у ш п а н** — место в старом Ташкенте.

**Х а п т** — мусульманский праздник после поста — уразы.

**Х а л - п а р а н г** — прозвище (Хал — имя собственное, паранг — шелковая блестящая материя), которое свидетельствует, что человек, его носящий, был ткачом высокой квалификации.

**Х а с а н и Х у с а н** — внуки пророка Мухаммеда, близнецы.

**Х а с т и - У к к о ш а** — мечеть в Ташкенте.

**Х а у з** — искусственный пруд, водоем.

**Х а ф и з** — певец.

**«Х а ф т и к»** — (букв.: одна седьмая) — избранные места из Корана. Книга служила учебником в мусульманской начальной школе.

**Х а ш а р** — добровольная общественная взаимопомощь при каких-либо работах.

**Х о р а с а н** — область, занимавшая в средние века часть территории нынешних Ирана и Афганистана; была самостоятельным государством.

**Х у д ж р а** — маленькая компатка, колья в медресе.

**Х у м** — большой глиняный кувшин для хранения воды.

**Х у м д а н** — печь для обжига кирпича и глиняных изделий.

**Х у р д ж у н** — переметная сума из ковровой ткани.

**Х у р и л и к а** (букв.: красавица, волшебница, фея).— Речь идет, видимо, о популярной народной книге «Хамро и хурилика».

**Ч и г а т а й - д а р б а з а** — один из городских ворот Ташкента.

**Ч п л и м** — кальян, прибор для курения табака через воду.

**Ч и н и М а ч и** — название территории, включавшей Южный Китай, Тибет, Туркестан, возможно — и Индокитайский полуостров.

**Ч у л п ы** — казахское женское серебряное украшение.

**Ш а л ч а** — небольшой домотканый коврик без ворса.



**Ш а р п а т** — свод мусульманских религиозных, правовых за-  
конов и правил, основанных на Коране.

**Ш е й х** — высшее мусульманское духовенство.

**Ш е р б е т** — сладкий напиток, сироп.

**Ш и р к а в а к** — молочный суп с тыквой.

**Я к у б б е к** — правитель Кашгарии (вторая половина XIX в.).

**Я л а в к а ш и** — прислужники в дервишеских обителях.

**Я л а н к а р и** — квартал в старом Ташкенте.

**Я л л а** — песенка, исполняемая в танцевальном ритме.

**Я л л а ч и** — невица и танцовщица, специально приглашаемая  
на той.



---

## СОДЕРЖАНИЕ

А. Наумов. Солнечное поле . . . . .	5
Г. ГУЛЯМ. ОЗОРНИК. <i>Перевод А. Наумова</i> . . . . .	17
А. МУХТАР. КАРАКАЛПАКСКАЯ ПОВЕСТЬ. <i>Перевод</i> <i>А. Пантилева</i> . . . . .	179
А. ЯКУБОВ. НЕЛЕГКО СТАТЬ МУЖЧИНОЙ. <i>Перевод</i> <i>Б. Балтера</i> . . . . .	293
Примечания . . . . .	454

С 60 Солнечное поле. Узбекские повести. Пер. с узб.  
Сост., вступит. статья и примеч. Александра Нау-  
мова. М., «Худож. лит.», 1978. 462 с.

Книга показывает развитие жанра повести в современной узбек-  
ской литературе. В нее вошли повести, написанные узбекскими  
писателями Г. Гулямом, А. Мухтаром, А. Якубовым.

Повесть Гафура Гуляма «Озорник» (30-е годы) рассказывает  
о жизни узбекского мальчика в предреволюционную пору.

«Каракалпакская повесть» Аскада Мухтара (50-е годы) посвящена  
первым годам советской власти, становлению нового человека, револю-  
ционера.

Тема повести Адыла Якубова «Нелегко стать мужчиной»  
(60-е годы) — мужание юношей из далекого узбекского кишлака в годы  
Великой Отечественной войны.

70303-227  
С  $\frac{70303-227}{028(01)-78}$  144-78

С (Узб) 2

**СОЛНЕЧНОЕ ПОЛЕ**  
**УЗБЕКСКИЕ ПОВЕСТИ**

Редактор *Р. Фаткуллина*  
Художественный редактор *С. Данилов*  
Технические редакторы *Т. Таржанова* и  
*Л. Вецкувене*  
Корректоры *Г. Асламянц* и *М. Пастер*

ИБ № 892

Сдано в набор 16.01. 78. Подписано в  
печать 02.08.78. Формат 84×108<sup>1/32</sup>.  
Бумага типографская № 2. Гарнитура  
«Обыкновенная». Высокая печать.  
24,36 усл. печ. л. 25,98 уч.-изд. л.  
Тираж 50 000 экз. Заказ № 870.  
Цена 1 р. 80 к.

Издательство  
«Художественная литература»  
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена  
Октябрьской Революции и ордена  
Трудового Красного Знамени Первой  
Образцовой типографии имени А. А.  
Жданова Союзполиграфпрома при  
Государственном комитете СССР по  
делам издательств, полиграфии и  
книжной торговли.  
Москва, М-54, Валуевая, 28

Отпечатано с матриц на Киевской  
книжной фабрике республиканского  
производственного объединения «По-  
лиграфкнига» Госкомиздата УССР.  
Киев, Воровского, 24